М.М.
ПРИШВИН

6

Михаил Пришвин

# М.М.ПРИШВИН

*Собрание сочинений*

# М. М. ПРИШВИН

## Собрание сочинений

В ВОСЬМИ ТОМАХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. В. Кожинов, В. В. Круглеевская, Ю. С. Мелентьев,
В. О. Осипов, П. В. Палиевский, В. М. Песков,
Л. А. Рязанова



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

# М. М. ПРИШВИН

## Собрание сочинений

ТОМ ШЕСТОЙ

## ОСУДАРЕВА ДОРОГА

## КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Р2
П77

Подготовка текста

В. Н. Чувакова

Комментарии
В. Д. Пришвиной,
Л. А. Рязановой и В. Н. Чувакова

Оформление художника

А. В. Лепятского

Иллюстрации художника

Ф. В. Домогацкого

П $\frac{4702010200\text{-}203}{028(01)\text{-}84}$ подписное

# ОСУДАРЕВА ДОРОГА

**Роман-сказка**



## ОТ АВТОРА

«Осударева дорога» написана по материалам, освещенным личными переживаниями автора. Не скрою от читателя, что опыт сплетения истории, автобиографии и современного строительства для меня был нелегок.

В повести я хочу показать рождение нового сознания русского человека через изображение души крестьянского мальчика — помора.

---

Если человек прожил долгую жизнь и ему все еще хочется жить, то прошлое складывается в его душе неминуемо как роман или сказка. Столько есть на свете таких людей, что жизнь, пережитая в них, ищет себе выхода, и они говорят о себе:

— Если бы мне свою жизнь пересказать, то это был бы роман замечательный!

Я принадлежу сейчас к этим людям, и мне всегда кажется так, что если я о себе рассказываю, то это не есть простодушное удовольствие показать себя самого людям, а действительно мой лучший роман или сказка. Больше! Мне кажется, в этом деле освобождения себя от пережитого есть не только поэзия, но и еще что-то больше поэзии...

Всегда я понимал при чтении книг, что автор и есть настоящий источник его героев, но как это делается, что он забывает себя и превращается в кого только ему захочется, я и до сих пор понять вполне хорошо не могу.

Не раз удавалось мне описывать неплохо собак и разных животных. Разбираясь в условиях происхождения образа каждого положительного героя своего среди

животных, я находил, что сам я увлекался, влюблялся, забывал о себе, и героя своего любил временно больше себя. По-моему, вот это «больше» и превращается в положительного героя. И то же, наверно, так и во всяком труде: всякая новая небывалая вещь создается, когда творец забывает о себе и входит в нее. О героях же отрицательных беспокоиться нечего: они сами непременно являются, если кого-нибудь любишь больше себя.

Такова моя домашняя теория.

Раз было на моих глазах: по тонкому, запорошенному первым снегом льду пробежала осторожно гонная лисица, а через несколько минут на этот след налетел безумный выжлец. Лисица осторожно, по-лисьему прошла тонким льдом, а грузный костромич провалился среди озера. Лед на краях провала обламывался под его лапами, и вылезть ему было невозможно: лучший гонец в нашей округе был обречен на гибель в гонный день первой великолепной пороши.

Но прибежал его хозяин и, увидев своего друга в таком положении, быстро изорвал свою рубашку, связал веревку, сделал петлю, дополз на четвереньках по льду до собаки, накинул петлю и вытащил. Так охотник «вышел из себя», чтобы спасти своего выжлеца. Но спасенный выжлец, тоже не помня себя, помчался за той же лисой. Охотник без рубахи, изорванной на веревку, в одном ватнике, перехватывая лису с круга на круг, наконец встретился с ней и убил.

Мелькнет ли когда-нибудь даме, с горжеткой из этой лисицы, догадка об истинной цене ее наряда?

Этот охотник любил свою собаку и всю охотничью жизнь больше себя. И вот из этого-то самого «больше», по-моему, и должны создаваться положительные герои.

И мой герой в этой повести, мальчик Зуек, должен выйти из того самого, что больше меня, и в то же самое время присутствовать в моем чувстве жизни как возможность.

Так тоже спящая почка иного растения много лет дремлет и остается почкой. Но при хороших условиях почка «выходит из себя» и обращается в зеленый росток.

Это моя домашняя теория творчества, и я не знаю, почему укрывать ее от читателя, почему не пригласить его к участию в творчестве моей сказки-были, или, назовем, исторической повести.

Из себя самого я буду выводить Зуйка и в то же время буду смотреть туда, на хорошо знакомый мне берег, где поморы ловят рыбу сетями. Чайки-зуйки носятся там, как

снег на ветру, и мальчики-зуйки всюду снуют, и среди них мой Зуек. Думаю о себе, а гляжу на него. Думаю о нем — и себя самого раскрываю.

С самого раннего детства мой внутренний мир разделялся надвое: один мир — это все, что мне самому хочется, другой мир, который больше меня, больше того, что мне самому хочется и что для меня выступает как «надо»: надо и надо, а не то, что я сам хочу. Очень рано это самое «надо» пробудилось во мне как требование матери моей: чего-то я сам хочу и что-то требует мать.

С этой далекой горы моего прошлого и текут все родники моей нынешней жизни. Темной стороной представляется это мое прошлое, и мне все хочется при свете яркого дня современности туда заглянуть и там все понять.

Очень давно я стал так понимать и поэзию, что это луч нашего дня, свет современности, брошенный на то отдаленное прошлое.

Пусть очень многое в нашей жизни теперь умело записывается и складывается в архивы и книгохранилища. Очень многое тоже и так остается и постепенно погружается в темное прошлое.

Бывает, однако, такой яркий день современности, что из него виднеется самое отдаленное прошлое, уже многими забытое, а для самых молодых и совершенно неведомое.

И вот в этом-то свете современности рождается сказка, и старые люди, свидетели забытого новым поколением, начинают сказывать о том, что было когда-то, в некотором царстве, в некотором государстве, при каком-то царе Горохе.

Было мне лет тридцать, когда я отправился в тот самый край, где мои предки-старообрядцы боролись с царем Петром и в государстве его великом создавали свое «государство» — известную Выгорецию. Мне до смерти захотелось подышать тем воздухом народной жизни, где не было жестокости крепостного права и где в дебрях тайги, наверно и до сих пор, сохранились сказания о былых героических временах простого русского народа.

Действительность оказалась больше моих замыслов, больше моей мечты, больше меня самого. Мне было, как если бы человеку взрослому вернулось бы его детство и он, сохраняя где-то вдали в запасе нажитой свой разум и образование, восхищенно стал бы отдаваться природным детским силам доверчивости и особенному, проникновенному вниманию к подробностям жизни природы и человека.

Я родился с верой в какой-то лучший мир, чем где я живу, в какую-то страну, лучшую, чем наша, с уверенностью, что если сильно захотеть, то ее можно открыть всем, и даже так, что долг каждого из нас открыть для всех эту свою страну.

Еще девяти лет я пробовал из гимназии убежать в эту страну, и не я один был такой, а одно время гимназисты массами бежали. После моей неудачной попытки вера моя не умерла, а попала в положение семени, переживающего в земле зиму, чтобы раскрыться весной.

Так вот и вышло, что девяти лет я бежал в какую-то чудесную страну, а ровно через двадцать лет открыл ее на Карельском острове озера Выг, и был уверен, и вел себя, как будто это была та самая страна, куда я в детстве бежал.

Как, бывает, влюбленному кажется, будто все люди в существе своем прекрасны и ему, влюбленному, даже злодеи желают добра, так и в моей стране детства, в этом краю непуганых птиц, все люди мне были хороши, и так много хороших в одном месте я никогда нигде не видал. Это не был самообман. Ведь я не был хищным колонизатором или мистификатором-миссионером, а искал у них только былин, сказок и песен.

Много они мне пели былин и сказывали всякой «досюльщины». Но всего интересней мне были остатки людей, боровшихся когда-то по-своему за свою веру с царями.

Среди этих людей трудней всего досталось мне добиться душевной беседы у «бегунов» или «скрытников». У большинства прежних борцов за веру их вера теперь перешла просто в быт, в строгость нравов сравнительно с бытом «новолюбцев». Но бегуны продолжали искренно верить, что антихрист уже овладел почти всей землей и спасаться от него можно только в бегах. Чтобы не искушаться соблазнами, не застревать в человеческом болоте, они считали для себя необходимым вечно менять место, вечно бежать и не давать себе отдыху. Только на короткие дни в случаях болезни или необходимости что-то свое открыть другу они позволяли себе останавливаться в великой тайне у «христолюбцев», имеющих в своих домах особые тайные светелки. Они берегли свое имя в великой тайне и на все вопросы о себе встречных людей отвечали:

— Мы странники божьи, ни грады, ни веси не имамы.

Вот, наверно, тогда еще пришла мне эта мысль, и до сих пор я ею живу, что истинный наш современник не тот, кто

для себя потребляет достижения нового времени, а для кого современность открывает свет на свое прошлое.

В свете современности как понятны были мне эти люди, презирающие место своего пребывания и собирающие дух свой в пространстве. Мы сами, революционеры того времени, готовые идти на какие угодно страдания, чтобы только поднять дух своего народа, привести его в движение, дух, остановленный косностью царя и его чиновников, мы сами отчасти были похожи на бегунов: мы были странники в своем народе, мы не держались ни села родного, ни города, правда нам была дороже родного села.

Конечно, я отлично понимал, что движение революции ничего общего не имеет с движением сектантов-бегунов, но законы истории не всегда совпадают с законами сердца. Мне очень захотелось найти в лесах какого-нибудь бегуна, постараться самому раствориться в его вере, с тем чтобы темному человеку попробовать открыть новый свет, помочь ему не тратить движение своего духа просто на передвижение тела по грешной земле, захваченной будто бы антихристом. И еще, самое главное, — мне хотелось своими глазами посмотреть на такого человека.

И я увидел такого человека, и не одного. При первых их нападениях на мою веру в революцию я поступал, как молодой волчонок, когда к нему приближается и хочет напасть борзая собака: волчонок ложится на спину, поднимает вверх ноги и открывает живот. Так я в разгаре нашего спора повертывался вверх животом и соглашался проклинать царское правительство, как антихриста, и царских чиновников, как бесчисленное отродье антихриста. Тогда оказывалось, что мы люди близкие и что нам остается только сговориться в подробностях о нашей общей борьбе с царями.

Так много я находил себе друзей на островах и в глухом сузёме, но не могу сказать, чтобы я хоть одного человека из них мог бы сделать современным борцом за правду без всяких химер пережитого прошлого.

Теперь издалека мне представляются мои раскопки в душах этих людей поисками выхода из темного их мира к свету современности. Я не уставал в своих поисках только потому, что верил и по себе чувствовал в каждом человеке какой-то современный смысл и не мог бросить всех этих людей в могилу без всякого смысла.

И вот тут же, на самом Карельском острове, я однажды пришел в дом покойной старушки Любови Степановны и услышал рассказы о жизни этой замечательной женщи-

ны, выведенной у меня под именем «мирской няни» Марии Мироновны.

В тайной светелке ее, предназначенной для бегунов, еще доживал свои дни свидетель ее жизни. Он и сам был в бегунах, но, перебывая какой-то денек у Любови Степановны, захворал, долго не мог уйти, да так, перебывая день за днем, «обмирщился», осел, начал сам ходить за водой, за дровами, потом стал и рыбку ловить вместе с ловцами, и все стали звать его почему-то Максимычем.

Вот он и рассказал мне много о жизни Любови Степановны, и это открыло мне какой-то свет в это темное царство нашего прошлого. Любовь Степановна была такой большой ревнительницей старой веры, что в свое время собрала все ценные остатки Даниловского монастыря и перевезла их к себе на Карельский остров. Тут она выстроила небольшую часовенку, служила в ней сама, и ее везде почитали как последнего большака Выгореции. Но что-то произошло в душе этой женщины, и это происшествие осталось необъясненным: будучи уже пожилой, Любовь Степановна почему-то пристрастилась к чтению светских книг и стала их всюду себе доставать. Но мало того! На Карельском острове она открыла настоящую светскую школу для детей и до конца жизни своей оставалась в ней учительницей.

После, вернувшись домой, я и у другого путешественника и исследователя Севера нашел в его книге о былинах на Севере восторженные слова о жизни Любови Степановны.

Но если вспомнить русскую историю, то разве одна Любовь Степановна, воспитанная в суровой школе старообрядчества, внесла пламень души своей в нашу современную жизнь? Мало ли ручьев из темного царства прошлого влилось в море нашей современности? Мало ли во́ды этого прошлого принесли камней на устойчивость нашего дела, и не этим ли путем из темного царства прошлого бежит на свет ручеек моей собственной жизни?

Так на лавочке возле дома Любови Степановны на Карельском острове мы беседовали с Максимычем, обмирщенным бегуном, и нам приходило в голову, что, может быть, и всегда, если правда какая-то есть в побежденной стороне, то она потом одним человеком переходит на другую сторону, потом другим, третьим, многими по одному и не пропадает, а неминуемо остается с нами, в нашем строю борцов.

---

Понимаю, что можно вникнуть в чужую жизнь и представить ее как картину, но просто чудом кажется, когда берешься за жизнь свою собственную и видишь ее, как в ней без всякой помощи художника все само собой расставлялось по правилам труднейшей композиции. Вот отчего простодушный человек, заглянув в себя самого, и восклицает в душевной беседе:

— Если бы мне жизнь свою пересказать, то это был бы роман замечательный!

Разве, правда, не замечательно сложилось в моей жизни, что девяти лет от роду я пустился на розыск страны, где все устроено лучше, чем было у нас. И как это могло случиться, что через двадцать лет, всему как следует наученным, я забросил всю свою «науку» и открыл себе второе детство на Карельском острове огромного Выгозера и место переживаний этого второго детства назвал и описал как вновь открытую страну непуганых птиц.

И с тех пор, куда ни поеду, куда ни пойду, на что ни погляжу, мне кажется, я гляжу первым взглядом и никто на это еще никогда не глядел.

Еще удивительней кажется мне, что когда наконец борьба с царями стала делом всего народа и революция свергла царя,— на том самом месте, по той самой Выгореции прошел Беломорско-Балтийский канал, и знаменитая Осударева дорога царя Петра очутилась на дне озера-моря, и над ней пошли чередом морские корабли.

И вот теперь, когда и этот канал, похоронивший открытую мною страну непуганых птиц, стал эпизодом в сравнении с делом победы в Великой войне и всем строительством новой жизни после войны, как же мне самому вместе со всеми простодушными людьми не воскликнуть:

— Если бы мне свою жизнь пересказать, то это вышел бы роман замечательный!

---

Канал еще строился и Выгореция не была еще под водой, когда я опять приехал в край своего второго детства. Книгу мою «В краю непуганых птиц» строители тут читали с большим интересом, она ходила здесь по строительству из рук в руки, удивляя всех тем, что было раньше здесь. Каждый новый человек, каждый руководитель строительства находил на своем участке как бы свою новую родину. Новые люди, тоже как, бывало, и я, увлекаясь своей новой родиной, забывали о старом. Вот почему, не обращая вни-

мания на старое, они книгу мою читали, будто описанное в ней было назад тому уже лет двести, и дивились мне, как бы воскресшему в наших днях. Когда же я уверил их, что все описанное было всего только двадцать пять лет тому назад, они дивились быстроте преображения края.

Совсем другими глазами смотрел я, участник прошлого этого края. На том же самом Карельском острове во время строительства канала я знал очень пожилую женщину. У нее было клятвенным решением не уходить с острова перед затоплением из-за того, что мир, по Писанию, должен сгореть, а не утонуть, и этот «мир» для нее был ее Карельский остров. Некоторых героев своей старой книги я застал еще в живых. Был жив скрытник, таившийся в светелке Любови Степановны. Он был глубоким, но легким старичком. И называли его уже теперь не Максимычем, а Куприянычем.

Теперь он вовсе обмирщился, но, как сам говорил, «духа своего не угашал». И тоже обещался, что ежели не светопреставление, а затопление, то он найдет в себе силу уйти и скрыться в немеряных лесах.

— А есть еще немеряные? — спрашивал я.

— Мало ли их! — отвечал Куприяныч.

Очень мне понравился встреченный мною на строительстве мальчик, прозванный за живость свою паозерами Зуйком, маленькой чайкой. Этот славный мальчишка был семнадцатым внуком одного рыбака, знакомого мне еще двадцать пять лет тому назад. У этого Сергея Мироныча, сильного большого хозяина, я и ночевал в Надвоицах двадцать пять лет тому назад, пил у него настоящий финский кофей, ел его всякие калишки и рыбники, слушал его былины и всякую досюльщину.

У него было чуть ли не десять сыновей, из них были некоторые «ловцы», занимались больше рыбой, другие были «полесники», значит — охотники. Лучшим охотником в краю из его сыновей был Герасим, отец Зуйка.

Я видел на каждом шагу, как старое умирало и как новое рождалось. И я буду рассказывать теперь о том, что было и делалось не мною самим. Я на себя беру только показать, что старое умирало и новое рождалось не просто. Мало мне надо выдумывать.



# ЧАСТЬ I

## ЛЕС

### I. МИРСКАЯ НЯНЯ

Холодный родничок возле нашего костра бежит в ту сторону гор, где вишни цветут, и соловьи поют в яблонях, и, может быть, люди, если верить песням и сказкам, где-нибудь там нежно любят друг друга. Мы ночевали в лесу, и родничок нам журчал о благодатной южной стране. Утром затоптали костер, прошли немного, и вот он опять, родничок, бежит, только не в ту сторону, южную, а в нашу, беломорскую, где, пусть бывает, между людьми и еще нежнее любовь, но где только в песнях поют о благоухающих садах, и никто никогда не видал цветущей вишни и не слыхал соловья, и вся жизнь у всех нас проходила с малолетства в суровой борьбе с суровой природой.

Шли мы долго этим ручьем, и все он усиливался, и все громче лепетал на камнях. Вдруг лес расступился и показался незарастающий след далекого от нас военного похода.

— Осударева дорога! — сказал отец.

Остановились. Отец шапку снимает.

Это была незарастающая дорога со времен Петра Первого. Этим путем царь народом, собранным с трех губерний, волоком тащил флот свой на шведа.

— Что тут народа легло! — говорит отец.

И шапку как снял, так все и не надевает.

На кладбищах, на священных местах наши отцы всегда шапки снимали: Осударева дорога для них была местом священного народного труда, где нам, маленьким, нужно было чего-то бояться, пристойно вести себя и слушаться старших.

Мы спускались ручьем все ниже и ниже, пока он не стал речкой в спокойной долине. Тут мы сели в карбас, и вода нас понесла. Отец правил и подгребал. Я с ружьем наготове сидел на носу. Вижу, из заводи выплыла впереди нас пара лебедей.

— Не стреляй!

Я поглядел на отца.

— Потому,— говорит он,— что они от нас не летят, а почему не летят, сыночек, сам догадайся.

Не успел это он выговорить, как из травки выплыли лебедята.

Речка была неширокая, лебеди не смели нас пропустить, не могли нам и довериться, и тоже не могли бросить детей и улететь. Им оставалось только плыть поскорее вперед. И маленькие так спешили, что лапки их, вытянутые назад, виднелись и вода между ними шумела. А большие лебеди и хотели бы, и могли бы много скорее плыть, но оглядывались на малышей и поджидали.

Что тут делать? Птицы стесняли ход нашей лодки, мы же птиц стесняли. Так всё плыли и плыли медленно из-за птиц до самого Выгозера. Тут мы поставили парус, и хорошая поветерь взяла нас на Карельский остров, а лебеди по этой речке, Телекинке, поплыли обратно одной тесной кучкой со своими лебедятами.

На Карельском острове в то время на берегу было столько бань, сколько во всем селе домов. У каждого хозяина была своя банька, тут каждый рыбак у себя и парился, весь красный, из-под веника, выходил на порог и бросался в холодную воду.

Возле каждой баньки, так тесно, что вода была серая, плавали дикие утки: староверы их не трогали, принимая в пищу только горнюю дичь. Мне казалось тогда — это был

остров непуганых птиц. Тут были утки разных пород и с ними гагары, чайки, зуйки. Отступя от бань, повыше стояло село с узкими улицами. Перед иными домами были тогда восьмиконечные деревянные кресты, такие большие, что на них можно было бы и теперь распять человека.

Особенно большой и крепкий крест стоял перед двухэтажным домом бабушки нашей Марьи Мироновны, где мы с отцом останавливались и ночевали.

Только не так-то просто было войти в ее дом. Отец издали начинал шаркать ногами о траву; к бабушке нельзя было прямо ввалиться рабочему человеку, как это сплошь да рядом бывает в крестьянских домах: с улицы — прямо в избу в рабочей одежде.

Прежде чем ступить на чистый половичок и подняться наверх по лестнице, надо было хорошо ноги почистить, надо было обмыть лицо и руки в уголку, поливая воду из глиняного умывальника-чайника, подвешенного на веревочке: носик в одну сторону и носик в другую.

Поднявшись наверх, мы долго крестились по-староверски двумя перстами на старинные иконы с неугасимыми лампадами. Марья Мироновна не сразу к нам выходила. Был такой слух, и мы этого ужасно боялись, будто бабушка Мироновна спит всегда в гробу, ждет конца света — какого-то *светопреставления,* и что гроб ее сделан из карбаса, покрашен в черный цвет с белыми костями накрест на одном борту и с белым черепом на другом.

Мироновна на Выгозере была *мирской няней.* Когда заболеет у кого-нибудь дитя и слух об этом добежит до Мироновны, она садится в свой черный карбас и уплывает с Карельского острова. На пороге того дома, где заболело дитя, вскоре появляется высокая властная старуха и спрашивает голосом, вместе строгим и ласковым:

— Не улетела еще ангельская душка?

Тогда, если душка не улетела, все идут из дома спокойно на работу в поля или рыбу ловить, а Мироновна делается хозяйкой, и ее слушаются все в доме и боятся, и всем она распоряжается, как только ей вздумается, пока не отходит дитя.

Вот то и было всем на Выгозере дивно и непонятно, как это она ждет светопреставления, проповедует конец света, а только где заболеет ребенок — вся убьется, вся изведется, только бы жило дитя. С одной стороны — свет кончается: лежит в гробу в ожидании конца для всех людей, с другой стороны — у того же самого человека душа так образуется,

будто свет только что начинается: сидит у постели ребенка.

Выходила к нам Марья Мироновна, высокая, прямая, с лестовкой в руке. Мы ей чинно кланялись, спрашивали, не нужно ли для нее поработать. И работали, бывало, и не один день. Сигов ей наловим, накоптим, насолим, щук распластаем, навялим впрок на солнце желтое щучье прочное мясо. Ей, постнице, этого хватит надолго. И мы не одни ей помогали. Этим мирская няня кормилась и больше ничего за свой труд нигде никогда не брала.

Кто много пожил, тот не удивится, как могла уцелеть до нашего времени Марья Мироновна. Так похоже, будто мысли и помыслы наши не исчезают сразу, а остаются долго вертеться, как маховики на холостом ходу. Мало ли чего такого не бывает! Поют же и по сю пору на Севере былины о Владимире Красном Солнышке, о древних русских богатырях, и о соловьях на вишнях, и о яблонках, каких у нас не бывает, и о цветах, виденных нашими предками еще в Киевском княжестве.

## II. СКАЗАНЬЕ О ВЕНИКЕ

Многие из нас, ребят, конечно, в детстве болели, и у всех у нас таких побывала Мироновна. У кого она была и кому о чем-нибудь рассказывала, так тому на всю жизнь ее слова и оставались в поучение. Зимой в долгие вечера мы, ребята, слышали от мирской няни, как в старинное время здешние люди боролись за старую веру. Страшно было слушать эти правдивые рассказы о том, как люди собирались в деревянные срубы и, когда царские солдаты подходили — поджигали смолье.

Так распалит, бывало, Марья Мироновна, так настроит наше детское доверие, что вот взял бы сейчас и сгорел бы за старую веру. И так робко спросишь, бывало:

— А нельзя ли нам, бабушка, взять и сейчас вместе с тобой сгореть за старую веру?

— Не спешите гореть,— отвечает она,— успеете. Придет время, все вместе сгорим. Весь свет будет гореть: кто за старую веру, кто — за новую.

Мы только одно знали про старую веру, что у нас в старой вере крестятся двумя пальцами, а не тремя, что у нас в старой вере люди живут строго, а в новой — как кому только самому захочется.

— Так слабость родилась в людях,— поясняла нам няня.

И всегда рассказывала нам одну и ту же свою сказку-быль о заколдованном венике, соблазнившем пустынников-староверов на легкую жизнь.

Было это еще в те времена, когда в гонениях за веру сильные люди разбежались по лесам на берегах реки Выга и в ожидании неминучего светопреставления лежали в гробах. Так, был один такой пустынник отец Корнилий. Лежал он в своей маленькой келье в гробу, молился. Конечно, время от времени он вставал поглядеть, не показывается ли чего-нибудь на небе, нет ли признаков конца земных мук.

И так было раз, встав из гроба, отец Корнилий выглянул на свет в свое маленькое окошечко. Увидав, что комары столбами стоят над рекой, Корнилий живо скинул рубашку, вышел из кельи и сел, голый, на камень у самого берега.

Сколько времени так мучил себя пустынник — неизвестно. Скорее всего мученье это он не сам себе выдумал, а взял в пример из древних книг. Сам по себе Корнилий был живой человек, из крестьян. Искусанному комарами, и злой таежной мошкой, и слепнями сладко вспомнилось прежнее крестьянское житье, когда, бывало, каждую субботу добрый крестьянин парился в бане и стегал себя до беспамятства березовым веником.

— Вот бы попариться! — прошептал он.

И только-только он это прошептал, вдруг видит, будто что-то мелькнуло в белой пене порога, покружилось на плесе, и по заводи медленно к ногам пустынника подплыл обыкновенный банный веник. После говорили об этом, что не царствами, не дворцами, не золотом, не серебром ухитрился прельстить нечистый старого крестьянина, а этим самым обыкновенным березовым веником.

Подивился добрый крестьянин венику, подержал в руках. Никто в пустыне, кроме птиц и зверушек, не мог видеть, как пустынник хлестнул себя голого мокрым веником по искусанной спине.

— Грех какой! — перекрестился он и бросил его обратно в реку.

Провожая глазами уплывающий веник, Корнилий подумал и сказал:

— Значит, повыше еще житель есть.

И захотелось ему, вот как захотелось, как в старину, просто попариться в бане. А еще больше захотелось повидать, побеседовать по душе с тем простым человеком, там

повыше на Выгу, кто не думал о близком светопреставлении и во все свое удовольствие мог париться в бане.

— Прости, боже! — сказал Корнилий.

И, прибрав немного у себя в избушке, отправился к верхнему жителю в гости.

А пониже отца Корнилия на Выгу спасался поморец Лука. Веник, брошенный отцом Корнилием, скоро приплыл к нему и тоже обрадовал его. И тоже стало ему на душе полегче. И представилось, будто там, наверху, есть жизнь невинная, простая и прекрасная. Попросту говоря, старику, измученному комарами, захотелось попариться. И тоже он, как и отец Корнилий, не задумался об искушении.

— Прости, боже! — сказал Лука.

И отправился к верхнему жителю в гости.

Тоже и пониже Луки, спасаясь от новолюбцев, проживал добрый инок Серапион с матерью своей старицей Нимфодорой. Серапион, увидев плывущий веник, сказал своей матери:

— Матушка, видно, там, повыше, тоже есть житель.

Нимфодора поглядела на веник, пожевала губами, и старухе тоже очень захотелось попариться.

— А ничего это, матушка? — спросил Серапион.

— Бог простит! — ответила Нимфодора.

И, убрав все в своей келье, наготовив лучинок, труту, дровец, на случай, кто заблудится, они оставили на двери знаки о том, что ушли к верхнему жителю.

Да недалеко по Выгу от впадения речки Ковжи жил Архип Авраамов, да пониже того на два перехода, да за большими порогами, да у Березовой заводи, да у Лисьей норы. Так от низу и до верху, от избушки к избушке, понимая условные знаки,— что хозяин келейки отправился к верхнему жителю,— собрались все пустынники у отца Даниила, в сердечной простоте пустившего вниз по реке банный веник.

— У тебя, отче,— сказали ему,— все есть. И банька, и рыболовные сети. Видно, ты живешь по желанию и мало думаешь о близком конце.

— Милые мои други,— ответил отец Даниил,— о конце своем помышляю неустанно, но помышляю тоже угодить господу и телесной своей чистотой. Вода-матушка, она ведь чистая бежит. Ни в ней мышки, ни таракашки.

— Да что есть вода? — спросил отец Ферапонт.

— Вода-матушка,— отвечал инок Серапион,— есть,

как и мы, тоже грешница. В чем-то она согрешила там, на небе. И падает к нам вниз на землю на доброе дело, на работу для нас всех. Смотрите, вон как она бьется, размывает скалистый берег, а вот там намывает, и где намоет, поднимается всякое растение на плодородной земле. Кончит работу вода, сделает свое полезное дело — и получает прощенье, подымается вверх облачками-тучками, ходит по ветру. Так и мы, грешные люди, и падаем, и работаем, и подымаемся.

— Вот это правильно,— сказал Ферапонт.— Вода нам, грешникам, первый пример: капелька с капелькой соединяются на общую работу. Так и мы, человек с человеком, должны сходиться на труд. Я так понимаю, отец Даниил?

— Не надо бояться людей, если сходиться на доброе дело,— кратко ответил отец Даниил.

И с этим все согласились, что пустынникам париться можно, и с тем тоже согласились, что рыбу тоже ловили и святые апостолы. Значит, если и теперь вместе сойдутся,— в этом нету никакого греха.

Греха-то, конечно, и не было, только одно упустили добрые пустынники: забыли они о близком конце, о том, что все пророчества сходились на близости дня светопреставления, что по вере отцов все мученики, сгоревшие в срубах, с этой верой поджигали смолье: не себя самих они так кончают, а господь их рукой весь мир поджигает.

А нынешние пустынники, забыв это, согласились на легкую жизнь, в том, что вместе им жить будет лучше.

И хорошо бы, и все бы на пользу, только уж что-нибудь бы одно: или конец, или начало жизни. А пустынники с тех пор стали хромать на оба колена: и жить-то хочется, и гореть надо. Вот отчего и началась эта слабость.

Перед тем собирались вместе, чтобы умирать, а теперь собрались, чтобы жить, и тут же принялись искать удобное для хлебопашества место. После долгих поисков по реке Выгу и по его притокам вернулись к старому месту, где жил отец Даниил.

— Нет лучше этого места,— сказали искатели.

Добрый старец Корнилий, первый пустынножитель, увидевший веник, на эти слова ответил:

— Место, может быть, и есть лучше нашего, да что в том хорошего, когда много ищешь да разного хочешь. Есть места много лучше нашего, да тут сорока кашу варила.

После этих слов отец Даниил благословил начать здесь общежитие, и прозорливец Корнилий сказал напослед:

— Тут сорока кашу варила: мы поселимся здесь, а возле нас со временем соберутся хорошие люди с люлечками и с мамушками.

---

Слова прозорливого старца сбылись очень скоро: со всех сторон стали стекаться измученные гонением люди на то место, где вначале жил один только отец Даниил. От соединенных усилий из-под рук человека скоро вышла из дикого леса, из-под камней плодородная земля. Народились большие стада. Явились корабли для торговых поездок в Норвегию и на юг. В женском общежитии на реке Лексе стали процветать выгорецкие тонкие рукоделия — северное наше искусство. В мужском, на Выгу, братья Денисовы сочиняли свои знаменитые «Поморские ответы», ходившие в списках по рукам и на севере, и на юге вплоть до Киева. Свой историк Иван Филиппов писал «золотою тростью» свою известную историю Выгореции. В то же время невозможно стало при множестве людей следить за строгостью нравов, беречь «сено от огня»: общение мужского пола и женского. И вокруг монастыря, как предсказал прозорливец Корнилий, стали жить не подвижники, а самые обыкновенные люди с мамушками и с люлечками.

Так мало-помалу на Севере внутри великого государства Петра стало расти другое не совсем дружественное ему государство Выгореция.

Можно понять Марью Мироновну, что скорее всего она к тому, наверное, всегда и вела свою сказку о венике, что пустынники, соединившись вместе, слишком уже направили свое внимание к устройству жизни земной и тем возбудили внимание и зависть людей, не имеющих никаких стремлений к жизни небесной. Вот это пристрастие к жизни земной, наверно, она и называла *слабостью*.

Осударева дорога проходила очень недалеко от того места, где жили выгорецкие пустынники в двух своих монастырях: в мужском на Выгу и в женском на Лексе. Великий ужас напал на староверов, когда прошел слух, что сам царь-Антихрист с сыном Алексеем, с большим народом, с кораблями приближается к ним. Многие бросились к прежним приемам борьбы: натащили из лесу смолье, заложили его в деревянные строения, чтобы не сдаваться живыми,— сгореть вместе со своим нажитым добром. Одни хотели гореть, другие бежать, как прежде, и расселяться поодиночке в глухих местах.

Время жизни нашей летит быстро, но если пристально смотреть на часы, так оно, кажется, не идет даже, а стоит. Так точно и в прошлом, если считать время годами, далеко кажется от нас то время, когда Петр со своим сыном Алексеем во главе свиты своей и народа, собранного с трех губерний, подходил к Даниловскому общежитию на Выгу. Но если время не годами считать, а по человеческой жизни, то оно окажется совсем недалеким от нас. Восемьдесят лет тому назад родилась в Надвоицах наша Марья Мироновна, а еще за восемьдесят лет от нее был жив последний большак Выгореции, а еще за восемьдесят лет от него и проходил Петр со своими кораблями по Выгореции.

Марья Мироновна об этом ужасе раскольников перед встречей с царем-Антихристом рассказывала так живо, будто она сама царя в лицо видала, сама же будто и закладывала в деревянные стены смолье.

— Не от самого царя вред был,— говорила она,— а больше от клеветников и завистников, окружавших царя.

И, конечно, они при первом случае доложили царю, что совсем недалеко, здесь на Выгу, живут пустынники своим собственным маленьким государством, богатеют, торгуют, пишут книги, проповедуют старую веру, а за царя богу не молятся.

Расспросив подробно об устройстве замечательной общины, Петр обрадовался встрече с такими дельными людьми и, верно, пропустил мимо ушей или просто не придал значения тому, что они за царя богу не молятся.

На этом месте рассказа всегда, бывало, дрогнет какая-то струнка в лице Марьи Мироновны, для нас, ребятишек, очень приятная. Казалось, будто бабушка наша очнулась от своей постоянной ужасной мысли о скором конце света, любовно-лукаво примиряясь с землей.

И непримиримая наша обличительница новой веры начинала горячо восхвалять царя.

— Как же так,— спрашивали мы Марью Мироновну,— то называла царя Антихристом, а то вот теперь восхваляешь?

Тогда с не сходящей с лица лукавой улыбочкой добрая и совсем другая Марья Мироновна, не обличительница, а мирская няня, говорила нам:

— Это, деточки, по вере мы считали царя за Антихриста, а по делам своим он прошел как отец отечества благоутробнейший, оставляя сердце свое в руках всемилостивого небесного Отца, человеколюбиво милующего пустыню сию.

И спокойно рассказывала дальше, как царь потом вспомнил о пустынниках и, вместо того чтобы наказывать их,— что богу за него не молятся,— заставил их отливать пушки на пользу всего государства Российского. И когда пустынники, желая сохранить в целости свое общежитие, уступили царю, то эта слабость привела к другой слабости, и вся жизнь монастыря начала падать и разлагаться.

При царе Александре Третьем приехал чиновник, все описал, все опечатал, и с тех пор Выгореция кончилась.

— А как же быть,— говорила Мироновна,— как же быть тоже и царям? Он же государь, у него на руках большое дело, не он виноват, а каждый из нас виноват в своей слабости.

И, вспоминая веник, еще говорила:

— Сидели бы отцы на местах, ждали бы терпеливо в гробах своих конца света, а то нет! увидали веник, и захотелось попариться. Мало ли что самому-то захочется! Деточки, не по желанию живите, не как самому хочется, а как надо всем нам жить.

## III. ФИНСКИЙ КОФЕЙ

Там, где весь наш коренастый могучий Выг тремя падями валится вниз в озеро Воицкое, в селе Надвоицы, в своем хорошем доме живет родной брат Марьи Мироновны, богатый и могутный рыбак Сергей Мироныч.

Случилось, около праздника Николы Вешнего заболел у этого дедушки Мироныча семнадцатый внук, и Марья Мироновна, мирская няня, на своем черном карбасе приплыла к брату в дом и стала ходить за мальчиком. Вскоре тут подошел и самый праздник Николы, любимый на Выгозере. В Надвоицах и на всем Выгозере, на островах, и на сузёме, и на Сегозере, и даже в большой глуши на Хижозере давным-давно от финских карелов ловцы и полесники переняли привычку в праздники по случаю удачного лова и охоты угощаться кофеем. Как это случилось, что старообрядцы пользовались такой «слабостью», скорее всего вышло только от того, что кофей пили тут исстари, может быть, и до Никона. В ту весну, когда в Выгореции начали строить Беломорско-Балтийский путь, в доме Мироныча был счастливый лов и охота: довольно наловили семги, скачущей с камня на камень вверх через водопад, напоездовали сигов, наловили сетями и накололи строгами щук. Не

грех было в праздник Николы Вешнего собрать всю семью и всем вместе напиться кофею.

Приехал с Коросозера старший сын Мироныча Осип, всегда молчаливый при батюшке полесник. Он привез с собой много дичи, мяса звериного, соленого, и свежих, только что убитых на токах мошников. Младший сын, молодой саблеватый парень Ванюшка, работающий на сплаве лесов, прибыл из Сороки погулять на празднике. Оба зятя приплыли из Габсельги и Койкинского погоста со своими бабами. И здешние сыновья Мироныча, все пятеро, собрались с женами и малыми детьми.

В ожидании приезда из Поморья почетного гостя, промышлявшего морских зверей, убирали стол. Принесли огромные рыбники, с запеченными в тесте цельными сигами, и тоже семужные были рыбники с нежно-розовым мясом, и щучьи пироги на любителя щук. И мошники цельные большие, и высокие стопы калишек с творогом.

Возле полураскрытой занавески у образов с лестовкой в руке вся в черном сидела Марья Мироновна. Она не к празднику, не за кофеем прибыла сюда с Карельского острова, а только чтобы спасти от смерти больного мальчика, сына Осипа Сергеевича, семнадцатого внука Сергея Мироныча. Дни и ночи сидела мирская няня возле больного, что-то шептала, перебирая пальцами узелки своей староверской лестовки, понимая так, что удерживает душу больного на какой-то высоте между землею и небом.

«Не упустить бы ангельскую душку»,— думала мирская няня.

А душка мальчика в этот день как раз только и начала оживлять пролежавшее неподвижно столько дней тело. Где-то в своем поднебесье Зуек услышал знакомые прекрасные клики пролетающих лебедей, и это решило все: он начал спускаться на эти звуки родной земли.

Выставляли в избе зимнюю раму, и вместе с шумом Надвоицкого падуна всем послышались гармонические звуки лебедей, перелетающих по светлым ламбинам [1] на места своих гнездований.

— Лебеди, лебеди! — закричали дети.

— Как славно играют! — отозвался отдыхающий на полатях Сергей Мироныч.

А Марья Мироновна, измученная бессонной ночью,

---

[1] Светлая ламбина — озеро со светлой водой, темная — с темной. (Здесь и далее все примечания М. М. Пришвина.)

услыхала в довольстве сказанные слова брата об игре лебедей и ответила ему с явной досадой:

— Играют лебеди, им бы только играть, а нам бы с тобой лежать на полатях да слушать.

— Не все у них игра,— усмехнулся Мироныч,— поиграют птицы самую малость, а там надо яички класть, надо на яичках сидеть, не есть, не пить, не спать, а там вывелись птенцы — надо кормить, это нелегкое дело: каждому птенцу нужна рыбка, а там надо выходить, надо уберечь от ястреба и от зимней стужи нашей, увести в теплые края. Нелегко и лететь туда,— на лебедях летят в теплые края вошки, букашки в великом множестве, все кусаются, все есть хотят, кровь лебединая исходит на всякую дрянь. А крылами все надо махать и махать. У каждой птицы под крылом мозоль нарастает в кулак, и каждая птица должна про себя понимать: долечу ли я или упаду. И нет у птиц докторов, как у нас. Упадешь — товарищи спустятся и заклюют, чтобы не мучился и другим не мешал дальше лететь. А ты, сестра, говоришь — у них только игра!

— Конечно,— ответила Мироновна,— дело нелегкое... А все-таки — по желанию! Свои деточки у лебедя — свои желания: вот и легко.

— А можно ли что-нибудь сделать на свете без своего желания, Марьюшка?

— Можно, Мироныч!

— Ну как же так, не пойму. Ты вот, мирская няня, ходишь за чужими детьми. Разве что вот это...

— И тоже хожу за ними по желанию, и борюсь с этим, и все не могу до конца победить этой слабости: я им делаюсь все равно как родная мать.

— За своими — по желанию, за чужими — по желанию... Да можно ли, сестра, на свете хоть что-нибудь сделать без своего желания?

— Отчего же нельзя? Наши отцы не по желанию жили.

— А как же?

— Как надо.

— А как, по-твоему, надо?

— Не по-моему, брат, а как написано было в наших старых книгах до нечестивого Никона. Ты это знать должен.

Мироныч, старый человек, прочел за жизнь не один десяток тяжелых староверских книг и уж хорошо знал о наступающей слабости и о том, как надо жить по учению

отцов. Но на него в спорах с сестрой что-то находило, какое-то упрямство, и до того, что он начинал по временам заступаться даже за «слабость».

— Лежать в гробу,— сказал он,— учили наши отцы и лежа дожидаться светопреставления. Ждали-ждали и не дождались. Верно ли это, что мы в гробах должны ждать конца? Верно ли, что сразу все должно кончиться, а не каждый человек отдельно кончается в своем труде: кончил трудиться, и сам кончился, и думал, что жил для себя, а оказалось, жил на пользу других. Сестра, не гордость ли наша староверская в этом, чтобы сразу всем кончиться, а самому бы лежать и дожидаться, когда придет наконец час для всех!

Тогда как будто в подтверждение слов Мироныча против стремления живого человека к своему смертному часу, да еще с угрозой этим часом для всех, на белой подушке явились два чудесных голубых цветка. Так удивляемся мы цветам, когда, отвечая красоте солнца золотого и неба голубого, они образуют свои венчики. Но что удивительнее прекрасного детского глаза, отвечающего и всей красоте природы, и чему-то еще более нам дорогому, нашей какой-то смутной надежде на будущее счастье всего соединенного в добре человека.

Так, выздоравливая, Зуек открыл свои голубые глаза с золотой искоркой. Но Мироновна этих глаз не видала. Зеркало души ее было взволновано. Слова брата налетели на него, как ветер налетает на спокойное лоно воды и смешивает все чудесные отражения действительно прекрасной жизни. Как будто тень замученного фанатика Аввакума вошла в нее, и, такая добрая, бабушка, протянув вперед руку с двуперстием, она зашептала старыми, закостенелыми словами:

— Мертвые встанут! Что, вы признаков не видите? Леса, воды, все измерено. Цепь Антихриста пролегла по всем просекам, диких зверей стали считать, на товарах всюду печати, сатанинской проволокой, как паутиной, опутан весь мир...

А Мироныч, не слушая знакомые и давно прожитые слова своей сестры, радостно глядел на голубые цветы своего любимого внука.

— Брось, сестра,— сказал он,— ты погляди-ка лучше на внука!

Оглянулась Мироновна — Зуек встретил ее с улыбкой на щеках, начинающих румяниться.

— Бабушка,— сказал он,— а что, лебеди не считаны?

— Нет, сыночка,— ответила бабушка совсем другим голосом,— лебеди не считаны: кто может их сосчитать? Лебеди — птица вольная.

— А весенние ручейки в наших лесах?

— Ручейки, сыночка, неровно бывают: один год меньше. другой больше. Как это можно ручейки сосчитать, глупый?

— И что это, ручейки, это наши желания?

Мироновна вздохнула:

— Желания, миленький: бегут, бормочут, шепчутся, травки-листики качают, камешки лижут, пошевеливают, все, все это, как наши желания...

— И лебеди?

— Весна ведет и всем дает желания.

— И несчетные?

— Кто может сосчитать это: все жить хотят.

— А как же ты сейчас с дедушкой спорила и говорила: все звери в лесу сосчитаны, и деревья, и все на свете измерено и опутано проволокой, как паутиной?

— Ну и молодец,— отозвался с полатей Сергей Мироныч.

Старик приподнялся, ноги с полатей спустил, приготовляясь к новой борьбе со старухой за жизнь на земле в бесконечном ее несчитанном разнообразии.

Но Зуек, еще слабый, закрыл глаза, и румянец слетел с бледных щек. И та же самая рука, только что грозившая своим страшным заклинающим двуперстием, теперь обратилась доброй ладонью с разжатыми пальцами и, часто покачиваясь, умоляла всех в доме о тишине:

— Тише, тише! — шептала Мироновна.

И полуоткрытый рот, и материнская улыбка пробудили на старом лице следы былой великой красоты человека.

— Уснул, уснул,— шепнула она,— это к здоровью! И осторожно, бесшумно задернула полог.

Но Зуек не спал. Его душа теперь была, как это часто бывает у тех, к кому возвращается жизнь: душа его была как вся земля, как вся природа, и он в ней, как свой, и все тут было свое, близкое, знакомое, прекрасное и понятное.

Вот оно тут лежит, все Выгозеро со всеми своими островами: сколько дней в году, столько островов на Выгозере. И со всех сторон в озеро бегут речки из лесов и несчитанные ручьи, все шевелят травками и, ударяясь о камни, шепчут и бормочут по-разному и неровно: то погромче, то

потише. Когда потише — рождаются травки, когда погромче — то рождаются камешки, и у всех выходит одно:

— На ро-ди-ну!..

А падун, этот великан трехголовый, высунул плечи черные из-под воды и там под водой руками своими огромными над чем-то трудится, работает, крутит воду, бросает, наказывает, сердится, гонит, рычит:

— На ро-ди-ну!

Поднялась даже на зов из моря холодная рыба и снизу пошла вверх на падун. Серебряной семге тоже надо перебраться через падун вверх на родину. Зуек теперь видит себя не на постели, вся душа его стала теперь — вся родная земля. Он теперь сидит с деревянным молотком-*кротилкой* у одной каменной чаши возле падуна: сам в печурке, кротилка наружу.

Семга, бросаясь вверх с камня на камень, должна попасть в эту каменную ямку. Вон там внизу, где разбивается столб падающей воды, сверкнула вверх длинная искра: это она сделала свой первый скачок вверх с нижнего камня повыше, и вот с этого верхнего сейчас скачет еще выше, еще прыгнула, еще, и прямо к нему под молоток. А вон другая прыгнула и ошиблась: встречная струя сшибла ее, ударила о камень головой, огромная рыба упала в бучило и там завертелась, бессильная, по воле воды, с перевернутым брюхом.

Рыбу крутит вода, воду крутит черный трехголовый великан. А кто над великаном стоит? Зачем ходит месяц по небу, зачем звезды, зачем солнце? Что это они — так по желанию ходят, как говорит дедушка, или их тоже крутит великан какой-нибудь? И им так надо ходить, как говорит бабушка?

А вон и новая семга сверкает внизу и прыгает вверх. Ей надо пробиться из моря, из Нижнего Выга через падун в Выгозеро, а из озера в Верхний Выг на родину, на места икромета.

Значит, она не боится погибнуть: ей так надо.

И ей так хочется.

Ей до смерти хочется, а выходит: так надо.

Семга сверкнула, как искра огня, и мысль сверкнула у мальчика:

«Почему же у семги так выходит, что если ей до смерти хочется, то это же ей так и надо? А если бабушке что-нибудь хочется, то это грех, а надо бывает у нее, когда самой вовсе не хочется».

## IV. ТАБАШНИКИ

Старый друг Мироныча Михайло Потапыч с приездом своим хорошо подгадал. Пироги на столе далеко не успели остыть, когда показался на озере его карбас с одним парусом на прямую по́ветерь. По северному обычаю жёнка его сидела на веслах, а он, бородатый, правил и помогал ей кормовым веслом. Ловко обойдя Еловый островок, разделяющий натрое падение Выга, карбас остановился против дома Мироныча с восьмиконечным крестом и с князьком на крыше, подобным голове оленя с ветвистыми рогами. Гостя дорогого Мироныч усадил возле себя и, не видав его уже лет тридцать, стал рассказывать о себе и потчевать всем, что дает северному полеснику и ловцу богатая вода и таежный сузём.

— До веку мне остается немного,— говорил Мироныч,— не знаю, друг, доживу ли еще. Много ли тебе остается до веку, Михайло?

— Мне остается до веку,— ответил помор,— сколько у белого медведя зубов без одиннадцати.

— А сколько у медведя зубов? — спросил бойко Зуек, раздвигая обеими руками занавеску широко в обе стороны.

— Больно ты боек,— засмеялся Мироныч.— Есть кто тебя поматорей за столом, и тоже не знает, сколько у медведя зубов, а не смеет спросить. Вот придет время, отдам тебя Потапычу на выучку, пойдешь с ним на зверя, убьешь, и сосчитаешь, и узнаешь, сколько у него зубов.

— А не уладишь убить,— засмеялся Потапыч,— он у тебя сосчитает.

— Ну вот, зачем так,— поправил друга Мироныч,— годика через два найдем мы тут неподалеку берлогу, поставим парня против чела, и я скажу: «Ну-ка, Зуек, стар я становлюсь, память путается; скажи-ка мне, молодец, сколько у медведя зубов?»

Все засмеялись, все посмотрели на кудрявого мальчика с большими голубыми глазами. Осенью в заводях, когда небо чистое как будто немного мутнеет, прозрачная вода становится голубее неба и где-то в глубине сверкают золотые искорки солнца — такие глаза были у Зуйка.

Загляделся Мироныч в глаза любимого внука и, верно, в них себя самого увидал, когда он тоненьким ребятенком тоже такими глазами с острогой в руке выглядывал щук в синей заводи.

— Эх, Михайло,— сказал он раздумчиво, не спуская

глаз со своего внука,— был и я тоже молод и несмышлен и тоже спрашивал: и сколько у медведя зубов, и звезд на небе, и что это солнце, и что это месяц, и какая это книга нам с неба упала, и что в ней написано. Смотрю вот сейчас на внука, радуюсь ему, а сам вроде как бы отхожу... Эх, был конь, да заезжен! Но ум, Михайло, все мой! Моего ума держимся мы в семье. Родитель мой батюшка богато жил на Кижозере. Так вот он сказывал, родитель-батюшка, будто на камне середь озера узрил он, как водяной выгозерский с водяным кижозерским в карты играли. На другой день после этого случая вода в Кижозере стала убывать, и через три дня от всего озера осталась только дырка в земле: и рыба и вода ушли от нас, а вода в Выгозере заметно поднялась. Так и подумали на карты, что хозяин кижозерский хозяину выгозерскому в карты проиграл и воду и рыбу. Поросло наше озеро ольхой и частым осинником, человеку пройти только с топором. Пробовали жечь лес, камни ворочали, сйяли нивы. Да что говорить: возле океана живем; подует морянка, да ясень на небе, да три звезды — все вымерзнет, весь труд тяжелый пропал. Тут родитель мой батюшка говорит:

«Ну, Сергей, видно, правда кижозерский хозяин рыбу свою проиграл выгозерскому, и не вернется она к нам оттуда. Собирайся в поход: идем на поклон выгозерскому хозяину».

Так вот перебрались, и родитель-батюшка под самый конец мне сказал:

«Ум, Сергей, не бочонок с водой, не переставишь, не перельешь в чужую голову. Пока я жив — бери с меня пример. Живи примером, а свой ум береги».

— Вот я, Потапыч, с каких времен помню и ум свой берегу: моего ума держимся.

— Что уж! — сказал на эти слова койкинский зять.

— Да уж! — отозвался зять с выгозерского погоста.

— Мироныч, Мироныч! — оборвала вдруг разливистую речь старика Марья Мироновна.— Погляди-ка, что там за дымок на озере, будто вода загорелась и какой-то невиданный карбас без весел летит по воде: нет и паруса, а сзади дымок.

Все поглядели в окно, лодка неслась по воде против ветра, как птица.

— Моторная лодка,— сказал Потыпыч.— У нас в Поморье теперь это не диво. Только глядите, други, чует мое сердце, это неспроста, тут что-то есть.

— Это еще что! — отозвалась Марья Мироновна.— Вот поглядите, в Священном писании на летающего монаха указано, что в последние дни архиерей полетит на крылах.

Крупная моторная лодка между тем летела, росла, разрезая воду Выгозера расходящимся углом, подобным каравану гусей. Скоро она причалила к берегу как раз против дома Мироныча. Из лодки на берег вышел высокий молодой человек такого вида, какими тогда выходили из народа начальники: бритый, выдающийся вперед подбородок как будто стремительно влек всего человека вперед, а во лбу и глазах какая-то другая сила осаживала движение, и оттого ноги ступали рассчитанно, руки в плечах двигались сдержанно. Это был явно начальник, и четверо других ребят, более молодых, держались совершенно свободно, как будто всю заботу о каком-то важном деле взял на себя их начальник. С ними была еще молодая женщина в военной одежде, с наганом, в зюйдвестке, кавалерийских штанах, почти от мужчин не отличимая.

Начальник, выйдя на берег, стал сейчас же крутить себе папиросу, другие вынесли из лодки тяжелые котомки, один достал несколько пачек папирос, всех наделил, все закурили.

— Табашники! — сказала Марья Мироновна.— Только вышли на берег — и небо коптить!

— Да уж! — сказал один зять.

— Что уж! — ответил другой.

— А котомки,— молвил Мироныч,— видно, тяжелые: смотри, как засутулились: небольшие мешки, а тягость какая.

— Да, Мироныч,— молвил Потапыч,— я в Поморье на них насмотрелся. Чует сердце мое, это вам неспроста: пора кончать вам в своем соку вариться со своими сигами да с мошниками. Время везде переходит, вот и до вас дошло.

Вытащив лодку, табашники направились к лучшему дому в селе, к дому Мироныча с крепким крестом, высокой сосной и резным оленем на крыше.

Один из молодых табашников попробовал свою силу на нем, но большой восьмиконечный крест и не дрогнул.

— Крепко ставлено! — сказал этот табашник.

— На уж! — ответил, услыхав эти слова, один зять.

Посмотрев на прекрасного оленя, поставленного вместо князька,— он был вырезан весь из цельного куска дерева,— приезжие подивились.

— Коньки ставят,— сказал один,— чтобы князь не прел: это просто, а для чего трудился человек рабочий на такого оленя?

— Красота! — ответил другой.

— Что уж! — сказал зять в окне.— Понимают тоже, что есть красота.

— Батюшки мои,— вдруг воскликнула, вся переменяясь в лице, Марья Мироновна.— Да они, кажется, к нам идут!

— Понравился олень,— спокойно сказал Сергей Мироныч.

— Семушка,— крикнула Марья Мироновна на детский стол одному из приезжих внуков.— Семушка, скорей беги, скажи, как сумеешь: никого дома нет.

— Гораздо уж ты строга,— остановил ее Мироныч и махнул Семке рукой, чтоб сидел на месте и никуда не бежал.

— Табашники идут, слышишь ты, брат, табашники!

— Опять старая песня,— ответил Мироныч.— Теперь и хорошие-то люди курят табак, что с этим поделаешь! Не можем же мы всех заставить кровью своей кормить комаров, как делали наши отцы. И какая теперь людям от этого польза?

— Не польза,— ответила Марья Мироновна,— а пример. По хорошему примеру люди живут. Польза приходит сама собой. А если без примера будешь только за пользой гоняться — ничего не выйдет полезного. Сема, сейчас же беги!

Неизвестно, чем бы кончился для Семы спор двух упрямых стариков, только в это время застучали ноги по лестнице и твердый и сдержанный голос сказал:

— Разрешите войти, граждане!

## V. МАРЬЯ МОРЕВНА

Бывает, и в маленьких странах время обходит и щадит иные уголки до тех пор, пока не явится желание сохранить хоть один такой уголок неприкосновенным. Так бывает и в маленьких странах, а у нас, если обернуться лицом в прошлое, можно такое найти на нашей земле, что в других странах давно уже под землею.

Так обошла гражданская война Надвоицы, и все сохранилось здесь в народе, как будто жили все в одном доме, все

были свои и пуще всего боялись нового человека. В забытом краю пели былины о Владимире Красном Солнышке, молились по не исправленным Никоном книгам, и конца света ждала не только одна Марья Мироновна на Карельском острове.

Но время вспомнило забытый край, и к своим людям постучался с виду чужой человек...

Чужой человек вошел, и свои люди за столом глядят на него, как стадо животных домашних глядит на зверя иной породы и следит внимательно за всеми его движениями, за выражением лица и фигуры.

— Хлеб да соль! — приветствовал чужой человек.

— Милости просим! — отвечали свои люди.

Вслед за начальником вошел тот военный в зюйдвестке с наганом, и когда он тоже сказал: «Хлеб да соль!» — то все сразу по голосу узнали в нем женщину.

— Там за дверью четверо моих ребят,— сказал начальник,— мы приехали сюда по большому государственному делу, нуждаемся ненадолго в квартире: очень скоро мы выстроим тут свой городок.

— Государственному делу,— отвечал Мироныч,— мы с охотой готовы служить и хорошим людям всегда рады. Зовите ребят ваших к нашему хлебу и соли.

— Табашники! — возмущенно прошептала Мироновна.

Начальник это услыхал.

— Вы,— сказал он спокойно, обращаясь прямо к Мироновне,— не беспокойтесь: курить и сами не будем в избе, и за ребят отвечаю: не дыхнет никто табаком.

— Эх, сестра,— покачал головой Мироныч,— слыхала же ты: люди по большому государственному делу приехали, а ты со своим табаком заладила на всякого, как сорока про Якова! Зовите товарищей, присаживайтесь к столу, гости дорогие.

— Позовите ребят, товарищ Уланова,— распорядился начальник.

— Слушаю, товарищ Сутулов,— ответила по-военному женщина.

И, обернувшись, открыла дверь.

— Маша,— остановил ее начальник,— ты ребятам нашим скажи насчет табаку, как сейчас говорили: чтоб и духу не было.

— Слушаю, товарищ Сутулов,— ответила Уланова.

И скоро привела сидевших в ожидании на лавочке возле дома молодых людей, немного оробевших под общим раз-

глядыванием. Сутулов дельно высмотрел для них места за столом, усадил.

Уланова как будто сейчас только вдруг для всех открыла свои глаза, большие, карие и как бы одновременно печальные внутрь себя и веселые к людям. У русских людей это бывает, и у самой Мироновны раньше в молодости были такие глаза: сразу и печальные к себе и веселые к людям. С доброй внимательной улыбкой приезжая женщина оглядела всех, в одно мгновение запомнила и унесла все с собой, как уносит с собой все ей нужное налетающая на берег морская волна.

И Зуек с его удивленными большими глазами не остался незамеченным: волна, откатываясь, заметно на мгновение остановилась на нем и еще дольше остановилась на строгом красивом лице Марьи Мироновны. Отойдя в уголок, она там начала, стараясь быть незаметной, приводить себя в порядок и превращаться из морской волны и военного в женщину.

В крестьянских избах постоянно раздеваются и убираются на людях так, что все это видят и в то же время как будто и не замечают ничего, и Зуек тоже, как все, не таращил глаза в уголок, а все видел, все замечал про себя и что-то складывал у себя в голове.

Маша прежде всего сняла с себя загрязненную зюйдвестку, и каштановые волосы крупными золотистыми кольцами рассыпались вокруг лица и по плечам.

С того времени, как рассыпались волосы по плечам, Зуек стал себе складывать из Марии Улановой свою сказочную красавицу Марью Моревну. Так многие дети делают, так просто складывается целый мир свой собственный у каждого из нас в детстве, из обыкновенных, но еще не виданных вещей.

Приезжая женщина сняла с плеч свою котомку, вынула из нее сумочку кожаную, открыла ее, достала маленькое круглое зеркальце, привесила его на стене, зацепив за гвоздик. Зуек первый раз видел такое: это была хорошо ему знакомая Марья Моревна. Чудесным было только одно: как могла она из сказки выйти сюда.

Она достала бутылочку маленькую с пробкой стеклянной, обвязанной чем-то и затянутой ниточкой, чтобы не выскочила. Вынула чистый вчетверо сложенный белый платок с цветочками и частыми дырочками по краям и немного полила на него из бутылочки, и бутылочка сверкнула в солнечном луче, как алмазная, своею гранью, и только

коснулась, только слегка провела Маша платком по лицу — вдруг оказалось, что в бутылочке была *живая вода.*

Лицо Марьи Моревны стало цветистым, и по всей избе повеяло ароматом, как будто летом открыли окно, когда всюду цветут луга. Марья Моревна вынула из кожаной сумочки какую-то блестящую коробочку круглую, сняла с нее крышку, ваткой взяла белый порошок, покрыла им цветущее свое лицо, и оно стало, как небо в белых сквозных облаках на заре. Сложив обратно коробочку в кожаную сумку, она провела пальчиком по бровям — и они раскинулись, как крылья, когда птица спускается в воду. Потом она расстегнула военную куртку, и оттуда показалась кофточка, точно как бывает вечером на небе, розовая с голубым, и вся шашечками: одна к одной, розовая к голубой, голубая к синей и опять розовая. От шеи по этому вечернему небу спускается платочек с золотыми цветами. После этого красавица обернулась ко всем, села за стол, и сквозь улыбку глаза ее, и веселые, и печальные, и все понимающие, были как если бы на заре ко всему, что бывает прекрасного, еще вышли бы меж облак два человеческих глаза.

Так Зуек, создавая свою Марью Моревну, вспомнил, как однажды, после охотничьего трудного перехода с отцом, наконец-то под вечер темный лес разноцветными своими окошечками открыл вид на зарю, и так было хорошо на опушке, что и усталый отец остановился и стал вслух читать свои «Живые помощи». Он же, мальчик, стоял на месте, глядел на зарю и все чего-то ждал и ждал. Теперь он понял, что ждал тогда вот эти глаза, что этих глаз человеческих тогда не хватало в природе.

Так Зуек, поняв приезжую женщину как свою сказочную Марью Моревну, перевел глаза на Сутулова и стал вырезать по-своему из него своего Начальника. Он сразу же заметил, что бабушке Сутулов очень не нравится, и понял, что это у нее все за табак. А вот почему дедушке новый человек чем-то сразу понравился? И, раздумывая об этом, он стал понемногу выводить себе Начальника из дедушки, как вывел свою Марью Моревну из зари, облаков, леса и ароматного луга.

Он сразу заметил тоже, что Начальник держит и себя и ребят своих, как дедушка тоже всегда держит себя, и от этого все его слушаются. Дедушка как будто на чем-то стоит и что-то держит, и это нужно для всех: это для всех *надо.* Дедушка велит — и это надо, хотя самому то, может

быть, *хочется* и совсем другого. Вот и Начальник тоже, как дедушка, держит себя, как большой, а ребята его и большие, а все равно, как у дедушки, маленькие: они слушаются, они держат себя и таят что-то свое, чего им так хочется. Да, им теперь, конечно, хочется покурить, а надо удерживаться даже дышать табаком. Но это Зуек, конечно, по себе так догадывался о ребятах, они же все сидели, как связанные волей дедушки и Начальника, и виду никакого о своем желании покурить не подавали. Так из дедушки вырезал Зуек своего Начальника и стал внимательно слушать беседу, и слова, чуждые и непонятные, вроде *государственного дела,* переводить на свой детский язык. Так точно и умные зверушки внимательно смотрят на нас, и мы не всегда догадываемся, что по-своему они все понимают.

## VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Дав гостям хорошенько покушать, а самому за это время к ним приглядеться, Сергей Мироныч наконец решил спросить Сутулова:

— А по какому же делу вы приехали и для чего будете строить здесь городок?

— Приехали мы по государственному делу,— ответил Сутулов,— мы назначены прокладывать водный путь для больших морских кораблей, путь из Белого моря к Балтийскому. Надвоицы будут на этом водном пути одним из самых главных узлов.

— Ой ли! — воскликнул весело Мироныч.

И обернулся к жене:

— Ну, княгинюшка Евстолия Васильевна,— потчевай дорогих гостей, как только можешь,— слышишь, по какому большому делу к нам люди приехали.

И, обращаясь к своему другу помору, сказал:

— Я жену свою, Михайло, в большие праздники постоянно княгиней зову.

Евстолия Васильевна при этих словах быстро, второпях, стала что-то дожевывать, проглотив, встала, всем поклонилась и, несмотря на свой возраст, конфузливо закраснелась. Княгиня была тоненькая, сухонькая, а глаза большие, горящие и для всех приветливо светились в том смысле, что если все обиды снять с людей, то будут все хороши, а праздник затем и праздник, чтобы люди обиды свои все до́ма оставили.

— Кушайте, дорогие гости, бесёдуйте! — кланялась хозяйка.

И все гости, слушая ласковые искренние слова, кушая, чувствовали, будто входят в большую семью и к ней как-то присоединяются.

Зуек в это время не сводил глаз с Сутулова. Он очень хорошо понял по дедушке, что начальник о своем государственном деле сказал страшно большие слова и что дедушка сплутовал: услыхав эти слова, чтобы получше их понять про себя, он завел речь про княгинюшку. Такое Зуек все хорошо понимал: дедушка неспроста угощает гостей.

— Да, друг мой,— говорил опять Сергей Мироныч помору,— люба ли тебе княгиня моя? Ну, а мне в свое время гораздо она полюбилась. Какое время было, какими примерами жили! Старики-то наши тогда все о царствии небесном думали и плоть свою морили: бывало, слепням-комарам и всякому гнусу лесному спины свои подставляли. Понимали отцы — царствие будет там, а не здесь, на земле. За грех считали даже в бане хорошенько попариться: чем трудней, мол, здесь, тем легче там будет. Только временную жизнь устраивали здесь отцы, а нынешняя молодежь: давай хоро́м, коня да дом! Вы-то как, гости дорогие, об этом думаете?

— Мы думаем,— ответил серьезно, не улыбаясь, очень властно и твердо Сутулов,— жизнь надо устраивать на земле хорошо и прочно. Так ли я говорю, товарищ Уланова? — сказал он, не улыбаясь, а только смягчая голос.

— Где же устраивать жизнь, как не на земле? — ответила Уланова.— Будем устраивать здесь, а на небе все само собой устроится.

И вдруг, увидав Зуйка, глядевшего на нее во все свои голубые глаза, как на зарю, улыбнулась ему.

— Тебя как зовут, милый мальчик? — спросила она.

— Зуйком,— ответил тот просто.

— Что за имя такое? — засмеялась Уланова.

— Имя его простое,— ответил, улыбаясь, Сергей Мироныч, как старые хозяева улыбаются чему-нибудь своему доброму и маленькому,— имя его Олешенька.

— А Зуек?

— Это мы, рыбаки, так зовем: когда ловим сетями наживку, так маленькие чайки у нас, самые маленькие, проворные, ловкие, хорошенькие, между нами летают и на-

живку только что из самых рук не хватают. Вот мы и Олешеньку так с малолетства все: Зуек и Зуек.

— Вот, Зуек милый, будь у нас и вправду с тобой крылышки, мы с тобой бы и полетели на небо.

Тогда наконец осмелился сказать и один из ребят:

- Лететь можно и на самолете, за этим дело не стало.

— На самолете туда не долетишь,— ответила Маша.

— Бензину не хватит! — весело и сочувственно подал свой хозяйский голос Мироныч.

— Нет, я не про то,— серьезно сказала Уланова,— у нас у всех есть свои крылышки, мы так и родимся с ними, и все бы летали на своих крылышках, да вот почему-то нам их обламывают. Я к тому говорю, что жизнь наша коротка и так, а мы еще ее укорачиваем и заставляем себя делать не то, для чего мы родились, не то, что нам самим хочется...

Зуек про себя прошептал:

— По желанию...

— Как же так, деточка,— ответил Мироныч,— по-твоему выходит: как кому захочется, так и живи. Нас отцы учили жить не как самим хочется, а как надо жить.

— Правильно учили отцы,— ответила Уланова,— я не против этого говорю: лично себе-то мало ли чего захочется. Я, конечно, все это отбрасываю и стараюсь делать не как мне самой хочется. Но тоже по себе знаю: если что-нибудь мне до смерти захочется и я так поступлю, то это и будет непременно как надо.

— До смерти захочется,— шептал про себя Зуек, вспоминая, как он то же самое думал о семге, прыгающей через падун на места гнездования: семге до смерти хочется туда пробиться, и у нее выходит как надо́.

Маша Уланова раскраснелась, и заметно по всему, образованная женщина она была, а говорила среди простых людей так просто и почтительно, как будто это было общество людей самого высокого круга. Сергей Мироныч это очень хорошо понимал и, подумав о ее словах, в увлечении принял их в таком смысле: до смерти захотеть, все поставить на карту — и тогда у каждого выйдет как надо.

— Ну и голова! — с восхищением воскликнул Мироныч.— Такая была царица... как только ее звали, забыл: такая мудрая царица пришла к царю Соломону...

— Царица Савская,— подсказала Уланова.

— Ну и голова! — повторил Мироныч.— А ежели ты, царица, такая прыткая, то какой же должен быть у тебя Соломон!

— Саша,— сказала она, поглядев на Сутулова,— мне что-то стыдно становится такие похвалы получать. Не заслужила я.

— Мне тоже кажется,— с улыбкой ответил Сутулов,— не заслужила и рассуждаешь неверно. Мало ли что другому захочется.

— Я сказала: до смерти...

— Ну что ж, пусть другому до смерти захочется кроить людям черепа, так за то только, что он рискует, и подставлять свою голову? Нет, товарищ Уланова, это не выход для всех.

— Так разве я о всех говорю? Я о себе.

— Нет, Машенька,— согласился Мироныч,— это не выход.

— На уж! — сказал один зять.

— Что уж! — ответил другой.

— Неверно! — повторил Сутулов.— Человеку мало хотеть до смерти, ему еще нужен верный план, чтобы делать как надо. Все животные дикие живут, как им хочется, и жизнью своею постоянно рискуют: своими глазами видел, как семга прыгает по камням через падун и разбивается.

Зуек слышно вскрикнул «а!» от удивления, и Уланова пристально на него поглядела. А Сутулов продолжал:

— Человек тем и отличается от животного, что ему мало жить по желанию: человеку нужен еще верный план.

— Соломон, Соломон! Настоящий царь Соломон! — воскликнул восхищенный словами Сутулова Сергей Мироныч.— План должен быть у человека, план первее всего. Лонись [1] мы вот тоже с сестрой спорили, я вот, тоже, хватил было по желанию, а она мне говорит: надо план, надо по плану жить, как отцы наши и деды жили: жить по Священному писанию.

— Неверно,— перебил старика Сутулов.— В этом Писании план определен на жизнь небесную: тут, на земле, как-нибудь с жуликами, а там, на небе, будут ангелы и архангелы. У нас, дедушка, план должен быть один-единственный и на земную жизнь.

— А как же на небе? — спросил Мироныч.

— Это нас не касается,— ответил сухо Сутулов.

И нахмурился.

— Я сам,— сказал, подумав. Сутулов,— вышел из старообрядцев.

---

[1] Лонись — значит намедни.

— Какого же согласия? — почтительно спросил Мироныч.

— Никакого согласия: деды были, как и вы, поморского согласия, а отцы называли себя «немоляками».

— А вы как?

— Безбожники! — решительно и громко сказала Марья Мироновна.

На минуту все смешались и замолчали. Стало неловко, но вдруг Уланова, улыбаясь веселыми глазами, сказала:

— Нет, какие же это безбожники, бабушка? Ты только получше к ним приглядись: добрые ребята и никакие не безбожники. А вот знаешь, Сергей Мироныч,— обернулась она к старику,— хочешь, я сейчас тебе скажу, кто они?

— Ну, скажи, скажи, Машенька!

— Вот и скажу: не безбожники они, а просто табашники, хорошие люди.

От веселого слова куда что девалось. Веселое слово пришло, как солнечный луч. Мироныч понимающим взглядом поглядел на Уланову и даже успел ей подмигнуть.

— Конечно, табашники,— засмеялся он.— Говорят, что жизнь новую хотят устроить на земле лучше небесной, а самим покурить до смерти хочется. Ну, ребята, потерпите немного, у меня есть клеть, ветерком вся подбитая, там и покурить будет можно. А сейчас пришло время, скажите нам, по какому же государственному делу вы к нам приехали?

— Я же вам уже сказал,— ответил Сутулов,— мы приехали к вам строить водный путь из Белого моря в Балтийское.

— Я не про то, что водный путь,— сказал Мироныч,— это я слышал,— а вот как же строить его: наше озеро неглубокое.

— Мы запрем ваш падун.

— Падун запереть?!

— Запрем падун. Вода подымется, и озеро станет глубоким, и по нем пойдут морские корабли.

— Сколько дней в году,— сказал Мироныч,— столько на озере островов, и на них на всех есть пожни, есть нивы, деревни, люди живут. Что вы с людьми делать будете?

— Мы за большое дело взялись: лес рубят — щепки летят. Но все-таки мы не бросим этих людей. В три раза разольется озеро, старые острова будут залиты, новые объявятся, и новые станут берега, и старые звери придут

напиться новой воды. Вот мы туда с островов и переселим людей.

— Новые берега! Мы новых мест не боимся. Солнышко и туда будет заглядывать, путь этот из моря в море старинный, царь Петр шел этим путем: Осударева дорога и сейчас видна. Но только, ребятушки, никому не говорите, что можно падун запереть: смеяться будут.

Мироныч это беззлобно сказал, Сутулов с улыбкой еле заметной отстранился от спора. Потом гости сытые встали вслед за начальником, поблагодарили хозяев. Их уговаривали еще посидеть, побеседовать,— нет! им надо чуть-чуть отдохнуть — и за работу. Их уговаривали еще покушать словами: «Хлеб на хлеб валится»,— нет! больше они не могли и ушли на другую половину, где отвели им квартиру и указали ту клеть, где можно будет и покурить.

Пока возились с гостями, пока устраивали их, пока выходили свои кто куда, кто зачем, и даже сама Евстолия Васильевна и Сергей Мироныч что-то свое вспомнили и вышли, Зуек все лежал, все о чем-то крепко думал и не выпускал из виду перемен в обстановке за столом: чего-то напряженно ждал.

И случилось, на одну короткую минуту комната совсем опустела.

Этого, оказалось, Зуек только и ждал. В один миг он окинул глазами все уголки и уверился: нигде никого не было. Тогда он быстро выскочил в одной рубашонке из-под полога, бросился к стене, где висело забытое круглое зеркальце, схватил его и, наверно, из последних силенок скачками, как заяц, вернулся в свою норку.

Зеркало было и свое в доме Сергея Мироныча, и в нем каждый мог видеть себя в изуродованном виде и думать об этом уроде: «Это я сам». Но Зуек был уверен, и затем он и украл это зеркальце, что в нем не себя он увидит потом, а красавицу Марью Моревну.

Спрятав зеркальце, Зуек крепко взялся за мысль свою о начальнике. Сравнивая начальника в дедушке с этим новым молодым начальником, он с жаром стал на сторону молодого и даже ясно увидел, что́ именно привлекает его в молодом. Дедушка всегда с людьми хитрит и виляет, как будто нарочно путает глупых и так заставляет их делать все непременно по-своему. А новый начальник обращается прямо и приказывает, как имеющий власть.

— Вот себе бы так,— сказал Зуек и крепко задумался об этом: как бы и себе тоже выйти в такие начальники.

Мало-помалу все, кроме приезжих, вернулись к столу и заняли свои прежние места.

Потапыч, приглушив голос, спросил:

— Где у вас клеть-то?

И, увидев по качанию головой, что далеко и отсюда туда ничего не слышно, сказал:

— Жили вы тут в забытом краю, спали вы тут, как тюлени на солнышке, но помните, детушки, время вас углядело. Теперь всех оно вас переберет по косточкам, как и в других местах. Доехало, доехало и до вас...

Мироныч как будто немного смутился.

— Вот дело-то какое, государственное,— сказал он.— Хотят падун запереть.

И засмеялся недобрым смехом, повторяя:

— Запереть, запереть...

А зятья за ним повторяли:

— Да уж, запереть!

— Что уж, так взяли, да и заперли!

## VII. КРЕСТ И ПРОВОЛОКА

Две уточки, вытянув свои длинные шеи, летели вперед, как две пущенные сильной рукой стрелы, и одна из них попала на проволоку. К ногам старика в длинном староверском кафтане упала первая жертва строительства — дикая утка без головы.

Лицо старика передернулось злобой: в дикой уточке он нашел предлог отвести свою душу в сторону от нового времени и от всего, что оно с собою приносит.

Да это и Мироновна еще постоянно нам говорила, что под конец проволоки опутают весь белый свет и мы все в этих проволоках запутаемся, как мухи в паутинных сетях.

Пришло время, и во всех направлениях потянулись черные нити, по столбам, по деревьям, по кустарникам, а местами и прямо по самой земле, и даже кресты на староверском кладбище приняли на себя это дело Антихриста.

Вот и задумался тот старец в длинном кафтане.

— Пожалуй, так,— сказал он,— и в могиле не будет покоя человеку: проволока найдет нас и там.

Покачал старец головой над убитой уточкой, что-то еще прошептал про себя невнятное, а уточку все-таки не бросил и взял ее, ничего не сказав, но про себя, конечно, подумал: «Дома годится».

Так оно все пошло и пошло: с одной стороны, все никуда не годится, свет кончается, а с другой стороны — всем от строительства что-нибудь и перепадает, и нельзя это бросить, и все это годится там, где свет не кончается, а только-только вот начинается, и это место у всех называется *домом,* и так каждый что-нибудь от строительства тащит домой, и так — свет не кончается.

Старый Мироныч рассуждал, конечно, заодно со своими единоверцами, особенно когда в праздники проводил время свое за столом, за беседою. Но как только он брался за дело какое-нибудь, тут у него все рассуждения расходились как туман, и если кто-нибудь вмешивался в его дело с божественными словами, лукаво прищуривался и в раздумье сгребал обеими руками в один ком свою седую бородищу.

Так вот, было однажды, Сутулов попросил у него разрешение повесить проволоку на большой крест перед домом. Мироныч поглядел на него — не пьян ли парень?

— Видите ли,— сказал серьезно и разумно Сутулов,— то бы надо крышу сверлить и потолок, а с креста можно прямо в окошко.

— Вот как! — весело засмеялся Мироныч.— Это как галка? Сядет на крест, оставит на нем свое белое пятно, а дождичек потом смоет — и нет греха. Но, милый мой, мы же с тобою не галки, с нас же ведь спросится.

И, захватив в обе ладони свою бородищу, открыл рот, как дурачок, голову свою запрокинул назад, все еще голубые глаза свои прищурил, и, холодные, как две шпаги, вонзил их в глаза Сутулова, и спросил его:

— А ты думаешь, паренек, что, может быть, и не спросится?

Сутулов, спокойно разглядывая, как бы изучая опрокинутого человечка в зрачке Мироныча, выдержал взгляд его и помолчал.

Мироныч бросил бороду, руки поставил в боки и, смеясь одними щеками, еще раз спросил:

— А может быть, и ничего не будет, все пройдет как-нибудь мимо нас без ответа?

Сутулов и тут выдержал и уже совсем серьезно, как должен один умный человек с таким же другим говорить, сказал:

— Сергей Мироныч, не доказывайте мне свой ум своим способом: я без того знаю, что вы умный человек, и очень вас уважаю. Вы поймите, мы отсюда должны разговаривать по телефону с Медвежьей Горой, а Гора стоит на прямом

проводе с Москвой. У нас большое дело, и я с вами в государственном смысле говорю, вы же смеетесь: говорите про галку.

— Ну, ну, сынок, не серчай,— потрепал Мироныч по плечу Сутулова.— За столом сидишь — все так ясно, а жизнь — это веревочка запутанная, найдешь кончик, схватишь, думаешь — вот нашел кончик, а потом окажется: это не кончик, а хвостик. Дела-то у вас торопливые, важные: понимаю, что крест от проволоки не пострадает, вы же снимете скоро?

— Вот как только придет первый транспорт с каналоармейцами, пустим их в лес, наделаем телеграфных столбов, и крест ваш освободим, и ничего ему от этого не сделается.

— Понятно, не сделается,— ответил Мироныч,— греха тут, правда, большого не будет... Валите, ребята!

Случилось, как раз в это время Мироновна заготовляла березовый лист для зимнего корма коров и, когда возвращалась, нагруженная вениками с листобросницы, увидела оскорбительную для древнего благочестия картину: внизу с огромным мотком проклятой проволоки стоит Сутулов, а вверху на кресте сидит мальчишка, подтягивает на себя проволоку и, опутывая ею верхнюю перекладинку на кресте, кончик старается просунуть в дырочку на оконной раме.

Старуха так и замерла на месте, пораженная ужасным видением.

— Погодите, ребята,— вдруг закричал снизу Мироныч, не замечая неподалеку стоящей сестры,— так у вас ничего не выйдет. Вот я сейчас вилы подставлю, понимаешь?

— Понимаю,— ответил паренек.

И, опираясь рукой на подставленные вилы, в один мах, как обезьянка, перескочил с креста на подоконник.

Тут-то вот только пришла в себя от оцепенения Марья Мироновна, бросилась вперед, схватила за рукав Мироныча, быстро отвела его в сторону к стене.

— Это что же,— сказала она,— они тебя заставляют крест обматывать проволокой?

— Никто меня не заставляет,— ответил Сергей Мироныч,— делают с моего разрешения. Ты должна понять, тут все делается не против нас, а в большом государственном смысле.

И опять тоже, как с Сутуловым, бородищу свою забрал в обе руки и сквозь смех уставился холодными глазами, как шпагами, в душу Мироновны.

Она знала этот взгляд с малолетства и против него имела тоже свой собственный взгляд: обычная материнская скорбь на лице мирской няни тогда вдруг оставляла ее, и глаза становились беспощадными и грозными.

— Скоро,— сказала она с ненавистью и презрением,— они нос твой красный проволокой своей черной обмотают, а ты все будешь бормотать, как тетерев-петух, о своих государственных смыслах. Ну же, петух, прощай, зажилась я у тебя, забыла, о чем человеку никогда нельзя забывать. Прости, господи!

И, увидев неподалеку Зуйка, поманила его, прижала к себе, обливаясь слезами, будто навеки с ним расстается.

Мирская няня так много-много растеряла в миру спасенных ею детей.

— Прощай, прощай, деточка,— причитала она, постепенно переходя из этой памяти в ту, где не плачут больше и не смеются, не женятся и замуж не выходят и не родят больше детей.

Закрыв лицо руками, не прощаясь ни с кем, она прямо направилась к берегу, к забытому своему черному карбасу с белым черепом на двух скрещенных костях.

## VIII. ЦАРИЦА САВСКАЯ

Мария Уланова стояла у окошечка против креста, все видела: и как пришла Марья Мироновна с листобросницы, и как она отвела старика к окошку, и слышала весь разговор. Когда же разгневанная Марья Мироновна пошла к берегу, Сергей Мироныч увидел в окошке Уланову и бросился к ней:

— Машенька, поди-ка скорей, уломай старуху, хорошая она, только вся живет в сарафане прошлого века. И как заберет это себе в голову, что свет кончается, так ей вынь да положь, чтобы сейчас он ей и кончился. Считаю, прыть эта у нее от гордости: была она у нас в молодости красавицей молодицей, первой краснопевкой на селе, а тут муж у ней возьми да и утони, да еще, как на грех, вскорости сыночек ее единственный годовалый помер, вот с тех пор она и стала такая: никакого нет у нее нашего хозяйства, живет у себя на Карельском острове вроде попа, ей все тащат, она и мнит — не здесь, так там, на том свете возьму я свое. Теперь на проволоку обижается, а смысла государствен-

ного понять никак не может. Поговори с ней, может быть, и отойдет. Я считаю, у ней это...

И показал пальцем на лоб.

Уланова, быстро выйдя из дома, догнала Марью Мироновну с Зуйком у самого озера, там, где падун, трехголовый великан, неустанно день и ночь крутит и бьет наказанную воду.

День был солнечный, над белой бездной в брызгах сияла радуга. Марья Мироновна не слышала гула падуна, не видела радуги над хаосом бездны. Она стояла на камне, и этот камень был ей теперь всем, что оставалось ей от земли и природы. Один шаг только с этого камня — и черный гроб с белым черепом увезет ее.

В это время подошла Уланова, обняла Мироновну и, как это умеют делать только женщины, в один миг нащупала в себе свое пережитое горе, в нем узнала, как в зеркале, горе Марьи Мироновны. Увидев перед собою живые печальные глаза, услыхав этот нежный певучий голос, каким у паозеров говорят только на могилах живые люди с только что умершими любимыми мужьями, женами или деточками, старуха опомнилась. И мало-помалу стала выходить из той памяти своей о конце мира, Страшном суде и возвращаться к общему нашему чувству радости жизни здесь, на земле.

---

— Родная моя,— сердечным голосом сказала она.— Рассуди нас, разумница, пойми, как это можно терпеть: святой божий крест опутали чертовой проволокой, и кто попустил! родной брат — старик, у кого я живу.

— Что тебе старик,— загадочно и спокойно сказала Уланова.— Ты погляди, какого сыночка своего ты бросаешь. Зуек! проси бабушку, чтоб не уезжала.

Зуек удивленные свои глаза медленно перевел на бабушку и ничего не сказал.

— На что я ему теперь, старая? — ответила Марья Мироновна.— У него теперь есть наставница, молодая, красавица, умница. Ну, дай я еще обниму тебя, Машенька.

И чтобы не сразу сдаться, сослалась на ногу и поясницу.

— Видно,— сказала она,— перед погодой скрутило: вот как скрутило, едва разогнуться могу.

— А ты сядь,— обрадовалась Маша,— посидим-побеседуем.

— Давай побеседуем,— охотно согласилась старуха.

И, отойдя по берегу в сторону падуна, они сели на большое, выброшенное водою бревно, хорошо обсохшее на солнышке. Зуек сел возле на камень, слушая знакомый с малолетства разговор воды с камнями, и этот разговор старой бабушки с красавицей своей Марьей Моревной.

Хорошо помня слова Мироныча о том, что чаяние близкого конца света у сестры, может быть, вырастает от гордости и властолюбия, Уланова так и начала разговор:

— Бабушка, вот ты хочешь уйти от нас и, как я слышала, даже лечь в гроб и ожидать светопреставления и Страшного суда. Не гордость ли это в тебе говорит? Тут тебе не за что ухватиться, а там на небе новая жизнь начнется. И теперь, собираясь туда, хочешь с собою весь свет увести. Скорее всего это от гордости.

— Ну, вот еще, надумала,— ответила Марья Мироновна без всякой обиды.— И что ты в этих наших делах понимать-то можешь! Это брат тебе наговорил: он часто меня попрекает гордостью и любоначалием. Гордость, милая, и любоначалие от дьявола. Я же верую в бога истинного и не для себя ищу власти. Слабость в людях началась, от слабости вражда, болезни...

Как только Зуек услыхал теперь от бабушки о слабости, так уж знал вперед — она непременно станет рассказывать о венике, как он плыл по реке вниз и сманивал пустынников в баню париться к верхнему жителю и как потом пустынники силу свою направили, чтобы им легче жить, а для чего живут — забыли. А царь Петр, увидав их слабость, назначил им отливать пушки, и они кончились, а слабость между людьми все росла и росла.

— Что ты, милая,— говорила Марья Мироновна,— какая во мне гордость, и мне ли браться за власть над этими людьми. Вот, слышишь, падун шумит — сколько в нем, погляди, разных струек, и всякая струйка, сшибаясь с другой, имеет свой говорок, а падун все один, крутит воду, бросает. Так и человек тоже, собирается как один, что-то делает, а эта слабость к тому приводит, что каждый о себе только помышляет, будто он один для себя живет и все для него.

— Бабушка,— воскликнула Уланова,— да разве эта слабость только у вас тут на Выгозере? Эта зараза весь свет охватила, вот я вам о себе сейчас расскажу, вы поймете.

И тут Зуек услыхал такое, о чем старшие говорят между

собою, не стесняясь детей, думая, что дети такого ничего не понимают, но это неправда: дети понимают, только по-своему. И Зуек тоже из рассказа своей красавицы Марьи Моревны делал свою собственную сказку о каком-то Степане, охваченном слабостью к Зеленому Змию. Змий тот высасывал его силушку, и Степан, бессильный, много делал из-за этого зла. Но Марья Моревна не пожалела и сама рассказала товарищам всю правду о Степане.

— И какого человека Змий погубил! Ах, бабушка,— воскликнула Маша Уланова,— какой это был человек!

— Ну, где ж теперь друг-то твой, жив ли?

— Доходят слухи, жив. Да я не слушаю. Думаешь, легко мне было оторвать от себя человека? Признаться, я не от слабости его бежала, а что он из-за этой слабости стал злейшим врагом нашего дела. Ох, трудно, трудно, бабушка, все сказать. Но скажу: я сама должна была любимого человека от себя оторвать.

И тут Зуек понял, что его Марья Моревна вышла сильней даже Ивана-царевича из сказки: Иван-царевич разжалобился и дал напиться Кащею Бессмертному, когда тот окован сидел. Кащей напился и разорвал цепи, как веревочку.

А Мироновна, старуха,— нужно же так! — тоже вроде Зуйка обрадовалась:

— Вот, вот, умница, правильно ты поступила: не мир с такими людьми, а меч. Я из-за того только вот и теперь брата родного бросаю.

Тут Маша с досадой сообразила, что палочку свою она перегнула. Надо было дело как-то поправлять...

— Ну что ж, признайся, до конца ты вырвала слугу Змия из памяти? — продолжала между тем расспросы Мироновна.

— Как сказать... Вырвала? Я у всех на глазах работаю, и на работе все видят меня впереди. Но возьмите, к примеру, пчелу. Она летит на каждый цветок за медом. Понимаете?

— Ну, понимаю.

— Так вот я тоже пчела, лечу на каждый цветок, все думаю: не он ли? Остановлюсь и не лечу дальше: меня встречают только пустые цветы.

— И тебе нет утешения?

— Не могу, бабушка, утешиться, как иные женщины. Мне нужен не утешитель, а сам мой единственный, настоящий человек. И нету его после Степана...

Уланова остановилась на минутку и молча глядела в сторону падающей воды, как будто там в белой пене что-то видела.

— Ты думаешь, бабушка,— сказала она,— ты одна мучаешься слабостью человеческой, тебе одной только хочется, чтобы люди становились душа к душе? Ты не одна такая, и я не одна, а удар должен быть один.

— Вы — безбожники! — вздохнула, недоверчиво покосясь на Машу, старуха и поджала сухой рот.

— А ты на это не гляди — нам это твое, как бы тебе сказать? — не с руки: мы на человека в упор смотрим, мы собираем человека из простых, обыкновенных трудовых людей, собираем и куем в своей кузнице. Глядишь, может быть, и перекуем человека. Нет, бабушка, мы тоже этим болеем. Мы хотим собрать воедино всего человека, чтобы каждый жил не для себя одного, а вот как листики на дереве: ни один листик на всем дереве не сложится с другим, а каждый работает по-своему на все дерево. Каждый на всех, и все на каждого.

— Как же это вы сделаете?

— Само к этому идет, во всем мире идет, а мы помогаем. Ты о конце думаешь, а мы о начале. Тебе кончается свет, а нам начинается.

— Ага! — подал неожиданно голос Зуек, и обе женщины удивленно к нему обернулись: про Зуйка-то они и забыли.

— Ты это чего? — спросила Уланова.

Зуек обернулся к бабушке и ей тоже сказал:

— Ага! — и энергично мотнул сверху вниз головой.

Обе женщины засмеялись, и старая и молодая. И Уланова сказала:

— Так-то вот мы часто говорим при детях, думаем, они ничего не понимают.

— Все, все они по-своему понимают,— ответила Мироновна, приходя в доброе расположение духа.— Вы, деточка,— сказала она Улановой,— так я понимаю, тоже людям хотите добра, только все-то у вас проволоки и табак.

— Не все же у нас табашники,— лукаво улыбнулась Уланова.— Вот я никогда не курила.

— Боже сохрани!

И опять с той же лукавой улыбкой, как мать ребенку своему, Уланова сказала:

— Вы что-то, бабушка, о ломоте своей в пояснице говорили. А у меня от этого мазь есть. Натрем с вами на

ночь — и как рукой снимет. Пойдемте со мной, я помогу. Хорошая мазь!

— Разве что мазь...— ответила Мироновна.

И с трудом стала подниматься с бревна.

---

Сергей Мироныч немного боялся сестры и *остужаться* с ней не хотел. Наблюдал он ее теперь незаметно во время своей работы. Поглядывал в ту сторону, где беседовала с ней Уланова, с некоторым беспокойством ждал исхода этой борьбы: уедет старуха на своем карбасе или вернется́ домой? И когда Мироновна поднялась с бревна и все направились с веселыми лицами домой, сам очень повеселел и сказал:

— Уговорила! Ну и Машенька! Истинная царица Савская. Дай бог ей царя Соломона.

В простоте мужской рано успокоился старый Мироныч добрым исходом ссоры со своей упрямой сестрой. Но не так-то проста была тропинка женской души. Вон она, тропинка в северном лесу: там вильнула от упавшего на путь ветродуйного дерева, там мочежинку обходит, пенья, колодья, болотные заросли и всякие лесные заглушины. Тоже так и Марья Мироновна. Она искренно поддалась на слова Улановой о борьбе со слабостью человеческой, и по этой мысленной тропинке она охотно пошла на прямую, чтобы под предлогом строительства канала собирать человека. Ей вспомнилось то время, когда она потеряла мужа и сына и сама как бы вышла тогда из себя и стала людям служить... Так она и Машу теперь понимала, что потеряла она любимого человека и тоже работает на пользу всего человека.

— Какая хорошая,— сказала про себя бабушка,— молодая, красивая, умница, не может быть с ней этого, чтобы всю жизнь летала, как пчела, на пустые цветы. Бог пошлет ей хорошего человека. А кто знает, может быть, и сам Степан к ней вернется...

И вот тут ее тропинка повернула в сторону. Ей подумалось остро и больно не за себя одну, а за всех, кого она проводила на тот свет, по ком она столько лет вопила: к этим людям никогда не вернется больше их Степан, и им не за что ухватиться на земле, и им нет утешения, и каждого это ждет, и потому нет и не может быть на земле утешения.

Дома Мироновна не показала никаких следов душевной

тревоги. Все подумали, будто Маша успокоила разгневанную бабушку и она по-старому будет жить с ними. Мироновна усердно помогала мыть посуду, убирать горшки на места, сама замесила даже и тесто и задала корм скотине. А когда все уснули, долго на коленях молилась перед старинными образами.

Когда в избе все стихло, бабушка поднялась с пола, оглядела все, уверилась — все спят. Потом долго крестила спящего Зуйка, что-то шептала старыми губами, унимая бегущие слезы.

Нащупав в сенях весло, она вышла из дому.

Была светлая северная майская ночь. На небе, цветущем всеми цветами, черными силуэтами вырезались на холме тесные высокие ели староверского кладбища. Числа нет покойникам, сколько свезли староверы под рев падуна своих людей и зарыли в песок. С тех пор как начали возить, сосны сменились елками на песчаном холме и новые деревья стали старыми. И сколько с могил свалилось деревянных восьмиконечных крестов! Сколько на их место поставили новых! И сколько косточек человеческих перемешалось в равнодушном песке!

Вот теперь, светлой ночью, старец в длинном староверском кафтане с удивлением и ужасом всматривается и видит на земле необычайное множество темных нитей. На столбах, на деревьях, на кустарниках, на самых крестах кое-где раскинута эта страшная ткань.

И что это? Как будто сама смерть в длинной черной одежде с веслом в руке подходит к берегу, садится в свою черную лодку с белыми крестами.

И смотрят на нее в оцепенении светлой ночью и только ничего не могут сказать высокие черные камни, и сосны, и ели, и между деревьями старик в черном кафтане.

А смерть все плывет и плывет, и за ней остаются на воде два бесконечных крыла: одно от зари красное и голубое от неба с другой стороны.

Так уплыла к себе на Карельский остров Марья Мироновна.

## IX. ПРИКАЗ С МЕДВЕЖЬЕЙ ГОРЫ

Напрасно обижались староверы на проволоку, ничем она не была виновата, она честно служила человеку и несла его слово по назначению туда, где люди вступили в борьбу за свое лучшее с природой на Севере.

Железная проволока, перебегая от столба к столбу берегом широкой Невы, обогнула все Ладожское озеро; пересекая реки, болота, леса, поднялась вверх на Масельгский хребет,— водораздел морей Балтийского и Белого. Обошла все Выгозеро и в Надвоицах нырнула в дырочку над окном дома, снятого под контору строительства Беломорско-Балтийского канала.

Зазвенел телефон, из смежной комнаты вышла Уланова в рыжей с плешинками куртке, видавшей всякие виды. Из передней на звонок прибежал тоже и курьер Зуек, проживавший теперь здесь при конторе.

Уланова записала приказ от Медвежьей горы: «В Надвоицы направляется транспорт каналоармейцев. Принять завтра первую тысячу. Бросьте их в лес».

Когда Уланова записала, Зуек вопросительно посмотрел на нее, умышленно сделав располагающую к ответу рожицу.

— Это приказ,— ответила Уланова на молчаливый вопрос.

— А кто приказал?

— Медвежья Гора.

Зуек раздумчиво помолчал. Уланова переписала приказ и с большим волнением сказала вслух:

— Сразу, и тысячу человек!

Услыхав восклицание, Зуек осмелился спросить:

— Как это может гора приказать?

— Глупенький,— улыбнулась, несмотря на все свое волнение, Уланова,— на Медвежьей горе стоит Управление строительства всего канала. Там живет главный начальник, имеющий власть нам приказать принять тысячу рабочих.

— Имеющий власть,— повторил Зуек,— живет всегда на Медвежьей горе?

— Нет,— смешалась немного Уланова,— имеющий власть — это все мы. Власть исходит от всех нас, а на Медвежьей горе живут просто начальники, такие же, как и мы, только постарше.

— Непонятно мне,— ответил Зуек,— скажи, что это власть?

— Этого нельзя объяснить.

— Жалко, а все-таки попробуй, может быть, я и пойму. Дедушка у нас самый умный, а говорил постоянно: я могу все понять, как большой. Хочешь, я всю былину про Илью Муромца на память скажу!

— Нет у нас сейчас для болтовни времени,— строго сказала Уланова,— приказываю тебе: беги со всех ног к Сутулову и передай ему этот приказ. Довольно болтать: я приказываю — ты исполняешь: власть моя.

— Понял,— радостно воскликнул Зуек,— Медвежья гора тебе приказала, и от нее власть к тебе перешла; ты мне приказала — и я побегу приказывать Сутулову: теперь власть моя!

Уланова засмеялась, покраснела, глаза ее сверкнули живым огнем, и она опять даже и в своей плешивой куртке стала похожа на ту красавицу, какой спрятал ее Зуек в своем украденном волшебном зеркальце.

— Нет, нет,— засмеялась она,— я ошиблась: власть не моя, не твоя: мы с тобой, как столбы с проволокой, и власть бежит от меня к тебе, как по столбам электричество.

— А что это — электричество?

— Погоди немного, мы скоро откроем школу, и я тебе там объясню: тебе уже давно учиться в школе надо. А теперь ты курьер и немедленно, сломя голову мчись с приказом к Сутулову.

Когда Сутулов явился в контору, Уланова, очень взволнованная, бросилась к нему навстречу.

— Что делать?

Сутулов совершенно спокойно с удивлением поглядел на нее.

— Что нам делать,— воскликнула Уланова,— сразу тысячу, а на другой день, может быть, и еще? Мы ведь еще не приготовились и ждали через неделю, не раньше.

— Скорее всего,— спокойно ответил Сутулов,— оно теперь так и пойдет: тысяча за тысячей, и повалится к нам человек, как вода в падуне. Вполне нормально. Чего ты волнуешься: все идет планомерно.

— Знаю я, что план: цифры послушные, а у людей — кровь, живот, кишки, чем мы их завтра кормить будем?

— Возьми себя в руки, Маша!

Зуек это заметил: Сутулов его Марью Моревну просто Машей назвал.

— Шлют людей,— продолжал Сутулов,— шлют, конечно, и продовольствие, и цифры о том же говорят: сколько людей, столько и ртов. Если же, посылая людей, кто-нибудь ошибся, наш долг взять ошибку на себя, а не ворчать, как лягушки в болоте.

— Ты, конечно, прав, друг мой Саша,— засмеялась Уланова.

Зуек опять и это заметил: Уланова такого большого начальника назвала просто Сашей.

— В этих делах,— сказала она,— ты всегда прав и работаешь, как...

Она бросила взгляд на окно с прибитым в раме термометром:

— Как термометр — Реомюр.

— Почему Реомюр? — слегка улыбнулся Сутулов.

— А потому, что Реомюр ведь тоже когда-то был человеком, физиком, а теперь Реомюр не человек, а термометр, и он всегда прав. Ты — реомюр.

— Могу сказать только: спасибо за честь. Только ты не права. Термометру самому при любой температуре ни холодно, ни жарко, а мне быть термометром, когда того требует дело, не так-то легко. Ты так говоришь, потому что меня... как бы это вернее сказать: потому что ко мне ты сама всегда на нуле.

И Зуек с удивлением заметил и тут, что Сутулов от своих собственных слов немного покраснел и нахмурился.

Рука Маши, та́кая маленькая в широком потертом кожаном рукаве, потянулась было к Сутулову, чтобы лечь на его плечо, но тотчас отдернулась и, сжатая в крепкий кулачок, опустилась на стол.

— Куда же мы все-таки завтра их, тысячу человек, денем? — спросила она начальника каким-то чужим и холодным голосом.

Сутулов поглядел в окно, где за Выгом синели леса.

Зуек побоялся за Сутулова и подумал: «Вот, кажется, и сам начальник не знает. И что это будет, если со всей страны, из всех мест хлынет падун из людей?»

Это он сразу понял и очень запомнил слова: «Человек повалит со всей страны, как вода в падуне».

Зуек понимал, как всякий мальчишка, что если он только захочет поехать на паровозе, то сядет на стул, засвистит, и этот стул будет ему паровозом, а если сядет под стул и загудит — стул сделается пароходом.

А Сутулов, как понял Зуек по себе, сделал из человека падун, и Зуек уже принял это себе и уже слышит и видит, как бьется вода в падуне.

Гул такой, что и земля даже чуть-чуть как будто колышется. Тысячи струек бьются друг с другом, столбами взвиваются вверх, и падают, и сливаются.

Вся река упала, разбитая на брызги в борьбе, и опять все сливается, и весь водопад единым гулом гудит. Так и весь разбитый падающий человек соберется и будет идти все вперед и вперед.

И отчего-то поднялась в душе радость, как бывает в сказках, когда изрезанного в куски человека взбрызнули живой водой, и опять живой Иван-царевич шагает все вперед и вперед.

Так про себя маленький курьер переживал разговор двух его начальников. И он даже немного побоялся за Сутулова, когда на вопрос Улановой «куда мы их денем?» тот раздумчиво поглядел в окно, где синели леса.

Но Сутулов колебался только мгновенье, и у Зуйка его страх за начальника пролетел, как сон, тоже мгновенно. Сутулов перечитал приказ: «В Надвоицы направляется транспорт каналоармейцев. Принять завтра первую тысячу. Бросьте их в лес».

— Чего же тут думать еще,— сказал Сутулов, перечитав приказ,— мы их всех бросим в лес!

— Вот это так,— обрадовался Зуек.— Приедет тысяча человек, и мы всех их бросим в лес. И так, каждый день, тысячу за тысячей — в лес. Вот это власть!

Зуек вдруг понял все. Теперь не надо больше никого спрашивать, он лучше всех знает, что это — власть. Бывает, мчится тучей колдун за Иваном-царевичем, никакой конь не может убежать от тучи, но власть на стороне Ивана-царевича. Добрая сестра Сокола уронила одну слезинку, и ею, одной только слезинкой, Иван-царевич помазал копыта коня, и тот летит быстрее тучи, быстрее молнии. Да и мало ли как можно спастись, если власть в твоих руках. Да если бы и на куски изрезали Ивана-царевича, и то является власть, как живая вода, и все кусочки срастаются. Та же самая власть была и у Сутулова, когда он приказал бросить всех в лес.

— А как далеко мы их бросим? — восхищенно и робко, с замиранием сердца спросил Зуек.

— Мы бросим их,— продолжал Сутулов, не обращая внимания на слова мальчика,— в леса, на ту сторону Выга, и они там скоро сами себе выстроят жилища. В два месяца у нас там вырастет город.

Больше Зуек не мог вынести напора радости. Ему хотелось подумать обо всем одному.

— Сегодня,— сказал он,— они еще не приедут, и нам нечего делать. Можно уйти?

Сутулов засмеялся и сказал:

— Вот тебе, Маша, у кого учиться спокойствию: выслушал и сделал правильный вывод. Мы с тобой сегодня тоже перед большим делом пойдем, поговорим, соберемся с силами. Ступай побегай, Зуек.

И Зуек побежал.

Он знал наперед, куда он побежит. Ему крепко-накрепко запали в душу эти слова: «Человек будет падать сюда со всей страны, как вода в падуне», и что есть у всех у нас какая-то власть сделать все хорошо. И как только он вышел из конторы, сейчас же весь свет сомкнулся вокруг, плотно обнял его, и стало, будто весь мир теперь попал в его власть, и все будет теперь, как только ему захочется, и ему захочется непременно такое, отчего будет всем хорошо.

Откуда берется и почему оно проходит потом у взрослых, это дивное чувство мира, когда кажется, будто если в этом мире самому хорошо, то непременно должно быть и всем хорошо, и тянет ко всякому обиженному наклониться, утешить его, спящего разбудить на радость, а с таким же веселым, как сам, обняться и ускакать.

И нет усталости, и нет конца ничему. Так человек входит в мир, так мир начинается.

Путем скачущей семги, с камушка на камушек, облитый водой падуна, Зуек подымается все выше и выше, к знакомой печурке в скале, где он с кротилкой в руке с малолетства нажидал семгу. Теперь он забрался сюда только затем, чтобы послушать падун и подумать о человеке: как он тоже, человек из всей страны, будет падать сюда. Мельчайшие брызги подымаются над падуном, как белая прозрачная одежда черного трехголового великана, и в этих брызгах, пока солнце ходит по небу, держится радуга.

Вглядываешься в эту борьбу разных струек и брызг между собой, и начинает казаться, будто все они без конца только дерутся. Утомительно станет от этой вечной борьбы. Но только глаза отвел — и опять тянет, тянет, как будто настойчиво требует, чтобы непременно ты оглянулся и поглядел. И когда теперь поглядел, все стало по-другому. Весь водопад, как единое существо, живет своей цельной жизнью, и сквозь хаос и гул явно слышишь, как будто кто-то великий ступает, и все вперед и вперед...

Но этот мерный шаг ведь слышится и в каждой сказочке, и в каждой песенке, и так трудно сказать, было ли все это для всех, или только в душе у мальчика, сына скази-

теля, складывается новая сказка, или и вправду сам падун живет какой-то единой жизнью, и сквозь гул и хаос слышится мерный шаг: все вперед и вперед.

И Зуек услышал сквозь гул и хаос несвязные человеческие слова, и так явственно, что даже поглубже отклонился в печурку, чтобы его не увидели. На мгновение слова перестали доноситься, но вот опять все ближе и ближе.

— Какая славная печурка! — сказал первый голос.

Зуек сразу узнал голос Сутулова.

— А вот и камень тут удобный, давай сядем на камень.

Зуек узнал голос Улановой. И даже увидел ясно из темноты на свет, как они сели рядом на камень.

— Тебе не бывает так, Саша? — спросила Уланова...

Сашей назвала...

— Не бывает с тобой на улице большого города, среди множества незнакомых людей, похожих на брызги падающей воды? Тоже так: через короткое время утомляешься разглядывать лица отдельных людей, эти осколки и брызги в бездну летящего человека. Но только отвел глаза — и тебя настойчиво тянет еще поглядеть, и когда послушался — поглядел, то прямо встретил в толпе какое-то знакомое, родное лицо. И в этом мелькнувшем лице вдруг соберется и определится весь человек на улице, как единое существо, и ты веришь и знаешь, что человек един и мерным шагом идет все вперед. С тобой так бывает?

— Маша,— ответил Сутулов.

Машей назвал!

— Маша, я люблю слушать тебя на досуге, и если бы не дело мое, то я тебя бы все слушал и слушал. Но я прикован к делу и все это отгоняю от себя. Некогда мне, дорогая! Но когда слышу тебя, то вспоминаю, да, это и у меня тоже было. И не только на улице, а везде: мелькнет что-то в лице человека, и все сразу поймешь и ответишь ему. Я только не знаю, для чего это все поднимать из себя? Боюсь, не это ли тебя вдруг останавливает.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать?

— Да вот что сейчас только было в конторе. Ты такая умница, в тебе столько мысли и знания, такой ты опытный работник, и вдруг останавливаешься перед каким-то пустяком. Мы взялись построить канал, соединяющий два моря: шуточное ли дело! И вдруг ты остановилась перед таким пустяком — куда нам деть людей. Тебе же известно, что план разработан в мельчайших подробностях и дан на места. И вдруг, как в сказке, чего-то пугаешься, как будто

ты Зуек, а не управделами. Мы бросим их в дело, и увидишь, через два месяца, самое большое, у нас будет выстроен город.

Услыхав слова: «Целый город в два месяца»,— Зуек задрожал весь от радости и чуть-чуть не выдал себя. Ему стало страшно, как бы теперь не открыли его.

Такие уж, наверно, все печурки: раз залез — то и начинаешь света бояться!

— Маша,— продолжал Сутулов,— мы делаем с тобой такое большое дело, вместе учимся, вместе с тобой изменяемся и растем. И такой ты молодец! Но откуда это берется у тебя, что как только ты освободишься от дела, так и начинаешь бесполезно болтать и щебетать, как птичка?

— Милый Саша, ты очень сильный мужчина и можешь весь войти в дело свое и превратиться из Реомюра и термометр. Ты в этом прост, как ребенок, и я тебя очень за это люблю. Я же сама себе постоянно приказываю, я все время твержу себе: «Надо! надо!» — и только чуть-чуть оторвусь от дела — сейчас же пускаю себя на свободу, и болтаю о всем, что мне захочется, и никак не могу, да и не хочу, должно быть, превращаться в термометр.

А там в падуне в это время что-то большое делалось. Может быть, целое столетие вода била в какой-нибудь камень, подвигала-подвигала его и вдруг сейчас одолела и сбросила в бездну.

— Что это? — вздрогнула Уланова.

— Не знаю,— спокойно ответил Сутулов.— Мало ли что происходит в скалах под водой. Ты вот лучше скажи, дай мне последний ответ.

Уланова обе руки свои положила ему на плечи и ответила:

— Я люблю тебя, Саша, но...

Сутулов явно потемнел в лице, а Зуек в своей темной печурке сморщился: ему ужасно жалко стало Сутулова. Оказалось, что и у такого железного начальника есть свое желание и что-то ему хочется.

— Видишь, Саша, я люблю тебя, но мне кажется, я так многих могу любить.

Сутулов еще больше потемнел в лице.

Зуек никак не думал раньше, чтобы Сутулов мог сделаться, как мальчик, таким несчастным.

— Вот и начальник! — покачал он головой.

— Не огорчайся, Саша,— продолжала Уланова.— Это, может быть, не самое главное. Если я остановлюсь на тебе,

то пойми, я остановлюсь навсегда. И тебе хорошо со мною будет. Но мне сейчас мешают... как бы это лучше тебе объяснить! Хвосты мне мешают.

— Какие хвосты? — воскликнул Сутулов, теряя вдруг все свое спокойствие и даже весь изменился в лице.

— Не пугайся. Все хвосты — пустяки, но большой хвост только один, и он мне серьезно мешает.

Сутулов опустил голову.

— Встряхнись, Саша, не горюй. Завтра возьмемся за дело. Я знаю, ты дело свое ставишь больше себя, правда?

Сутулов в ответ поднял голову, поглядел на нее удивленно, глазами ясными, прямо, решительно.

— Правда,— повторила Уланова,— больше себя?

— А как же? — ответил Сутулов.

Помолчал немного.

— В каждом деле,— сказал он,— вырастает человек и становится больше себя.

И так это сказал, будто ему даже не совсем был понятен вопрос о какой-то замене или смешении личной жизни с общественным делом.

— А как же,— повторила со смехом Уланова.— Ты, Саша, прекрасный, я тебя очень люблю. Ты, конечно, лучше, много лучше моего Степана.

— Степана,— прошептал Зуек, вспоминая, как она тоже в беседе с бабушкой упомянула о каком-то Степане.

— Какого это Степана? — спросил Сутулов.

Но тут водопад еще какой-то камень обрушил, и это послужило толчком для беседующих — они встали и ушли.

Для Зуйка ответ Улановой на вопрос — «кто Степан?» — смешался с говором струй падающей воды.

Выждав немного, Зуек вылез из печурки. Ему все было понятно и все прекрасно в Сутулове: как этот трехголовый великан, неуемный начальник воды, управляет и властвует водою и образует в ней мерный ход, так и начальник людей Сутулов завтра же начнет устраивать человека, падающего из всей страны. Сутулов любит свое дело больше себя самого. Но Зуйку теперь все непонятно стало в Улановой: и этот ее какой-то Степан, и какие-то эти хвосты,— особенно эти хвосты были ему непонятны.

И он вспомнил о зеркальце, какой осталась в нем Марья Моревна. Это зеркальце еще тогда, по приезде строителей, было спрятано в печурке. Зуек был уверен в этом волшебном зеркальце — там настоящая Марья Моревна.

Разве сейчас открыть его, поглядеть?

Зуек уже хотел было вернуться в печурку, но ему стало немного страшно: а вдруг он там ничего не увидит? Так он и раздумал пока спрашивать зеркальце и, спускаясь с камня на камень, все гадал о хвостах: что это за хвосты, какие это у Маши хвосты?

## X. ПАДУН

Когда в Смутное время какие-то *паны*, разбегаясь по русской земле, попали тоже и на Выгозеро, то будто бы какой-то местный выгозерский Иван, подобный Ивану Сусанину, посадил панов в большой карбас и повез их по озеру в Надвоицы.

Проезжая мимо Карельского острова, паны услыхали отдаленный гул падуна.

— Что это? — спросили паны.

— Наше счастье! — ответил Иван.

И повез их дальше и дальше, и все ближе и ближе к Надвоицам. Тут перед самым селом на реке есть Еловый островок, совсем маленький. Тут могучий Выг, разделяясь этим камнем, прямо и падает в бездну, образуя падун.

Незаметно устремляется вода могучего Выга к падению, и ловкая привычная рука опытного кормщика легко перевозит карбас через струю. Но Иван пустил карбас с панами по струе. Лодка понеслась стрелой к Еловому острову.

— Что это? — вскрикнули паны, догадываясь о беде своей только у самого острова.

— Наше счастье! — ответил Иван.

И бросил карбас в падун.

Кто мог видеть это и слышать последние слова северного Ивана Сусанина?

Говорят, будто в солнечный день, когда в мельчайших брызгах падуна появляется *рай-дуга*, хороший человек может видеть лицо Ивана и слышать, как явственно падун выговаривает эти слова:

— Наше счастье!

И правда, если пристально глядеть в падун, то брызги его складываются в то самое, о чем думаешь. И звуки падуна образуют те же слова, какие держатся у нас на кончике языка.

Работнику, наморенному за день устройством вновь прибывающих, как бы падающих со всей страны людей, было на что поглядеть в падуне: все там показывалось вновь, что за день в глазу набралось.

Ехали, будто падали, из неведомых недр разноплеменной страны десятками, сотнями, тысячами люди белые, желтые, черноглазые, голубоглазые, светловолосые, и черные, и рыжие. Были среди них худые и гибкие телом, с горящими как уголь глазами горцы, были коротенькие, на изогнутых ногах, жители степей, черкесы, киргизы, узбеки, были даже в чалмах, татары в халатах, раскосые монголы в своих тюбетейках, и русские смешивались в наречиях: орловские, рязанские, владимирские, ростовские, сибирские...

---

Уланова вошла в один из наскоро сколоченных бараков, имея задание живым впечатлением понять начало жизни строителей, и ей хотелось бы в душе добиться от каждого, чем бы он мог быть лично полезен общему делу.

Она сидела за простым некрашеным столом в своей кожаной куртке, со своим собственным приказом в душе, и он выражался на лице строгостью и готовностью во всякий момент к решительному действию.

В этом закованном в закон рядовом воине строительства только один Зуек мог видеть где-то в глубине глаз и движении головы скрытую, затаенную Марью Моревну. Но даже и Зуек временами терял ее из виду и вспоминал ее только по зеркальцу, спрятанному в камнях.

Они подходят бесконечной очередью и так же исчезают потом, как брызги водопада. Но весь труд Улановой в том, чтобы не дать вконец ослабеть вниманию, ожидающему встретить в каждом новом лице образ человеческий, соединяющий все мельчайшие брызги в единое существо человека с мерным шагом вперед и вперед.

Вот выходит красивый молодой человек в женском малиновом берете, брюнет с голубыми глазами, в черных усиках, с мелкой надменной улыбкой, со скрещенными на груди руками.

— Вы — русский? — спрашивает Уланова.

— Совершенно верно, мадам, я русский.

— Ваше имя, отчество и фамилия?

— Фамилии у меня не было, отчество свое — увы! — я забыл, а имя мое — честь имею представиться, мадам, я — Рудольф.

Зуек с восхищением, не мигая, глядел на Рудольфа, удивляясь, что вся власть над этим человеком была у на-

чальника Улановой, а он вел себя, будто вся власть была в его собственных руках.

Приложив руку к своему малиновому берету, Рудольф в то же время обнажил свою грудь, расписанную синими знаками.

— Перестаньте ломаться,— ответила Уланова совершенно спокойно, как будто имела дело с ребенком.— Меня вы не удивите ни татуировкой своей, ни выдуманным именем: вы для меня не демон, и нечего вам так мне улыбаться.

Что-то дрогнуло в лице Рудольфа, улыбка сама собой сбежала с лица, и руки опять возвратились на грудь.

Тогда Зуек перевел свой пристальный, немигающий взгляд с Рудольфа на Уланову и понял, что Рудольф сдал и власть перешла к Улановой.

— Чем вы раньше занимались, чем вы можете быть здесь нам полезным?

— Только пальчиками,— ответил Рудольф.

И, опять отняв от груди одну руку, возле самого лица Улановой заиграл своими пальцами, бледными, тонкими и длинными, как у пианиста.

— Фальшивомонетчик? — догадалась Уланова.

И совершенно спокойно, даже с чуть-чуть заметной усмешкой вглядываясь в лицо фальшивомонетчика, тихонечко, настойчиво и выразительно постучала по столу.

— Уберите свою руку,— сказала она.— Ничего фальшивого нам здесь не надо. Мы здесь на правде стоим. Вы пойдете у нас на лесные работы, и вас там научат работать не пером, а топором.

— Мерси, мадам! — ответил Рудольф и присоединился к тем, кто отправляется в баню.

После своего великого пахана и лорда по очереди подходили всякие урки, скокари, домушники, «лепарды», шакалы, волчатники, медвежатники, мастера мокрого дела и самые мелкие воришки, мелкие люди — хорьки и мышата, какие ходят в городах по карнизам домов, проникают в квартиры, спускаются по водосточным трубам,— бедные мышата! — бывает, обрываются и летят с высоты больших этажей, с балконов и крыш на мостовую.

Было странно Улановой, что эти люди в своем падении, теряя образ человеческий, сами себя называли леопардами, волками, медведями, хорьками, мышатами, как будто вся природа была явлением падения чего-то великого, что называется у нас человеком.

«А если человек поднимается,— подумала Уланова,— то ему всегда кажется, будто и вся природа с ним поднимается».

И так захотелось ей отдохнуть на восходящем человеке, узнать хотя бы одно лицо!

— А вы кто, дедушка? — спросила Уланова.

Вышел Куприяныч, лесной бродяга, до того заросший по лицу волосами, что один только носик виднелся, как у перепелки. А глазки из-под этих перышков глядели устойчиво и ясно.

До того были устойчивы глаза Куприяныча, что каждому по непривычке к неподвижным глазам казалось, будто никаких человеческих глаз нет на этом лице, а скорее всего сквозь глазные щелки виднелась выкрашенная синькой стена.

— Милок! — сказал он Улановой, принимая ее за юношу.— Ты меня не записывай, я бродяга лесной и все равно от вас убегу.

— Ну да, убежишь! — поддразнила Уланова.

— Не смейся, милок! — улыбнулся Куприяныч.

И от улыбки с раздутыми щеками в волосах стал очень похож на ежа, так же и носик его маленький торчал из-под иголок, как у ежа.

— Какие люди бывают! — не удержалась Уланова, с улыбкой разглядывая внимательно уморительную рожу бродяги.

— Всякие, милок, люди бывают,— ответил спокойно Куприяныч.— А я тебе, вьюнош, попросту скажу всю правду: буду работать и всякую работу делать могу, особенно лесную... Буду хорошо работать, ежели мне самому будет хорошо. А когда не захочется, все равно убегу, и ничем вы меня не удержите. Только одного прошу у тебя, молодой человек, и давай в этом мы с тобой сговоримся: буду работать и всем услужу, и тебе удружу, только не записывай ты меня в книгу. Не будешь?

— Записывать сейчас не буду,— ответила Уланова,— но счет нужен.

— Счет, конечно, нужен,— согласился Куприяныч,— посчитай на счетах и смешай, а только, прошу тебя, не записывай.

Уланова обещала, и Куприяныч, довольный, отошел к тем, кого направляли в баню.

Проходили какие-то лица: и разноглазая, и другая, красноглазая, вечно мигающая и страшная девка Анютка

Вырви Глаз, какой-то китаец в косе; какой-то старый каторжник заявил, не мигнув глазом, что он на арбузной корке с Сахалина по Тихому океану вокруг света приплыл.

Их были тысячи разных людей, разных народностей, и каждый, мелькнув, выпадал из памяти, как выпадает фигурка из пены воды, бьющейся на камнях порога. Их множество, таких фигурок, возникает в потоке людском, и каждая, мелькнув на мгновенье, отнимает надежду искать какого-нибудь смысла в своем появлении и мгновенном исчезновении.

Так бывает с нами и на улице, пока не покажется особенное лицо, и через него вдруг появится смысл во всяком лице: стоит внимательно вглядеться в каждого, и увидишь у всех то самое, что видел в одном.

Вышел пожилой человек с лицом смуглым, иссеченным морщинами, как ударами сабли. У него было лицо, как оно представляется, когда говорят «Минин и Пожарский»: если так посмотреть на него — будет торговец Минин, а с другой стороны, в другом положении — князь Пожарский, и все это вместе один и тот же русский человек.

— Волков я,— сказал он,— бывший торговец кожевенными товарами.

Что-то глубокое и чем-то близко знакомое увидела Уланова в этом простом лице русского человека, и ей сразу так стало, будто она вдруг оказалась при деле: пришел хозяин дела, и она теперь знает, что недаром работает и все это надо.

— Торговец,— повторила Уланова,— но за что вы к нам сюда попали, какая беда вышла у вас?

Волков, просветлев чуть-чуть, улыбнулся, как улыбается иногда старый человек озорному ребенку, узнавая в нем прежнего себя самого.

Он охотно рассказал о себе прежнем, о своем пережитом, что у него было в банке несколько миллионов, два каменных дома в Москве, имение под Саратовом и что он, обороняя свое имущество, поставил на крыше своего дома пулемет и в последний миг успел скрыться. И так он долго скрывался, но все-таки его нашли.

— К счастью, нашли,— сказал Волков,— когда я переменил свои убеждения, и я вовсе это даже и не считаю бедой, как вы только что назвали.

— Не жалеете о прошлом? — спросила Уланова.

— Нисколько. Ведь я не богатство свое защищал, а вечность. Я тогда жизнь так понимал, что все на свете меняется, все мишура, а в рубле заключена вечность.

— В рубле вечность?

— Совершенно верно. Многие наши купцы это в уме держали, и в простоте отчитывались перед вечностью, и ставили за свой счет церкви. Из мужиков же вышли наши купцы.

— В рубле вечность! — повторила вслух удивленная чем-то Уланова.

— Крепко это было во мне,— продолжал Волков,— на этом вся моя жизнь прошла. А теперь я переменил убеждения и понимаю: в рубле вечности нет.

Уланова положила перо.

— А разве,— спросила она,— есть на земле что-нибудь вечное?

— А как же? — ответил Волков.— Есть же вечная мысля.

— Мысли,— сказала Уланова,— тоже вечно меняются.

— Мысли, конечно, меняются, но одна мысля у человека остается.

— Какая же это мысль?

— А такая мысля, чтобы на каждом месте и во всякое время как бы нам лучше сделать.

Все это время Уланова думала про себя, что вот как это не догадался художник сделать памятник Минину и Пожарскому в одном лице: если так посмотреть, будет торговец, а с другой стороны — князь. И так она долго глядела на свой памятник с одной стороны, а теперь как будто зашла с другой стороны и узнала Пожарского. Она чему-то обрадовалась, лицо ее загорелось.

Зуек с восторгом глядел на нее, узнавая в ней прежнюю свою Марью Моревну.

— Если эта мысль,— сказала она,— пришла вам...

Волков ее перебил.

— Пришла неожиданно,— сказал Волков,— и всегда теперь живет со мной, и нет мне с ней нигде ни скуки, ни обиды и даже неволи.

— И тут, в заключении?

— Дорогая начальница,— сказал Волков,— ни минуты времени такой нет, ни вершка земли такого, чтобы не было этой мысли: делай изо всех сил лучше — и будет всем хорошо.

И так теперь стало Улановой, будто она долго стояла

перед большим водопадом, и долго мелькали перед ней фигурки из пены падающей воды, но вдруг все вместе сложилось, и она услыхала мерный шаг человека, идущего все вперед и вперед.

## XI. ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ

Раньше у нас лесные пространства на Севере медленно заполнялись *своими* людьми, века проходили, и все незаметна была человеческая власть над природой.

Так бывало в селе, что кто-нибудь из большой семьи уходит куда-нибудь в лес подальше, в более удобном для себя месте выстроит дом своими руками, и так этот знакомый, *свой* человек сделает *починок*. А когда и тут семья увеличится и станет тоже тесно, то опять кто-то *свой* отделится, найдет новое урочище, и так починками, своими людьми наполнялась северная земля. Так множество лет проходило, и все земля оставалась почти что пустой. Даже и на Выгозере многие острова оставались еще не заселенными.

Но теперь пришел чужой человек, нездешний, пришел с новой мыслью, разрушающей старое медленное время расселения людей только своими людьми. Мысль эта была в том, чтобы не своим только родом идти вперед по земле и не для себя самого строить починок, а для всего народа своего и всех народов родной земли, всего соединенного великого человека.

Теперь в этой службе всему народу и всем народам родной земли стали соединяться не только свои люди, близкие земляки, а и всякие близкие по человечеству, и этот соединенный в труде человек с огромной скоростью стал переделывать Северный край.

Сказал имеющий власть:

— Всех бросим в лес!

И не прошло даже месяца после приказа, как вот уже на месте прежней тайги стоят готовые просторные бараки, и улицы между ними складываются, как в городе, и собака бежит с костью по улице, за собакой вороны летят, норовят выхватить у нее эту кость, и повар, весь в белом, высунулся из жаркой кухни дохнуть свежим воздухом, и треплется красный флажок на ветру, и радио из невидимого рта своего бросает слова, уговаривает, приказывает, и орет, и поет.

По-прежнему еще далеко слышится непрерывный гул

водопада, и все больше и больше становится похожа эта падающая вода на павшего дробного человека. Разбивается вода, разбивается когда-то цельный, натуральный человек на отдельных людей. Собирается в реку падающая вода, и с большим трудом приходит в себя, в свое единство разбитый человек и берет на себя власть над природой.

Так сказал имеющий власть:

— Бросить всех в лес!

И в лесу вырос город.

## XII. РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Управление строительством узла по-прежнему оставалось в Надвоицах, но работы по заготовке строительных материалов велись на той стороне Выга. И туда, на ту сторону, и оттуда сюда, в Надвоицы, с утра до ночи ходили паром и карбасы, а кроме того, воздушным путем по тросам через Выг перебегала грузовая тележка.

Однажды поздно вечером, возвращаясь на карбасе домой, Зуек приметил, что тележка, вероятно для ремонта, была снята с роликов. Хорошо подумав об этом, Зуек пришел в контору и улегся спать на своей лавочке в передней. В этот раз он сразу не мог уснуть, ему мешали разные дневные впечатления, проплывающие, как кораблики по теплому морю. В прежнем своем виде, как прекрасная Марья Моревна, проплывала перед его глазами Уланова, и могучий начальник его Сутулов, и черный карбас, с белым черепом, бабушки Марьи Мироновны, и бородатый дедушка Сергей Мироныч, и какие-то желтые китайцы с черными косами, и вслед за китайскими косами белые лошадиные хвосты, мешающие счастью Сутулова.

Один лошадиный хвост Зуек охотно бы задержал, но загадочный хвост при первой попытке остановить его рассыпался на серебристые ниточки и разбежался. Тут-то бы и заснуть, но вдруг показалось то самое, из-за чего, по-видимому, и проплывали все эти видения: это была грузовая тележка, убегающая по тросам за Выг.

Перед самым засыпанием он догадался, что если самому прицепиться к роликам вместо тележки, то можно на них перенестись по тросам за Выг, а если все выйдет благополучно, то можно прокатиться и обратно. Так он и делал всю ночь: катался туда и сюда на роликах. А может быть, как это часто бывает, ему только на мгновение перед самым

пробуждением пригрезилось, будто он всю ночь носился на роликах. Но он очень рано проснулся, далеко до начала работ, когда на зорьке даже и сторожа засыпают. И как только он открыл глаза, так эта мысль о роликах снова явилась и не дала ему больше спать: ему теперь надо поскорее бежать туда, пока люди еще не проснулись и, может быть, даже спят еще и сторожа.

Неслышно он выкрался из управления, оглянулся,— не смотрит ли кто,— и пустился бежать туда, где ходила тележка. Неподалеку от роликов на штабелях леса, пахучего, шкуреного, склонив голову, дремал ночной сторож. Ролики были закинуты так, чтобы сами от ветра не могли укатиться на ту сторону. Зуек умело выправил их, попробовал, примерился, схватился, разбежался...

— Держи, держи! — закричал сторож.

Но Зуек в это время со всего разбега скакнул, поджал ноги и полетел.

— Держи, держи! — кричал сторож.

И на другой стороне Выга кто-то услыхал и ответил оттуда:

— Держу-у-у...

Плохо бы кончилось это путешествие Зуйка по воздуху на роликах через Выг, если бы на помощь ему не пришел старый, заросший волосами Куприяныч. Случилось так, что старику в эту ночь не спалось и он рано своим бродяжьим способом неслышно выполз из палатки с чайником в руке и развел на берегу Выга небольшую теплинку.

Тихо было в воздухе, дымок тонкой синей струйкой потянулся вверх. Бродяга, умыв лицо, не вытер его и, весь в росе, делая рожи кому-то, подобные нашей улыбке, с бормотанием и разговорами стал поджаривать корочку черного хлеба. Невидимые струйки в дыму дрожали, обнимаясь теплом, и от этого, глядя сквозь них, было так, будто весь мир с ними дрожит и колышется, и так все дружно сходится в блаженстве бродяги за его утренним чаем. Но вдруг, как это редко бывает у людей, а все-таки и бывает, кончики ушей Куприяныча дрогнули, как у собаки, и повелись на ту сторону за Выг.

— Держи, держи! — кричал сторож.

Куприяныч поднял глаза и, смекнув быстро, в чем дело, ответил сторожу.

По воздуху несся мальчик, сжимая посинелыми от напряжения руками толстый витой стальной трос.

— Держу! — ответил Куприяныч сторожу.

Старик вскочил живей Зуйка, выждал с расчетом, напустил, прыгнул высоко, как заяц, схватил в воздухе мальчика и в обнимку с ним повалился на мягкий мох рядом с костром.

Бродяга все на свете видал. И теперь, поймав мальчика, вернулся к чаю с таким видом, как будто ничего не случилось особенного и ему каждый день приходится ловить таких бездельников.

Зуек сидел рядом смущенный и как будто сбитый с толку: видно, путешествие на роликах в действительности было ему не совсем так приятно, как казалось во сне. Особенно неприятно было, что его, как он сам понимал себя, курьера начальника, имеющего власть над всем узлом, изловил какой-то бродяга безобразного вида.

Он сидел дикарем и молчал.

— Откуда ты взялся, пацан? — спросил Куприяныч.

— Какой тебе я пацан? — ответил Зуек.

— Кто же ты?

— Я курьер начальника узла.

Куприяныч немного откинулся назад, поглядел на мальчика без шутки, с таким видом, как будто в первый раз в жизни видит курьера и теперь ему надо что-то еще понять и вести себя, как подобает вести с курьером.

— Чего же ты, курьер,— спросил Куприяныч,— так рано прилетел?

— А вот только этого не хватало,— ответил Зуек,— чтобы у тебя спрашивался. У нас есть секретные дела. Я, может быть, чаю захотел с тобой напиться, взял и прилетел.

— Дело! — сказал Куприяныч, заканчивая разглядывать и вполне понимая теперь, какие бывают на свете курьеры.— Пить чай прилетел, ну, так давай же пить. Я люблю с утра брюхо попарить, выпьешь горяченького, душка-то и повеселеет.

— Какая это у тебя такая душка?

— А птичка есть такая у каждого человека.

— Птичка?

— Ну да. Слышу рано: «пик-пик!»

— И что?

— Ничего... Она «пик-пик!», а я понимаю, это Пикалка зовет меня: «Ты бы, Куприяныч, чайку заварил, брюхо попарил».— «Матушка,— отвечаю,— вот как бы рад был чайку заварить, да где же это я себе чай достану?» — «Об этом не думай,— говорит,— вылезай с чайником, а я тебе чай достану, ты и напьешься моего чаю с брусничкой».

Тихонечко нащупал свой чайник, выполз на волю, оглянулся, нет ли кого? Нарвал с кочки брусничного листу, корочку хлеба поджарил, заварил. На-ка, хлебни нашего чаю, пацан!

— А птичка улетела? — спросил Зуек.

— Какое там улетела! Эта птичка, милок, всегда со мной. Я брюхо парю, а птичка поет, и все веселеет.

В это время по железной бочке ударили, а после того заревело и радио:

— Подъем, подъем!

— Ну, милок,— сказал Куприяныч,— надо на поверку идти, прощай, мой дружок!

— Погоди,— попросил Зуек, совсем потеряв уже свою курьерскую важность,— скажи-ка ты мне, куда ты теперь?

— А к своим, вон они выходят: это олонецкие. А вон рядом выстраиваются — это орловские, там вон рязанские, там, гляди, татары лезут дуром, степные люди: леса не знают. Там вон китайцы тоже к нам попали с Дальнего Востока. Я всю нашу землю обошел — и лучше той земли не видел, где сам родился. Наши олонецкие сплавщики, по лесу нет никого лучше их. Пойду им помогать лес шкурить.

— А птичка?

— Со мной полетит и моя птичка.

— И она с тобой лес шкурит?

— Нет, птичка моя лес не шкурит, а только поет и меня утешает. Вот я и не злобствую и спокойно своего сроку дожидаюсь.

— Какого это срока?

— Своего сроку дожидаюсь, какой есть у каждого человека. Придет мой срок,— и я опять в лес на волю.

— И там хорошо тебе будет?

— Но-о-о!

— И птичка с тобой полетит?

— Там птиц всяких много, там им нечего нас утешать: там мы цари.

— И можно там приказывать птицам?

— Можно приказывать.

— И что?

— Все, что только нам захочется.

— И все нас там слушают?

— Но-о!

— И не работают?

— Милок, я же тебе русским языком говорил: мы там цари.

Куприяныч остатки брусничного и хлебного чаю вылил на огонь, затоптал и неторопливо пошел.

А к берегу на карбасе подплывал с той стороны Сутулов и начал подниматься вверх с камня на камень на то свое место, откуда ему была видна вся работа в карельском сквозном горном лесу. Зуек подбежал к нему, весело поздоровался и тоже медленно стал за ним вслед подниматься с камня на камень, все выше и выше. На самом верху, откуда все далеко видно кругом, Сутулов остановился, воткнул свою палочку в торф, обнимающий карельские скалы, как шубой.

Внизу выстраивались со знаменами, шли шеренги на места, брались за топоры, за пилы, а прорабы каждому указывали его назначение.

— Ты, Иван Дешевый,— говорил один прораб,— иди вон туда, к Лисьим норам; ты, Рудольф, с урками в Камень; ты, старик Волков, веди свою бригаду на Бараний Лоб.

И так потом дальше от бригадиров каждый узнавал свое место. Бригадиры обращались к каждому отдельно, а музыка гремела для всех.

И так начался и загремел рабочий день надвоицкого узла Беломорско-Балтийского канала.

## XIII. ЗАВАЛ

Случилось, много тяжелых высоких деревьев, подрубленных и подпиленных неумелыми степными людьми, совсем непривычными к лесному делу, падая, оперлись на нетронутые пилою деревья и остались висеть в воздухе. Так много деревьев скопилось вместе шатром, и образовался завал. Степняки, не понимая лесных работ, рубили, пилили, не обращая на завал никакого внимания. И так, наконец, один из них принялся рубить то самое дерево, на котором держался весь завал. И подруби он опорное дерево, весь завал бы рухнул и подавил много людей.

Но один совсем простой лесоруб догадался...

Зуек это заметил. Нельзя, конечно, было и не заметить: это было большое событие. Но во всем этом событии Зуек заметил именно то, что лесоруб догадался и вот именно одной простой догадкой спас жизнь более ста человек.

«Не так ли выходят из простых людей начальники,— думал Зуек,— нужно догадаться, спасти жизнь человека, и будешь начальником».

Так в простоте своей подумал Зуек, и так оно вышло на деле: Сутулов позвал к себе лесоруба, поговорил с ним, и простой лесоруб с тех пор сделался прорабом. Больше теперь этот лесоруб не работает весь день топором, а стоит на своем участке, как маленький Сутулов, — и даже с малиновыми петличками на шинели: назначает, указывает, приказывает.

Из всего этого случая Зуек для себя сделал вывод: ему бы тоже так надо догадаться, спасти человека и после того не бегать курьером, не передавать приказания, а самому распоряжаться, приказывать, как настоящие начальники.

Не будем скрывать и затаенной мысли Зуйка.

«Наверно, — подумал он, — мне тогда тоже малиновые петлички дадут, а может быть, даже и пистолет. Эх, вот бы догадаться и хоть бы одного человека спасти!»

Сам он своими собственными глазами видел, как тот счастливый лесоруб заметил опорное дерево в завале и как он к нему осторожно прокрался и немного подрубил... Тут было немного страшно за него. Но это пустяки, Зуек с восторгом взялся бы за это рискованное дело. Вся трудность была в догадке. И Зуек во все глаза глядел, и во все жданки ждал случая догадаться, и все не догадывался. Иногда у него даже голова кружилась от напряжения, и вместо догадки о том, как надо спасти человека, ему приходил на мысль совет Куприяныча уйти в лес, где нет никаких начальников, нет рабочих, а все цари.

Тоже думал он много и о душе какой-то, похожей на птичку. С этой мыслью о птичке он упорно глядел на Сутулова, стараясь догадаться, есть ли у начальника тоже душа и какая она у начальников, тоже вроде птички или какая-нибудь своя, особенная.

Сутулов в это утро как воткнул палочку в торф, так стоял неподвижный, наблюдая кипучую работу внизу. Никакого внимания он не обращал на своего курьера. Да это и понятно: Сутулов был целиком весь в своем деле, а Зуек, если правду говорить, занимался про себя только сказками, выжидая удобный момент, когда можно будет спросить — есть ли душа у начальников.

Зуек хорошо видел по движениям глаз и головы Сутулова, что начальник все время был занят, а как это трудно было ему постоянно во всем догадываться, это он хорошо знал по себе: ни за что бы он не посмел помешать догадкам начальника своим вопросом. Он ждал случая, и вдруг Сутулов оторвался от леса, поглядел на небо...

Момент был подходящий. Зуек уже открыл было рот, чтобы спросить о душе, но Сутулов первый сказал:

— Не простоит этот день, наверно, будет непогода.

— Как это вы знаете? — удивился Зуек.

— А вон, погляди на небо,— ответил он,— везде хвосты.

Правда, небо было покрыто облаками, похожими на громадные кошачьи хвосты.

Услыхав, что на небе хвосты, Зуек вспомнил про те загадочные хвосты, о каких слышал он в печурке возле падуна от Улановой: не те ли это хвосты, не об этих ли небесных хвостах тогда шла речь. И, может быть, Уланова тоже тогда видела на небе такие хвосты и отказала Сутулову, потому что боялась дождя...

Прошло немного времени, кошачьи хвосты на небе совершенно исчезли, но зато со всех сторон стали надвигаться тучи. Зуек этим воспользовался, чтобы заговорить.

— Как правильно вы сказали,— обратился он к Сутулову,— хвосты на небе были перед дождем.

Сутулов охотно ответил:

— Ты приметливый мальчик: вот увидишь, мы не докончим сегодня работу, пойдет дождь, и, наверно, это будет дождь очень сильный.

Зуек опять воспользовался вниманием начальника и решил, что теперь, конечно, можно спросить его и о всем. Подумав, о чем бы спросить раньше, о хвостах ли, чтобы окончательно уяснить себе, эти ли хвосты удерживают Уланову, или о душе, чтобы приблизиться к тайне догадки начальников, решил спросить о тайне.

— Можно спросить? — сказал он.

— Отчего же нельзя, спроси,— ответил Сутулов.

— Скажите мне, товарищ начальник, есть у вас душа?

Сутулов как раз в это время заметил какой-то непорядок на лесных работах внизу, и душа его оторвалась от Зуйка и туда улетела.

— Душа, говоришь? — рассеянно ответил он Зуйку.

— Душа, говорю, вроде птички...

— Птички, говоришь?

— Птички, говорю, вроде Пикалки.

— Ну и что?

— Когда птичка поет, Куприяныч работает. А когда перестанет работать, садится за чай, то с ней советуется. И он мне говорит: птичка эта — душа. А я спрашиваю: у вас тоже душа вроде птички?

— Стой! — оборвал его начальник,— какая тут тебе птичка, какая душа! Беги вон туда, стрелой лети, отнеси бригадиру приказ!

Сутулов наскоро что-то написал на бумажке.

Зуек с особенной скоростью выполнил в этот раз поручение: ему хотелось вернуться к начатому разговору, пока Сутулов еще не успел его забыть.

Но Сутулов, кажется, успел уже забыть и за такое короткое время. Проходит много времени, пока он останавливает свое внимание на маленьком своем препотешном курьере.

— Ты ведь, кажется, хотел меня о чем-то спросить?

— Как же вы не помните, товарищ начальник, я вас уже спросил.

— Нет, я помню, ты что-то меня спросил о душе.

— Ну да, я спросил вас: есть ли у вас, у начальников, тоже душа.

— Вот что выдумал! — засмеялся Сутулов.— У каждого человека есть душа, почему не быть душе тоже и у начальника.

— Это я понимаю,— ответил Зуек,— но Куприяныч сказал, душа у него вроде птички: она ему поет, и он под песню работает. А мне хочется узнать, как у начальников, душа тоже вроде птички и тоже и начальники под песню работают?

— Куприяныч бродяга,— ответил Сутулов,— по лесам без дела шатается, у него много времени думать о птичках. Какая тут птичка! Мы к человеку прикованы, только и думаем...

— Как бы догадаться человека спасти? — подсказал Зуек.

— Ну, не то чтобы непременно всех спасти и спасти, а чтобы лучше было. Моя душа вся в заботах, вся во внимании: на что смотрю, там и душа моя. Вот вижу сейчас, урки проклятые там подрались, и как бы у них тоже не вышел завал. Смотрю туда — и душа моя там тоже работает.

— Понимаю,— ответил Зуек,— вы сами стоите, а душа ваша там работает.

— Вот правильно, только вон вижу, опять завал все растет и растет.

— Душа Куприяныча птичка,— продолжает Зуек.

— Птичка, говоришь?

— Птичка. Он работает, а птичка поет.

— Поет?

— Конечно, поет. А у вас по-другому: душа ваша работает, зато вы сами стоите.

— Сам я стою,— сказал, приходя в себя, Сутулов,— это верно. Душа моя работает, а я за правду стою и тебе тоже советую, не гоняйся за птичками: душа в правде. Только понимаешь ли ты, пацан, что-нибудь?

И только было собрался Зуек поспорить в том смысле, что ему лучше хотелось бы за птичками бегать, чем за правду стоять, как вдруг внизу на работе случилась новая беда, и душа Сутулова вся туда совсем улетела... А когда вернулась душа Сутулова, Зуек опять должен был сломя голову лететь на работу.

Тяжелый завал опять навис над степными людьми. Зуек бежал к Куприянычу с приказом бросить шкурить лес и поспешить помочь татарам разобрать огромный завал.

«Ну, вот и все,— радостно думал Зуек на бегу,— пришел теперь наконец-то и мой черед догадаться: пусть и моя душа поработает над этим, как бы спасти человека».

И он себе ясно представил, будто сам он теперь там вместе с Сутуловым по-прежнему за правду стоит, а душа его теперь летит спасать человека.

Так ли это было? Мог ли такой мальчик вполне понимать, что значит это за правду стоять и спасать человека? Может быть, эти прекрасные слова были только оболочкой, милой рубашечкой затаенного голого желания надеть на себя шинель с малиновыми петличками, самому не работать, а только приказывать. Довольно и этого! Но, может быть, сверх всего еще и дадут пистолет?

Не будем же затруднять себя догадками, а лучше поглядим на дела: они-то в своем неизбежном течении и свершении неминуемо все нам откроют, и все тайны наши предстанут в вещах.

Коротенькие люди с круглыми желтыми лицами, с широкими квадратными спинами, в маленьких цветных шапочках валили деревья, не обращая никакого внимания на то, куда они валятся. Им, конечно, указывали, учили их много, и некоторое время они все правильно делали. Но они привыкли жить в степях на седле и, тюкая топорами, мечтой уносились туда на своих маленьких конях и были там возле своих юрт в стадах бесчисленных баранов и верблюдов, пили кумыс у младшей жены, ели баранину в юрте старшей жены, подумывали о третьей жене, а деревья валились по-своему, и степная природа брала верх над лесною наукой. Небывало тяжелый завал навис, а они все

работали с мечтою о вольных степях. Оставалось срубить еще бы одно только дерево, но тут прибежал Зуек с Куприянычем.

— Аман! — сказал им Куприяныч.

Все на него поглядели. И тут он сделал ужасно страшную рожу, замахал руками, забрыкался ногами, как будто он их всех выгоняет и кричит всем:

— Айда, все люди айда, беги, беги!

И все страшно напуганные в один миг выбежали из завала.

Так бы легко было теперь догадаться Зуйку, и он, конечно, легко бы догадался и мог бы действительно спасти степных людей, если бы над его свободной душой не висел бы тоже своего рода завал: ему не просто хотелось спасти этих людей, а надо было спасти для какой-то личной цели. И этот завал не давал свободного хода догадке. Он не только еще не понимал, какое именно дерево держит завал, а даже и сам себя не берег и стоял разинув рот под самым завалом. Куприяныч, не имея времени с ним разговаривать и объяснять, просто схватил его на руки и переставил в безопасное место, как куклу.

— Айда, айда! — погрозился еще раз Куприяныч в сторону степняков.

И один вошел смело и просто под шатер деревьев, сразу нашел опорное дерево. Стукнул по нем слегка обухом и сразу понял, сколько еще можно его подрубить, чтобы оно не подвихнулось и завал бы не рухнул.

Это было простое и смелое дело. Куприяныч подрубил дерево, привязал конец веревки, с другим концом выпрыгнул из-под завала.

Киргизы имели довольно времени, чтобы все понять, и, когда Куприяныч выскочил с концом, все радостно, как близкие друзья ему, бросились к веревке, схватились, потянули, и завал с треском грохнул на землю.

Все было так прекрасно сделано, как будто тут на глазах от совершенного поступка из самого серого дела родился, вышел и расцвел цветок дружбы между людьми.

И радость, распространяясь, захватила тоже и молодую душу Зуйка. Завал души его тоже рухнул, и он в восторге бросился к Куприянычу и закричал ему:

— Молодец, Куприяныч, сейчас я побегу к начальнику, все доложу, и он тебя, наверно, сейчас же назначит прорабом.

Куприяныч смеялся. А Зуек продолжал:

— Теперь ты будешь стоять, ничего не будешь делать и только приказывать.

Куприяныч еще больше смеялся.

— И все тебя будут слушаться. И ты их будешь спасать.

Куприяныч перестал смеяться.

— Айда! — сказал он.

И коротенькие люди сразу же послушались, сра́зу поняли все и охотно взялись за топоры и за пилы.

Куприяныч прошелся между ними, кому рукой показал, кому ногой, кого шуткой, как маленького, потрепал за ухо, тому головой помотал и сказал: «Ни-ни!», тому языком: «Так-так!», и всего в несколько минут все степняки так заработали, будто всегда и занимались только лесными работами.

— Видишь,— сказал он Зуйку,— для чего же ты меня хочешь ставить в прорабы, меня и так все слушаются.

Зуек стоял смущенный. Казалось, все так ясно и просто было раньше: только бы догадаться, добиться места и стать на него. А вот оказывается теперь, что люди слушаются человека без петличек, без пистолета, и так он, если захочет, может сколько угодно спасать людей.

— И ты можешь людей спасать? — спросил он.

— А зачем их спасать?

Куприяныч смеялся и явно издевался над Зуйком.

— Видел ты,— сказал он,— как я их разогнал? Спасать! Ты только сам себя спаси и стань на правильное место, а люди сами спасутся: каждому жизнь дорога. Сказал что́: спа-сать!

И Куприяныч покатился со смеху.

Зуек не обращал никакого внимания на смех Куприяныча и крепко думал о том, что Куприяныч сказал: стать на свое правильное место. Такая это большая загадка!

— Тебе,— сказал он серьезно,— наверно, это все птичка указывает?

— Вот это так,— сказал Куприяныч,— это ты догадался. Я слушаю птичку свою и ни о каких петличках не думаю. Но погоди, я тебе это устрою. Ты тоже будешь в петличках стоять и приказывать. Хочешь?

Зуек покраснел.

— Ты правда хочешь? — всматриваясь в Зуйка, повторил Куприяныч.

Зуек еще сильней покраснел и чуть слышно что-то ответил, закрывая лицо полой своей куртки.

Куприяныч, сделав вид, что не расслышал ответа, еще раз спросил закрытого курткой Зуйка:

— Хочешь?

И Зуек из-под куртки явственно выговорил:

— Ага!

Глазки у Куприяныча стали узенькие, как у кота на свету, раздутое лицо вздыбилось щетиной. Он наклонился к Зуйку, отвел рукою полу и, смущенному, красному, прошептал на ухо:

— Сделаю, сделаю...

Глядя в землю, Зуек пробормотал:

— Как же ты сделаешь?

А Куприяныч уже щетиной своей коснулся нежного розового лица в тонком белом пушке. Зуек поднял глаза и с отвращением увидел в щетине Куприяныча все его блошки и вошки.

Плюнуть захотелось Зуйку, и он бы, пожалуй, и плюнул: до того стало ему на душе почему-то отвратительно.

Но только бы плюнуть, Куприяныч выпрямился и сказал:

— Сейчас пойду доложу начальнику, как все было, и ты не отказывайся. Ты спас людей один. У тебя будут петлички и пистолет.

## XIV. ВАСИЛЕК

Сутулов думал про себя — успех в делах зависит от своего собственного человеческого поведения, а не от случая, или как называют это счастьем, талантом, судьбой. На таланты смотрел он как на дело природы: чтобы вырос талант один, природе нужно выбросить тысячу неудачников, бездельников всякого рода, лодырей и болтунов. Ему казалось так, что если бы он и сам почувствовал бы в себе какой-нибудь талант, то он весь этот талант растворил бы в своем поведении и всеми силами постарался бы, как нескромность, скрыть его от людей. А когда встречались ему таланты у других людей, он, обращаясь с такими людьми почтительно, всеми силами старался сделать их полезными. Но зато, истратив на это лучшие свои силы, как же он ненавидел проходимцев, бродяг, лентяев, болтунов и всякого рода бездельников. И пусть бродяга Куприяныч сейчас неплохо работал в лесу, он знал, что нет у него поведения, что рано или поздно он схватится за случай и убежит.

Ни одному слову бродяги из этой сказки о герое мальчике, разобравшем завал, он не поверил и, выслушивая сказку, думал, для чего врет лесной бродяга, беглый разбойник, способный за обладание какой-нибудь финкой задушить такого же бродягу, как и он сам. Его смущало одно, для чего нужно было бродяге завлекать в свои путы несмышленого мальчика.

И небо хмурилось в это время: оставался не закрытым тучами только небольшой клочок. Такая была теперь и душа у Сутулова. И так мрачно он изредка из-под своей тучи выглядывал...

Как синий василек, стоял недалеко мальчик.

Так бывает с нами, что когда, проходя полем ржи, мы видим василек, то этот василек, как глазок всего поля, глядит на нас и за все поле один отвечает. Так и Сутулов все васильки на свете понимал, что за ними стоит поле. Но он совсем не мог понимать, зачем иногда любители срывают цветок, ставят его у себя в комнате в стакан с водой и чем-то наслаждаются.

Сутулов чувствовал физическую брезгливость ко всему такому ненужному, слабому, бесполезному.

Таким васильком в стакане воды и делался ему Зуек под влиянием вранья Куприяныча. Вот почему начальник и выглядывал из-под своей тучи на мальчика.

Зуек сразу же по лицу начальника догадался, что дело его провалилось и не быть добру из всей этой затеи Куприяныча. Вместе с этим пониманием его постепенно охватывал стыд. Сначала он хотел было бежать, но тут охватил его стыд какого-то другого рода, и оказалось, этот стыд был сильнее того. Бежать и хотелось, и надо бы, но онемели ноги от этого второго стыда. Тогда в оправдание себе поднялась злость, и она-то подсказала ему борьбу за себя и слова оправдания: что, правда, он сделал плохого, он хотел только сделаться начальником, таким же чудесным, единственным, как Сутулов. Что тут плохого? Он хотел взять власть, чтобы спасать людей... Правда, ему людей нужно было спасать, чтобы получить петлички и пистолет, но что из этого: люди-то все-таки бы спасались? Что тут плохого? Вот разве только пришлось немного соврать и взять на себя то, что сделал Куприяныч. Так все-таки Куприяныч-то спас же людей, и кому какое дело, что он свое счастье захотел Зуйку подарить? Какая же в этом беда, какой убыток, если для этого хорошего дела пришлось немного соврать. Так Зуек, отказавшись бежать, набирался злости все боль-

ше и больше и наконец твердо решил стоять на месте и защищаться.

Это бывает с мальчишками. И если бы Сутулов был начальником школы, имел бы дело с чистенькими мальчиками, он, конечно бы, должен был какой-нибудь шуткой высмеять виновника и пристыдить за вранье.

Там внизу под тучами кипело огромное дело, нельзя было на минуту оторваться от него без риска чьей-нибудь жизнью, а тут он должен выслушивать сказки бродяги и любоваться каким-то васильком в стакане воды.

Большое дело поглотило мелочи, и Сутулов вовсе забыл о мальчике, пленившем его своей правдивостью и прямотой.

Зуек весь горел, и кончики ушей его почти что светились огнем. Глаза его были опущены, впились в камень. Он весь замер в отчаянной готовности стоять на своем до конца.

Сверкнула первая молния. Загремел первый гром этой грозы. Но куда сильнее этого грома, куда страшней этой молнии были слова:

— Отвечай мне, это ты разобрал завал и спас сто человек?

Зуек как загорелся тогда, так и теперь стоял и горел, не отводя пристального взгляда от камня.

— Отвечай же мне, это ты?

Тут-то бы Зуйку и заплакать, попросить прощенья, обещаться. Но так делают многие, много обещаются, много раз опять врут, и опять раскаиваются, и опять, изнашивая душу, повторяют свое, пока не приспособятся жить между ложью и правдой. Зуйку же пришло это в первый раз, и, может быть, это было ему раз на всю жизнь.

— Отвечай же!

Зуек даже не догадывался о возможности борьбы с великаном с помощью слез и маленькой лжи.

Вот еще сверкнула молния

По каким-то хвостам Сутулов мог предсказать эту грозу, так неужели он не догадывается, что творится в душе мальчика и как обожает он своего начальника? Он, конечно, знает, и оттого с ним надо бороться и не уступать своего.

— Последний раз тебя спрашиваю, кто разобрал завал, ты или Куприяныч?

— Я разобрал! — ответил твердо Зуек.

И с камня перевел свои раньше такие ясные голубые,

теперь затемненные и от злости позеленевшие глаза на Сутулова.

— Вот какой ты змеюга! — сказал Сутулов.— Уходи от меня вон. И на глаза мне больше не показывайся.

Был опять гром с неба. И в грозе слышался голос прекрасного, обожаемого начальника, голос, как гром, отвергающий его навсегда от участия в простой радости обыкновенных хороших людей.

С камушка на камушек спускался вниз Зуек, сам не зная, куда ему идти, и так дошел он до большого камня, обнятого корнями северной сосны. Он сел на камень, обнял сосну, приложил к ней щеку, заревел, вздрагивая и все больше и больше уходя головой в худенькие плечи.

— Ты чего тут ревешь, пацан? — раздался голос из-за дерева.

Вышел кто-то, не похожий на каналоармейца, высокий, в женском малиновом берете на голове, глаза небольшие, голубые, загадочные. На плечах неизвестного была накинута куртка, голое тело было все расписано голубыми знаками, на левой груди против сердца красовалось лицо женщины с подписью: Маруся. На другой груди было два голубя, и они носик в носик кормили друг друга.

Рассматривая все это сквозь слезы, Зуек пришел в себя и спросил:

— Ты — Рудольф?

Из-за деревьев выскочили разные люди, почти все с теми же знаками татуировки.

Щеки у них, как и у всех людей, надувались от смеха, но глаза, в то время как лицо смеялось, оставались холодными и злыми: лица не добрели от смеха.

— Черти какие-то! — сказал Зуек, переводя свои большие, удивленные глаза с одного лица на другое.

И как только, не струсив нисколько, он произнес это «черти», так все эти люди поглядели на него иначе, почти даже и с уважением. Тогда-то Зуек вдруг и догадался — перед ним была знаменитая бригада двадцать первая, возглавляемая прославленным паханом Рудольфом.

— Ты спрашиваешь, кто я,— сказал пахан,— ну, хорошо, я — Рудольф.

Тогда Зуек, чтобы не ударить в грязь лицом, ответил, представляясь:

— А я курьер начальника строительства узла. У вас тут завал. Поднимается ветер, и всех вас может задавить.

— Нашли какую заботу — думать о нас!

— А как же,— ответил серьезно Зуек,— мы для того и стоим наверху и для того не работаем своими руками, чтобы думать только о вас. Мы вас спасаем.

Пахан на эти слова не удостоил даже улыбки, но Зуек все-таки заметил, что глаза пахана чуть-чуть повеселели от его слов, и этого было довольно: урки все разом разразились громким хохотом.

— Ты легкобычный пацан! — сказал довольно весело Рудольф.— Это вы хорошее дело делаете, ничего, спасайте нас.

Потом протянул свою руку, погладил ею Зуйка по голове, покачал своей головой и сказал:

— Какой ты хороший пацан, и зачем ты ссучился с легавыми?

Задушевный голос пахана проник в самое сердце Зуйка, слезы хлынули из его глаз, и вдруг с необычайной силой, заскрипев даже зубами, он унял их, утерся рукавом и сказал:

— Нет, я не ссучился, я хотел вправду спасать людей, а они меня выгнали...

— Выгнали! — радостно крикнул Рудольф.— Ну, поздравляю тебя!

И, брыкнув ногой и хлопнув себя по заду, взял его маленькую ручку, пожал и потряс.

— Теперь ты, брат, наш. Теперь у тебя много верных друзей, и с нами ты не пропадешь.

Тут хлынул дождь. Колонна за колонной пошли каналоармейцы в бараки.

— Приходи к нам! — крикнул Рудольф Зуйку.

## XV. СКАЗКА О ВЕЧНОМ РУБЛЕ

Засверкала молния, загремели громы, и карельские лесистые холмы, озы и бараньи лбы на далеком расстоянии стали перекликаться между собою. Бежать Зуйку домой, переправляться за Выг было далеко, а бараки совсем были рядом. Он бросился догонять колонну Рудольфа и скоро был среди бараков нового маленького рабочего города.

Рудольф издали махнул ему рукой, давая понять, чтобы шел в тот барак, откуда издали пахло горячим хлебом и щами. Сам же Рудольф со своей бригадой исчез в дверях другого барака, и опять появился скоро, и опять показал Зуйку на душистый барак.

Все тут было вокруг, как на пожаре: там катили огромную бочку и устанавливали ее под капель, там на себе четверо загоняли телегу с грузом в сарай; какие-то люди, как знающие свое дело муравьи, перебегали постоянно из барака в барак, и массы определенно валили в столовую. Никто, наверно, кроме Зуйка, не обратил внимания на голос по радио, приглашающий слушать выступление артистки Михайловой. Наконец так много скопилось людей у входа, что среди больших людей в тесноте он стал, как цыпленок в ведре, и там терпеливо слушал дуэт «Не искушай».

Чей-то тяжелый сапог приплюснул ногу Зуйка так сильно, что он закричал от боли. Тогда старый человек с добрым лицом, как бы изрубленным временем, наклонился к нему и взял его за руку.

— Ты, мальчик,— сказал он,— наверно, к нам от дождя забежал?

Зуек сразу узнал по голосу в этом старом человеке кожевника Волкова, говорившего что-то непонятное Улановой о вечном рубле.

— Мне,— ответил ему Зуек,— Рудольф указал идти сюда и тут его самого дожидаться.

— Рудольф? — повторил, припоминая, старик.— Да на что он тебе?

— А как же мне тут одному?

— Ну, вот добро,— усмехнулся Волков,— в такой тесноте мы сейчас, а ты боишься, как бы тебе одному не остаться. Пойдем со мной, я найду тебе чашку и ложку. Вот садись здесь, а я сейчас все тебе принесу. Не бойся никого, люди тебя не обидят: ты еще невелик.

Зуек сел на длинную белую струганую лавку за длинный во весь барак стол. По ту сторону узкого стола тоже люди садились. Везде от щей из мисок поднимался пар. Не обошлось без того, что какой-то озорник, заметив за столом маленького, потянул его больно за пискун-волос. А другой пытался заставить его крутиться, не выпуская из пальцев пучка зажатых волос. А еще один схватил за уши и хотел показать Москву. Но тут, к счастью, пришел добрый человек, поставил на стол миску со щами, хлеб положил, ложку дал.

— Хлебай, товарищ! — сказал Волков.

После всех бед и обид этого несчастного дня от горячих щей у Зуйка стало тепло на душе. Но главное было не в еде, а что он плотно сидит рядом со всеми на равном положении

и эти большие люди, как товарищи, признают его равным и не обращают на него никакого внимания. В большом этом непонятном муравейнике он вдруг сам стал муравьем и знает теперь в нем свое место.

— Хлебай, хлебай, пацан,— говорил ему сверху добрый человек с седой бородкой на морщинистом бронзового цвета лице.

— Спасибо, добрый человек! — ответил Зуек, вспоминая, как говорят незнакомые гости за крестьянским столом.

— Не стоит благодарности,— ответили ему по всем правилам.

Важно посидев некоторое время, удерживая ложку рассчитанно на столе, Зуек спросил, как спрашивал, бывало, дедушка у себя за столом незнакомого гостя:

— Ты, добрый человек, откулешний?

И добрый человек не замедлил приличным ответом:

— Я из Талдома родом.

Зуек не знал, где это Талдом и что это значит, город, деревня ли, дом. Не в том было дело: нужно было только спросить по всем правилам, как делают это настоящие люди, и получить приличный ответ.

— А ты здешний? — спросил добрый человек.

Зуек умышленно задержал полную ложку на краю чашки и, слегка наклонив утвердительно голову, ответил:

— Ага!

— Живешь у родителей?

— У дедушки.

— Дождь хлыщет и хлыщет, тебе придется с нами побыть, а может быть, даже и переночевать. Пойдем со мной.

Многие встали из-за стола и перешли толпою в другой барак, где у каждого было свое место на дощатых нарах, свои вещи, свои соседи.

И Рудольф, и Куприяныч, и еще разные урки, бывшие в лесу с Рудольфом, сразу же узнали Зуйка, обрадовались, засмеялись ему и все плотно тут же рядом и уселись.

Зуек хорошо понял про себя, как хорошо это и сразу понимают все мальчишки: он чем-то Рудольфу понравился. Ну, а уж если так, то надо еще больше нравиться, нужно чем-нибудь отличиться перед всем обществом. И так загорелось и стало больше и больше разгораться у него в душе страстное желание, рождающее героев: желание отличиться, и пусть оно где-то там не удалось, так, может быть, отличится он здесь.

— Легкобычный пацан,— сказал Рудольф доброму человеку.

— С ним не шутите,— ответил Куприяныч.

Услыхав слова Куприяныча, Зуек на мгновенье оторопел. У него явилось подозрение: не подшутил ли над ним так зло Куприяныч, не нарочно ли он, злой человек, подвел его под беду. Но это одно только мгновенье такое мелькнуло, и кончилось, и погасло в каком-то свете, возникающем с другой стороны.

Как сухой листик шевелится от сквозного ветерка и мышкой бежит по земле, так от общего внимания побежала душка Зуйка, и он вдруг понял, что его минута пришла, что сейчас он должен непременно что-то сказать и отличиться. Большое дружеское чувство благодарности за что-то ко всем этим хорошим людям и, может быть, даже просто и ко всему человеку охватило его, и он вдруг спросил:

— Скажи, добрый человек, за что, за какие такие дела люди сюда попадают?

— За хорошие! — немедленно ответил чей-то хриплый, надтреснутый голос.

Зуек обернулся туда и увидел: в проходе стоит высокий худой человек с тонкой длинной седой бородкой, точно как у козла или у Кащея Бессмертного.

Никак нельзя было понять, в шутку ли говорит Кащей или смеется над мальчиком. Лицо у Кащея было все ровно розовое, длинное, глаза маленькие, зеленые, проницательные и неустающие, как бы в вечном плетении какой-то паутинной сети.

— За хорошие, за хорошие,— повторил Кащей уже в явном сочувствии невинному деточке, попавшему в ад.

Так пришла в бараке заключенным редкая минута, когда не один кто-нибудь случайно в минуту личного расстройства вспомнит себя на воле в радостном согласии со своими людьми, но все разом это почувствуют,— где-то, когда-то было это и с ним, и это была жизнь настоящая, жизнь, как счастье великое, жизнь, как дар, а он сам с чем-то не справился, в чем-то не посмел, что-то упустил...

Бывает с каждым, мелькнет это чувство и отойдет к тому, чего не было, или к тому, что было когда-то во сне. Но тут оно всем разом пришло, и вот оно перед глазами, свидетельство: этот смелый, свободный мальчик, каким был когда-то каждый из нас...

Каждый смотрелся, как в зеркало чудесное, узнавая себя, как солнечного зародыша жизни волшебной, и никто не догадывался, что это солнечное семя, как всякое семя природы, отдается во власть случаю, что из тысяч брошенных природой семян только одно, может быть, прорастет, что и этот мальчуган стоит у самого порога погибели...

Каждый думал о себе, конечно, по-своему, но все были вместе, и все сходились в чем-то одном, и каждому хотелось высказать что-то свое и как бы отдать его на общее пользование и так самому определиться между людьми, как определяются люди в море и узнают, к каким берегам плывет его собственная лодочка.

Мало-помалу старший из всех, добрый человек, глядя на Зуйка так, будто сквозь него он видит себя в своем далеком прошлом, стал рассказывать свою жизнь. А Зуек по своей привычке из этого совсем правдивого рассказа бывшего торговца кожевенными товарами Волкова стал делать свою сказку о Кащее Бессмертном и его вечном рубле.

Началась эта сказка для Зуйка тем, что отец Волкова, сапожник в Талдоме, делал гусарики, детские башмачки, а его мальчик, вот этот теперь старый добрый человек, поправлял светец и в переменах лучины помогал отцу шить гусарики. Когда же достали керосиновую лампу, и время освободилось, мальчик стал учиться грамоте по старинным книгам: отец указывал, а сын складывал, читал... Скоро мальчик научился, приохотился к чтению, понимая про себя, что книги не людьми пишутся, а падают с неба. И отец тоже: раньше во время работы все пел, а теперь слушал Священное писание с двойной радостью — и то, что Священное писание само по себе чудесно и что слышит его из бойких уст своего родного сына. Пусть сын теперь читал, а не помогал сапожнику, но гусарики при душевном внимании к словам Писания выходили, наверно, и красивей и прочнее.

Так вот было раз — мальчик читал своему отцу о том, как юношу Алексея родители насильно женили, и Алексей после венчания прямо из церкви куда-то скрылся, и как ни старались найти его — не нашли, и обвенчанный юноша пропал неизвестно куда.

Неустанно горевали неутешные родители и молились богу о своем пропавшем сыне. И вот однажды приходит к ним на двор нищий и просит жить у них не где-нибудь

в доме, а просто в собачьей конуре. Поняли нищего как блаженного и жить в собачьей конуре позволили. Так он поселился и ничего не брал у хозяев для себя, питался только тем, что попадало в мусорную яму.

Так вот и пошло странное время из дня в день: богатые родители молились и плакали не переставая о своем любимом сыне, а он сам, любимый, желанный Алексей, жил у них на дворе под боком в собачьей конуре.

— Алексеем звали? — перехватил рассказ Рудольф.— Это я знаю, мне тоже читали, когда я был мальчишкой. Не помогло это чтение и в мое-то время, а теперь все это совсем ни к чему: несовременный рассказ.

— Рудольф! — ответил Волков.— Это было больше полста лет тому назад, как мы читали с отцом про Алексея, божьего человека. Удивляюсь, как тебе в твое время довелось услыхать такую старину. Но я так понимаю, что как река из рек же составляется, так и наше время сложилось из разных прежних времен. Слушай же терпеливо и не перебивай меня: ты скоро увидишь, я все прежнее сведу к нашему времени.

Старик погладил Зуйка по голове и на мгновенье окинул взглядом своих слушателей: все они рядом тесно сидели на нижних нарах, и на полу, и с верхних тесно свисали ноги, а головы прятались под потолком в полумраке наступающих сумерек и в клубах махорочного дыма. Все слушали внимательно и о чем-то своем крепко думали.

Не о том ли думали они, павшие люди, что когда-то и сами были такие, как этот мальчик Зуек, и тоже и им когда-то падали в душу чудесные слова, как золотой дождь.

Сам же Зуек при общем добром к нему внимании, слушая сказание об Алексее, человеке божьем, поднимался душой высоко куда-то вверх, в легкий воздух и там плел и плел по-своему собственную сказку о Кащее Бессмертном и о его вечном рубле.

По примеру святого Алексея мальчик сапожника тоже вздумал уйти из дома, оторваться от близких и начать потом неузнанным среди них новую жизнь. Так он и ушел из Талдома ночью в Москву и уже совсем было сговорился с одним монахом в подворье. Но как раз, только бы с этим монахом уйти в далекий северный монастырь, нагрянул отец, отбил у монаха своего мальчика, увез его обратно

в свою сапожную мастерскую и заставил по-прежнему шить вместе с собою гусарики.

Отец был неглупый человек, он понял вред от Священного писания: и мальчик не о том думает, что надо думать по времени, и сам тоже попусту слушает. Обдумав все это хорошо, отец заставил сына работать, а сам по-прежнему стал песни петь за работой, состязаясь в искусстве с соседом портным.

— Вот, Рудольф,— сказал Волков,— ты теперь и мотай себе на ус: жизнь эта оказалась несовременной, и ты правильно сказал: это был елей от Священного писания.

Зуек же, слушая, принимал все эти слова как материал для собственной сказки. Он так понял, что в жизнь мальчика вмешался Кащей, охватил его своим дыханием и соблазнил прелестью жизни. Мальчик сапожника, взятый собственным отцом в плен, понял теперь себя, что так и вечно быть ему в плену, если только не сделается человеком богатым. И уж если нельзя ему попасть к святым, то к сильным людям от себя самого зависит попасть, и отец против этого ничего не будет иметь: никто от богатства не откажется.

Маленьким родничком начинаются реки, так и богатство Волкова началось с пустяка: вот мальчики, его сверстники, так весело и свободно играют в ладышки, он же сам, пленник Кащея, угрюмо стоит в стороне. Нет, конечно, он не просто стоит, не зря время проводит. Он наблюдает, догадывается, как бы из этой веселой игры сделать пользу себе. И так мало-помалу догадывается, что в кон попасть зависит только от ловкости руки и меткости глаза, но выбить кон можно только хорошим *битком*. После того он сам своими руками стал наливать свинцом битки и добился того, что битки его были мальчишками замечены и на них явился спрос. Битки пошли в ход, и за одно только лето Волков на битках нажил двадцать рублей. Потом он узнал, что слепые учатся иногда читать по выпуклым буквам на бутылках от пива, и давай эти бутылки искать и продавать их слепым. А еще он догадался скупать в деревнях старые кокошники и вытапливать из них серебро. Тогда-то вот оказалось, что деньги не надо беречь под камнем, как он это делал, а, напротив, немедленно пускать их в оборот, скупая больше и больше кокошников. А еще он тут же, скупая кокошники, стал скупать воск, сам научился из этого воска отливать свечи и очень выгодно продавать их богомольцам.

Так много всего нашлось в царстве Кащея, о чем можно было догадываться в пользу себя и все богатеть и богатеть.

— Мотай, мотай, Рудольф, себе на ус,— сказал Волков,— я богател не по случаю, не крал у людей, не грабил с ножом на лесных дорогах, а копил добро в большом понимании и терпении страшном. Понимание жизни меня приводило к тому, что бедному человеку на земле нет выхода и нет нигде защиты. Хорошо жить на земле, оказалось, можно только богатому, и ежели нет на земле вечности для души, то надо найти вечность в рубле.

— Вот это правильно! — воскликнул Рудольф.— И ты, пацан, слушай и мотай и мотай на свое веретено в голове: нет вечности на небе, вся вечность в рубле.

— Хороший, правильный рассказ,— одобрил тоже и тот худой с козлиной бородкой Кащей.— Без этой основы не может быть вечности, и самому господу от богатого церква и бедному тоже копеечка: возле богатого хорошо и бедному, а чем можно помочь бедняку, если и сам гол как сокол?

Зуек перевел глаза на Кащея и догадался по его словам, что, наверно, так и правильно, так все и живут в Кащеевом царстве: все умные друг от друга учатся догадываться в пользу себя и богатеют, а бедные на них работают.

— Дураков работа любит! — сказал, зевая, Кащей. И перекрестил себе рот, заключив после зевка: — Эх мы, грешные, грешные!

— И понял я,— продолжал добрый человек,— понял, Рудольф, что рубль на земле — это вечность на небе и что за рубль эту вечность можно купить. И уж если надо жить на земле, то и надо бороться за вечность рубля.

— Правильно, правильно, Волков! — ответил Рудольф.— Учись, лучше учись, пацан.

— Понял я, что работать можно не только силой рук, как рабочие, не только утруждением мозга, как служащие и ученые, а своими собственными чувствами и смекалкой.

— Что-то не совсем понимаю,— сказал Рудольф,— как это можно работать чувствами?

— Очень просто,— ответил Волков,— иду я раз по базару и настраиваю свое чувство слуха: о чем люди говорят. И слышу я, люди говорят о подошве, что в Варшаве сейчас дешевая подошва. Услыхав эти слова, я живо

смекнул и сразу решился ехать в Варшаву. Все какие были только у меня деньги я пустил на подошву, вагоны подошвы в Талдом пригнал и только на одной подошве чистых сто тысяч нажил. И все нажил только работой чувства, со слуху нажил.

— А с пальцев не пробовал? — с уважением и с насмешкой спросил Рудольф.

— Понимаю тебя,— ответил Волков,— с пальцев не пробовал. Пойми ты меня: я шел законным путем. Пусть даже и верно, что не обманешь, не продашь, но самый обман в торговле есть моя законная тайна. Первое время я только по слуху работал, схватываю и смело иду своему счастью навстречу.

— Не согласен с тобой,— сказал Рудольф,— какая это такая у тебя законная тайна, скажи: законный грабеж. А если есть грабеж законный, так почему же ты презираешь грабеж незаконный? И если ты работу чувств признаешь, то почему же ты отвергаешь работу пальчиками: ты по слуху, я осязанием, и уверяю тебя, с пальчиками бы у тебя много скорее дело пошло.

— Ты не хочешь понять меня,— почти что рассердился Волков,— я же теперь стал совсем другой человек, я только рассказываю о себе в прошлом, как я наживал миллионы. Я про законный путь в том смысле говорю, что я верил в вечность рубля и эта вечность была мне законом. А с пальчиков, как ты говоришь, это просто мошенство. И опять у вас легкость, и даже разговор у вас постоянный в том смысле, что не нажил, а *смыл*. Ты что же думаешь, я все тащил к себе, как урка, все проедал и все раздавал? Нет, милый, жизни для себя у меня никакой не было. Вот про пальцы говоришь, а я, как этими самыми пальцами в холодные ночи ими деньги в лавке считал, я себе отморозил, и на руках и на ногах, и жена моя вместе со мной отморозила. Нет, брат, я не на себя, я на вечность работал. И так я руку себе засушил, глаз потерял и нажил миллион. И только уж когда три миллиона нажил, вспомнил про себя и поехал со всей своей семьей, как ездили тогда все богатые люди, за границу, в Париж.

— В Париж! — воскликнул Рудольф.— Ну, теперь все знаю вперед, поедешь в Париж и там угоришь: я там был и видел твои миллионы. Прогулял?

— Ты все не хочешь меня понимать,— ответил Волков,— и все по себе самому догадываешься, и короткая душа у тебя. В Париже я наконец-то на самом деле уверил-

ся, как правильно я взял свой курс на вечность рубля. Не знал я французского языка, и за рубли мои ходили сзади меня два переводчика. Не было глаза, вставили искусственный глаз. Рука была сухая, руку мою оживили. На радостях приказал я переводчикам: «Ведите,— говорю им,— меня в самую главную церковь, желаю поблагодарить за все их бога». Так было у них воскресенье, такое же, как и у нас, и в такое воскресенье повели меня к обедне в знаменитый храм Нотр-Дам-де-Пари. Тут я в великолепии несказанном услыхал «Херувимскую»: точно так же, как и у нас было «Иже херувимы». И как я это услыхал, то как подкосило меня, упал я на мраморные плиты собора, понимая радостно и со слезами и с великой радостью в сердце, что бог одинаковый и у нас и у французов, и что путь мой на вечность законный, и что по всей земле люди молятся и просят своего бога о вечном рубле...

После этого воспоминания Волков слегка прослезился, а Рудольф стал смеяться, не меняя холодного и бездушного выражения своих глаз.

— Чего же ты, окаянный, хохочешь? — спросил Волков.

— А как же мне не смеяться,— ответил Рудольф,— песенка твоя давно спета, все-то все на свете ее знают и понимают, только ты, русский мужичок-простачок, попал в Париж, услыхал, умилился, прослезился.

И Рудольф, сделав мефистофельский жест, запахнул невидимый плащ, ударил рукой по струнам невидимой гитары и, отставив стройную ногу, пропел довольно хорошим баритоном и очень верно:

На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит во всей вселенной,
Тот кумир — телец златой.

— Телец золотой — это вроде Кащея? — спросил Зуек.

— Только название, милый мой,— ответил Волков,— только говорится так, что бессмертный, а даже и в сказках на Кащея есть смерть. Шестьдесят лет изо дня в день я крепко веру держал, понимал вечность в рубле. Наконец, после всех испытаний, раскрылась мне правда.

Волков склонил голову.

— Что же ты понял такое? — с любопытством спросил Рудольф.

— Понял я,— ответил Волков,— что в рубле вечности нет.

— В рубле вечности нет, вот чудак! — засмеялся Рудольф.— Нет вечности в рубле, и ты вернулся в собачью конуру?

— Нет,— ответил с твердостью Волков,— и в конуре, понимаю, тоже вечности нет, ни в рубле, ни в собачьей конуре.

— А как же тогда? Нет, нет, вечность есть.

— В чем же твоя вечность? — рассеянно спросил Волков.

— В пальцах,— ответил Рудольф.— Ты вот работал только на глаз и на слух, я же пальцами работал. И ты нажил за всю жизнь свою только три миллиона, а я тебе своим пером в одну ночь денег сколько хочешь наделаю. Мое перо в славе.

— Какое перо, Рудольф? — восхищенно спросил Зуек.

— Золотое перо,— охотно ответил Рудольф.— Мое золотое перо, и мои золотые пальцы, и мои золотые руки никого на свете не подводили. И еще есть у меня сто отмычек, и любая шкатулочка со всяким добром, с золотом, бриллиантами и всякими драгоценностями мне открывается.

После слов о волшебной шкатулочке Зуек перестал складывать свою сказку о Кащее Бессмертном. Вся жизнь ему представилась волшебной шкатулочкой: вот бы жить так и жить!

Как синяя вода в тихий день, представлялась Зуйку жизнь человеческая. Но почему-то вот замутилась вода, затревожилась.

И Зуек дрожащим от волнения голосом, душевно, как близкого друга, спросил Рудольфа:

— А как же, Рудольф, ты шкатулочку откроешь, унесешь драгоценности? И я потом, хозяин шкатулочки, прихожу к синему морю и вижу я: на берегу синего моря лежит моя шкатулочка брошенная, взломанная, пустая.

Один только мальчик, и, может быть, единственный мальчик на свете, Зуек, мог таким задушевным голосом задать отъявленным ворам такой милый вопрос о хозяине разграбленной волшебной шкатулочки. Сам Рудольф даже как будто смутился, и много глаз из разных углов глядели на него с интересом и ждали, как ответит пахан.

— Успокойся! — дружелюбно ответил Рудольф.— Твою шкатулочку я никогда бы не тронул. Но я понимаю,

ты спрашиваешь про неизвестного хозяина этой шкатулочки. Что же мне до этого чужого какого-то хозяина? Он ведь для себя одного владеет, я же не для себя работаю. Ко мне каждый идет и берет, сколько хочет. Мне каждый друг.

Он кивнул головой в сторону урок, и все они, кто мычанием, кто морганием, кто молчанием, подтвердили правильность слов своего пахана: ничего он себе не берет, и перо его золотое и отмычки для всех работают.

Зуек растерялся. Глаза его потускнели в какой-то никому не ведомой борьбе, но одно было всем ясно в ответе пахана: все это так и не так.

Сказать, однако, что-нибудь против пахана никто не захотел, и наступило то молчание, когда каждый вспомнил в себе такого же мальчика: был он или не был в действительности, но каждому теперь казалось, будто он тоже был точно таким же в своем детстве, тоже так ясно все понимал, а потом ясный прямой путь потерялся и до правды стало необходимо докапываться как-то умом, хитрить и мудрить.

Тогда бродяга Куприяныч в полумраке своего угла вдруг как бы засветился своими глазами ночной птицы, склонился к уху Зуйка, пощекотал его жесткой своей шерстью и шепнул:

— Милок! Не слушай ты никого. Иди сейчас потихоньку со мной.

Несмотря на противную близость бродяги, слова Куприяныча Зуйку явились какой-то отдушиной после трудных разговоров о вечном рубле. И он быстро встал и доверчиво пошел за бродягой к далеким нарам на вторых мостках.

Устроившись на ночлег рядом со своим маленьким другом, Куприяныч сказал:

— Я тебе, милок, говорил, у меня есть птичка, и я ее слушаю. Люди говорят все по-разному, всех не переслушаешь и ничего не найдешь. А ты гляди только на меня, когда птичка позовет — я тебе скажу, и мы с тобой от них уйдем, никого не слушайся, гляди на меня.

— Птичка! — сказал Зуек.— Это самая та, Пикалка? Тебе на работе помогает?

— Нет,— ответил Куприяныч,— это птица желна, и ты ее знаешь.

— Желна,— вспомнил Зуек,— черная птица с красной головой?

— Вот, вот, та самая птица с огненной головой, летает после пожаров на гарях от одного черного дерева к другому, долбит.

— И кричит,— вспомнил Зуек,— на весь свет на лету часто, а когда на сучок сядет, то: «пить-пить-пить...»

— Не «пить-пить»,— ответил Куприяныч,— а «плыть-плыть»! И то не всегда, а только ранней весной перед водой: это слышит и понимает каждый бродяга. Вот и мы, когда желна к весне закричит свое «плыть-плыть», мы тоже с тобой поплывем.

Так и уснул Зуек под уговоры Куприяныча, и спать бы ему так до утра. Но когда разошлись тучи, на небо вышла зеленая луна, и свет ее вошел во все окна барака. Мы не знаем, как лунный свет забирается в душу людей, но только многие в этих лучах нашли у себя в голове какие-то неотвязные мысли и, обдумывая, открыли глаза. Лунный свет нащупал и в Зуйке место, пронзенное обидой и закрытое на время рассказом о вечном рубле, золотом пере и волшебной шкатулочке. Обида развернулась, как глубокая душевная рана с невозможностью возвращения к прежнему. Лунный свет охватил кругом маленькую головку Зуйка, и она открыла глаза с определенным, рожденным острой болью вопросом: «Как же быть?»

Только-только определился было вопрос, как перед открытыми глазами у окна показалась залитая лунным светом бритая голова человека с маленькой бородкой. Маленькие глазки светились, губы непрерывно шевелились, обе ладони время от времени поднимались вверх и охватывали все лицо, движением сверху вниз как бы умывали его, а из губ вылетали слова: «Алла, алла!»

Зуек сразу не понял, что это делается у окна, только ему стало неприятно и немного страшно. А дальше так в лунном свете что-то похожее делали два китайца, и у них в руках было по желтому фонарику. Зуек не хотел этого видеть и повернулся в другую сторону. Но и на другой стороне сверху тоже виднелись нары, и тут совсем уже близко у окна в лунном свете он узнал длинное худое лицо с жидкой бородкой. Кащей Бессмертный шепотом молился и время от времени поднимал руку и крестил себя мелким крестом. Тут только Зуек и понял, что и там, назади, разные люди по-разному тоже молились.

Зуек так теперь понимал Кащея, что он молится о вечном рубле, как молился когда-то и добрый человек Волков, и ему страшно стало. Правда, и бабушка по-своему моли-

лась и дедушка, но у тех не было это тайно, как здесь, в Кащеевом царстве. Тогда-то свое горе «как быть с обидой» и эти ужасные тайны лунного света сошлись, Зуек весь задрожал, схватил Куприяныча за бороду и начал трясти его.

— Что с тобой, дурачок? — спросил Куприяныч.

— Погляди,— зашептал он,— вон Кащей сидит.

— Молится богу своему,— сказал Куприяныч.

— О вечном рубле?

— Он заклады брал, ростовщиком называется,— о чем же больше ему молить, как не о рубле.

— А вот там другой сидит,— шептал Зуек,— тот умывается и шепчет все время: «Алла, алла!»

— Это татарин.

— И тоже о рубле?

— А о чем же?

— А вот еще с фонариком.

— Это китайцы.

— Как же нам быть, Куприяныч, они все тайно молятся и нас изведут.

— Э, полно, брат, не тужи, мы с тобой от них удерем. Вот как только дождемся весны, желна «плыть-плыть!» закричит, и мы с тобой поплывем.

— Куда же мы с тобой поплывем?

— Мы поплывем с тобой, куда нас желна поведет.

— Там не работают? — спросил Зуек.

— Не! — ответил бродяга.

— И не молятся о вечном рубле?

— Не!

— И не открывают чужие шкатулки?

— Не, там царствуют.

— И не приказывают?

— Не у чего там приказывать.

И стал рассказывать перед сном, как ему однажды очень захотелось напиться в этом чудесном краю. Поглядывал в лесах, лугах и оврагах, нет ли ручейка или лужицы. Совсем пересохло во рту от сильной жажды, но вдруг он увидел с подгорки,— сверху из темного зеленого ольшаника на камешек падает струйка чистой воды и с камушка прямо на мох зеленый и бежит по черным, синим и красным ягодкам. Припал бродяга к ручью, пьет — не напьется. А какая-то птичка кричит часто и настойчиво, и все одно только слово:

— Птичка-яичко!

Послушался птички, оглянулся, а рядом лежит голубое яйцо.

— Большое?

— Чуть поменьше куриного и голубое.

— Это птичка снесла?

— Нет, это раньше цапля снесла, я не видал, а птичка мне указала.

— Ну, и что же дальше было?

— Я посмотрел и понял: это цапля снесла яйцо свежее и ненасиженное. Значит, цапля тоже попить захотела. Попила и снесла.

— Ну и что же дальше?

— Ничего. Я развел теплинку, налил в котелок из родничка воды, яичко сварил.

— И ну?

— И скушал... как хорошо! Я тебе еще раз говорю: там не работают, там все нам приготовлено, там мы цари.



# ЧАСТЬ II

## СКАЛЫ

### XVI. БОЖЬЯ КОЛЕЯ

Два раза по Карелии, наступая и отступая, проходил Скандинавский ледник и оставлял после себя длинные холмы песка, морен, напластований гравия, хрящеватого песка и песка-плывуна.

То же говорят ученые, будто подземные силы, поднимая Скандинавский полуостров, к ледниковому нагромождению прибавили еще и свое: поднятие было неравномерное, земля была перекошена, каменные пласты местами были поставлены на голову.

Дальше было так, что впадины наполнились водой и морская рыба начала искать себе путь в верховьях рек. Камень, подверженный действию воды и ветра, покрывался лесом и мохом, леса стали убежищем зверей. И первобытный человек жил тут, как и всякий зверь, не оставляя после себя заметных следов. Только после уже многих тысячелетий, когда над местом жительства первобытного человека

образовался толстый слой плодородной земли, когда заработали в этой почве кроты, ученые заметили в кротовых кучах черепки разбитой глиняной посуды и кремневые наконечники орудий того человека. И мало-помалу под этим почвенным слоем были открыты места длительного его пребывания, и по направлению стойбищ можно было понять: и тот первобытный человек сквозь хаос нагроможденного камня, покрытого водой и лесом, пользуясь направлением узких, удлиненных озер и морен, старался пробить свою разумную прямую человеческую линию намеченного в наше время Беломорско-Балтийского пути.

Недалеко от нас и то время, когда русский человек, пробираясь вперед путем первобытного человека, принимал след ледника за след колесницы Ильи-пророка, и весь этот путь ледника из Белого моря в Балтийское стал известен в северном русском народе как *божья колея.*

И правда, путь ледника был очень похож на след колесницы. Там, где колесо уходило в землю поглубже, потом в эту глубокую колею набегала вода и оставалось удлиненное озеро. Там, где колесо поднималось, на этом камне после него вырастал лес, и это сухое место между двумя озерами стало называться по-местному *тайболой.* А то и просто бывало, из одного озера в другое бежала река, и человек переплывал на лодке даже и тайболу. Вот по этой же самой божьей колее озерами, реками и горами, покрытыми лесом, царь Петр перевел свои корабли из Белого моря в Балтийское. Просека в лесах, сплываясь от времени, была в наши дни еле очерчена: надо было издали на краю заревого неба увидеть темный зубчатый лес, и тогда ясно становилось, как темный лес на красной заре расступался на две черные стены и показывал след, как волю человека, имеющего власть над природой: человек захотел — и леса расступились, пропустили корабли, и этот след *Осударевой дороги* остался видим до нашего времени.

Так вот и теперь тот же человек, имеющий власть над природой, собрал множество людей со всех сторон необъятной страны, чтобы вновь соединить разделенные моря и, может быть, в этом великом деле показать еще более великое: показать, чего может достигнуть в природе человек, соединенный в труде как единый человек, неустанно идущий вперед и вперед.

## XVII. КРАСНАЯ ЧЕРТА

Скандинавский ледник своей чудовищной силой, сползая, растирал скалы, но были такие скалы первозданных пород, что и ледник, упираясь в них, свертывал с прямого пути.

Инженеры не останавливались и перед такими скалами и тонким стальным перышком на плане проводили свою прямую красную черту через скалы, недоступные даже силе сползавшего льда.

Эта красная черта для многих островов на Выгозере обозначала конец прежнему существованию и необходимость людям спасаться и браться за что-то другое.

Об этом говорили, объявляли, указывали новые места, куда следовало людям переселяться.

По-разному относились местные люди в том и другом селе на том или на другом острове. Бывало, в каком-нибудь селе в давние времена какой-нибудь любознательный солдат, вернувшись со службы, приносил с собою волшебный фонарь, удивлял земляков световыми картинками, и с тех пор на этот остров или в это село стали попадать другие новинки, и один по другому стали нарождаться тут люди несколько просвещенные. В таких местах, конечно, люди поняли мысль ведущих на плане через скалы, воды, леса свою красную линию и разумно стали готовиться к переселению. Но на Карельском острове, где спасалась Марья Мироновна, люди верили: последний потоп был при Ное праведном, и бог в ознаменование того, что потопа больше не будет, дал радугу.

Человеческая тревога еще не начиналась на Карельском острове, уснувшем после великих религиозных гонений и самосожжений. Вон там на краю острова какой-то рыбак сейчас рубит себе баню, выбирая деревья посмолистее, чтобы баня дольше стояла у воды и не прела. Если бы он только знал, что через какой-нибудь год эта баня будет на дне озера тихим пристанищем раков и рыб! Но бедный человек не понимал времени и строил свою баню как можно прочнее.

Неподалеку от строителей бани два рыбака дрались между собою за сиговые тони: один из них протянул свой невод по тоне другого, и тот теперь отбирал у него пойманных щук и сигов.

Перед неизбежным затоплением острова люди жили беспечно, и с ними рядом жили разные животные. Под

лестницей большого дома Марьи Мироновны была незаметная норка водяной крысы, и отсюда у нее был ход в пруд, где жили долго золотые караси. А над крышей высокого дома давным-давно стояло старое поломанное дерево. В борьбе за жизнь дерево выбросило множество порослевых сучков, и в этой куще тоже давным-давно ворона сложила себе темное гнездо и отсюда постоянно стерегла водяную крысу. Бывало, иногда светлой ночью водяной крысе вздумается выйти в пруд к золотым карасям не подземным ходом, а поверху. И вот этого случая постоянно дожидалась ворона. Годы проходили, одна ворона сменялась другой, одна крыса свои навыки передавала другой, и только мельчали караси, и постепенно золотые уступали свое первенство карасям серебряным, более мелким.

Случалось какой-нибудь крысе загрызть молодую ворону, случалось, и ворона унесет к себе в гнездо крысенка, но эти случаи не нарушали нисколько общей жизни берегов Карельского острова: сиги испокон веков держались этих берегов, и особенно дикие утки окружали остров своим серым живым островом, и ветхозаветные люди их не трогали и не пугали, полагая, что для еды назначена человеку не водяная, а горняя дичь. Гагары, гуси, лебеди присоединялись к серому утиному острову.

О будущем на всем острове думала одна только Марья Мироновна и неустанно молилась у себя в моленной, а ночью ложилась в гроб, ожидая страшного часа, когда затрубит Архангел и загорится земля. Ей ли, мирской няне и разумнице, не понять наше время, не вникнуть в него, не разбудить людей своих, дремлющих вместе со своими птицами и животными! Сколько раз молодая зеленая веточка старой ивы стучала в окно и шептала:

— Проснись, очнись, добрая бабушка, улыбнись, помоги этим бедным людям, развяжи их веревочки, чтобы не ходили они кругом себя, как телята на привязи.

И, конечно, еще и как слышала бабушка голос зеленой веточки, но, усиливаясь в вере предков, вспоминая прежних лет погорельщину, еще крепче держала в себе сжатое сердце.

Нет, наверно, не было уже бога живого в этих темных и страшных ликах икон, озаряемых неугашаемым светом лампады.

Живой творческий дух выбрал себе скромную комнату барака из сосновых бревен с ароматной смолой. В этой

комнате инженеры в постоянной борьбе между собою за лучший план старались так закрыть Надвоицкий падун, чтобы можно было самому человеку его и открыть и чтобы не падун управлял жизнью озера, а сам человек: захочет — и падун замолчит, захочет — и падун опять зашумит.

Конечно, ничего не знает об этом страшном умысле сам падун. И только подрастающий мальчик ежедневно приходит к нему в свою печурку, сливает с падуном свою жизнь и глядит туда, как в себя, и там, как в зеркале, что-то видит, о чем-то догадывается. Он в большой обиде теперь, этот трепещущий неученый мальчик, но, преодолевая боль свою, все-таки видит и теперь там, в падуне, других людей, всего соединенного человека, идущего все вперед и вперед к лучшему.

Чудится ему: человек со своими мыслями, желаниями там соединяется в большого человека, но почему же его одного, Зуйка, тот большой человек не берет с собой и забывает в печурке на черной скале?

Вон как взлетают высоко вверх струйки и, падая, опять соединяются вместе. Целые столбы белой пены высятся, и опять обнимаются, и опять соединяются.

И мелкие брызги летят, и радуга в них появляется, и гул, и хаос, а все-таки сквозь этот гул и хаос, если прислушаться сердцем...

Вот что-то сбилось, какая-то тяжелая глыба повернулась, загремела там в глубине. Что это?

Ничего! Вот опять что-то соединилось, и опять слышится мерный ход, и это, наверное, сам большой человек, преодолев какое-то огромное препятствие, справился и опять мерно шагает все вперед и вперед.

— Но зачем же, за что же меня бросили вот тут одного на скале? — спрашивает Зуек.— Возьмите, возьмите меня, я вам пригожусь. Эх, если бы вы знали, если бы вы только могли понять, как бы я вам пригодился.

Никто не слушает мальчика, предоставляя ему самому найти свой собственный путь. Невозможно же инженерам, определяющим место затопления, принимать во внимание интересы какого-то мальчика. Инженеры тоже думают о всем большом человеке, и что им задумчивый мальчик, переживающий обиду свою с падуном: это его личное дело решать вопрос, как выйти ему из обиды и, свободному, вступить в ту роковую борьбу за свое лучшее место в человеческом деле. В том-то, может быть, и есть смысл борьбы, чтобы слабенький сделался сильным.

Когда с трудным узлом на плане было покончено, инженеры довели до конца на бумаге все узлы до самого Белого моря и приступили к макетам канала.

Мысль начала облекаться в твердую материю, и вот он, первый кораблик, выходит из озера Онего возле Повенца. Дальше он должен подняться в гору на водораздел, переплыть по воде на ту сторону хребта, спуститься потом вниз до Белого моря.

Корабль вводят в коробочку, плотно закрывают за ним дверь, пускают в коробочку воду, кораблик поднимается выше и входит в другую коробочку, опять пускают воду и в эту коробочку, и корабль, поднимаясь выше на шлюзовую ступеньку, вступает в канал. И так семью шлюзовыми ступеньками повенчанской лестницы макетный корабль поднимается на водораздел и, преодолев горы, такими же ступенями-шлюзами спускается к Выгозеру. Падун в будущем не будет больше шуметь, и даже трудно будет узнать то место, где он когда-то шумел. В обход падуна сделана шлюзовая ступень, и кораблик спокойно спускается в озеро Воицкое, куда когда-то сверху Выг летел вниз падуном.

Когда вся мысль эта была заключена тонким стальным пером на белой бумаге и проект утвержден, имеющий власть над природой произнес свой новый приказ:

— Бросить всех людей на скалу!

## XVIII. ВСЕ НА СКАЛУ!

Двинулись массы людей на скалу, но лес нужен был на все время стройки канала, и специально лесные работники при общем приказе, конечно, остались на местах. Куприяныч по-прежнему спокойно, не делая никаких лишних усилий, работал и только изредка поглядывал на фаланги проходящих с песнями и знаменами каналоармейцев; они шли на войну со скалой — Куприяныч оставался в тылу.

Из всех прежних друзей своих и покровителей у Зуйка оставался только один Куприяныч. Конечно, Зуек делал вид, что ему все равно, а сам потихоньку всползал на дерево и оттуда из-за веток глядел и глядел на идущих под музыку со знаменами. Люди шли на скалу, как на войну, только в этой войне не было плачущих женщин.

Будь бы все по-прежнему, оставайся Зуек на месте курьера, каким бы героем шел он теперь впереди всех фаланг и как бы за ним гремела музыка и колыхались

знамена! А теперь кто он? Не простой деревенский мальчишка, не школьник, не пионер и даже не урка из барака, называемого *конюшней*. После той встречи в бараке с урками они почему-то стали ему еще дальше, чем прежде. Теперь, когда они знают,— его легавые выгнали, от него потребуют стать таким же, как они сами. Но он не хочет ни за что обижать человека и грабить шкатулочку для своих же воров. Нет, он не с ними, и это они ему не простят.

«Змеюга!» — сказал ему Сутулов. И с тех пор он чувствовал, будто в самом деле в нем поселилась змея, ползла и шипела. Больно ему было и страшно встречаться с людьми, с теми, кто просто и вольно идет на работу. Ему захотелось, как настоящей змее, скрыться где-нибудь от всякого глаза, но невыносимо тяжело ему было оставаться в потемках. и так он все полз и полз змеей тихонько по дереву вверх и сквозь густые ветви глядел туда, где трубы гремели и где все шли на войну.

Это большое дерево, срезанное, упало на другие поваленные деревья и вершиной своей, где спрятался Зуек, поднималось довольно высоко. Куприяныч мало-помалу дошел до этого дерева и, принимаясь за него, сказал:

— Спускайся, пацан!

Пока Зуек на четвереньках, головой вниз, спускался, ему пришла в голову одна странная мысль, и, приблизившись к Куприянычу, он поднял голову и спросил его:

— Скажи, Куприяныч, откуда взялась эта сила такая,— скажет: «Все на скалу!» — и все, гляди вон, как идут. А мы с тобой скажем — и нас никто не послушает.

— Нас, конечно, не послушаются,— ответил Куприяныч и воткнул топор в дерево.— А на что тебе нужно это, чтобы все тебя слушались? Раз уже тебе дали по уху — хочешь по другому?

— Хочу,— ответил задорно Зуек.

— Ничего тут хорошего нет,— продолжал Куприяныч.— Живи сам по себе, и будет с тебя: вышло и вышло, а не вышло, так дышло.

— Дышло, говоришь? Нет, ты скажи мне, откуда взялась эта сила?

— Смотри, пацан,— отклонился от вопроса Куприяныч,— лучше слезай скорей с дерева, а то упадешь — еще брюхо напорешь. Вот тебе и выйдет дышло.

Зуек слез, но не отстал. В голове его непрерывным потоком носились разные вопросы.

— Вот ветер,— спрашивает он,— это сила?

— Конечно, сила: вертит мельницу, валит деревья.

— И огонь и вода — все это сила? А что это: один приказал — и все пошли на скалу?

— Уй ли! — воскликнул Куприяныч.

И глаза его, как у ежа, скрылись под щетиной. Щеки раздулись, красный язык он забыл на губе. Зуек уже знал, к чему это все у него.

— Знаю, знаю,— сказал он.— Ты сейчас опять начнешь говорить о лесах, а вот уже одну весну пропустили. Я вот погляжу немного и, может быть, сам уйду один без тебя.

— Куда же теперь в зиму идти: вот придет последняя наша весна — и я тебе верно говорю: мы уйдем.

— Я тебя не это спрашиваю.

Куприяныч сделал плутовскую рожу и с таинственным видом указал на телеграфные столбы.

Зуек поглядел туда, прислушался: телеграфные столбы сильно гудели и наполняли все близкое пространство необыкновенными звуками.

— Вот сила,— сказал Куприяныч.— Спрашиваешь, какая она: вот она бежит по столбам, по проволоке.

Зуек вдруг понял и подивился, как он раньше сам не мог о том догадаться. Конечно же, приказ имеющего власть бежит по проволоке, и она гудит — это сила бежит.

Он приложил ухо к столбу и, конечно, услыхал бегущий приказ: «Все на скалу!» Так Зуек догадался. А неподалеку от него из леса, привлекаемый гулом телеграфных столбов, вышел молодой любопытный медведь, осторожно подкрался на гул, стал на задние лапы, обнял гудящий столб.

Некоторое время медведь был доволен гулом столба, но были и еще какие-то лучшие звуки где-то. Может быть, это там, у другого столба? Медведь обнимает другой телеграфный столб, третий, четвертый, и все не то и не то. Только на пятом столбу медведь понял,— ему надо подняться выше телеграфных столбов. И он выбрал себе высокое дерево и осторожно стал подниматься вверх с сучка на сучок.

А Зуйку не надо было и подниматься. Слушая гул телеграфного столба с приказом: «Все на скалу!» — своими глазами он видел, как все идут сейчас бригадами, группами, фалангами, трудколлективами.

Бывшие городские воры несут на своих плечах длинные рычаги для подъема валунов.

Рецидивисты, лепарды, волчатники, шакалы и медвежатники несут заступы и доски для трапов.

И кажется покинутому мальчику, до чего же им, должно быть, хорошо всем вместе идти на общее дело, как они счастливы, какая это добрая сила соединяет всех их в одного человека.

С музыкой приходят бригады, со знаменами, с песнями. Как они счастливы!

И покинутый мальчик, глупенький, перебегает от одного телеграфного столба к другому, прикладывает к каждому ухо и слышит одни и те же слова одного и того же приказа, соединяющего столь разных людей воедино на борьбу со скалой.

На высокую, стройную осину молодой любопытный медведь не за медом взобрался, ему тоже понравилась музыка, человеческий марш, побуждающий идти в единстве всех все вперед и вперед.

## XIX. ВОЙНА

Была особенная карельская тихость в природе и сырость в воздухе, такая густая, что пахло сырыми раками, и даже казалось, что времена человеческие тут еще не начинались и что это не сучья гиблого леса торчат, показываясь из-за скалы, а рачьи клешни растопырились.

Что это? Мир только что начинается, или, может быть, он в безлюдье своем так одичал?

Вон под горой вода, и от берега вверх поднимается дерево, и верхушка этого дерева цепляется за воду на горе, а с того верхнего озера тоже поднимается дерево и расплывается в тумане.

В эту природу пришел человек, имеющий власть, и приказал.

— Слушаю! — ответил другой человек.

И взял на себя великий труд расставить реки, озера, скалы в новый порядок, какого не бывало в природе. И каждого рабочего поставить на свое место, где ему было бы способнее работать и он мог бы больше принесть пользы общему делу.

Тогда вся природа со всем поглощенным ею древним человеком стала против новой деятельности нового человека, и началась война у природы за свой вечный покой и у человека за свое лучшее будущее.

## XX. КОНЮШНЯ

Вначале война с природой не казалась такой тяжелой и страшной, как война между людьми. Ледник в далекие времена так измельчил скалу, что людям можно было даже просто руками выбирать валуны. Но строители канала с самого начала понимали, с каким сопротивлением придется им встретиться, и с самого начала знали — это будет война. И людей организовали в боевые части, и рабочие стали называться каналоармейцами.

Вся эта первая скала была разборная. Вынимая камень за камнем, каналоармейцы углублялись в землю и выкладывали валуны на края котлована. В уродливой впадине было полно людей. Там они бродили, спотыкались, наклонялись и по двое, по трое старались приподнять какой-нибудь тяжелый камень. Тогда природа выступала против людей этих силой тяжести: она тянула камень вниз, стремясь вырвать его из рук людей, обломать им ноги и утвердить камень свой на прежнее место. Люди, напротив, стремились камень поднять, и не только до верху, а даже отнести его несколько в сторону.

Случалось, и двое, и трое, и пятеро, и еще больше, собравшись, не могли одолеть эту силу тяжести. Тогда непременно кто-нибудь бросал работу и говорил:

— Деточки, ша!

Каналоармейцы закуривали, глядели вопросительно на отказчика, а он уговаривал:

— Ша, деточки! Пусть за нас медведь работает.

И в ответ ему какой-нибудь имеющий вид интеллигента раскланивался и говорил:

— Имею честь кланяться!

Отказчики, дезертиры один за другим уходили с фронта борьбы человека с природой в свой тыл, прозванный у каналоармейцев *конюшней*.

Там, в этой конюшне, отказчики собирались особой группой между двумя слоями людей косных, местных землевладельцев и рыбаков, подчиненных природе, и людей, подчиненных приказу человека, имеющего власть над этой природой.

В конюшне людям нечего было взять и у природы, и начальство давало им жалкие пайки в расчете, что они одумаются, возьмутся за дело и оправдают эти пайки. Им оставалось только грабить друг друга, отдавая свое время и волю картам. Конюшня была местом, где «ночью пляшут

и поют, а утром плачут и встают». Конюшня была местом дальнейшего разграбления человека, где один обломок его на глазах другого, обыгранного, съедал его голодный паек, а голодный, щелкая зубами, надеялся только на то, что он отыграется и отнимет у счастливого его будущий день.

Но и тут, в этой конюшне, был один крепкий и живой старичок, в карты он не играл, паек получал по первой категории и мог бы жить и в самом хорошем и чистом бараке, а жил тут и отсюда уходить не хотел. И постоянной поговоркой повторял о своих товарищах по конюшне:

— Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!

Хулиганчикам эти слова вроде как бы нравились, старика никто из них не обижал, хотя он первым везде работал на трассе. И тоже он постоянно был в переговорах и делах с начальством, а никто хорошего человека никогда не попрекнул в конюшне за легавых... Все знали,— он с ними водился не для себя.

И все тоже знали, что был он когда-то очень богатым человеком, и, бывало, не раз кто-нибудь от нечего делать в конюшне возьмется поскалозубить и поддразнить старика.

— Дедушка, где твои миллионы?

— Со мной,— отвечает бывший миллионер.

— Где же они с тобой?

— На замочке.

И примется смеяться добродушно, повторяя свое постоянное:

— Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!

И весело рассказывает не то притчу, не то сказку о том, что вот если бы только ум теперешний да назад обернуть его, когда был богат и славен...

— Вот бы жил! — со смехом говорит он.— Я бы эту славу свою теперь бы на замок, а сам бы жил и жил, как теперь с вами.

— Так зачем же было тогда ее достигать? — спрашивает человек из конюшни.

— Достигать, дружок, нужно, чтобы она не манила, не дразнила, не разлучала нас между собою. Поймать — а потом ее на замочек, сиди, мол, чтоб новым, молодым, неповадно было! А ты спрашиваешь, где мои миллиончики? Все, сынок, у меня на замочке. Эх вы, милые мои хулиганчики!

Улыбнуться лицом, иссеченным морщинами, Волков уже и не мог. Никто бы и не понял этой улыбки. Но глаза его светлели, и по ним бездельники понимали: устал старик на работе. Лечь ему, отдохнуть хочется. И отставали.

Начиналась обыкновенная страшная ночь, но мысль все равно и этой ночью питалась, как и самым чудесным днем. Это бывает, когда у человека, усталого от большого дневного труда, голова лежит на подушке. При дьявольских криках и ударах человек о чем-то подумает и опять заснет, и опять пробудится, и опять подумает, а утром опомнится, и ему чудится, будто всю ночь в его голову стучалась какая-то мысль. Потом на работе весь день нет-нет да и явится чувство этой мысли — пробует человек что-то вспомнить и никак не может, а знает: мысль эта живет в себе. А вот уже на ночь, когда снял сапоги, развесил подсушить сырые портянки и подошел досужий человек и хотел подразнить его миллионами, вдруг все вспомнилось: мысль эта была о том, что ни в рубле, ни в славе вечности нет, что пусть и нужно было этого достигать, пусть без этого не обойдешься, но что, достигнув, все надо запереть и жить, как будто ничего этого не было.

Вот она теперь, эта мысль, у Волкова как бы вышла на волю из сердца, и поднялась в голову, и оттуда сошла на язык, и пошла, и пошла, как человек, все вперед и вперед.

Человек ставит ногу вперед с этой мыслью о лучшем, и этот шаг вперед тащит другую ногу из прошлого. И так мысль поднимает прошлое, и оно тоже выходит вперед и этим спасается, и впереди всего идет мысль о лучшем: и все вперед и вперед.

В этой мысли о лучшем — вся вечность, а в рубле вечности нет.

Так беспокойная мысль точила человека, пока не нашла себе выход. Теперь человек, оставленный ею, спит, не обращая больше внимания на драку и ругательства возле него.

---

Конюшне, конечно, одно утешение думать, что она является жертвой торжествующей неправды легавых и что не канал — цель легавых, а ненависть к свободному, как они, человеку. И оттого они в свое оправдание думали и постоянно о том говорили: никакого канала не будет, и при первой хорошей весенней воде все затеи легавых унесутся вместе с туманом в Белое море.

А между тем котлован и углублялся, и в длину рос, и стал получать вид канала. Разборная скала как будто нарочно так была подготовлена, чтобы люди ее разбирали прямо руками. Чуть какая-нибудь заминка случится с огромным валуном — тут всегда появляется сухорукий старик с иссеченным морщинами лицом, обдуманно наметится, направит людей:

— Взяли, товарищи!

— Взяли! — ответят ему хором.

И потные люди, скинув даже рубашки, выставляют валун на тачку и прямо на край котлована. После того, бывало, потные люди, не надевая еще и рубашек, садятся рядом покурить, как садятся дружно воробьи тесно рядом на жердочке, и тогда нехорошо делается одинокому из конюшни, если он случайно увидит их вместе. Он увидит людей достаточно сильных, чтобы не чувствовать утраты этой силы при работе, людей достаточно богатых душой, чтобы не искать каждому отдельно для себя особой награды, и сейчас при перекурке просто счастливых своим единством и победой над камнем.

Но и сухорукий старик, имеющий возможность работать только усилием мысли, в том же самом ряду сидит с тем же счастливым чувством победы, и как будто он даже счастливее всех. Им-то всем душевный покой давался как бы даром самой природой, но Волков на старости лет впервые только узнал это счастье и непрерывно все расцветал и расцветал изнутри.

Так было однажды, он куда-то исчез и вернулся с большой плетеной сеткой в руке, и за ним несли веревки. Этой сеткой был охвачен валун, наверху на краю котлована был установлен ворот, и камень в сетке воротом легко был поднят наверх. Но в этих выдумках Волков был не один. Он внизу тут вместе с рабочими догадывался и своей догадкой втягивался в общее дело. А наверху начальник узла Сутулов неустанно следил за работой, беспрерывно решая задачи борьбы и победы. Как только ворот был установлен на краю котлована, он уже мысленно заменял людей лошадьми, а на другой день десятки сеток охватывали валуны и десятки воротов вертели лошади. И тут же десятки инженеров работали над моделью местного деревянного деррика.

Проходит немного времени, одна догадка, складываясь с другой, навертывает на себя новые, как горсть снега в оттепель, катясь со скалы, образует огромную снежную

лавину — огромной силы техническую мысль, и на берегу котлована вместо лошадей становится механическое чудовище, исполняющее волю человека, имеющего власть над природой. Теперь как царь природы стоит этот скромный, с виду самый обыкновенный человек, Сутулов, и по его приказу механические чудовища медленно поворачиваются основанием тулова, покряхтывают, звенят цепями, выворачивают своими железными пальцами из вековых гнезд валуны и осторожно складывают их на вагонетки.

Мало-помалу канал обрастает мостиками, с упором в подъездные пути, по мостикам и трапам неустанно снуют каналоармейцы с тачками, внизу люди бьют молотками, сверлят и бурят. По дну котлована с обыкновенным свистом своим катит паровозик и тащит за собою платформу с камнями. Электрические моторы выхлебывают воду из деревянных сот. И только изредка услышишь стук конских копыт по дну канала, а еще реже вырвется голос отдельного человека. Так делались стенки канала все выше, от мороза покрывались сосульками, в оттепель сосульки блестели и капали, и так оно было везде, во всех узлах строительства от Повенца и до Белого моря.

## XXI. ЭТО НЕ ВАЖНО

Когда Волков на мгновение проснулся от какого-то дикого крика в конюшне, ему вспомнилась большая древняя сеча, когда русские, усеяв поле своими телами, мало-помалу начали уступать, и еще бы немного — татары бы взяли верх и погнали. Но князь Дмитрий был хранителем русской мысли в этой войне и, когда пришла последняя решающая минута, выпустил на татар укрытую в запасе конницу, и эта ничтожная в сравнении со всей русской силой конница решила дело народной победы, и вся татарская рать побежала. Вспомнив эту битву, Волков подумал о своей конюшне, и ему представилось, как, бывает, так чудно представляется, когда все тело лежит неподвижно, а голова и тут не остается без постоянной своей работы: представилось, будто конюшня в борьбе с природой и есть та запасная конница древней битвы.

Мало того: ему представилось — люди в конюшне не просто пешие люди, а все они конные и что у каждого есть свой особенный конек и оттого-то они не хотят спешиться и работать простыми людьми на канале. На секунду опо-

мнившись, Волков зевнул, по старой привычке перекрестил себе рот и, засыпая, прошептал: «Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!»

Сон Волкова о коннице вышел в руку: русская великая рать сейчас на канале боролась, только не с татарами, а с природой, и, пока скала была разборная,— вся борьба была на стороне человека. Чудовищные деррики мерно опускали свои клювы и поднимали их переполненные добычей. Гигантские зеленые тыквы диабаза доставлялись наверх в открытых ящиках. По параллельным тропам скатывались вниз пустые тачки. Но как-то случилось вдруг неожиданно, разборная скала кончилась, и на прямой путь человеческого канала природа выставила сплошную скалу первозданной породы.

Разборная скала была скалой, растертой ледником. Но эту сплошную скалу ледник не мог в свое время растереть и сам от нее отвернул в сторону. Красная же прямая линия человеческого плана шла прямо на сплошную скалу. И чего не мог сделать Скандинавский ледник, то должно быть сделано человеком.

Вот тогда-то Волкову и вспомнился его сон: великая русская рать дрогнула, и даже привычные к трудной земляной работе смоленские грабари начали склоняться к тому, что канал — это придумка, это предлог, чтобы замучить и покончить с человеком свободным...

— Канал — это фикция,— сказал маленький худой человечек с большим лбом, розовым лицом и синими жилками.

— Ты прав, Бацилла,— ответил Слива, человек огромного роста, с большим красным носом, похожим на сливу. И оба направились в конюшню, а затем, конечно, усомнились и другие, до сих пор трудолюбивые воры. И смоленские грабари, перекуривая, все чаще и чаще поглядывали в их сторону.

Теперь в борьбе со скалой нужна была от людей великая подрывная работа, нужны были смелые, отчаянные люди, умеющие играть со смертью так же наивно и просто, как играет иногда дворовый кутенок с хвостом лошади, подкованной железом: один удар железной ноги — и кутенок как тряпка полетит с разбитой головкой. Но кутенок несмышленый, а человек все понимает и все-таки не боится железной ноги смертоносной кобылы.

Вот тут Сутулову вспомнилась конюшня, и одновременно Волков подумал тоже, что у этих людей, у каждого, есть

свой конек и что если каждого посадить на своего конька, то, может быть, как раз и выйдет из этого та самая конница, решившая победу в древней великой битве русских людей.

— Ты как думаешь об этом? — спросил Сутулов с глазу на глаз старика.

Он спросил его, как начальник, на «ты».

И бывший миллионер понял это как надо и ответил на «вы», что у каждого в конюшне есть свой конек и каждого надо посадить на своего конька и дать ему «силу воли».

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, они так понимают и так называют то самое, чего каждому хочется, и вы так понимаете: сила воли.

— Понимаю, посадить посадим и волю дадим, а куда же они поскачут?

— Куда надо, туда и поскачут.

— И кто же их выведет из конюшни?

Волков опустил глаза. Сутулов проницательно поглядел на него и спросил:

— Ты?

— Прикажите! — ответил Волков.

— Хорошо,— сказал Сутулов,— выведи.

И потряс ему руку.

— Слушаю,— сказал Волков.

И так в этот раз окончился на трассе рабочий день.

---

Приготовляясь на своем месте ко сну, Волков развертывал сырые портянки и так про себя думал: «Сделать канал — это значит поймать силу воды и заставить ее работать на человека. Вода это правильно делает,— размышлял Волков,— что сопротивляется: заключенная вода — это раб человека. Но вот если взять ветер, как он вертит мельницу и, упираясь в крыло, облетает его и остается свободным. Ветер... а мысль человека куда свободнее ветра, и нет такой работы, нет такого заключения, где, если бы захотел человек, свободная мысль не помогла ему и не полетела бы дальше, любя человека, все дальше и дальше».

Так понимал в заключении радость о свободной мысли человек, расставшийся со своими богатствами.

— Ты, дедушка, что такой нынче веселый сидишь? — спросил Волкова Вася Веселкин.

— Вспомнил, сыночек, свое прежнее и теперь радуюсь свободе своей. Как миллионы раньше мучили. Вот сейчас я кланяюсь им, спрашиваю: кого они теперь мучить летят?

И о тебе тоже думаю, какой ты молодой и хороший, и все у тебя впереди.

— Я хороший? — сказал Вася удивленно.

И на минуточку как бы замер в своем удивлении, а потом вдруг принялся хохотать, как будто дедушка сильно его рассмешил. Умный Вася, конечно, понимал, что дедушка не просто это сказал, а что была у него какая-то тайная мысль. Но понять ее он не мог и стал закрываться смехом искренним о том, что он, бывший замочный вор, был хорошим.

— Чего ты? — остановил его дед.

— Как чего? Ты говоришь — я хороший! — и опять хохотать.

— Нет, Вася, ты не смейся, у меня есть одна мысля.

Вася сразу стал серьезен. Он же был умный белокурый русский паренек и хорошо понимал, что за смешным словом была у дедушки мысль.

— Мыслю свою,— сказал Волков,— я тебе не скажу: тебе ее все равно не понять. Молод! А помысел тебе свой я открою. Хочу тебя из этой конюшни вывести.

— Пошто вывести? — спросил Вася.

— На хорошее дело.

Услыхав слово о хорошем, Вася опять принялся смеяться.

— Будет тебе,— сказал дед.— Я истинную правду говорю. Есть хорошее дело. Опасное. Жизнь поставишь на карту, а не краденый паек. Идем с тобой в подрывную бригаду. Я бригадиром и сигнальщиком, а ты запальщиком. Опасное дело.

— А сапоги дадут? — спросил Вася живо.

— Уговорился я с ними: сапоги дадут, штаны, телогрейку, повышенный паек и в новый барак, и чтобы выйти вон из конюшни.

— Что ты говоришь? — недоверчиво сказал Вася.

— Я тебе говорю. Ты мне не доверяешь?

Вася ничего не отвечал. Он выкладывал в голове свой расчет, как мостовую из кирпичей, но сапоги, одежда, паек не укладывались в расчет, и оставалось только решить так, что легавые придумали какую-то новую ловушку.

— Опасное дело,— подсказал Волков.— Никто не хочет жизнью своей рисковать.

И как только сказано было, что надо жизнью своей рисковать, Вася вдруг понял все и живо сказал:

— Я тебе доверяю.

— То-то,— спокойно ответил Волков.— Ступай потолкуй со своими ворами. Может быть, какие тоже доверят.

— Тебе доверят многие,— ответил Вася.— А баб тоже брать будем?

— Отчего же не брать. А есть такие?

— А как же! Есть Анютка Вырви Глаз, умная девка, на все пойдет, если выгодно. Ей надо будет чего-нибудь еще посулить. Есть спекулянтка, смешная, зовут ее Шаша-Маша,— пришепетывает. Каждому угодить хочет за счет другого: кому угодит — тот не благодарит, так, мол, и надо, а за счет кого угодит — тот ее бьет: всегда битая ходит. Лечит от всех болезней, за всех молится и опять то же: кому поможет — не благодарит: так и надо, а кому не поможет ни бог, ни лекарство — тот бьет. Битая баба: скажи ей доброе слово — и она тебе полезет в огонь. Тощая-тощая! — И, представив проворными руками и подвижным лицом, какая такая битая Маша, Вася залился открытым, ребяческим, неудержимым смехом, и морщины на лице Волкова дрогнули и зашевелились паучиными лапками, и по глазам стало понятно, что дедушка тоже смеется.

— Еще, пожалуй, Балабоха пойдет,— продолжал Вася, отсмеявшись.— Кацапик, наверно, пойдет. Поговорю с Иваном Дешевым... Наберу людей, только не подведи!

— Я-то не подведу, а вот ты рассчитывай, чтобы не подвести. Получат сапоги и проиграют, а без сапог на подрывные работы в камни нельзя.

— Не подведут. Только сразу всем сапоги, одежду в руки доверь, оглуши их доверием и выводи вон из конюшни.

— Это правда, Вася, ты это очень неглупо сказал, чтобы оглушить человека доверием: этим нашего брата, заключенного, скорее удержишь, чем решеткой с железными прутьями. Пожалуй, я тебе теперь и свою мыслю открою...

— Мысль? — робея и немного бледнея, повторил Вася.

— Да ты не бойся, глупенький, тут ничего нет такого, я только думал сегодня, что сделать канал — это значит поймать силу воды и заставить ее работать на человека, и что вода спешит бежать и не хочет в рабство попасть к человеку. Но все равно ее человек одолеет, и канал сделают.

— Сделают? — спросил Вася.— А некоторые говорят, будто это для нас выдумали, чтобы замучить и кончить с ворами.

— Ну вот, говорят! Как это можно кончить с ворами! Канал сделают, и хорошее это дело.

Услыхав «хорошее», Вася в этот раз не смеялся, он понял, что над хорошим делом смеяться не надо, но по привычке только собрались и разбились у него возле губ мельчайшие морщинки, как паутинки, и глаза, большие, серые, как будто сели на корточки, чтобы сделать прыжок на смех, если и это хорошее тоже провалится. Волков хорошо заметил перемену лица у Васи при словах «хорошее дело» и успокоил его:

— Нет, Вася, я не хочу кормить тебя пряниками. Но только и нас это дело сейчас касается: воду заключить надо, вода на человека работать должна. А вот я думаю, как ветер мельницу вертит? Упирается в крылья и облетает. Так и мыслю человеческую нельзя заключить: она еще сильнее и свободнее ветра. Были у меня деньги и временно боролись, чтобы заключить мыслю мою, а теперь, в заключении государственном, оглянусь на себя прежнего — и какое раздолье! Так и сейчас мы пойдем на опасное дело, жизнью рискнем, я не боюсь. Ну, а как ты думаешь об этом, если что?..

— Это не важно,— подал голос Вася.

— Вот и все! Вот и вся моя мысля, Вася, мой дорогой: будут люди жить и после нас: помирать собирайся — рожь сей.

— Мы тебе доверяем,— ответил Вася.

И пошел других рискачей подговаривать, повторяя всем, что сапоги будут прямо на руки и что всем надо *на рыск.*

## XXII. СТАЛЬНОЕ ПЕРЫШКО

Ледник так и не мог раздавить эту скалу из сплошных первозданных пород, он даже не мог отодвинуть ее со своего пути и — нечего делать! — сам повернул. А человек, имеющий власть над природой, не побоялся сплошной скалы и своими тонкими пальцами стальным перышком на плане провел через эти скалы прямую черту. Смешной Зуек, охваченный непосильными мыслями, бегал от одного телеграфного столба к другому в надежде услыхать бегущий по проволоке приказ. Ему бы лучше в конюшню прийти и послушать сердце Васи Веселкина, уже принявшего в себя великий приказ. Васино сердце бьется

неустанно, отжимая из крови в голову мысль о том, что не напрасно мы на свете живем, есть какое-то великое дело у людей на земле, и если оно коснулось себя, то беречь себя незачем: я иду!

Сапоги, паек, а главное — доверие вывели многих людей из конюшни, и некоторым было это, как Васе, толчком: под предлогом хорошей награды не стыдно взяться за дело, а может быть, удастся и себя самого показать. Рудольф, конечно, только за этим и пошел на рискованное дело, чтобы себя показать. На Васю он смотрел, как на лопату, но хорошо понимал — без лопаты работать нельзя, и, соображая, что немало таких, как Вася, выслушал его без насмешки и тоже обещался идти.

Этот слух о том, что конюшня пошла на скалу, проник даже и туда, где таился Зуек, и он видел из-за ветвей дерева, как шли подрывники с перфораторами, аммоналом, запальными свечами.

— Слышишь,— сказал он Куприянычу,— идут и свистят.

— На смерть идут,— ответил Куприяныч,— народ отчаянный, чего бы им не свистеть. Это война!

Ох, как все закричало в душе Зуйка, когда он услыхал, что люди со свистом на смерть идут, на войну!

— Со свистом, говоришь? — спросил он.

— Со свистом: им теперь все нипочем. Им весело.

— А почему же со свистом?

— Терять нечего — оттого и свистят.

Сердце Зуйка так билось, охваченное возможностью счастья! Броситься бы, стать в эти ряды, забыть бы свой позор и отдаться великому делу. Мгновениями он даже решался, но в другое мгновение его охватывал страх от стыда, что когда он выскочит и все увидят его, какой он, то, наверное, засмеют.

— Да, наверно, засмеют,— решил он и опять глядел с завистью из-за ветвей, как люди все вместе дружно идут на смерть и свистят.

Вот все прошли, и Зуек остался опять в своей щелке один.

И начались на трассе серые и желтые дни без ночей. Серые дни обычной карельской зимней погоды и желтые дни электрического ночного освещения. Серыми и желтыми днями непрерывно, как в лихорадке, сверлят перфораторы первозданную породу скалы, и всюду от них летит белая мучнистая пыль. В скале высверливается дырочка

и в нее закладывается деревянная втулка. Приходят к этим втулкам подрывники, вынимают, открывают дырочку, начиняют ее аммоналовым фаршем. Скала мало-помалу обрастает сначала деревянной щетиной втулок, а потом эта щетина заменяется хвостиками запальных шнуров. От бригады к бригаде переходит начальник подрывных бригад — дедушка Волков.

— Готовы? — спрашивает он бригадира.

— Готовы, Семеныч,— отвечает ему бригадир.

Если же еще не готово, начальник сам помогает и все проверяет. И так мало-помалу он поднимается все выше и выше на скалу и занимает видное место, следит оттуда за ходом работ, а сигнальщики с красными флагами внизу ждут его приказания.

Томительное ожидание было оборвано резким свистком начальника подрывной бригады.

Волков просвистел и поднял свою кепку, как флаг. Все движение по свистку остановилось. Деррики опустили свои гигантские клювы, замерли в воздухе зеленые тыквы диабаза, поднятые вверх над кавальерами. Грабарки, вагонетки, люди скопились в бездействии у заградительных постов.

Второй раз просвистел дедушка — и опять махнул своей кепкой. Тогда каждый запальщик зажег свой запальный шнур и поджег свою бурку.

Согнувшись, склонив головы почти до самой земли, перебегали запальщики, оставляя после себя на скале запальный огонь. А дедушка там наверху, на скале, зажег свой контрольный запальный шнур, и все внизу из-за своих камней, канав и печурок с замиранием сердца глядят и следят по горящему контрольному шнуру за приближением взрыва. Всегда кажется в ожидании взрыва — он ахнет резко, весь сразу и все потрясет. Но он приходит мягко и не страшно:

— Ах!

И как будто этому «ах!» из недр земных ответил человеческий крик. Или это так показалось? И кто слышал, сам подумал про себя: уж не я ли сам это крикнул?

А уж после того, разрастаясь, охватывая гулом все вокруг, загремело, и скала дрогнула.

Полетели камни, как птицы, понеслись смертоносные обломки скалы, поющие в воздухе свои предупреждающие песни. Встал дым высокими, подпирающими серое небо черными колоннами.

Но что же это было в самом деле: послышался, как бы в ответ на подземное «ах!», человеческий крик?

«Сам ли я крикнул?» — каждый думал про себя. Но вот и другой слышал, и третий, и все спрашивают об этом, значит, был действительно, где-то был человеческий крик.

— Жив ли Иван Дешевый?

— Вон Дешевый стоит!

— А Колька Седой,— его что-то не видать?

— Здеся Колька!

— Анютка Вырви Глаз?

— Здеся и Анютка.

Все целы.

— А где же Вася Веселкин?

И побежало от бригады к бригаде: «Где Вася Веселкин?»

Кричат, зовут Васю Веселкина наверху, внизу, на той скале и на другой. Уже находятся такие, кто с завистью подумывают о побеге Васи, и уже просится злая мысль на язык и хочется только встретить первого, кому бы сказать: «Какой Васька-то молодец, всех вовлек в это дело, а сам под шумок убежал!»

Но вот крик раздался:

— Вот он, тут он, идите, идите скорее сюда!

И все побежали, и все увидали.

Подняв руки вверх с зажатыми кулаками, как будто он за что-то ухватился и хочет подняться вверх, лежит на камнях с разбитой головой Вася Веселкин.

Веселый был Вася!

И все, кто бы ни прибегал сюда, останавливались, и всем это приходило в голову:

«Какой веселый был паренек, и за что он погиб?»

Вторая мысль была о том, что кто-нибудь виноват и что надо как можно скорее найти виновника и отвести себе душу. Никто не мог сразу, не приняв своих мер, примириться с мыслью о необходимости во всяком деле большом несчастного случая.

Все молчали. И наконец последним спустился с горы и увидел Васю дедушка Волков, начальник подрывной команды.

— Ты куда же смотрел? — спросил его кто-то из толпы.

И сразу заревела вся толпа, как один человек, повторяя:

— Куда же ты смотрел, старый кобель?

И кто-то первый поднял камень, соединяя в злобе своей, как вину, все хорошее, что было в старике: и что стар

он — это теперь как негодность, и что умен — это как хитрость, и что бескорыстно служил делу — это как легавая угодливость начальству.

— Найдем на твою шею пять пальцев!

— Поломать старого кобеля! — приказал первый судья, поднимая свой камень.

— Поломать, поломать! — заревела толпа.

Но как раз тут и сам начальник узла Сутулов спустился со своего наблюдательного места и одним движением руки остановил самосуд.

Ему доложили:

— Веселкина убило. Какая это работа! Хотим поломать старого кобеля.

— Работа нелегкая,— спокойно ответил Сутулов.— Вася был достойный каналоармеец, и Волкова вы все знаете: чем он плох? Если кто лучше его может — брось в него камень первый и становись на его место.

Все молчали. Но вышел маленький Бацилла и указал на скалу:

— Какая это работа!

Скала стояла ощипанная взрывом, но такая же увесистая и сплошная, как и когда ее вот так же пробовал сдвинуть ледник. Не сдвигал, а только царапал.

А дедушка Волков все мимо ушей пропустил и даже, что его хотят поломать. Он сразу же поглядел на Васю и понял: конец. Перевел глаза на скалу и, как только Сутулов пришел и все обратились к нему, незаметно для всех удалился к месту взрыва, все ниже и ниже спускался и копался там, перебрасывая камни, и совсем исчез, наконец, в скале, как будто он был горным духом, проникающим в камни.

Это кто-то заметил в толпе, шепнул другому с особенным выражением, и мало-помалу слушок побежал, и вся толпа уже суеверно глядела на скалу в то место, где старик в камень вошел.

Невольно и Сутулов тоже отдался влиянию толпы и оглянулся на камень, где скрылся старик, и вдруг на другой стороне скалы как будто родился Волков, и рубцы времени на лице его, как на камне, сложились в этот раз светло и весело.

Выходило так, что старик прошел сквозь скалу.

— Заземляйтесь,— сказал он, подходя к Сутулову.— Заземляйтесь скорей, к полночи вся эта скала у нас полетит.

И рассказал тут, что от взрыва открылась в самом низу глубокая пещера и что там надо сейчас скорее бурить и набивать аммоналом.

— Идите все,— приказал он,— заземляйтесь.

И, получив одобрение начальника, еще приказал:

— Отнесите Васю Веселкина, положите, прикройте, а в полночь мы его похороним.

Тогда все поняли так старика, что этим делом, взрывом скалы, мы ответим на смерть Васи Веселкина, веселого, хорошего, легкобычного парня. И у всех душа, как бы заключенная в железную клетку, нашла себе выход: не старик виноват, а скала, и мы победим ее в эту ночь.

— Заземляйтесь, заземляйтесь,— повторял Волков, обходя бригаду за бригадой, направляя всех в подземелье.

И все шли с лопатами, с перфораторами, запальными шнурами, исчезая, как горные духи, в скале.

Вот теперь бы сюда Зуйка, поглядел бы он теперь на конюшню, на всех этих выключенных из жизни людей, как они шли мстить скале за смерть Васи. И как бы он шел теперь с ними! Не шел бы он, а летел, как все мы летим к людям, когда тоже попадаем в одиночество или тоже когда очень хорошо бывает, душа переполняется, и счастье ищет сосуда, чтобы не тратиться и даром не проливаться на землю.

А если бы он мог тоже быть потом в полночь на той горе под соснами, где хоронили Васю Веселкина! Как там заиграла музыка, и запальщики под командой дедушки Волкова разом подожгли все свои шнуры. И когда гроб опустили, раздался взрыв, и скала рассыпалась вся до основания.

И то, что не мог сделать Скандинавский ледник, спускаясь с гор в долину тысячи лет, то в одно мгновение сделал светящийся разум, наметивший тонкими пальцами инженера и его стальным перышком прямую линию по этой скале.

## XXIII. ДЕДУШКА И ВНУЧЕК

В Надвоицах, где строительство узла было виднее, чем где бы то ни было, еще было много местных людей, кто никак не мог верить, что падун когда-нибудь перестанет шуметь. Но зато, когда для охраны оконных стекол от сотрясающих воздух взрывов населению выдали бумагу

наклеивать ее на окна тоненькими полосками в елочку, в эти бумажные елочки все поверили, и в один день окна везде разукрасились.

Глубокий канал, пробитый в сплошной скале, разделил село надвое: одна сторона была ближе к падуну, другая ближе к Выгозеру. Дом Сергея Мироныча остался на той стороне, ближе к падуну, и можно было из окна этого высокого дома хорошо наблюдать, как изо дня в день неуклонно к падуну приближалось русло водосброса и как там больше и больше с двух сторон большую реку перехватывала плотина.

Сергей Мироныч, теперь совсем больной и слабый, с утра до ночи сидел у окна и следил за строительством, не совсем еще понимая основную мысль строительных работ узла. Дело было в том, чтобы воду Выга по желанию можно было пустить в шлюзы и спокойно по ним спускать вниз корабли; или, если воды был избыток, пускать ее через водосброс по-прежнему в падун. Так весь узел канала состоял из плотины, из шлюзов и водосброса.

Старик хорошо знал, что Зуек уже, наверно, понимает, в чем дело, но ему было совестно обратиться к помощи мальчика.

— Моей головой живете! — постоянно он повторял, и постоянно Евстолия Васильевна потакала ему:

— Твоей, твоей головой живем, батюшка!

И вот это время прошло, и он должен смириться и поклониться времени, уносящему вперед от него и его собственный ум и распоряду.

— Добьюсь, добьюсь своего,— шептал он каждое утро, занимая свой пост у окна.

Видно было с его места, как с той и с другой стороны спускали в реку ящики или корзины, нагруженные камнями, и эти *ряжи* постепенно сходились друг с другом. Тут все было понятно: когда сойдутся ряжи и последние воротца закроются, то и падун перестанет шуметь.

Старик, конечно, скрывал от людей, но в душе ему нравилась огромная техническая мысль, заложенная в это строительство, и мало того, вникая в работу, он как будто принимал в себя целебный жизненный напиток, и, кто знает, может быть, только это живое внимание сохраняло жизнь в старом, изношенном теле. Ясно было ему теперь только, что происходит на глазах: ряжи, большие ящики, нагруженные камнями, сходятся больше и больше и перехватывают мертвым поясом реку. Понятен был и канал

водосброса, но работу над шлюзами на той стороне Выга нельзя было понять из окна.

Случилось однажды утром, когда Сергей Мироныч с помощью Евстолии Васильевны слез с печи и занял свое обычное место на лавке возле окна, вдруг на той стороне Выга грянул взрыв, и окна на всей стороне села, обращенные туда, ходуном заходили, и в одном окне стекло вылетело и зазвенело внизу.

— А обещали,— сказала Евстолия Васильевна,— уверяли, что эта бумага в елочку удержит стекло. Послушались, клеили-клеили,— а вот теперь живи зимой без стекла!

— Не все же стекла́ вылетели,— ответил Сергей Мироныч,— проживи-ка сама всю жизнь без греха.

— Верно, верно, Сергей Мироныч! — покорно, с добрым духом ответила Евстолия Васильевна.— Твоей головой живем.

Милые привычные слова старого испытанного друга подняли дух старика, и вдруг в один миг какой-то его коснулась мысль всего строительства узла, и в этой догадке, конечно, и сам он утвердился в себе, в том, что не совсем ему отказалась работать его голова.

До сих пор непонятно было старику, где будут плыть корабли, когда падун будет закрыт. Мысль строительства самой плотины была проста: падун будет закрыт, и река бросится назад, и если вода Выгозера будет угрожать плотине, то избыток воды будет брошен через канаву, разделяющую все село надвое, обратно через падун. И понятно, что тогда падун будет в руках человека: будет молчать, когда надо, и будет шуметь, когда позволит ему человек. Но где же будут плыть корабли — этого понять Сергей Мироныч не мог и не хотел по упрямству и самолюбию спросить у Зуйка. А когда раздался взрыв на той стороне, он сразу понял — там в обход падуна рвут скалу, чтобы сделать новое русло с постепенным спуском в озеро Воицкое, и что по этому руслу и пойдут потом корабли.

Старику стало после этой догадки, будто он, старый, силился долго что-то поднять и наконец поднял, и это было свое прошлое, перекинутое в будущее. Жизнь и здоровье вернулись, и теперь ему было уже вовсе не стыдно беседовать со своим внуком: теперь он все понимает.

— Зуек,— сказал он,— ты там везде бегаешь и на той стороне бываешь, не видал ли ты там и не говорили ли тебе, как они будут спущать корабли в озеро Воицкое?

— Шлюзами, дедушка,— ответил Зуек.

И рассказал подробно о шлюзах .

Потом бросился в сарай, принес оттуда сделанные им самим макетные корабли, шлюзовые коробочки и стал дедушке представлять на большом кухонном столе, как макетный кораблик вводят в коробочку-шлюз и плотно закрывают за ним дверь. Кораблик поднимается водой на высоту коробочки и входит в другую такую же коробочку. Тогда опять воду пускают, наливают вторую коробочку, и кораблик, поднимаясь все выше и выше по шлюзовым ступенькам, поднимается на гору совершенно так же, как поднимается и человек на ногах. Семью шлюзовыми ступеньками повенчанской лестницы макетный кораблик Зуйка поднимается на водораздел и, преодолев горы, такими же ступеньками-шлюзами спускается к Выгозеру в обход падуна, еще ниже спускается в озеро Воицкое, и так все ниже и ниже, до самого Белого моря...

Две белых головы, одна — седая, старческая, другая — мальчишеская, вихрастая, склонились, тесно прижавшись друг ко другу, над коробочками-шлюзами, раскинутыми по широкому столу. Детская рука уверенно ведет свой кораблик.

— Не туды, не туды! — вдруг с жаром вскидывается дедушка, и стариковская рука с набухшими синими жилками склоняется над столом, пытаясь изменить направление. Но рука маленького капитана не уступает:

— Гляди, дедушка, гляди: не так!

И вот идет ласковая борьба, и вот путаются пряди седых волос и золотых кудрей, склоненных над белым столом бабушки Евстолии Васильевны.

Совсем стало ясно в уме дедушки, положил он руку на голову Зуйку и по-детски своими голубыми глазами глядел в глаза внука, вспоминая себя самого.

И так старый Мироныч увидел себя, и еще что-то увидел, и озабоченно снял руку с головы мальчика.

— А ты,— спросил он,— отчего ты не там? Новую жизнь делают, великое государственное дело, чего же ты тут возле меня время проводишь?

— Что же делать,— ответил Зуек пасмурно,— я там не нужен...

— Как не нужен! Помогать надо, ты же курьером у них был, а чего теперь дома торчишь?

Зуек отвел глаза, уставился упрямо с обидой в окно и молчал.

А дедушка все глядит и глядит на него, стараясь проникнуть в эту загадку, и все не может понять, как это можно живому мальчику при такой государственной работе дома сидеть. Дедушка так разрешил свои сомнения: конечно, время идет, и все идет вперед, и так по-новому тоже должно быть в голове и у внука.

— А что бы это было, если бы человек не бежал вперед, как вода, а стоял бы на месте? — спросил он сам себя.

— Был бы лес, — ответил он, — дерево стоит и родит дерево, а человек бежит вперед, как вода, и родит человека.

Вдруг чего-то смутился, поглядел в окно и не нашел там больше ничего для себя: там теперь ему все стало понятно, и скучно стало глядеть, как люди работают. Мысль была найдена, догадываться больше стало не о чем. Он попросил отвести себя на печку и с тех пор больше уж с нее не спускался.

## XXIV. ФИКЦИЯ

Зуек, конечно, не раз видал себя в зеркало, но это семейное зеркало было совсем неверное. Дедушка подходил к нему только в большие праздники, и то по делу, расчесать себе волосы и бороду. Так все подходили к этому зеркалу, как в природе, бывает, зверь подходит к воде: зверю напиться, человеку простому постричь волосы, а не затем, чтобы увидеть себя, подумать о себе, представить себе себя самого, испугаться себя, а может быть, полюбоваться собой и сказать: «Вот это я!»

Вода в природе лежит, и в ее зеркале отражаются небо, горы, леса. И если бы даже и подошел высокий зверь к воде, чтобы напиться, и увидел бы в зеркале воды свое изображение, он не принял бы его на себя и не помыслил бы по нем о себе. Один человек во всей природе, вставая на ноги, поднимает против себя зеркало и говорит:

— Это я!

Никогда Зуек не заглядывал в старое зеркало, чтобы увидеть себя, и даже, увидев случайно, никогда не придавал своему изображению какого-нибудь значения, ограждающего его от других в том смысле, что это вот они, а это я, такой сам по себе, такой единственный и не похожий в чем-то на всех.

Светлым, чистым, доверчивым глазом смотрел Зуек в старое зеркало и даже не подозревал, что, глядясь в зеркало, можно думать о себе.

Так точно и лось, высокий зверь, когда протягивает губы к воде, что он видит? Видит он, как оттуда из воды приближается такое же чудовище: корова с лошадиной губой протягивает толстую губу навстречу его собственной. Нет! Лось пьет воду и ни на что не смотрит. Зуек, как и лось, не смотрел на себя в зеркало и о всем таком думал: мало ли чего не бывает, чего не покажется,— выглянет, пройдет — и нет его.

И о том волшебном круглом зеркальце, спрятанном в печурке над падуном, он всегда думал так, что не для себя он спрятал его, как девушка: поглядеть на себя. «Это зеркальце,— думал он,— волшебное, обладает чудесной силой делать красавицу». И если он заглянет в него, то непременно увидит то самое изображение, что тогда увидела в нем управделами строительства Мария Уланова и сделала по нем из себя тут же Марью Моревну.

Однажды ночью Зуек видел сны. Они мучили его и до того щемили, что Евстолия Васильевна, окликая, будила его, повторяя: «Господь с тобой!»

От этих окриков Зуек не просыпался, но стонать переставал на некоторое время. Утром после этих мучительных снов он проснулся с отчетливой мыслью о волшебном зеркальце, давно спрятанном им в печурке над падуном.

И так ему теперь стало ясно — если он заглянет теперь в это волшебное зеркальце, то непременно все страхи его, все пустяки разлетятся и он будет опять такой же прежний смелый мальчик, каким был до изгнания своего с работы курьером. Эта мысль, радостная и светлая, была завершением мучительной ночи, и перед тем как снова заснуть, он по привычке прислушался к шуму падающей воды, чтобы понять в ней тот знакомый ему мерный ход человека все вперед и вперед.

Это был раньше такой четкий ход, что можно было, засыпая, даже отсчитывать: раз, два, три... и так на каком-то числе засыпать. Но теперь он этого хода не слышал.

«Отчего это?» — подумал Зуек.

— Скорее всего,— ответил он себе,— все у меня в голове от моей беды спуталось, но назавтра я посмотрю в зеркальце, все это пройдет, и падун опять зашумит.

Евстолия Васильевна встала, увидела — мальчик крепко заснул, прошептала:

— Лег как-нибудь нескладно или что-нибудь лишнее скушал.

И задернула полог.

Солнце было уже высоко, а Зуек все спал. Евстолия Васильевна была во дворе, мыла коровье вымя перед полуденной дойкой. В доме был только спящий Зуек, да на полатях лежал умирающий дедушка.

— Зуек, Зуек, ты слышишь меня? — спросил не очень-то внятно дедушка.

Зуек спал.

Дедушка замолк. И долго спустя опять позвал.

— Слышу, дедушка, слышу,— откликнулся Зуек.

— Но его я не слышу,— ответил старик.— А тебя слышу. Я думал, это я уже оглох, а нет: слышу тебя. Ну, а ты слышишь?

— Как же не слышать? Слышу тебя.

— Нет, ты не меня, а послушай падун. Мне его не слыхать. А тебе?

Зуек прислушался, вскочил, придержал пальцами уши и закричал:

— Дедушка, я тоже не слышу!

— Вот то-то я тебя и бужу: погляди-ка в окно, что там.

Зуек бросился к окну и замер: он совсем даже и забыл про дедушку. Вчера еще в готовой плотине оставались неширокие воротца, и через них устремлялся весь Выг в падун. За одну ночь эти ворота были заделаны, и сразу все изменилось.

— Ну, что же ты молчишь? Или закрыли падун? — спросил Мироныч.

— Закрыли, дедушка! — ответил Зуек.

— Что же ты там видишь?

— Вижу: плотина большая через всю реку, и от самой плотины до падуна грязь и лужицы. По грязи ходят люди с сачками и достают рыбу из лужиц.

— А что падун?

— Ничего нет. Черные камни, по ним стекают белые струйки.

— Ну вот,— сказал дедушка,— все и кончилось. И падун не шумит и нет конца свету.

Зуек все глядел и глядел в окно, а Мироныч все думал и думал.

— Человек нарождается,— сказал он,— голова идет по свету за головой, и все, конечно, умнеет, а упрямая сестра

хочет, чтобы все кончилось. Огонь, огонь! Вот погоди немного, старуха, подопрет тебя вода на твоем острове, как водяную крысу, что ты тогда запоешь? Ну-ка, Зуек, беги туда, достань свежей рыбки.

А Зуек о другом думал, глядя на скалы, на то место, где еще так недавно тысячи тысяч всяких струек, схватываясь, сходились между собою в один падун, и казалось, кто-то великий, могучий мерным шагом ступал все вперед и вперед.

Он думал: «Куда все девалось, и где теперь то волшебное зеркальце, и цела ли печурка?»

Вот с этой мыслью он вышел из дому, чтобы потихоньку от всех, если можно, пробраться в свою печурку и спасти волшебное зеркальце.

Множество людей собралось на том месте, куда раньше, падая, била вода. Никто на мальчика не обращал никакого внимания. И он притаился за камушком, где начальник культурно-воспитательной части показывал всем — над чем столько столетий и, может быть, тысячелетий трудился водопад.

Вот оно как было: там внизу, куда падала главная сила воды, была глубокая впадина, и в нее когда-то свалился обломок скалы. Вода била в обломок, стремясь его вышибить, разбить на маленькие и, окатывая каждый осколок, круглым пригнать в недра Белого моря. Но огромный обломок первозданной породы не поддавался силе волн, он повертывался, окатывался, округлялся веками и все-таки из ямы своей не выходил.

— Глядите теперь все,— сказал начальник культурно-воспитательной части,— чем кончилась эта борьба свободной стихии воды и косной земли.

Все, окружив тесно яму, глядели вниз. Зуек тоже протиснулся между большими людьми. Там внизу лежал без движения совершенно круглый, правильной формы камень, он тысячи лет обтачивался, и вместе с ним обточилось ложе его — скала, где он вертелся.

Зуек, глядя на круглый камень внизу, теперь хорошо понимал, что этот вечный гул водопада, похожий на мерный ход великана, всего человека, и был, может быть, только оттого, что круглый камень вертелся в своей каменной чаше и мерно постукивал.

Может быть, вода иногда внезапно прибывала, камень приподнимался и снова рушился вниз. А казалось, будто идущий вперед великий человек встречал на пути своем

злую силу, с ней боролся, и, сбросив с себя, становился на свой верный путь, и шел опять неуклонно все вперед и вперед.

Учитель был маленький щупленький человек с тонким лицом, как бы отделанным стальным резцом по слоновой кости. Лобик у него был в умственных выпуклинах, расписанных синими жилками, носик чуть-чуть загнутый, как клювик у кобчика, с тонких губ не сходила насмешливая кривинка, и в глазах, как бы видевших уже все неприятности, сохранилось смелое признание в том смысле, что как бы там ни было, а жить все-таки можно.

Как ни был Рудольф в своем женском малиновом берете неприятен учителю, но какая-то внутренняя сила привлекала к нему маленького учителя, похожего на кобчика. Он с тонкой улыбкой непрерывно глядел ему в глаза.

— А наша человеческая жизнь,— сказал он Рудольфу,— разве не находится тоже под воздействием двух этих сил? Одна сила стремится оторвать нас и бросить вперед, а другая тянет вниз. И получается...

— Фикция!..— подсказал Рудольф.

— Что вы говорите! — схватился учитель.— Глядите, вон эти камни говорят, какая же это фикция!

— Конечно, фикция,— повторил Рудольф.— Тысячелетняя работа, для того чтобы закруглить камень, и вы это на человека переводите. Фикция!

— Вот-вот,— радостно схватился кобчик.— Я этого только и ждал...

До сих пор Зуек все понимал, но теперь, когда учитель чему-то обрадовался, он вдруг перестал понимать. Было почти страшно смотреть на этот мертвый падун, казалось, будто убили кого-то и вскрывают мертвое тело,— так было жутко глядеть вниз! А этот маленький кобчик с таким высоким лобиком вдруг чему-то обрадовался.

— Конечно, фикция! — повторил Рудольф.

— Шах вашему королю! — воскликнул учитель.— Мертвый падун нам показывает, как бессмысленно природа расточает свои силы: тысячи лет падун вертел камень...

— А человек,— перебил Рудольф,— спокон веков тоже ничем не лучше воды свой камень вертит.

— Это ваше личное умонастроение,— ответил учитель.— И зачем нужно вам так отвлеченно говорить. Факт налицо: падун вертел тысячи лет бесполезно камень, а у нас этот падун скоро будет вертеть электромотор, и весь край будет залит электричеством.

— Фикция! — равнодушно повторил Рудольф.— Ничего этого не будет.

И вдруг заскучавшее лицо Рудольфа осветилось, и глаза его загорелись. Зуек понял, что Рудольф оттого изменился, что заметил его. Сколько времени он его не видал и тут почему-то обрадовался.

Зуек этому тоже обрадовался, но поспешил закрыться сначала людьми, а потом потихоньку спрятался за камни и стал уходить.

## XXV. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

Два незнакомых сходятся на одном пути. Старший, увидев у младшего на руках татуировку голубыми знаками, спрашивает, когда это он и по какому случаю вытравил на руках эти знаки. Охотно рассказывает младший о себе, и старший, выслушав короткую историю одной юношеской мечты, говорит:

— Так, значит, от всего только эти знаки и остались у тебя!

И показывает ему свою собственную грудь, расписанную точно такими же голубыми знаками.

Младший, в свою очередь, спрашивает:

— И у тебя то же самое было?

— Это у всех,— отвечает старший.

Потом дороги у них расходятся в разные стороны: старший уходит, уверенный в том, что раз уж младший вытравил себе эти знаки, то у него непременно повторится и его собственная жизнь.

Младший уходит уверенный: ничего на свете не повторяется в точности, и пусть знаки на руках у них одинаковые, но жизнь его будет другая и, конечно, беспримерно лучшая.

Старший спутник — это Рудольф, младший — Зуек. Заметив Зуйка, Рудольф очень удивился: всего ведь в какие-то два года Зуек так возмужал и даже так постарел! Вот эта перемена в одно мгновение перенесла Рудольфа в его собственное время, когда он был таким же мальчиком, смелым, доверчивым, и как это все в один миг переменилось: он тогда испугался людей и затаился в себя.

Рудольф в один миг свою жизнь прочитал по выражению лица Зуйка. И Зуек это со страхом понял и поспешил спрятаться за людей, за камни и потихоньку уйти.

Потом видел Рудольф, как Зуек вышел из-за камня и, прячась, перебежал выше, и от камня к камню все дальше и дальше достиг высоты, откуда раньше падала вода, и там скрылся в черных камнях.

«Ему оттуда выхода нет,— подумал Рудольф.— Там у него что-то свое делается».

И, рассчитав отсюда по камням весь путь Зуйка вверх, сам тем же путем стал подниматься вслед за Зуйком.

От всего трехголового великана-падуна осталась теперь какая-то изношенная черная челюсть. Не сразу даже и Зуек, стародавний хозяин своей любимой печурки, мог определиться в камнях. Время от времени ему необходимо было выглядывать и соображаться со всей местностью. И вот тут-то во время этого выглядывания внизу ловил его путь Рудольф.

Зуек поднимался по камням в свою печурку с мыслью о волшебном зеркальце. В нем отражалась Зуйку вся прекрасная природа, красавица с месяцем и звездами, как он видел ее, когда гостья из далекой земли гляделась в него и делалась все краше и краше. С тех пор он ни разу не заглянул в это зеркальце. Зачем ему было заглядывать, если и так без зеркала она всегда была с ним. Но теперь у него так было на душе, будто все это осталось в прошлом и он теперь был в другой жизни и совсем другим стал человеком. Конечно, он об этом не мог думать словами, но он все это чувствовал так, будто раньше по синему небу шли большие белые кудрявые облака, а теперь он видит на земле бегущие тени этих самых облаков и хочет в зеркальце увидеть не тени, а самое небо.

Пока Зуек шел в печурку с этим чувством какой-то доброй мысли о прекрасных облаках, лицо его светилось небесным отсветом, как светится лицо поющего или играющего хотя бы и на простой дудочке. Оно оставалось таким же до тех пор, пока Зуек не выкопал свое волшебное зеркальце и не заглянул в него.

... Нет, конечно, тот высокий зверь, какой-нибудь лось, когда подходит напиться к тихому зеркалу воды и склонит свою голову, он не видит, как из воды ему навстречу выходит уродливая голова коровы с лошадиными губами и как эта толстая лошадиная губа, холодная, прижимается к его теплой губе.

Человек, только один человек, вставая на свои ноги, поднял вместе с собой зеркало, и один человек, только один во всей природе, может увидеть себя самого.

Зуек хотел видеть в волшебном зеркале свою прекрасную Марью Моревну, и вдруг... как это страшно! он увидел себя самого.

Но как только он увидел себя самого и стал в себя вглядываться, все прекрасные пушинки на лице его стали серыми, синие глаза его стали водянистыми, косточки на щеках засветились, ямочки затемнились. И показалось в лице его то самое, чего с таким ужасом ожидает гадальщица, когда, бывает, в крещенские вечера долго глядится в зеркало при трех свечах, ожидая своего суженого.

Конечно, будь Зуек хоть немного попроще, он мог бы увидеть себя в зеркале, каким он был, красивым, кудрявым, голубоглазым мальчиком, и мог бы залюбоваться собою. Но что же дальше? Полюбовался бы сам собой, как Нарцисс, и этим бы все и кончилось. Но нет! У него был большой человеческий путь впереди, и, может быть, там, впереди, ему предстояло когда-нибудь увидеть в том же зеркале себя таким, каким в лучшие наши дни мы видим в природе, как в зеркале, всего цельного человека в его неустанном движении все вперед и вперед.

Чем больше Зуек глядел на себя, тем больше находил в себе чего-то противного, и только-только хотел было закрыть это зеркальце и закопать его в камнях навсегда, как вдруг он что-то в нем увидел, весь задрожал, вскрикнул, зеркальце выпало из рук его, ударилось о камень и разлетелось в куски.

Так гадальщица, бывало, на святках в крещенский вечер в зеркале при трех свечах встречала мертвеца вместо своего суженого. Так и Зуек, разглядывая себя самого, вдруг увидел Рудольфа.

Зуек бросился бежать из печурки. Но Рудольф загородил ему путь. И еще раз попробовал вырваться, но Рудольф спокойно обнял его одной рукой и усадил насильно рядом с собой на камень. Тогда Зуек перестал сопротивляться, закрыл лицо руками и заревел, как самый обыкновенный мальчишка.

Рудольф дал ему выплакаться, и когда Зуек наконец пришел в себя и сказал какие-то нехорошие слова, он ласково погладил его по голове.

— Садись, поговорим, я все знаю.

— Ничего ты не знаешь, ты все врешь! — ответил Зуек.

— Вот посмотрим!

Рудольф завернул рукав и показал.

— Читать умеешь? — спросил он.— Умеешь — читай. Вот написано: Маша. И это уже не сотрется, это на всю жизнь. Много было всяких Маш у меня, и много будет впереди, и все пройдут, а эта останется. Тебе тоже так надо написать: Маша Уланова.

Зуек онемел и задрожал.

— Видишь,— сказал Рудольф.— Я всю твою жизнь насквозь знаю по себе. Твоя жизнь будет, как у меня. И впереди будет так. Не дрожи, не бойся меня. Я твой друг. Мы с тобой вышли на один путь, и я его хорошо знаю. Тоже когда-то я и себя увидел в зеркальце и сначала не понравился себе, а потом помирился и даже несколько времени носил его с собой, как барышня. Так и ты привыкнешь и по моей дорожке пойдешь: будешь себя самого видеть в зеркальце и себе самому будешь служить. Вот это так! Себе самому и больше никому. Не стоят они никто, чтоб им служить. Чувствуешь?

— Не пойду я по твоей дорожке, Рудольф,— ответил Зуек серьезно и примиренно.— Нет, Рудольф, я уже тебе говорил, мне одно не нравится у тебя, что нужно отнимать у кого-нибудь его любимую шкатулочку. Мне это не нравится, лучше я сам буду работать, чем отнимать для себя у людей. Но у меня есть путь: я совсем не буду работать. Мы пойдем с Куприянычем в лес.

— Что же вам там будет, в лесу?

— Ничего: мы там царствовать будем. Мы там цари.

— Сочувствую,— ответил Рудольф.

— Вот видишь,— обрадовался Зуек,— Куприяныч говорил, там не надо нам воровать и что тоже и работать не надо: там все для нас приготовлено, там нас ждут, мы там цари.

— Не отрицаю! — повторил Рудольф.

Зуек еще больше обрадовался и вдруг, совершенно как раньше, прежним открытым, умным и со всеми дружным мальчиком вылез из своей змеиной чешуи и обратился к Рудольфу:

— Рудольф, скажи мне, что это ты там о круглом камне какое-то непонятное слово сказал?

— Какое слово?

— Мне кажется, Рудольф, ты сказал: *фикция.*

— Фикция! — засмеялся Рудольф.— А это, что легавые говорят, будто они построят канал. Врут они, ничего не будет, вот скоро, вот-вот придет весна, и вода все разнесет. И мы тоже, скажу тебе по большому секрету, мы, может

быть, тоже поможем воде. у нас есть свой уговор. Канал — это фикция, понимаешь?

— А если, Рудольф, канал — это фикция, то для чего же его строят?

— Строят канал, чтобы нас, воров, уморить. Они думают, будто если нас изведут, то и всех воров изведут и на земле будет счастье. Никогда этого не будет. Без воров не будет жизни никакой у людей. Мир без воров — это фикция.

— Рудольф! — ответил Зуек,— я не понимаю, что ты говоришь. И какой мир без воров и с ворами. А если канал — это фикция, то тем лучше для нас. Значит, можно уйти нам с Куприянычем в лес.

— Сочувствую,— повторил Рудольф.— Только советую тебе перед этим тоже на руках вытравить знаки, и, если хочешь, я тебя научу.

— Согласен,— ответил радостно Зуек.— Раз канал — это фикция, то я всему такому сочувствую.

— Только есть ли у тебя хорошая финка?

— А зачем финка?

— А кто его знает, этого твоего бродягу: может быть, он и людоед и берет тебя с собою, как мясо в запас. Надо с ним поосторожнее. Нож есть?

— Есть и финка и ружье,— я возьму у дедушки.

— Ну, тогда ничего. Только «Машу» я тебе на прощанье вытравлю. Приходи нынче вечером и захвати с собой три иголки и пороху.

Так сошлись на перекрестке жизни двое, и старший, увидев в младшем, как в зеркале, себя самого, каким он был когда-то, решил, что и дальше у младшего будет все, как у него. Но младший уходит, уверенный в своем новом, каком-то небывалом пути. И он прав! Многие судят жизнь по своему ничтожному опыту, как Рудольф, и ошибаются. Может быть, так и бабушка Марья Мироновна этим же путем пришла к мысли о светопреставлении и хочет навязать всем конец света.

Так уходит младший, уверенный в том, что на свете ничего в точности не повторяется, и пусть у обоих на руках вытравлена одна и та же голубая «Маша», но жизнь его будет, конечно, другая, и лучшая и настоящая, а не какая-то *фикция*.



# ЧАСТЬ III

## ВОДА

### XXVI. ЖИВОЙ НАВОЛОК

Как-то раз, ближе к весне, ветер сорвал несколько темных уцелевших на ветках листьев и замел их в снегу. Самой ранней весной золотой солнечный горячий луч открыл эти листики. Темное пятно листа на снегу сильней нагревалось, чем белый снег, и так листики изо дня в день стали сильней и сильней погружаться в снег, опускаться все ниже и ниже.

Дни проходили, множество явилось признаков наступающей весны. Из-под снега вылезли наверх бесчисленные живые черные блошки. В теплые часы на солнечной стороне в больном дереве заработал лубоед. Местами образовались на видных местах у деревьев приствольные чаши, и чего-чего только не совершалось в природе большого, но незаметного.

А тот темный листик, опускаясь все ниже и ниже, достиг наконец такой глубины в снегу, что и вовсе стал

недоступен солнечным лучам и там, в глубине, оледенел и сделался донышком сосуда, наполненного доверху водой. Отдыхающие на дереве перелетные птички насмотрели в снегу этот драгоценный для них колодец, стали спускаться и в нем пить и полоскаться.

Первые прилетели белые полярные пуночки и бросились прямо с прилету к колодцу. Они окружили его плотным кольцом, опустили в воду носики, напились, стали брызгать на себя воду, протирать перышки, выбивать, вымывать из них всякие блошки и вошки. От их мельчайших брызг над колодцем в полдневные часы повисла маленькая радуга, и она-то и обратила на птичек внимание старого бродяги. Рука с топором у Куприяныча задрожала.

— Погляди-ка, пацан! — сказал он.

— Давно смотрю,— ответил Зуек.

— Первые гости у нас всегда белые, а потом прилетят золотые.

— Щеглы?

— И щеглы, и эти с красным пузом, как их...

— Снегири?

— И снегири, и всякие здешние и нездешние птички станут с прилету полоскаться в чистой водице. Явится и черная птица с красной головой.

— Желна? Откуда же она явится, она никуда не улетает, она у нас живет.

— Желна, конечно, у нас живет, только зимой бывает в других местах. И когда явится, новым голосом закричит. И когда она закричит свое «плыть-плыть!» — тут-то и мы с тобой поплывем.

— Не верю тебе, Куприяныч, ты прошлую весну все говорил про это «плыть-плыть». Тогда я думал, ты вправду говоришь, надеялся на тебя, а оказалось, ты мне, как маленькому, сказки навертывал. Только я теперь стал не маленький, сказкам твоим больше не верю. Почему прошлый год мы не пошли?

— Не было нам сроку тогда. У времени свой голос есть. Придет наше время, голос подаст, желна закричит — и мы...

— Прошлый год звала нас желна?

— Звала, милок, да не нас.

— А почему ж ты знаешь про нынешний год, что теперь она позовет нас?

— По себе знаю: душу мутить начинает, дрожит рука с топором. Погляди-ка, что вон там-то делается! Видишь?

— Сверкает везде, больно смотреть. Только вижу, вон там далеко синяя стена леса. Ты про это?

— Нет. Чуть-чуть дальше и пониже: видишь, дымок-парок стоит.

— Да, вижу, дымок-парок...

— Это леший баню затопил. Там его баня. К весне, как птички, моется.

— Это наша земля?

— Наша земля, живой наволок, там нас ждут. Там нам с тобой не надо будет ни лес шкурить, ни скалу молотками долбить. Там все готовое. Мы с тобой наследство пойдем получать.

— Какое наследство? Кто его нам оставил?

— Откуда наследство? Солнышко готовило. Вот сейчас мошники поют на заре, а потом спускаются с дерева, и от них следы на снегу: мы на заре петельку — вот нам и обед. А сколько рыбы в Кижозере! А там грибы пойдут, сколько всякой ягоды, сколько там дров наготовлено. Какая светленькая водица! Есть в лесу гриб один большой и, бывает, завернется вверх краями, как блюдо. И в блюдо это нальется водица. Вот когда этой водицы напьешься, тебе в лесу все заговорит, и даже простая букашка красненькая с черными пятнышками на простой былинке усиком своим черным тебе дорожку укажет.

Зуек отбросил все свои сомнения и загорелся.

— Куприяныч,— сказал он, схватив его за руку,— погоди колотить молотком по скале, скажи мне лучше, как же все-то работают, почему все не хотят, как мы, в лес за наследством идти?

— А что нам все? — ответил Куприяныч,— все работают и пусть себе работают. Дураков работа любит, мы же с тобой люди вольные и никого не хотим обижать, как воры. Ничего нам чужого не нужно. Возьмем с собой котелки и пойдем наследство получать, мы с тобой...

Куприяныч вдруг громко засмеялся злым смехом и близко наклонился к Зуйку.

Повеяло чем-то холодным, серым и чужим. Зуек пытливо и опасливо поглядел на бродягу.

— Чему ты радуешься? — спросил он, брезгливо отступая.

— А как же не радоваться.

И так близко подошел опять к Зуйку, что все волосы его из ушей, из носа стали видны насквозь, и все в них шевелилось. Неприятно стало Зуйку, и он прямо сказал:

— Ты что ко мне лезешь?

А Куприяныч еще ближе наклонился, и Зуек через его прозрачные голубые глазенки, казалось ему, все увидел опять: и ту голубую даль и над синей стеной дымок-парок.

— Чего ты ко мне лезешь? — повторил Зуек.

— А я тебя, милок, полюбил и хочу тебе напомнить, кто мы такие.

— Это я знаю: мы с тобою цари.

— Да, пацан, не шути, мой милочек, мы с тобою на царство идем.

Зуек опять отстранился, раздумчиво нахмурился, недоверчиво поглядел. А Куприянычу это превращение мальчика в старика было, как масло в огонь. Он этого будто только и ждал. И засмеялся и захохотал, как в сказках хохочет людоед, обрадованный запахом человеческого мяса.

С этой минуты Зуек раздвоился в себе: ему, конечно, хочется уйти в страну, где вечный праздник, где ждут его с наследством и где он, как царь, всему живому может приказывать. Но в то же самое время к этому светлому чувству присоединилось и что-то тяжелое, страшное, как будто знакомый с малолетства черный лик «Всевидящее Око» за каждым шагом его теперь стал следить из божницы.

— А ты думал,— хохотал Куприяныч, как бы насквозь понимая его смущение,— я это смеюсь? Нет, милок, я не смеюсь, я тебя полюбил. Вот как только желна позовет: «плыть-плыть» — мы с тобой и поплывем в свое царство. Выберем с тобой часок ночью: я этот час давно стерегу. И пойдем, как цари, и сядем на царство. Жди моего слова, собирайся.

## XXVII. ПТИЦА ЖЕЛНА ПОДАЛА ГОЛОС

Зимняк еще держится на озере, и с осторожностью по нем еще ездят, но под снегом вода струится в малые речки, и оттого лед там от берегов отстает, поднимается все выше и выше. Кое-где уже и на озере лед пробуравило, и рассыпаются торосы. В пасмурные дни на телефонных проводах перед окнами управления Надвоицким узлом оседали мельчайшие капли, сливались, катились и падали. Все служащие в управлении, и с ними Мария Уланова, не имели времени обращать внимания на движение и постоянное падение весенних капель. Все готовились к борьбе

с весенней водой. Но вдруг на сосну, почти прилегающую к зданию, на сучок против форточки прилетела довольно крупная черная птица с красной головой и закричала свое: «Плыть-плыть!».

— Слышите? Птица зовет нас: «Плыть-плыть!»

И люди, с папиросками в зубах, обратили внимание и стали дивиться на черную птицу с красной головой.

Почуяв табачный дым, выходящий из форточки, желна с обычной своей резкой и далеко слышной трелью перелетела на другую сосну, подальше от человеческих зданий, и опять оттуда долетело сюда:

— Плыть-плыть!

Где-то за Выгом, на той стороне, этой желне ответила другая:

— Плыть-плыть!

— Весна идет,— сказала Мария Уланова.— Все на ниточке держится. Вот-вот оборвется. Хлынет вся вода из лесов.

— Плыть-плыть! — повторяла желна издали.

— Скоро и мы поплывем! — говорила Уланова.— Как-то удастся нам справиться... Вся ли очищена от леса зона затопления?

— Где тут все очистить,— отвечал топограф,— у нас руки не достают. А местные люди не хотят поверить, что наши плотины и дамбы могут удержать весеннюю воду. Земледелец столько лет своей копорюгой шевелил камни на своем острове, рассиделся там, как курица на яйцах, и не может представить себе, что остров этот скоро зальет водой и там, где он пахал,— будет рыба искать своих червячков.

— Но людей-то, по крайней мере, людей-то удалось всех выселить с островов? — спросила Уланова.

— С островов на сузем все повыбрались, только одна сумасшедшая старуха на Карельском острове отказывается, лежит в гробу и ожидает светопреставления. Свечи и лампады горят, в руках молитвенник, распевает духовные стихи о том, что свет кончается.

— Пробовали уговаривать?

— А как же, мы ей — «свет начинается», а она твердит свое, что кончается.

— И погрозили?

— Все было. Но куда тут силой! Она такой крик подняла и такая оказалась здоровая! Главное, будь она вправду сумасшедшая, а то ведь начнешь с ней, как с дурочкой, говорить, а она будто умнее тебя.

«Ну, ладно,— говорим,— в прежние времена ваши староверы сжигались и всех уверяли, будто свет от огня кончится, у тебя же выходит, что от воды».

«Как! — отвечает.— Я тоже говорю — от огня. Зато и не еду с острова. Конец придет от огня, и водой вы нас не затопите. Ничего у вас не выйдет с водой».

«А если выйдет,— отвечаем мы,— то ведь гроб твой сделан из лодки, вода подымет тебя и к нам же принесет».

«Так чего же, милые,— отвечает она,— вы ко мне пристаете? Ай вы какие глупенькие?»

«Ну да, глупенькие!» — мы ей отвечаем.

«А то как же не глупенькие! Если божья воля на то будет, как вы говорите, так меня к вам же она и принесет, ежели уже я вам так-то уж гораздо нужна».

— Надо было вам сказать,— ответила Уланова,— что ее родной брат в Надвоицах, Сергей Мироныч, при смерти. Проститься бы ей с ним. Таким способом вы бы ее выудили, а потом и задержали.

— Ну, разве мы не говорили о брате! «Я иду,— отвечает она,— в тот мир, где нет больше ни братьев, ни сестер, ни жен, ни матерей, там не женятся, не венчаются. И если брат мой отходит сейчас туда, то чем скорей отойдет, тем лучше ему. Это милость к нему. Скоро и мы все туда отойдем. Свет кончается!»

Так вот и говорит и твердит, что кончается. Мы же твердим: «Начинается». Спорили-спорили об этом «кончается-начинается», взяли и плюнули. Она же так спокойно глядит на нас и усмехается.

— Надо бы мне самой попробовать поговорить,— сказала Уланова.

— Вот еще что,— крикнул Сутулов с другого конца комнаты,— что это ты возишься с сумасшедшей старухой! Мало тебе тут своих на канале?

— У этой старухи,— сказала Уланова,— есть своя мысль: она так понимает, что свет гибнет от слабости. И не в табаке дело, что мы курим и пьем, а в самой унаследованной слабости. Я хочу снять повязку с ее глаз, эту химеру, показать ей, что мы тоже за это взялись: перековать, восстановить человека.

— Делать вам нечего,— усмехнулся Сутулов.— Я только удивляюсь, до чего у вас крепко держится внимание к сказкам. Ведь это же все сказки об Антихристе, о Сером волке, о ситчиках разных, платочках, перстенечках. Пустяки досужих людей.

— Вы, Сутулов,— сказала Уланова сначала на «вы»,— представляете собой старый тип, вроде Базарова, и кое-чего не понимаете. Говорите против ситчика, а мальчик родится — ему надо ситчик, девочке нужна куколка, сказочки.

И вдруг, переходя на «ты»:

— Тебе же всех бы хотелось в чугун!

— Нет,— улыбаясь, ответил Сутулов,— я не против ситчика и не против детей, я против сказок вредных и сумасшедших старух: пустяки это. Нам надо воду удержать. Сейчас я тебе даже больше скажу, сейчас на первом месте стоит у нас вода, а не, как ты говоришь, что надо «перековывать человека». Ты сказкой живешь, сказкой питаешься. Мир у тебя сказкой начинается, у меня же сказки на десятом месте. Идеалистка ты неисправимая.

На этом неожиданный разговор в конторе окончился. Сутулов подошел к повешенной на стене карте зоны затопления и стал делать на ней свои разметки синим и красным карандашом. Синие кружки означали острова, подлежащие затоплению, красные — возвышенности: новые острова, новые берега. Посреди мест затопления синим карандашом была намечена и Осударева дорога.

Сутулов читал о походе Петра и сейчас крепко задумался об этом походе, представляя себе, как в скором будущем над этим следом Петровой дороги вверху по глубокой воде нового огромного Выгозера поплывут военные морские корабли.

Так незаметно для себя Сутулов увлекся этой картиной будущего: внизу Петрова дорога — вверху свои корабли. Еще увидел он, будто далеко в темные леса в безумном страхе убежавший лось теперь возвращается, ближе, ближе подходит к новой воде, боится, постоит, шаг пройдет, два пройдет, вот подошел, вот заглянул в воду, склонил высокий зверь странную, какую-то допотопную голову, протягивает теплую толстую губу, и навстречу из новой воды выходит холодная такая же губа зверя, похожего и на корову, с одной стороны, и на лошадь — с другой.

Лось напился и вошел в мир человека, имеющего власть над природой.

Так незаметно для себя Сутулов творил свою сказку, забывая, что сейчас же только над всякими сказками смеялся.

Уланова ни на одну минуту не приняла на себя упрек в побеге от жизни в сказочный мир. Она тоже считала

сказку о конце мира подлежащей затоплению и всей душой верила, что над затопленным местом пойдут корабли нового мира, нового человека. Но она знала еще, что между тем, затопленным миром и новым есть какая-то связь, и ей хотелось это драгоценное в прошлом взять с собой в новый мир и не дать ему совсем затонуть.

Может быть, она хорошо знала об этом драгоценном, что оно само собой переходит из прошлого без наших усилий. Но за что-то она любила Марью Мироновну и не могла бросить тонуть человека.

Взглянув на то место, где сидела желна, она увидала, что капли на проволоке перестали катиться, что некоторые из них даже замерзли, что небо расчищается и, как всегда в таких случаях, начинается мороз.

— Успею еще проехать на Карельский остров,— сказала она и велела подать себе лошадь.

Разбирая бумаги последних дней, назначая каждой бумажке отметкой свое место во множестве папок исходящих и входящих, она вдруг увидела запечатанное личное письмо на свое имя. За много лет работы она привыкла с делами поступать, как раньше поступала со старушкой матушкой: первый кусок матушке, а после себе. Так и тут: дела-то устроила, а личное письмо положила себе в карман кожаной куртки. И так это тоже бывает с деловыми людьми: отложенное личное дело нашло в душе особое место, поселилось и начало там, как семя в земле, прорастать. Особенно отчетливо помнился и не отставал от нее какой-то знакомый почерк, хотелось сердцем приникнуть к этому волнующему чувству, и все как-то ей было недосуг.

## XXVIII. ЗАГУМЕННАЯ ДОРОЖКА

Дедушка Сергей Мироныч лежал у себя на полатях без сознания и в себя приходил, если только кто-нибудь из своих наклонялся к нему и заставлял узнавать себя. Как только дед кого-нибудь из своих узнавал, он тут же в себя приходил, и с ним можно было разговаривать. Когда за окном раздался крик желны «плыть-плыть», ему стало так, будто кто-то из своих наклонился к нему, и он пришел в себя.

— Слышите, деточки? — спросил он с полатей.

— Слышу, слышу,— ответил Зуек.

— Плыть-плыть! — сказал дедушка.— Видно, скоро и я поплыву...

— Куда ты собираешься плыть, дедушка? — спросил Зуек.

— Домой, деточка.

Евстолия Васильевна, услыхав это, глубоким глазом поглядела на свою золовку Марью Лукичну, подмигнула ей и прошептала:

— Последние дни стал все так отвечать: «Домой, домой». Понимаешь ты это?

— А как же,— ответила Марья Лукична,— собирается...

И полезла к нему на полати.

— Папаша,— сказала она,— приди в себя!

— Да я же в себе,— ответил твердо Мироныч.

— В себе, а что говоришь?

— Что я говорю?

— Что домой собираешься: ты же дома.

— А я же не говорил, это за окном, слышу, меня птичка зовет: «Плыть-плыть»,— и я ей отвечаю: «Скоро, скоро, птичка, и мы поплывем».

Зуек рассеянно слушал обыкновенный разговор женщин с дедушкой, но, поняв, что желна закричала, под разговор незаметно вышел, побежал на трассу к Куприянычу, и когда он бежал, случилась перемена в природе: небо стало освобождаться от облаков быстро, капельки на проволоке и на тонких ветках деревьев леденеть.

— Слышал? — спросил Зуек Куприяныча.

Бродяга моргнул ему, чтоб он молчал. И когда, по своему обыкновению, осмотрелся вокруг себя, и по зауглам скалы, и по задеревьям, шепотом сказал:

— Желна уже три дня зовет, а что морозит, то хорошо: это нам дорогу стелет в наше царство. Месяц взойдет — наст заварит, пойдем по насту, как по скатерти.

И научил Зуйка всему: и что взять с собой, и как выйти незаметно по загуменной дорожке, и что держать надо все прямо на стог сена и ждать за стогом возле большого куста можжевельника.

— Ну, иди, иди, собирайся скорей,— сказал он на прощанье.— Я уже все подготовил. Как стемнеет, так и выйду, все кончено: выйдем по насту, как по скатерти, и никто нас не догонит. Мы выйдем, а за нами все пути оборвутся: сразу про нас и забудут, и никто не будет искать.

Когда Зуек вернулся домой, в избе уже никого не было, кроме умирающего деда. Быстро темнело, и Зуек спешил собраться и уйти, пока в избе еще нет никого. Прежней радости, как бывало раньше, при одной мысли попасть в счастливое царство, теперь у него больше не было, и Куприяныч стал какой-то неласковый. Пожалуй, если бы не было Куприяныча над ним, по своей воле он бы теперь и не пошел. Куприяныч стал ему теперь кем-то вроде начальника.

Но Зуек не понимал этого, что не в Куприяныче тут было дело, а в себе самом, что раз уж взялся крепко что-то по-своему сделать, то из тебя же самого непременно выйдет какой-то начальник. И ты будешь ему повиноваться и служить.

Зуйку стало, будто он сразу сделался старше, и это легло на него, с одной стороны, и тягостно, а с другой — и радостно. Он теперь стал как большой.

— А я вижу,— сказал дедушка,— ты тоже собираешься, топор за поясом, ружье мое вижу, мой компас, кремни, огниво, мешок с сухарями. Куда?

— Иду, дедушка,— ответил Зуек,— на большую охоту.

— Куда же это?

— На Кижозеро, там теперь мошники поют.

— Поют, милый, поют. Желна закричала — мошник давно запел. Но как же это ты пойдешь, пустят тебя?

— А я, дедушка, не буду сказываться.

— И не сказывайся, на охоту надо молчком выходить. Я сам, бывало, эх! был конь...

И дедушка захлебнулся в слезах.

Тут Зуек впервые почувствовал, какой хороший был его дедушка, как он любил его и как нехорошо теперь его в беде оставлять.

Вот и бабушка тоже, Марья Мироновна, там одна в гробу на Карельском острове,— как она ходила за ним, как она любила его! Зачем же он их всех оставляет? Но эта мысль о разлуке с близкими и дорогими людьми еще более усилила в нем волю того нового начальника, который поселился в душе.

— Надо! — сказал твердо Зуек себе самому, прежнему слабенькому Зуйку, от имени другого себя самого, сильного и решительного начальника.

— Ты, дедушка,— сказал он,— про меня никому не сказывай.

— Что ты, что ты, Христос с тобой, ай я тебе враг! — ответил Мироныч.

— Прощай, дедушка!

— С богом! — ответил Мироныч.

И Зуек вышел. На улице были сумерки. Зуек прошел в огород и спрятался там в чьем-то пустом сарайчике.

Время пришло теперь такое, когда солнце ласковые лучи свои, как подарки, посылает воде и освобождает живую воду, на радость земле. Особенно в светлые полдни бывает заметно, как на пологий берег из-подо льда выходит вода, и так осторожно она крадется, что никакой враг за ней не уследит. Но как только солнце оставит воду и уйдет, особенно если месяц покажется, мороз сейчас же схватывает освобожденную воду, и она ложится узорчатой белой полосой.

Но солнце на другой же день освободит эту воду, и она успеет в горячий полдень еще больше вчерашнего пробраться вперед. И опять вечером мороз к белой полоске вчерашнего заберега прибавит новую. По ночам мороз соединяется с месяцем, а днем солнце, на радость земле, снимает зимние оковы с воды, и так забереги все растут и растут. И так мало-помалу омытый чистый зеленый лед озера окружается рамой голубой воды.

В тот день, когда желна подала свой голос Зуйку, солнце не могло выбиться из-под серо-желтых туч, пролежавших над землей всю ночь, как тяжелое одеяло. Зато это одеяло сохранило земле тепло, вышел серый, моросливый день, и к прежним голубым заберегам воды еще много прибавилось. Но тем сильнее началась борьба солнца с морозом за воду, когда после моросливого дня вдруг выглянул месяц. Мороз сразу в лесах сделал наст, а на озере быстро заморозил забереги и тонкую воду опять превратил в белый цветистый и хрупкий лед-тощак.

Загуменными снегами, как по скатерти, стал красться Зуек и сразу упал в тень луны у забора, когда возле Управления увидел гнедую лошадку, запряженную в сани. Он побоялся, что сани эти пойдут в его сторону, в лес, и устроился под забором ждать, пока они не тронутся в путь. Ждать ему недолго пришлось. Вышла Мария Уланова, села в сани и, подхлестнув гнедую, покатила к озеру, и слышно было даже отсюда, как под полозьями саней затрещал по заберегу лед-тощак.

К печали о дедушке, умирающем на полатях, и бабушке, бросившейся сейчас так послушно на борьбу со

страшной водой, прибавилась еще печаль о прекрасной Марье Моревне. И пусть он дичился ее последнее время и даже избегал встречи с нею, но все равно в душе он с нею никогда не расставался.

Все это мелькнуло Зуйку в то время, когда слышался ему хруст по заберегам саней исчезающей Марьи Моревны.

«Хочешь не хочешь, а теперь уже надо идти!» — приказал ему новый собственный начальник.

И Зуек, выйдя из-под забора, пошел прямо на черный стог сена и большой куст можжевельника, далеко видный при месяце на белом снегу.

## XXIX. ДВА ЖЕНИХА

Лед на озере, хорошо укатанный навозной санной дорогой, отлично держался. Уланова рысью катила и катила себе в сторону Карельского острова, и скоро показались очертания измененного берега. Из множества бань, стоявших раньше на краю острова, теперь оставались только немногие, совсем ветхие, брошенные хозяевами. При месяце трубы печей и всякий хлам разрытого села и особенно большие староверские кресты с двумя перекладинами вверху и внизу давали картину какого-то особенного страшного кладбища. Жутко было Улановой думать о предстоящем свидании с человеком, потерявшим как будто последнюю связь с этим миром, где люди мучатся, так трудятся, чтобы только отстоять на земле свою долю короткого счастья.

Не пришлось долго искать дом, где жила Марья Мироновна: большой дом с крестом был единственный уцелевший в покинутом селе. С тяжелым чувством взялась Уланова за ручку двери: ей казалось, будто она входит в склеп и живого мертвеца должна будет соблазнять прелестью жизни. Но как только незапертая дверь отворилась, она с изумлением остановилась на пороге.

Перед нею была освещенная верхним огоньком широкая и опрятная лестница, вся устланная новыми чистыми половичками-дорожками. На маленьких лестничных окнах висели белоснежные занавески, убранные вверху разноцветными бумажными цветами. Так убирают у староверов лестницы только перед самыми большими праздниками или в ожидании редкого, самого желанного гостя, и в особенности, когда в доме свадьба и ждут жениха.

Так странно было это видеть в то время, когда все село

рушилось. Наверху, как и внизу, было не заперто. Уланова только тронула ручку — и дверь бесшумно открылась. В большой горнице тоже все было заботливо прибрано. В красном углу, как в церкви, было много икон, и, как всегда в староверских божницах, выделялись иконы с крупными темными ликами, грозными, с бесповоротным решением в глазах. Некоторые иконы были обвешаны вышитыми полотенцами, и лампады горели разных цветов. Гроба нигде не было в горнице. Напротив, посреди комнаты стоял хорошо убранный стол, уставленный чашечками и тарелочками цветного фарфора. На столе, как видно, было поставлено все, что издавна хранилось в доме и переходило по наследству из поколения в поколение.

Все было так в горнице, будто не к потопу готовились или к огненному светопреставлению, а ждали жениха в дом невесты, и с потолка над всем этим богатством свешивался резной деревянный голубок с распростертыми крылышками, сделанными из тончайших, почти прозрачных сосновых дранок.

Марья Мироновна, стоявшая на коленях перед иконами, конечно, слышала, когда в комнату кто-то вошел, но она не обернулась.

Может быть, и правда, она ждала жениха, наполняющего светом пространства, и обыкновенные темные люди, входящие в горницу, не имели для нее никакого значения?

Тихонечко, стараясь ничего не задеть, Уланова обошла кругом большой стол и села на резной диванчик. И, оказалось, нет, догадка о невнимании Мироновны к маленьким темным людям была неверной. Продолжая сколько-то времени с прежним и с еще даже большим вниманием молиться, она стала часто креститься, много кланяться, как делают верующие, когда от молитвы собираются перейти к житейским делам.

— Кого-то бог послал? — сказала, вставая, Мироновна.

И, не теряя своего обычного важного достоинства, она вдруг обрадовалась, увидев Уланову, и старые глаза ее оживились где-то глубоко в себе и засветились затаенным светом молодости. Уланова эту радость не приняла на свой счет. Подумала: теперь ей перед концом все гости кажутся безразлично желанными, и всех их одинаково ждет праздничная встреча.

Но Уланова снова ошиблась.

— Машенька, милая! — сказала, обнимая ее, Марья Мироновна.— Дочка моя, умница!

— Милая Марья Мироновна,— ответила Уланова,— я вас так сразу полюбила, зачем же вы меня обманули? Помните? Я хотела вам мази дать от поясницы, а вы в ту ночь потихоньку уехали.

— Зачем ты на себя думаешь? — ответила Марья Мироновна.— Я тогда не от тебя, я от брата уехала, от его слабости, и снова повернула жизнь свою на прежнюю.

— Умирает сейчас Сергей Мироныч, с полатей не сходит.

— Слышала.

— Помочь бы ему...

— Нет, теперь уж ему не поможешь. Я от маленьких насилу удерживаюсь, одолевают, жалко мне их, не могу сама с собой оставаться, тянет. Но сейчас вот подходит конец, скоро...

— Это грех так думать, Марья Мироновна, на старости лет самоубийством кончать.

— Что ты, господь с тобой,— перекрестилась, испугавшись страшного, резкого слова, Мироновна.— Я ведь о воде мало думаю. Запрут — это дело человеческое. Я этого не боюсь. В Писании об огне сказано,— свет кончится от огня. И по всем признакам не успеет вода нас затопить.

Другим человеком, закованным в суровые правила прошлого, говорила теперь об огне и страшном конце Мироновна. Уланова вдруг потеряла милого, родного человека и не знала, куда ей смотреть, где искать, что сказать, как начать...

Тяжело помолчав, наконец она сделала над собою усилие и догадалась, как ей вернуть друга на землю.

— А Зуек все у нас,— сказала она.

И от одного только слова мирская няня вернулась на землю.

Уланова даже заметила тропки, какими приходит к нам чудесная бабушка: эти тропки разбегаются от уголков глаз по щекам, ее лицо оживает, глаза, губы в доброте своей как будто вот сейчас желают встретиться, познакомиться с чем-то живым и веселым. Уланова даже не удержалась и, не отвечая сразу на вопрос о Зуйке, сказала:

— А что, бабушка, может быть, и погодят со светопреставлением? И не будет огня? Я это с малолетства слышу — огонь и огонь, а все нет и нет.

С доброй, веселой улыбкой ответила мирская няня на слова милой женщины.

— Все-то знать, конечно,— сказала она,— нам не дано, может быть, и опять так пройдет, деточка, нам-то — так или так — все равно помирать: мы старики, а вы себе живите и не бойтесь. Ну так что же ты скажешь, как живет теперь наш Зуек?

Очень хотелось и даже прямо на языке вертелось у молодой женщины спросить теперь о воде, о том, что если не будет светопреставления, то вода-то непременно зальет острова и что в таком случае не лучше ли ожидать конца на суземе, чем на острове. Но такой вопрос мог бы стать решающей каплей и повлечь за собой в этот повеселевший дом возвращение страшного староверского бога с его беспощадным огнем на весь мир.

Так и не решилась она сказать свои слова и ответила на вопрос о Зуйке, что с тех пор, как бабушка с ним рассталась, прошло уже полтора года.

— Не узнать?

— Узнаете,— ответила Уланова,— а все-таки мальчик не тот стал, в таком возрасте перемены быстро бывают. Он был курьером, и такой был он послушный, но у нас, вы знаете, есть всякий народ, и какой это народ, по одним словам можно понять: лепарды, шакалы, медвежатники,— звери и звери! Вдруг случилось что-то, Зуек ответил: «Не хочу»,— и убежал. «Надо же слушаться»,— сказала я в другой раз.

— Хорошо сказала, умница.

— Нет, ему было нехорошо. «Почему это надо? — отвечает мне дерзко.— Я ничего дурного не сделал, чтобы и мне тоже надо было работать. Не хочу!» И опять убежал.

— Ну вот, это самое,— сказала Мироновна.— И к нему пришла эта слабость.

— Вы считаете, это слабость, когда что-нибудь самому себе хочется?

— Конечно, слабость. Не помню, сказывала ли я тебе, как началась у нас Выгореция?

— Ну как же, веник плыл по реке, соблазнял пустынников попариться, и как собрались вместе на легкую жизнь, и началась у людей слабость.

— Вот, вот, умница, все-то ты помнишь, все ты понимаешь! Ну, так зачем же сама этому служишь?

— Бабушка, вы этого никак не хотите понять, мы не только не за слабость стоим, а хотим переделать человека, собрать его всего. Мы не столько строим канал, как человека собираем, всего человека ждем и куем.

Уланова крепко говорила о том, что советские люди за жизнь стоят, за человека и что, напротив, считают слабостью именно оставлять человека на волю огня.

— Вы лично сами себя спасаете,— сказала Уланова,— и для себя, для своего облегчения и в оправдание себя, навязываете всем такой страшный конец. Не кончается свет, по-нашему, а только начинается. И вы то же самое делаете и тоже так думаете, когда вдруг бросаете старые свои мысли и уходите спасать маленьких больных детей.

Марья Мироновна, уверенная в чем-то своем, снисходительно выслушивала, а сама глядела в самую душу своего друга, и когда Улановой казалось, что вот она дошла до самого главного и бабушке теперь уже от ее слов некуда деться, Мироновна положила ей на плечо руку, заглянула ей прямо в глаза и сказала:

— Погоди, Машенька, я вспомнила, ты мне тогда про себя говорила, будто ты пчелка и тянешься к цветку за медом, а цветы все пустые, и что ты все делаешь не для себя, а только для людей, что тебе самой ничего не достается и что во всем этом виноват твой первый друг, забыла, как ты назвала его...

— Степан,— сказала Уланова.

И вдруг переменилась в лице.

Она теперь только поняла, что тот знакомый почерк на письме, спрятанном перед отъездом сюда в карман, был Степанов. Она быстро достала письмо, прочитала...

— Вот, бабушка,— сказала Уланова,— я любимого человека отрезала от себя...

— Как же это, голубка, так вышло тебе?

— Мне трудно вам сказать, как это вышло. Но я расскажу, как было не со мною, а рядом, в слободе, где я жила. Бедная женщина билась с утра до ночи с кучей детей, а муж пьяница был, все из дому тащит, детей бьет, калечит. Настал конец терпенью женщины. Ранней весной прилетел скворец к самому окошку, стал петь о счастье, и тут под эту песню схватило ее что-то за сердце. Пьяница лежит-дрыхнет на лавке, она собирает детей, ставит перед иконою на коленки. «Молитесь, деточки, за отца, и чтобы господь простил маму».

Потом уводит детей к соседке, сама же, вернувшись, снимает ружье с гвоздя. Сделала свое страшное дело, тут же пошла и сама на себя донесла. Суд ее оправдал. А как вы?

— И я бы оправдала! — вся загоревшись, вскинулась Марья Мироновна, и Маша узнала в ней в эту минутку брата ее, Сергея Мироныча,— куда девалась вся ее неприступная строгость.

— Такой грех замолить можно,— не в человека она — в Зеленого Змия стреляла,— продолжала бабушка.

— Вот у меня так точно было. Не прямо детей наших кровных губил мой Степан, а все дело наше общее, доброе, всех наших общих детей. Бабушка, ты сама поймешь: Степан стоял на большой должности, много ему было доверено. И я его, любимого, сама отдала под суд. Вот пять лет и летаю с цветка на цветок, ни к одному не спущусь, кажутся мне все после Степана пустыми. А если и не пустые, то как маленькие дети.

— Ах, и бедная же ты, Машенька!

— Так прошло пять лет, и вот пишет теперь, что больше не служит Зеленому Змию, у меня же просит прощенья и возвращается, подумай, бабушка, возвращается!

Уланова обе руки положила на плечи Мироновны и в упор лицом к лицу продолжала:

— Ни про одного человека не можем мы сказать, что с ним будет впереди, а вы вот про весь свет говорите: свет кончается. А я вот получила письмо и, если судить по себе, тоже всем теперь буду говорить: свет начинается!

— И впрямь, начинается! — добродушно ответила Марья Мироновна.

Она до того обрадовалась, что Степан возвращается, до того ушла от своей печали в радость милой ей женщины, что о своем большом деле на эти минуты вовсе забыла. Она обняла Машу, поплакала с нею от радости, выспросила все о Степане: и сколько лет ему, и чем он занимается, и как спасся он теперь от Зеленого Змия. И только уж, когда пошла проводить Машу, на ходу показала комнатку, где стоял ее черный гроб. Уланова узнала в нем тот же самый знакомый карбас, черный, с белым черепом и скрещенными костями. И, скользнув привычным для женщины внимательным глазом, заметила большое окно против гроба и что у окна стояло весло.

«Как же это так,— подумала приметливая женщина,— если она в затопление не верит и ждет огня, то зачем же все-таки она сюда прихватила весло?»

Месяц еще ярко светил, когда Маша Уланова выехала с Карельского острова. Гнедая лошадка домой бежала без понукания, и Уланова снова вернулась к тому же вопросу:

как это можно так верить в конец света, обречь себя на огонь и не забыть на случай ошибки весло?

— Как это может быть,— спрашивала Уланова себя, стараясь по себе самой понять душу Мироновны.

И вспомнила Уланова, что, отдавая Степана под суд, она не для себя это делала. Не будь у нее такой веры, что революция наша обновит мир и что только с чистой совестью можно идти в этот новый мир, то разве могла бы она оставить друга своего, какой бы он ни был: больнои, или пьяница, или что еще хуже?.. Нет, никогда!

«Но как же,— подумала она о теплом местечке, где лежало сейчас письмо,— как могло явиться это письмо, как мог вернуться к ней Степан, если она сама от него тогда отказалась? Значит, он понимал хорошо и тогда, что она ради правды его отдавала под суд. И я разве столько лет не хранила в тайне надежду на его возвращение? Могло же это вместе быть: и что отказывалась от него, и что вместе с тем и ждала!

Вот она, разгадка весла,— заключила свои думы Маша и весело тряхнула поводьями,— наверное, Марья Мироновна, ожидая всемирного огня, потихоньку даже от себя самой прихватила на случай весло».

Проехав еще немного, она и так подумала:

«Могла же Марья Мироновна, мирская няня, жить мыслью об огненной кончине и в то же время спасать маленьких чужих детей, как своих собственных. Так почему же и тут не могла у нее раздвоиться мысль: на минуточку забыла о гробе и прихватила весло».

## XXX. ЛЕСНОЙ ОБОРОТЕНЬ

Самый сильный холод в лесу бывает в конце утренней зари, когда первые лучи солнца влетят в лес и деревья бросают на снег голубые тени. Только мало-помалу солнечные лучи наверху начинают нагревать еловые шишки, и от тепла они расширяют свои дольки и начинают ронять свои семечки. На особых маленьких парашютиках эти семечки из верхнего этажа леса, где свет и тепло, спускаются в нижние этажи, где все еще мрак и мороз.

Скоро, скоро теперь уже возьмутся весенние ручьи, и миллионы этих семян, целый будущий лес, поплывет, и река понесет их в какой-то лучший край. И ни одно-то семечко, отдаваясь общему движению, не будет знать, ему

ли достанется лучшая доля или, из всего великого множества их, кому-то другому. Ни одно семечко не знает своей будущей доли, но всякое, в надежде на лучшее, живет и плывет.

Бурная река где-то далеко впереди, разогнавшись на прямом пути, с бешеной силой ударяется в скалистый берег, заступающий путь воде на повороте. Вымывая плодоносные частицы из бесплодного камня, река несет их на другую сторону и там создает наволок плодородной земли. Живой наволок все растет и растет, постоянно принимая к себе новых и новых гостей из далекого их материнского леса.

Люди тоже, как все живое на свете, ищут свой живой наволок и тоже подчиняются этой силе, увлекающей искать лучший край. Не это ли самое заложенное и в человеческую природу стремление вести за собой людей в лучший мир дремало и в таком бесплодном бродяге, как Куприяныч, и он вел за собой туда кудрявого мальчика?

Или, может быть, в нем давным-давно погасло живое чувство жизни в своем стремлении к лучшему, и он скучно повторял из года в год сам себя и мальчика захватил с собой для потехи?

Но как бы там ни было, какая бы ни ждала каждого из них судьба впереди, выйти на волю в первое время всегда хорошо, и они шли и шли по твердому ровному насту, определяясь по сучкам северных елок: на север сучки были много короче, и, не глядя на компас, можно было сразу сказать, какая где сторона.

Из темного хвойного леса они вышли на гарь, поросшую осинником и березами. Этот лиственный лес теперь был завален снегом и непроходим. Пришлось найти то место, где в былое время остановился пожар. Теперь тут высокой стеной стоял прежних столетий еловый лес. Но и тут просека, разделяющая хвойный лес от лиственного, вела не в ту сторону, куда надо было идти, в сторону Кижозера, и все равно по ней так же невозможно было идти, как и прямо по лиственному лесу. Осинки и березки от тяжести зимнего снега наклонились арками через просеку к ногам высоких неколебимых снегопадами елей. Кусты подлеска заделывали наглухо промежутки между арками.

Весь молодой лиственный лес склонялся перед непреклонной стеной темного бора.

— Что же нам теперь делать? — спросил Зуек.

Куприяныч огляделся, подумал.

— Сумерки,— сказал он,— поздно, сейчас ничего не поделаешь, надо готовить ночлег.

И указал на поляне невывезенный стог сена.

— Ночевать будем в сене, поди сюда посиди, отдохни, а я пойду бором, погляжу, как нам будет лучше завтра идти... Подожди меня, а станет холодно — закопайся в сено и спи. Я приду.

И ушел бором, обходя просеку.

Зуек прислонился к стогу, присел и в сумерках, как это бывает со всяким, стал распределяться по лесу в поисках, где бы ему лучше повесить душку свою: на сучок, или зарыться в муравейник, или нырнуть где-нибудь в большое дупло, или в снегу между двумя огромными корневинами во мху зарыться...

И вдруг в той стороне, куда ушел Куприяныч, крикнул Гугай. Зуек, конечно, знал, что это крикнула ночная птица, но у него в голове перед сном в таежном одиночестве само собой шевельнулось:

«А если Куприяныч может обертываться и это он обернулся филином и зовет его?»

Гугай крикнул в другой стороне. И Зуек подумал:

«Что это, вправду другой филин или Куприяныч перелетел в другую сторону и теперь оттуда дразнит и пугает его?»

Пугач крикнул с третьей стороны.

Зуек не очень-то испугался, но все-таки, подчиняясь тому смутному чувству, когда человек сам себе говорит: «Береженого и бог бережет»,— не спеша стал выбирать сено из стога.

С малолетства отец научил его этому простому делу, и, когда ночлег был готов, он залез в нору, а вынутым сеном стал заделывать выходное отверстие.

Перед тем как уснуть, он услышал: опять крикнул где-то Гугай. И Зуек уснул с этой мыслью, что скорее всего Куприяныч может обертываться.

Так он уснул, как, бывает, медведь простодушно зароется в стог и уснет на зиму и спит в сене, пока мужик не ткнет его вилами в бок, и оба, и медведь и мужик, испугавшись друг друга, бегут в разные стороны.

А бывает, говорят, и барсук так зарывается. И мы тоже так спали не раз, и так хорошо теперь вспомнить об этих ночах.

Но тут вот как раз, когда Зуек уснул в стогу, а Куприяныч, перелетая из стороны в сторону, с дерева на дерево, пугал его, и совершилась великая, решающая все перемена в природе.

Еще в сумерках Зуек заметил, как небо стало тяжелеть и желтеть. И когда он уснул, тут же прямо сплошной, непроницаемой стеной повалил снег, и это был снег последний. Зима отдавала сразу все свои последние запасы, как сдает полководец капитулирующую армию.

Что тут делалось ночью? Высоко где-то в небе легкие сухие шестигранные снежинки, переходя в нижние, более теплые слои воздуха, соединялись между собою, сырели, тяжелели, и сила их тяжести сама собой, без всякого подчинения скульптору или какому бы то ни было управлению, лепила все на сучках и вершинах всяких деревьев самовольные и затейные формы.

Утром снег перестал, но солнце взошло не таким, каким было зимой, солнце теперь было не золотое, а тусклое, красное и как будто даже смущенное; может быть, ему стыдно было за то, что оно, такое великое, теперь поддается охватывающей всю обыкновенную живую тварь весенней страсти. На такое смущенное солнце было даже совсем и не больно смотреть.

Но после последнего великого снегопада было даже и этих тусклых лучей довольно, чтобы оживить все фигурки создавшихся за ночь безобидных существ. Они, правда, были так безобидны, что форму свою никому не навязывали, и каждый понимал ее по-своему: кому что захочется видеть, тот так ее и называл.

И нужно было сойтись вместе только очень близким людям, чтобы одна и та же фигурка давала им один смысл. Это могло прийти двум так же редко, как двум вместе увидеть один и тот же сон. В одной и той же фигурке один мог понять хижину, другой дворец, третьему фигурка похожа была на добрую бабушку, четвертому на злую девушку. Но все равно, добрые, злые, красивые и ужасные уроды — все они были безобидны и форму свою никому не навязывали.

Когда Зуек проснулся, вытолкнул затычку из своей норы, он даже не сразу вспомнил о Куприяныче, до того захватила его радость при встрече с целым лесом безобидных существ. Он увидел, конечно, сразу узнал Марью Моревну, и Кащея Бессмертного, и Серого волка, и Бабу-

Ягу. Везде были золотые крестики, голубые кобылицы и помыкающий ими Иван-царевич.

— Здравствуй, Зуек! — говорили все фигурки безобидных существ, узнавая необыкновенного гостя.

Вскоре и сам их царь показался, большой, пузатый, добрый, и говорил Зуйку:

— Вот видишь, Зуек, я сижу, ничего не делаю, и вся природа у моих ног. Так и тебе будет все хорошо, если только будешь верить в меня и ни о чем другом думать не станешь.

Красногрудый снегирь сел на веточку верхней мутовки, выходящей из макушки царя Берендея, и с ним рядом села его скромная подруга. Снегирь красный не клевал семечки в шишках, даже не почесывался, а просто сидел, отвечая своей красной грудью красному солнцу; затем как будто и сидел, чтобы солнце ему красило грудь.

Вдруг откуда-то прилетел другой красный снегирь, проворный, живой, и сел на веточку, выходящую из уха царя Берендея.

«Сейчас будет драка!» — подумал Зуек.

А подумать-то как раз и нельзя было: думать запретил царь Берендей.

Тоненькими, самыми тоненькими пленочками располагались капельки тающего снега вокруг веточек под фигурками и, незаметно для глаза утолщаясь, тяжелея, превращались в ручейки, бегущие по веточкам тоненьким к более толстым. Голубая кобылица, скачущая над головой царя Берендея, подточенная струящейся над нею водой, еле-еле держалась и, когда Зуек подумал о снегирях, что сейчас у них будет драка, рухнула на царя Берендея, снегири улетели, и Зуек сразу хватился Куприяныча и сразу же забыл о всем царстве безобидных существ.

— Конечно, он тут где-нибудь, в стогу! — вслух сказал Зуек и, высунув голову, позвал.

Никто не откликнулся.

Зуек сразу выскочил в тревоге из своей норы, обежал, пошевеливая сено вокруг стога.

В сене Куприяныча не было.

И он громко, во весь дух закричал...

Этот крик мальчика в тайге был похож на шутку в таком обществе, где не шутят и где всякая шутка к тебе же возвращается и тебя же самого и стыдит: в этом обществе шутки не допускаются. И точно так же в тайге крик о помощи к тебе самому возвращается в том смысле, что в тайге

нигде на стороне помощи нет, отложи всякие надежды на помощь и надейся всякий только на себя самого.

Что же делать теперь? Куприяныч в поисках пути, наверно, забрался куда-нибудь далеко, нашел большой муравейник, выкопал в снегу до земли яму, перегреб муравейник, поджег, нагрел место, завернулся в полушубок и спит себе. А проснется, наверно, будет искать стог и вернется обратно по следу. Значит, надо сидеть на месте и дожидаться.

Но как только он подумал опять... В том-то и дело, что в царстве безобидных существ думать нельзя. Как только он хотел успокоить себя мыслью о том, что Куприяныч вернется, обрушился Серый волк вместе с Иваном-царевичем, и Зуек сразу же вспомнил, что ночью снег завалил все следы и что Куприяныч может и не найти эту полянку со стогом.

Только не так-то легко до конца занести след человека и зверя в лесу. Бывают затишинки между стволами, где снежинки, слетая, ложатся одна над одной в строгом порядке, и долго обмятый ногою след так и остается следом и в то время, когда снег в лесу уже немного поднялся. И совсем когда всюду заметет-занесет, скроет всякие следы, в затишинке над старым следом для опытного глаза все еще остается понятная воронка.

Зуек все это знал хорошо и, не будучи в силах сидеть и ждать прихода Куприяныча, решил испытать, не найдет ли он такие воронки от следов в лесных затишинках, и если Куприяныч по ним тоже идет к нему, то они с ним и встретятся.

Так он собрал все свое добро в сене, надел на себя сумку, ружье, нож, топор. На поляне, конечно, даже мелкие зверушки не успели наделать своих бисерных следочков, поляна была чистой скатертью. Но дальше в самом лесу, там, где вчера Зуек простился с Куприянычем, сразу же в затишинке показалась воронка от следа Куприяныча, и эта сейчас же перекликнулась подальше с другой, там дальше назвалась третья, и Зуек, сверля вниманием снег, стал пробираться вперед и вперед.

Мало-помалу появилась надежда, и, как только она появилась, Зуек вспомнил царство безобидных существ и захотел посмотреть, не покажется ли ему и с этой стороны царь Берендей.

Конечно, и тут царствовал Берендей, пузатый и круглый, он тут был везде, это была самая излюбленная фигура

в царстве безобидных существ, и вслед за царем все в этом царстве круглилось и пузатилось, образуя тоже везде купола, а над куполом везде торчал верхний пальчик елки и с крестиком. И вон опять на крестике красный снегирь...

В этот раз Зуек успел отогнать от себя набегающую тревогу и вернулся из царства безобидных существ с радостной надеждой к следам. Очень скоро запорошенный след завернул и, все скашиваясь, подвел к той самой заваленной просеке, где молодой лиственный лес низко поклонился старому бору. Тут след выпрямился и пошел самым краем бора вдоль заваленной просеки.

Пока Зуек разбирался в следах по редким, еле заметным воронкам, в природе совершалась великая перемена и решительно определилась новая жизнь. Смущенное солнце решило совсем покинуть свой трон и предоставить полную свободу всем живым существам, каждому жить, как только ему самому хочется. Сначала оно загородилось легкими корабликами почти прозрачных белых облаков, потом самому солнцу захотелось пожить для себя, и оно загородилось от мира темной дождевой тучей. После того закрылись и все голубые просветы на небе, и начало моросить.

Наст еще не провалился, и Зуек даже и не помышлял, что рано или поздно в тепле наст должен провалиться, и глубина снежная много больше его собственного роста должна поглотить его, и эта глубина — не вода, в снежной глубине плавать нельзя...

Так шел Зуек по следам возле самой просеки и всю тревогу свою закрыл в себе вниманием к следам. И, ступая над бездной по тоненькой пленочке, в сущности, стал одной из обреченных фигурок из царства безобидных существ. Мельчайшие капли тумана, проникая с верхних веточек, собирались в постоянные капли под фигурками, спускаясь все ниже и ниже, подтачивали все, чем держались фигурки на дереве.

Небольшая елочка с широкими ветками стояла на пути Зуйка. На пальчике верхней мутовки этой елки отдыхал только что прилетевший из теплого края маленький дрозд-белобровик. Широкие ветки елочки были опущены в снег и там зажаты. Елочка со спущенными ветками стояла, как связанная Снегурочка с живой птичкой на верхнем пальчике.

Но вода, осаждаясь на ветках деревьев, всем связанным существам несла свободу. Стекая по спущенным плечикам

связанной Снегурочки, вода быстро подтачивала ледяные оковы мороза, и вдруг в лесной тишине сами собою веточки елки прыгнули вверх.

В изумлении Зуек остановился, а дрозд-белобровик в безумном страхе забыл свою усталость от перелета из теплых краев и опять полетел куда-то вперед, дальше и дальше на места своих гнездований.

Моросил настоящий дождь, а наст все держал, и Зуек нисколько не думал о грозной бездне под своими ногами.

Вдруг с высокой сосны на просеку рухнул сам царь Берендей, ударил по склоненному дереву, и прямо перед самим Зуйком прыгнула вверх молодая стройная белая березка. Вслед за этой первой березкой подальше сама уже прыгнула осинка, и за ней началось в молодом лесу и по всей просеке, как у людей, восстание всего молодого леса, и тоже, как у людей, старый лес бросал вниз на молодежь свои непомерные тяжести, и тоже, как у людей, старики не только не усмиряли, а помогали ходу восстания.

Всюду прыгали молодые деревья, всюду сбрасывали с себя белые шапочки, рассыпали свои белые саваны, раскачиваясь, шептались, охлестывали друг друга, как люди, радуясь теплу, охлестывают друг друга вениками в жаркий час.

Зуек видел, как мало-помалу просека, заградившая путь ему, вдруг вся встала и далеко открылся вверху просвет, а сверху все падали, падали, рушились его волшебные кобылицы, и львы, и слоны.

Глухой шум падающих снежных фигур, самовольное движение веток, скрип и треск со всех сторон встревожили Зуйка до того, что в нем тоже самовольно стало нарастать стремление к побегу: бежать, не помня себя, бежать из этого безумия лесного туда, где столько хороших людей в большом разумном труде создают счастье великой суровой борьбы, делают что-то чудесное, чего не бывает в природе. В этот момент Зуек понял — не туда он пошел.

И в то же время он понял — нельзя и просто бежать назад, и почему-то надо непременно ему дойти до конца, и там уже видно будет. А главное не в том, что он сейчас загадывает, а в том, что велит ему тот собственный его начальник, взявший власть над ним с того самого мгновения, как он вышел из дому.

— Вперед! — сказал теперь этот начальник.

Но только Зуек сделал один шаг вперед, как под ним что-то хрупнуло, и наст провалился.

К счастью для Зуйка, не очень давно была гололедица и снег тогда еще покрылся тонкой корочкой льда. На корочку эту потом налетел снег, и весной на снегу сделался наст. Зуек теперь провалился до того первого наста-пола, сделанного гололедицей, и он погрузился пока не глубже колена.

— Вперед, вперед! — требовал от него начальник.

Теперь идти вперед стало очень трудно и очень опасно: второй тонкий наст на каждом шагу легко мог провалиться и поглотить, и никакая борьба после того не была бы возможна.

С трудом сделал Зуек несколько шагов, как вдруг впереди него рухнул один из пузатых царей и попал как раз в то место, где с вечера зарылись тетерева. Большие черные птицы с красными бровями и белыми подхвостниками вырвались из-под снега и полетели вперед друг за другом в лес, но сам лес качался, и они в ужасе смешались в своем полете и бросились в разные стороны, ничего не понимая, как только что подмывало и самого Зуйка броситься в ужасе неизвестно куда.

Откуда-то выбило глухаря, большую черную, с небольшой бородкой, краснобровую птицу, и он сел без памяти на первую молодую нежную осину, нелепо обременил ее и только что не сломал. Но не успел он опомниться, как снежный ком хватил его, сбил почти донизу, и глухарь, как и тетерева, сбивая на лету во множестве фигурки безобидных существ, помчался неизвестно куда.

Куда мчится безумный глухарь? И пусть у маленького человека под ногой сейчас бездна, куда на каждом шагу может он провалиться, но человечек этот все-таки слышит голос своего начальника, все-таки держит себя, и в себе у него собираются свои милые люди, и с каждым шагом делаются ему они там все дороже и лучше. И не только маленький человечек над пропастью, но и самый серьезный воин умирает на войне, собирая в душе своей милых людей.

Как все-таки хорошо быть человеком!

И эта лучшая песенка жизни уже начиналась в душе у Зуйка. А между тем падающие комья, снежные, мокрые, тяжелые, стали попадать в логовища и в стойбища зверей. Недалеко от Зуйка первая вышла на просеку и остановилась, обдумывая свой путь, прислушиваясь, осторожная рыжая лиса с белой грудкой. Сообразив что-то по-своему, она выбрала себе путь вдоль просеки и пошла осторожно, проваливаясь по самое брюхо, а свою великолепную трубу, оберегая от мокроты, поставила вверх. В полном безумии,

в панике неслись, не проваливаясь, белки, зайцы и валом валили прямо на Зуйка, как вдруг темный бор сбросил на них снег, и они все завернули на просеку, и тут белки мчались по-прежнему, а зайцы отчего-то стали проваливаться, пахать брюхом снег и оставлять на нем широкие полосы.

Трудно было Зуйку!

Пролез на просеку, проваливаясь сквозь верхний наст, матерый волк-одинец. И тут же, не обращая на волка никакого внимания, ломая с шумом и верхний наст и нижний, пронесся целый большой табун огромных лосей.

После лосей Зуек сделал шаг вперед и вдруг ногою почувствовал край бездны: что-то хрупнуло там, и стало несомненным — если только он шевельнется, то непременно провалится. Теперь надо бы наломать себе много веток, укрепиться и ждать. Так он и хотел сделать, и потянулся, и вот-вот бы достал, как вдруг с той стороны над самым снегом показалась бурая голова с маленькими глазами. Голова двигалась довольно быстро вперед прямо на Зуйка, а вслед за головой снег разваливался на две стороны до самой земли.

Совсем стало плохо Зуйку, но мысль о милых своих дорогих людях не оставляла его. И опять еще раз мы скажем, если на все кругом посмотреть: как все-таки хорошо быть человеком!

Скоро поняв, что это большой медведь идет на него, Зуек быстро снял ружье и только хотел прицелиться, как вдруг под ногой у него сильно хрупнуло, и охотник исчез в снегу с головой.

## XXXI. ЗВЕРОВАЯ ТРОПА

Каждое дерево в лесу во время дождя бывает похоже на реку: ствол — это сама река, несущая воду в землю, с веток впадают в реку малые речки, а веточки — это ручейки. И иголочки, листики — это как на земле отмочинки, лапки и всякие родники.

А особенно бывает похоже дерево на реку ранней весной, когда, кроме дождя, еще бежит вода из-под загружающих ветки снежных масс. Тогда по стволу в землю бежит настоящий поток, снег внизу вокруг дерева становится быстро зернистым, садится, и так образуется чаша: этими приствольными чашами и начинается в лесу весна воды.

Так было и с тем деревом, где провалился Зуек. При необычайно дружной весне этого года поток воды по стволу сразу же широко озернил снег вокруг ствола, сделал его очень слабым и сразу же сильно понизил. Зуек без труда пробился к стволу дерева, прислонился к нему, приготовил ружье и стал дожидаться медведя.

Но медведь, увидав, что человечек внезапно нырнул под снег, сам ужасно перепугался, понимая по-своему: человечек, наверно, под снегом бежит на него, и явится перед ним с неизвестной стороны, и хватит сразу.

Вот только тогда и можно понять, какая у медведя сила, если видеть его, когда вода или охотники выгонят его из берлоги и он по уши в снегу бежит в нем, как конь на призовой дорожке, и снег над ним поднимается вверх, летит и спускается пылью: бурый, широкозадый, ворочает он своими бревнами, а над ним и после него идет снег.

Медведь от Зуйка круто повернул и понесся просекой, раздвигая снег от низу до верху двумя косыми стенами. Этот первый медведь был большой старой медведицей, за ней тем же следом понесся жилец той же самой берлоги — пестун, и еще за пестуном бежал небольшой медвежонок с белым пятнышком. Последний медведь после старших мог бежать легко, как по дороге, вперевалочку: трух-трух! — и покряхтывая.

Так и был проложен в весеннем непроходимом лесу отличный путь, и все звери, пересекая эту широкую канаву, повертывали по ней и все больше и больше уплотняли ее, и все больше и больше всяких зверей собиралось на медвежью дорогу.

Как только Зуек понял — медведь не придет,— насквозь промокший от непрерывного дождя, он вскарабкался на дерево и увидел медвежью дорогу вдоль просеки. В лесное окошко с коротким полем зрения ему уже не были видны медведи, но лоси прошли на его глазах, и волк еще ковылял, зайцев было множество и лисиц.

Нетрудно было догадаться, как можно скоро добраться до медвежьей дороги и что только на этой дороге и можно теперь спастись маленькому царю природы: идти вслед за зверями, и звери укажут ему, как можно спастись.

Быстро он срубил с елки два большие сука и по одному, не проваливаясь, продвигался вперед, а другой сук за собою подтаскивал и, ступив потом на этот, подтаскивал пройденный. Так, переступая с сука на сук, он добрался до медвежьей дороги и легко пошел по ней, как ходят везде по

дорогам. И так оно было теперь, если бы посмотреть с высоты: впереди шли медведи, раздвигая зернистый снег, позади их во множестве шли разные звери северного края, от огромного лося и до маленького горностая, а в конце плелся небольшой человек — царь природы.

Сейчас Зуек, промокший, озябший, усталый, не думал больше о соблазнителе, сулившем ему царство в природе, где ему не надо будет трудиться, и даже не слышал больше и голоса своего начальника, взявшего власть над его путешествием в край Живого Наволока.

Но мы погодим думать, что творческий дух человека, живущий в каждом из нас, совершенно покинул Зуйка. Нужно только вспомнить себя в прошлом, когда какой-нибудь наш жизненный план разлетался вдребезги. Помните? Мы хватались за что-то, и после этого новое, непредвиденное оказывалось гораздо лучше нашего плана. Помните, как после победы мы вспоминали наш план с благодарностью, понимая, что только этот наш план, как леса при постройке, позволил нам приблизиться к лучшему и успеть за него ухватиться.

План Зуйка был совершенно разбит, но человеческая его готовность схватиться за перехожее лучшее и случай какой-нибудь — Жар-птицу или Серого волка сделать своим конем спасения — в нем оставался, и пусть он шел в унижении, он все-таки шел как царь природы и непременно, сам не зная того, но доверяя лучшему, таил в себе царство, как таит его всякий человек, начиная свой путь от рождения, от выхода из темной утробы на свет широкий и вольный...

А что теперь делалось в лесу со старыми следами? Эти следы, как плотно смятый снег, обращались в лед и таяли много слабее, чем снег рядом лежащий, рыхлый. Следы теперь поднимались, и по мере того как снег опускался, они поднимались все выше и выше. Особенно выдвигались вверх следы человека.

Бывает, они сохраняются где-нибудь на солнечной опушке, где уже земля показалась, и уже бабочки желтые летают, и пахнет корой своей осина, на черном стоят высокие ледяные тумбы в обрез ноги человеческой: тумба за тумбой, как шел человек, так и остался его страшный след вдоль всей солнечной опушки. Страшновато бывает смотреть на эти тумбы, наверно, из-за того, что ведь это только ледяные тумбы остались от человека, а сам-то он, может быть, и не жив?

Остались ли хоть эти тумбы теперь от Куприяныча, или он и вправду обернулся в Гугая, как снилось Зуйку?

Была в тайге зимой плотная тропа, и по ней ходили все звери и всю зиму ее уминали. Не попал ли на нее в свое время Куприяныч, не по ней ли удалось ему уйти куда-нибудь, когда внезапный дождь оторвал, отрезал ему путь возвращения к Зуйку? Теперь эта зимняя зверовая тропа, как ледяная плотная дорога, возвышалась над оседающим снегом, и на нее-то в конце концов вылезла усталая, измученная медведица. Совершенно не думая о том, что вслед за ней идут ее родные медведи и целый огромный обоз всяких зверей, медведица, когда вылезла на дорогу, села на нее, завалилась, выставила одну заднюю ногу флагом, а сама стала спокойно у себя то ли что-то зализывать, то ли что-то ловить. Завидев издали протянутую вверх ногу медведицы, все звери, пережидая, приостановились: все понимали — бросаться в сторону некуда и надо ждать, пока лесная хозяйка не отдохнет.

Когда же Зуек подошел к этому месту, видеть он ничего не мог: медведица и за ней все звери шли по твердой, зимней, оледенелой и хорошо всем зверям известной тропе. Конечно, как только Зуек вылез на зверовую тропу, ему же стало много легче сравнительно с тем, что он пережил.

Может быть, звери знали, куда ведет эта тропа? Зуек шел последним и не знал, куда она ведет. Что же, он шел вперед совсем как слепой или, как неодушевленный шар, катился под гору? Нет, он был человек в тот момент, когда по необходимости каждый из нас на своем пути должен бросить свой план. Но он не слепой! Весь свет его теперь сосредоточился внутри, и как только явится случай, он бросит этот собранный в себя мир на случайность и обратит ее в путь человеческий.

Он может сейчас об этой грядущей случайности и не знать, но он знает о свете внутри. Он ждет, и когда придет время, может быть, все звери лягут у его ног. Или, может быть, он погибнет? Ничего от этого не изменится, придет другой на место его, и все равно звери лягут.

## XXXII. ВОПРОС РЕШЕН, РЕКА ПОШЛА!

Большой деревянный барак управления строительством всего Беломорского канала от озера Онего и до Сороки на Белом море стоял недалеко от Повенца на

Медвежьей горе. А внизу под горой была речка. Служащие в управлении — любители природы — перед весной, садясь за работу, чаще и чаще стали поглядывать на эту речку и все про себя отмечать: и как показались у берегов первые отмочины и по отмочинам лисица ходила за мышами на ту сторону, и как отмочины позеленели, а лисица ноги мочила и все-таки каждый день оставляла следы на отмочинах, мокрых, зеленого цвета, и как отмочины эти стали водой голубой, и эта вода пожала мышей к берегу, и лисице незачем стало ходить на ту сторону.

День изо дня росли голубые забереги на реке, и смотреть на это стало так же утомительно, как если бы, дожидаясь всей душой весны, в упор глядеть на стрелку часов. Наконец в тот самый день, когда Зуек провалился в лесу, вода пошла на штурм по всей трассе канала, и от юга, с Повенца, и на север начались прорывы.

Было видно из окна управления, как лед поднимало, как ломало его. Через открытую форточку было все видно и слышно: и стрельба там была, и борьба была льдин между собою за лучшее место,— каждой из них хотелось как можно скорее выйти из тесноты и, может быть, успеть, пока не растаяла, прийти в океан.

Мало-помалу определилось в этой борьбе льдин за свободу, что главная масса их прекратила борьбу между собой и, согласно общему движению, в законе пошла, а беззаконные кружились между ними, мешали им, поднимались вверх стояком, рушились. И когда беззаконная льдина рушилась на законную, то, нырнув вместе с нею под воду, возвращалась как бы на суд: одну льдину поток поднимал к себе, другую оттеснял к берегу и мало-помалу выпирал ее на сушу. И так постепенно все беззаконные льдины на берегу в многоэтажных нагромождениях остались неподвижными изнывать до конца в лучах весеннего солнца, а вся река в законе молча пошла в океан.

Когда шумная борьба за первенство льдин между собою вдруг как-то кончилась, то внезапная тишина с легким шепотом еще больше возбудила любителей природы, почти все служащие бросились к окнам смотреть на величественный ледоход, и каждый говорил:

— Река пошла!

Каждый, глядя на сплошной быстрый массовый ледоход, про себя о чем-то очень хорошем, желанном догадывался, и каждый это хотел бы выразить такими словами:

— В законе, в законе пошли!

Но никто не осмеливался вслух о льдинах сказать, как о людях, и потому все повторяли в одном человеческом шепоте:

— Река пошла!

И сама река до того ясно шептала — «пошла и пошла», что один из служащих бездумно спросил вслух:

— О чем шепчутся льдины?

И сосед его, не питавший никакого интереса к природе, ядовито и спокойно ответил ему:

— Они шепчутся о том, чтобы ты хоть какой-нибудь порядок навел у себя на столе, а то бумаги у тебя на столе дерутся больше, чем льдины.

А у начальника строительства было экстренное совещание, из открытой комнаты оттуда в общую долетали постоянно одни и те же слова:

— Вопрос решен!

— Какой вопрос и как решен? — про себя повторял каждый из служащих.

И, вслушиваясь в шепот льдин, сами же себе отвечали:

— Вопрос решен — река пошла!

— Никаких вопросов больше нет! — слышался голос самого начальника,— никаких споров, глядите сами в окно, вот вам на все один и тот же ответ: река пошла!

Так началась эта страшная борьба извечно соединенной силы воды с соединенной в законе силой человеческой воли и разума.

— Приказываю! — сказал имеющий власть над природой.

И этим имеющим власть был каждый из нас, кто бывал в жизни своей победителем в борьбе за общее дело, и армия врага при трубных звуках победы сдавала ему оружие. Но это только начало победы. Имеющий власть над природой должен так победить, чтобы сами журавли затрубили победу и враждебная армия стала мыслью своей и сердцем на сторону победителя.

— Приказываю! — сказал имеющий власть.

И кто-то услышал этот живущий в душе всякого победителя приказ и, в свою очередь, именем этого имеющего власть над природой, сам приказал.

И стали передавать приказ и по радио, и просто рассылать его в пакетах по всем узлам Беломорского строительства. Это был приказ, направленный к слиянию всех в одну силу, подобно тому как вода является силой, когда

получает свой весенний приказ, это был приказ — по всем каплям сливаться и действовать против того, к чему прикоснулся человек, действуя против воды.

Новый приказ приводил в боевое состояние всех работающих на канале, все лагерные отделения стали называться штабами, все бригадиры стали начальниками боевых участков, все боевые группы стали фалангами, и все фаланги двинулись на места прорывов.

Это был приказ, направленный к слиянию всех в одну силу, наподобие силы воды. За этим приказом последовал приказ, имеющий в виду не воду, а самого человека: каждый боец на своем участке должен знать о своем незаменимом первенстве, знать, что человек не капля воды и заменить его может другой, если только первый умрет, и что нет, кроме смерти, никаких объективных причин для оправдания своей собственной слабости.

Так рождались знаменитые приказы, и шелест проплывающих льдин повторял:

— Вопрос решен — река пошла!

И деятельный человек в сердце своем повторял:

«Каждый боец на своем участке единственный, и в оправдание своей слабости у него нет никаких других объективных причин».

И человек, имеющий власть над природой, требовал:

— Победа должна быть доведена до конца, чтобы сам враг понял нашу мысль и не только наши трубы, а и журавли трубили победу.

## XXXIII. СОЙДЕТ КАК-НИБУДЬ

Если бы вода могла прямо бежать к своей цели, как самолеты по воздуху, никакой жизни не могло бы быть на земле: вся пресная вода унеслась бы в океан и там бы стала соленой. Так и вся жизнь человека, подобно воде, проходит в постоянной борьбе, и в ней человек обретает особую силу и этой силой побеждает природу.

Конечно, даже самый разумный приказ встречал на строительстве канала огромные препятствия: ничего без борьбы не дается. Но не главными вредителями были такие, как Рудольф, с их обидами и самолюбивой войной против легавых. Кто-то махнул рукой под конец своей дневной работы, сказал себе: «Сойдет как-нибудь». Он в это время вовсе не думал, что доверяется слепому счастью своему

и отдается на волю случая и что, может быть, для него, правда, все сойдет, а в общем деле станет на помощь силе врага, что, уступая свое первенство человеческое, он позволяет рождаться «объективным причинам» прорывов.

Вот из множества таких мгновений слабости, когда человек уступал свое первенство, рождалась огромная сила противодействия, и когда вся соединенная сила воды устремилась на человеческие сооружения, всюду по всей трассе начались прорывы.

Каждый прорыв укреплял неверие тех, кто стоял на своем и так понимал, что не для прямой пользы делается канал, а только чтобы мучить людей. И так безликие маленькие случаи превращались в личных вредителей, ожидающих случая перейти на сторону врага.

Редко, однако, в то время можно было прямо пальцем указать на вредителя, и только долго спустя поняли, что переброска Сутулова с Надвоицкого узла на водораздел было тоже таким же вредительством. А вода будто узнала, что Сутулов уехал, и в ту же ночь нащупала недостатки сооруженной плотины, запирающей воду Выга. Так пришла эта ночь, когда тишина, созданная великим трудом человека, нарушилась и падун зашумел.

## XXXIV. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ДЕДУШКИ

Кто наморился и крепко спал на канале, кто усердно занимался ночью своими маленькими делишками, и они заслоняли ему внимание к событиям огромного и страшного значения. Начало шума падуна услыхал один только умирающий Сергей Мироныч. Он в эти роковые часы прорыва витал душой в тех временах, когда пустынник отец Корнилий увидел мелькнувший в белой пене порога банный веник и отправился к верхнему жителю париться. Сколько раз Мироныч в жизни своей слышал этот рассказ о венике с суровым наставлением сестры своей о том, что будто бы от веника этого родилась у людей слабость и от слабости и распалась Выгореция.

Всю жизнь свою он принимал эти слова на веру, и только вот теперь, под конец, пришло ему в голову подвергнуть предание это суду.

Выходило так, что пустынникам надо было в одиночку ждать светопреставления, а если уж вместе собраться, то

тут же и сгореть. И эту решимость покончить с собой сестра называла силой, а собраться вместе, чтобы помогать друг другу хорошо жить на земле, справедливо, награждать разумных и добрых, наказывать строго негодных,— это будто бы слабость.

С особенной, небывалой в жизни своей ясностью Сергей Мироныч подумал:

«Нехитрая штука заморить себя на земле для жизни небесной. Трудно, и в том и есть сила человека, чтобы на земле жизнь устраивать, как на небе».

И повторил много раз заученное с далекого детства из «Отче наш»:

«На земли, яко на небеси».

Каждый раз, повторяя, дивился он новому смыслу древней молитвы и не понимал сейчас, как это он мог тысячу тысяч раз за жизнь свою прочитать «Отче наш» и не заметить простого смысла таких простых слов: устраивать самому человеку разумную жизнь у себя на земле так, как представляется она совершенной далеко от нас где-то на небе.

Как будто дым какой-то стоял возле Сергея Мироныча всю жизнь, а теперь кто-то стоял возле него и опахалом дым разгонял, и открывалась ясность на все, и наступала внятная тишина.

И вот тут-то, в этой внятной тишине, всякая мысль ему стала показываться и по-новому, и как бы уже окончательно.

«Как же так,— подумал он,— был человек-пустынник, увидал веник, и ему захотелось попариться... Этого быть не может! Если о смертном часе думаешь — париться не захочется. И сестра тоже: зовет всех к смертному часу, а сама за детьми ухаживает».

И, прошептав еще раз свое «яко на небеси», Сергей Мироныч увидел на земле необыкновенный порядок, и в нем каждая вещь становилась на свое место.

По-крестьянски он эту радость свою о порядке перевел на жизнь каждого разумного человека в том смысле, что каждый человек хорошее дело может делать только с этим порядком в душе.

— Вот и вся мудрость, так все и делается у нас,— заключил Мироныч,— только нельзя же требовать, чтобы сразу вдруг и стало на земле, «яко на небеси».

И опять обняла его внятная тишина, и в тишине шумел водопад, но шум этот Мироныч понял как вопрос к себе

самому, тревожный до смерти вопрос — что дальше нельзя так надвое: частью на небеси, а частью на земли.

Шум падающей воды в тишине душевной пустыни требовал от него немедленного решения: туда или сюда.

— Туда! — решил он.

И стало ему ужасно мучительно, больно и страшно.

«Назад?» — подумал он.

Стало легче.

— Конечно, назад! — сказал он.

И круто повернул назад.

И, повернув на ходу, стал повторять:

— Домой, домой!

Вот эти непрерывно следующие друг за другом слова услыхала стерегущая его Евстолия Васильевна.

— Ты дома, Мироныч! — сказала она.

— Говоришь, дома? — ответил Мироныч.— А как же падун?

— Какой падун? Его больше нет, падун закрыли.

— А ты послушай, Васильевна! — сказал своим обычным разумным голосом Мироныч.— Шумит!

Евстолия Васильевна приоткрыла окно, и шум, прежний шум падуна явственно ворвался в избу.

Мироныч приподнялся на локтях и сказал:

— Это вода. Падун заработал. Это прорыв. Скорей беги, птицей лети в управление. Дорога каждая минута, Васильевна. Лети!

Не воды испугалась робкая Евстолия Васильевна, а что Мироныч вдруг встал и в разум пришел.

Неодетая, простоволосая, бросилась бежать Евстолия Васильевна, смутно чувствуя, что бежит, выполняя последний приказ человека, кому раз навсегда поручила себя и, не рассуждая, доверяла всю жизнь.

А Мироныч, послав свой последний приказ на строительство государственного дела, тихо склонился на подушку.

Последние дни он очень тяготился не так своей болезнью, как тем, что за ним надо ходить, что, сам ничего не делая, он доставлял людям столько хлопот и всем собою мешал.

Теперь Мироныч, отдав свой последний приказ, лежал со светлым лицом на подушке: своим приказом он себя оправдал и мог быть совершенно спокоен — больше он никому не мешал.

## XXXV. ЧУЛОК СО СТРЕЛКОЙ

С такой силой пошла вода, так переполнились крупные реки, что не могли больше принять в себя воду бесчисленно бегущих из лесов малых речек, и некоторые из них повернули обратно к истокам, в леса.

Рыба, плывущая вверх на места нереста с огромным трудом против быстрой воды, теперь спокойно пробиралась обратно текущей водой. Может быть, даже и тысячи лет падала вниз большая река и семга прыгала вверх по камням. Но пришел человек и в какие-то два года остановил воду, и семга больше не могла прыгать вверх по сухим камням.

Но нет никакого зверя с такой бархатной лапкой, чтобы так неслышно идти, так подкрадываться, как вода крадется к человеческим сооружениям. Неслышно она лизала их, пока не выпятилась из плотины большая серая губа, и вода по губе перешла на ту сторону и там, неслышно наполняя ямки и впадинки, потекла поверх к падуну. Тут-то вода больше не могла уже таиться. Падун зашумел, и обрадованная семга, пользуясь водою и камнем, стала опять прыгать вверх на места постоянного своего икромета.

Евстолия Васильевна неслась на огонек, как птица, задыхалась, останавливалась, прислушиваясь к нарастающему шуму воды.

Этот шум, как бывает весною воды, был согласованным со всею природой: ласковый ветерок откуда-то наносил уже запах осиновой коры, и слышен был свист пролетающих уток, и заяц, как будто внезапно застигнутый страстью, безумно кричал. Все было, как бывает ранней весной, и Евстолия Васильевна все это хорошо знала, и если бы пришлось потом поголосить на могилке, призвала бы во свидетели своего горя все, что тут было: и уточек-свистунков, и заюшек-горностаюшек, и шум страшного падуна страховитого, и больше всего этот огонек немигающий...

К счастью, часовой узнал ее и пропустил к Марии Улановой прямо на огонек.

Старая женщина, еле живая, добежав до окна, уже подняла было свою костлявую руку, чтобы постучать, но занавеска была не задернута. И, глянув в окно, старуха медленно опустила руку и не постучала...

Помедли же, помедли минуточку, бабушка!

Мария Уланова в своем общественном деле, по правде говоря, не выходила из своей материнской доли, точно так

же как и Евстолия Васильевна, вырастившая семь сыновей и набравшая множество внуков. Со стороны всем казалось, будто Уланова увлекается работой по-мужски, работает охотой. Но это было только во внешности. В душе Уланова жила не охотой, но постоянной материнской заботой. В самой тайне души своей она слушала приказы неведомого своего начальника так же самоотверженно, как слушала всю свою жизнь такие приказы простая жена хорошего человека Евстолия Васильевна. И занималась Уланова строительством не в его творческом смысле, а ухаживала за ним, как мать, все вынашивала, кормила людей, чистила, растила в постоянных заботах.

Сегодня Уланова особенно много работала, подготовляя себе к завтраму праздник: завтра должен приехать Степан. Усталая после рабочего дня, она сняла свои грубые сапоги, села в уголок своего простого дивана, закрыла глаза. Весь день ее счастье было под замком, и ни разу за весь день она не позволила себе даже на мгновение заглянуть туда, набраться оттуда радостной силы для трудного дня. Давным-давно приучила себя Уланова к мысли, что в одном личном счастье нет утешения, и что, так или иначе сложится личная судьба, от материнской заботы никуда не уйдешь, и что самое главное: в материнской заботе о людях для женщины есть своя доля счастья.

Но теперь, когда она, усталая, присела и вспомнила о предстоящей завтра встрече, ей повеяло тем далеким миром ранней молодости, когда кажется, что если самому хорошо, то будто бы от этого своего счастья сделается и всем хорошо и что для этого счастья не нужно ни страдать, ни трудиться, а только жить самому как хочется.

Подумав об этом, она чуть-чуть улыбнулась, скинула кожаную куртку и включила яркий свет электричества. Надо бы опустить занавеску, но как-то было не до того, окно осталось открытым, и старая женщина Евстолия Васильевна на этот огонек и бежала.

Заблестели в электрическом свете золотая смолка на хвойных свежерубленых стенах и золотистые завитки каштановых легких волос. Женщина села перед круглым зеркалом на покрытом ковриком простом ящике, оперлась на локти, подперлась кистями рук и в зеркале стала смотреть на ту себя прежнюю в жизни со своим Степаном. На минуточку ей стало страшновато: вот этих морщинок возле глаз тогда не было. И вот еще, вот... и на лбу...

Но если есть в душе острая боль об утраченном и на столе раскрытое письмо с надеждой на возвращение прошлого, это значит, надо дольше и дольше смотреть, и тогда постепенно утраченное отходит к пережитому и отбрасывается как не главное.

Что же это такое, ведь она по правде за все пять лет после Степана и не глядела на себя в зеркало: если бы она хоть раз по-настоящему заглянула на себя в зеркало, как же бы она не заметила свою детскую родинку. Как хорошо, что она сейчас увидела, узнала свою детскую родинку, и с нею вернулось ее детство. Глаза ее, печальные, большие, карие глаза стали веселыми, жизнь личная, та самая тайная и всем нам знакомая и любимая, открылась, засияла на всем лице, молодом и прекрасном. Казалось, эта жизнь пришла не из-под своего замка, из себя, а со стороны, как тепло.

Мария Уланова повернулась, с лукавой улыбкой поглядела на себя вполоборота, радостно кивнула...

Какой-то большой старый ящик стоял тут возле кровати. Маша наклонилась к нему, вытащила большую бутыль тройного одеколона, поставила возле зеркала, покопалась еще, вытащила много чулок и стала искать нештопаные. Счастливо нашлись скоро совсем новые, шелковые, цвета загара и со стрелками.

Маша села на диван, сняла с правой ноги грубый мужской нитяный носок и чуть ли не впервые за пять лет раскатала шелковый чулочек легко на своей ноге. И тут-то оказалось — она сама хорошо знала, какая это нога, и любовалась, как художник, ногой, заключенной в конские мужские сапоги и теперь освобожденной при ярком электрическом свете, блеске, аромате смолистых капель хвойного дерева.

В комнате сильно пахло лесной смолой, служащей целящим бальзамом раненым хвойным деревьям. Маша откинулась к спинке дивана, полузакрыла глаза. На одной ноге был шелковый чулочек со стрелкой, а другая так и осталась забытая, в грубом сапоге.

Она в это время для себя стала раненой сосной и понимала эту рану свою как обиду. Целых пять лет она несла обиду свою, как горб.

— Да, это горб! — прошептала она.

И тут же вспомнила одного горбуна, такого прекрасного душой, что каждый, заглянув ему в глаза, про горб его забывал. Горбатый человек сумел победить даже

свой горб. Вот теперь и она сама обошла обиду свою, как горб.

Больше теперь она не горбатая!

Радость победы счастливыми слезами, крупными каплями вышла на щеки из-под длинных ресниц.

И тогда наступил для нее тот личный праздник, какого ждет не дождется каждый из нас: тогда, если ты стоишь на земле, земля твоя обращается в воздух, а если ты в воздухе, то воздух становится светом и звуком, а время совсем исчезает, как будто ты его сбросил, как старую, изношенную одежду, и оно остановилось.

Прекрасное мгновение, остановись!

Старая женщина глядит в окно и не смеет руку поднять, постучать, разбудить. Сама Евстолия Васильевна невестой вспомнила себя, и старая рука ее все не смела и не смела подняться.

А вода, определенная на земную работу, все бежит и бежит, водопад все усиливается. Старая рука неохотно поднимается к окошку...

Ну, еще подожди, помедли, помедли немного, бабушка!

## XXXVI. СКАЗКА О ЗОЛОТЫХ КАРАСЯХ

Был пруд на Карельском острове с широким деревянным помостом, где женщины всегда стирали белье, и крошками от стираного хорошо кормились караси. В озере было немало сигов и щук, на эту домашнюю рыбу, карасей, не обращали никакого внимания, и оттого карасей развелось в этом пруду видимо-невидимо.

Казалось бы, уж с карасями-то на Карельском острове дела были куда лучше, чего тут больше желать: кишмя кишит в пруду рыба! Но и тут старые люди вздыхали о своем лучшем времени: теперь караси в пруду будто бы остались только серебряные, а в старину жили в этом пруду караси золотые.

Так при стариках и нельзя было ни о чем хорошем впереди завести речь: золотой век с золотыми карасями был назади, а впереди будет только мученье, и все кончится огненным светопреставлением, все сгорит.

Теперь пришла на Карельский остров новая плененная вода и незаметно стала все вокруг переделывать, как иногда в сновидениях действительность встает, как вырезанная, а все что-то кажется и то и не то...

Пленная вода незаметно обняла весь пруд, выгнала из береговых норок всех мышей и кротов и большую водяную крысу с длинным хвостом.

Старая Мироновна на молитве, искоса поглядывая на преображение жизни на острове, не утерпела и, черная, старая, вышла на солнечный свет из дома и села на лавочку. Весеннее солнце своими живительными лучами угрело старуху, и она, сидя на лавочке, мало-помалу все ниже и ниже стала склонять голову. Может быть, она, склоняясь, уходила в свой век золотых карасей, а может быть, и еще дальше, в золотой век всего человечества. Дальше золотого века уходить она не могла; о тех далеких временах, когда только начинала из колыбели океана выползать на землю жизнь, в староверских книгах ничего не написано.

Прошло много времени, когда старуха, вздрогнув, подняла голову.

Волшебница вода за это время успела вовсе затопить и скрыть совершенно помост, где столько лет женщины стирают белье. Но самое главное было, что из берегов вышли целые полчища мышей и с водяной крысой впереди двигались прямо на старуху, и все они выходом своим как бы говорили о том, что вода была колыбелью жизни, все вышло из воды, и выходит, и будет жить, пока будет вода на земле.

Но старуха, веря, что жизнь огнем кончится, перекрестилась, прошептала «Живые помощи», протянула к зверькам властную руку, приказала:

— Остановись, нечистое племя!

А мыши и не подумали останавливаться.

— Поганые! — крикнула на них Мироновна.

И, плюнув в их сторону, еще раз перекрестила себя, повернулась к ним спиной и пошла к себе в дом ожидать неминуемое светопреставление.

Вода переполнила берега пруда и стала разливаться по всему острову. Серебряные караси вышли из своего тинистого пруда в общую воду огромного Выгозера, ставшего теперь как море с невидимыми глазу берегами. После родной тины, откуда лежа так славно было пускать вверх пузыри, эта общая холодная и чистая вода, наверно, карасям не показалась приятной. Расплываясь в безбрежной холодной воде, может быть, и серебряные караси эти вспоминали себя в родном тинистом пруду золотыми?

Все становилось вокруг как во сне, и волшебница

пленная вода стала наделять всю природу снами и сказками.

Одно дерево на Карельском острове, очень старое, не вверх поднималось, а, как очень старый человек, все низилось и низилось. Все обламывали старое дерево на веники, добрались до макушки, сломили ее. Но сила жизни вместо одной макушки выбросила множество частых прутиков. Ворона обмяла себе в прутиках гнездо и укрывалась в нем от человеческого глаза.

Почти рядом с гнездом дымила труба Марьи Мироновны, но ворона трубы не боялась. Страшила ворону только одна водяная крыса, и то лишь когда молодые глупые вороны учатся ходить по земле и воровать. Теперь, сидя в гнезде на яйцах, ворона давно должна была бы понять, что вода наступает, что пруд вышел из берегов и разливается по всему острову, что вода подходит уже и к старухиному дому. Но какое дело вороне до таких больших перемен! Ее дело греть яйца, вывести новых, таких же, ворон.

Так некоторые люди тоже предоставляют действовать каким-то особенным людям, «большим», и повторяют с противным самоунижением:

«Нам за ними не гнаться, наше дело маленькое!»

Но вороне, конечно, думать так было простительно, и она спокойно сидела, высунув хвост в одну сторону и нос в другую, ближе к трубе.

Между тем вода подошла вплотную к дереву, и по воде приплыла водяная крыса.

Это ворона заметила.

Старые сучки оставались лесенкой, сучок над сучком на стволе. Крыса забралась на первый сучок и свесила хвост. Когда вода еще поднялась, ворона заметила, как она коснулась хвоста крысы и оттого поплыл маленький, расходящийся больше и больше кружок по воде. А крыса, почуяв воду хвостом, перебралась немного повыше.

Ворона забеспокоилась: чем же все это должно кончиться?

Не совсем хорошо стало тоже и полчищам мышей. Единственный дом на острове теперь оставался этот большой двухэтажный, со светелкой на втором этаже. Куда же больше деваться мышам, сухопутным животным? Конечно, все мыши широкой и тесной очередью вошли в незакрытую дверь. А из сеней по лестнице своим способом, не по ступенькам, а по брускам, соединяющим ступеньки, не спеша стали подниматься вверх: наждут воду — и опять тихо-

нечко поднимаются, не очень сильно опережая, но не даваясь воде.

Мыши, конечно, не своей волей занимали человеческое жилище, и, наверное, они оставляли свои милые береговые норки неохотно, как и серебряные караси только с горя выходили на простор большой воды. Мы, люди, так это понимаем по себе в тех случаях, когда что-нибудь не сами от себя начинаем, а только подчиняемся понукающей нас силе идти куда-то, неизвестно куда.

Но что это случилось с человеком там, наверху, в светелке, в черном гробу, сделанном из карбаса, бледным человеком в черной одежде?

Шевелятся непрерывно лиловые губы, пальцы неустанно перебирают шишечки лестовки. Явно — человек этот не рыба, мечтающая о тинистом прудике в золотом веке: человек этот по-своему действует, и даже больше чем просто действует, он хочет остановить время и жизнь.

Из невещественной словесной ткани прошедших времен Марья Мироновна сплела себе тончайшую паутину и все плетет и плетет ее, повторяя тысячи и миллионы раз одну и ту же молитву Иисусову. И было время, когда с этой молитвой на устах праведники сгорали, а верующие историки написали в книгах, что тут же из огня они в светлых одеждах поднимались в лазурные небеса.

В то время, бывало, старец тоже так шепчет губами молитву, а глазами в щелку видит или ушами слышит за стеной, как царские солдаты начинают ломать двери. Тогда он скажет одно только слово: «Огонь!» — и другой верующий поджигает смолье.

Но теперь некому слышать Марью Мироновну, она одна-единственная осталась на острове, подлежащем затоплению, и нет у нее друга, кто пришел бы и поджег ее гроб и, веруя, потом бы передал потомству о том, как она в светлой одежде поднялась в небеса.

И мышей-то этих тоже ведь бы не было, если бы Марья Мироновна вняла разуму и вовремя выбралась с острова. Мыши теперь подбирались к ней, как подбираются к человеку серые сомнения и шепчут ему что-то свое... Вот, может быть, и нашептали что-то. Марья Мироновна приоткрыла один глаз и увидала... весло.

Как весло! Откуда оно взялось? Кто поставил его здесь, и еще так, что только протянуть руку, ударить по воде — и гроб поплывет, как обыкновенная лодка?

И все это оттого, что нет друга, что Марья Мироновна

совершенно одна и что скорей всего в сухом человеке без друга нет правды.

А может быть, даже и не мысль о весле заставила Марью Мироновну открыть один глаз, а сама вода подобралась и легонечно, как люлечку, качнула этот выдуманный гроб. Да и какой же это гроб — это просто колыбелька для новорожденных... И Марья Мироновна, мирская няня, открыла сначала один глаз, а потом и другой.

Кругом по всем краям карбаса сидели мыши.

— Ах вы нечистые! — крикнула на них мирская няня.

И, схватив весло, так ударила им по мышам, что все они посыпались в воду.

Вот в этот миг только и кончилась совсем Выгореция.

Мирская няня, увидев, как посыпались в воду несчастные мыши, чуть-чуть как будто бы даже и улыбнулась, пожалела и в свое оправдание сказала им:

— Кто вас звал сюда?

После того она с силой ударила по воде веслом, и еще, и еще. Карбас разогнался, вышиб окно и выплыл вон из могилы на свет. И весь свет великий, беспредельный принял к себе мирскую няню и открыл ей:

«Свет, дорогая старушка, не кончается, а только-только еще начинается!»

Но это было не как окно открывается или дверь тюрьмы. Марья Мироновна, как и всякий до конца пристыженный человек, ничего не могла думать: ее сердце было сжато, как железными тисками, и не могло еще питать мысль. Она страшно внимательно, не отрываясь, глядела в одну-единственную точку, как будто теперь в этой единственной точке сошлась жизнь всего мира.

Марья Мироновна глядела на точку сближения водяной крысы и вороны.

Ворона, конечно, точила давным-давно свой клюв вороний на крысу, своего смертельного врага. Теперь она была на священном посту охраны своего гнезда и была уверена в том, что может сковырнуть крысу с березы во всякое время. И не спешила оставлять гнезда, и ей казалось, победа будет вернее, если крыса подойдет вплотную.

Но при каком-то передвижении крысы на высший сучок ворона вдруг заметила — дело-то вовсе не в крысе, а в чем-то огромном, ужасном, чего нельзя и понять ни вороне, ни крысе.

— Но как же все-таки она поняла? — спрашивала себя Марья Мироновна.

И с огромным напряжением продолжала следить за борьбой двух вечных и ей хорошо знакомых врагов.

Что-то коснулось вороны, и она вдруг перестала даже и глядеть на крысу. Вялая, задумчивая, она вдруг оставила гнездо с теплыми яйцами и перелетела на трубу утопающего дома.

— Вода колыхнула воронье гнездо,— решила вопрос Марья Мироновна.

И, подумав о себе самой, о том, как вода и ее колыхнула, вся сморщилась, как будто изо всех сил сдерживая в чем-то себя. Но тем же острым, проницательным глазом она все-таки продолжала следить.

Крыса, не обращая никакого внимания ни на ворону, ни на ее теплые яйца, залезла в гнездо.

Прошло еще немного времени, и крыса, оглядевшись вокруг, поплыла в ту сторону, куда ей надлежало плыть, поплыла уверенно и смело.

Эта сторона была в людском безлюдье, где до сих пор еще сохранялись следы Осударевой дороги. Наверно, там и была где-нибудь родина водяных крыс, и, может быть, оттуда они все и вышли.

А ворона по-своему тоже знала — ей тоже надлежит лететь в ту сторону, или уже, может быть, она совсем простилась с гнездом и подумала на крысу: мало ли что еще может быть впереди, а ведь крыса в случае чего ей еще пригодится, с крысой-то она справится.

Вот когда уплыла крыса и улетела ворона, Мироновна перестала себя сдерживать.

Бывают минуты у человека, когда природа является ему как зеркало собственной жизни и он видит себя не таким, как о себе думает, а таким, какой он есть.

Ворона была вороной, крыса водяная как крыса, а себя Мироновна узнала как простую деревенскую няню, не лучше других — вот и все!

Оставалась только одна труба над водой. Мироновна перестала себя сдерживать и, рыдая, упала в свою лодку, и долго лодка без управления кружилась на месте.

Так, не красавицей в светлой одежде из огня поднялась Марья Мироновна в лазурные небеса, а пошла к людям старенькой старушкой нянчить и выхаживать маленьких детей...

Она взялась за весло, огляделась кругом, стараясь определить ту сторону, где теперь собрались люди. Кругом было безбрежье, и от всего Карельского острова над водой

торчала только труба ее дома. Четыре кирпичные стены этой трубы определили четыре стороны света, и по ним поняла Мироновна, где были Надвоицы. Когда Мироновна поставила свой карбас в ту сторону, до ее слуха долетел неясный шум воды.

Это было начало прорыва Надвоицкой плотины, это было то самое, что услыхал и умирающий Сергей Мироныч.

Ночь была северная, светлая, и солнце подглядывало в щелку, пытаясь понять, как люди живут по ночам без него. По тихой необъятной, огромной воде от весла мирской няни расходились две бесконечные волны: от зари в одну сторону — красная и от неба в другую сторону — голубая.

## XXXVII. ПОСЛЕДНИЙ КУСТИК ОСУДАРЕВОЙ ДОРОГИ

Больше двухсот лет зарастала и все-таки не могла совсем зарасти Осударева дорога. Но пришли рабочие зоны затопления с топорами и пилами и порубили высокие деревья: нельзя же было оставить высокий лес под водой. Вслед за каналоармейцами пришла большая вода, и от всей дороги, где когда-то царь Петр тащил свои фрегаты, сначала еще оставались над водой кое-какие вешки исчезнувшей были, и на каждой вешке остались частые, как ягоды, маленькие дети природы, дрожащие от ужаса, серые, черные и рыжие зверьки.

Песок в пустыне несется — слышно, как ветер шумит. Снег падает — и то слышно, как снежинки шелестят, и огонь шипит, поглощая дерево. Только одна вода в природе может обнимать неслышно и поглощать без всякого предупреждения, показывая живому существу вдруг неизбежное...

Тогда остается только плыть. И вот по мере наступления воды зверьки решаются плыть, и они как-то знают все-таки, куда им плыть, и все направляются в одну сторону, как будто там их остров спасения.

Или, может быть, один какой-то смелый решился, начал, и все плывут по стадности один за другим неизвестно куда?

Так долго зарастала эта смелая дорога, рассекшая непроходимые леса и болота, и все-таки, двести лет зарастая, не могла исчезнуть совсем с лица земли. Но, как ни крепись, уходит же у нас рано или поздно старый человек, исчезает совсем, уступая путь молодому. Так и старая

дорога: над водой теперь осталась только стрелка кустов на той самой горке, где так особенно трудно было тащить фрегаты. Теперь эта стрелка была похожа на клюв альбатроса с крючком на конце, и этим крючком был разросшийся ивовый куст. Еще немного подальше от этой оставшейся над водой формы клюва морской птицы торчала над водой половина забытой каналоармейцами елки, и медленно, совсем незаметно для глаза она утопала, сучок за сучком.

Задолго до наступления вечера солнце покраснело, увеличилось, расходясь, расплываясь в горячих весенних парах. Все зверушки вдруг что-то почувствовали и, как сговорившись, стали быстро покидать свои убежища и уплывать куда-то на свой неведомый остров спасения. Теперь по всему их дружному решению плыть можно было понять: они чуяли где-то впереди свой остров спасения.

Мало-помалу ни одного зверька не осталось на всем длинном клюве альбатроса, и тогда в косых лучах за горизонтом, из-под низу выходящих вверх, показалась огненная птица, издали похожая на какую-то Жар-птицу, а вблизи, когда она села на верхушку утопающей елки, это оказалась просто ворона, освещенная красными лучами. Это была та самая ворона, потерявшая свое гнездо на Карельском острове. Можно думать, она уже оправилась от постигшей ее беды и теперь острым живым глазом следила и ждала свою добычу, плывущую с Карельского острова.

По тихой воде оттуда показались два длинных крыла, одно, обращенное к заре, было розовое, другое, против неба,— голубое. Мало-помалу между крыльями определилась черная точка, образующая обе струи на всю воду, и тогда все стало понятно: это маленькое животное трудилось, плыло, разрешая вопрос своего собственного спасения.

Водяная крыса плыла с Карельского острова, и голодная ворона ее нажидала. Ей трудно и невозможно было схватить на воде животное, вооруженное острыми зубами. Ворона ждала, когда утомленная крыса вылезет на последний ивовый куст утонувшей Осударевой дороги.

Так оно и вышло согласно с расчетом хищной вороны: вконец истомленная крыса, не обращая внимания на стерегущую ворону, подплыла к кусту, уселась на первый сук, спустила хвост почти до самой воды, а головку свою обернула к солнцу. Эта водяная крыса не была так противна своим хищным выражением, как крыса домашняя. Или, может быть, это делало солнечное освещение?

Своим красным лучом солнце зажгло бисерные глазки, обвело светящимся нимбом мыслящий лобик. Казалось, на опустелой земле с утонувшей жизнью солнце нашло себе это маленькое животное, и опять и вновь загорелся в нем разум.

Полунощное солнце на севере всегда это говорит: кончилось все человеческое, начались новые миллионы лет роста утраченного разума...

Крыса глядела прямо на солнце, спустив хвост до воды. В тишине вода как бы дышала, и грудь ее мерно поднималась и опускалась. Когда грудь поднималась, то вода касалась кончика спущенного хвоста крысы, получался от соприкосновения небольшой кружок, и тут же, как колечко дыма, расширяясь, уплывал в ту сторону, куда уплыли все зверьки, к своему острову спасения.

Полунощное солнце на севере всегда уносит нашу мысль к началу начал куда-то, и тогда кажется, будто если что происходит, то это не сейчас, а когда-то было, или же что жизнь всегда, во всякое время начинается где-нибудь и мы видим во всем ее начало.

Тут было так, что эта первобытная ворона из тех далеких времен, вся красная в лучах, бросилась на зверька с бисерными глазками над голубой водой, рассчитав свой смертельный удар в голову. Но ворона промахнулась, а крыса успела впиться острыми зубами в шею вороны. Со всей силой крыльев своих, с хриплым криком поднялась ворона вместе с крысой в воздух, и тут же обе рухнули, поднимая в воде борьбу волн и распуская далеко по тихой воде по череду катящиеся голубые и красные волны.

Вся растрепанная, вся искровавленная, ворона все-таки вырвалась и, совсем мокрая, уселась на елку, на прежний сучок. Крыса вылезла на свой куст и села, свесив хвост, и по-прежнему загорелись в ней бисерные глаза и определился мыслящий лобик.

Все знают, но никто не поймет, как могут чуять вороны пролитую кровь, и мгновенно они являются на место беды с другой вороной, и никто не знает, зачем это нужно им всем являться туда, долго кружиться и по-своему что-то друг другу кричать. Все бывает похоже на суд, но не наш нынешний, а какой он был еще, может быть, на земле до начала человека: это суд над раненым за то, что он пролил свою кровь, уступил врагу свою жизнь...

В этот раз вороны прилетели и без крика расселись вокруг раненой. Вероятно, судьям спорить было не о чем:

ворона вся в крови, она явная преступница, и остается только выбрать способ наказания.

Все кровавые в лучах тусклого солнца, вороны сидели молча на сучках и думали. И опять они все как-то по-своему разом поняли созревшее в себе решение, и все разом закричали, и все тоже захлопали крыльями. Нечеловеческий суд решил поставить ворону на крыло, и если она полетит — лететь за ней и кричать всем одно: «Смерть!» — до тех пор, пока она не упадет, и тогда ее заклевать. Может быть, пролетев какое-то пространство, доказав, что она способна жить, она могла бы еще и спастись?

Все вороны разом стали на крыло с криком, похожим на частое повторение нашего слова «смерть», и стали кружиться над раненой. Когда же она, мокрая, тусклая, отказалась подниматься и все оставалась на своем сучке, одна из ворон кинулась на нее сверху и клюнула. Вслед за этой другая, третья, и наконец раненая ворона стала на крыло, пошатнулась было, но справилась и вяло полетела. А за ней полетела вся туча ворон, повторяя без перерыву нечеловеческое заключение своего страшного вороньего суда.

Крыса тяжело дышала после борьбы, но видела и понимала — последний куст из всех, составлявших клюв альбатроса, мало-помалу погружался в воду: и каждый раз, когда вода касалась ее хвоста, перебиралась повыше, а кружок, возбуждая в воде перемену красного и голубого, уплывал в сторону острова спасения всех.

Солнце было теперь, как бывает у нас, когда задумчивый человек умчится мыслью далеко и вдруг отчего-то вернется, и ему кажется, будто он успел застать жизнь без себя. Тогда первое, что попадается ему на глаза, будь это животное, или дерево, или человек,— все загорается его собственным смыслом и живет его разумом...

Так было и с солнцем, когда оно заглянуло и застало лучом своим красным эту бедную крысу.

Тогда с этой крысы началась на земле разумная жизнь. И так всегда кажется нам на севере в лучах полунощного солнца: на что ни посмотришь, везде и во всем жизнь только что начинается...

Крыса, приняв в себя огонь солнца, как будто что-то поняла, поднялась повыше к самым живым прутикам с нежной корой, быстро, как садовым ножом, наискось срезала один, другой, третий и сама бросилась в воду. Подобрав под себя запас продовольствия, крыса вместе

с ним поплыла, куда все звери плыли, на их какой-то остров спасенья.

Разум водяной крысы, захватившей себе в путешествие на остров спасения три веточки ивы, в сравнении с нашим разумом был не больше последнего прутика от всей Осударевой дороги от Белого моря и до Балтийского.

Скоро и последний кустик исчез, и осталась только вода. Но, проводив Осудареву дорогу, мы отдохнем и порадуемся: это была не та вода, первая, откуда вышла на сушу жизнь: вода-колыбель. Эта вода была новая... наша вода, направленная рукой человека.

## XXXVIII. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ

Кижозеро — это где раньше рыбаки семь лет рыбу ловили, а другие семь лет на том же месте траву косили. Вода исчезала через каждые семь лет вместе с рыбой, и в народе так говорили, что это водяные хозяева через каждые семь лет рыбу свою друг другу в карты проигрывали. Рассказывали даже — кто-то своими глазами видел, как летней светлой ночью водяной Выгозерский с водяным Кижозерским на камне в карты играли. Говорили даже про одного богатого рыбака, будто ему в сеть однажды попался сам водяной. И оказалось, ничего страшного в этих водяных вовсе и нет: такой он попался в сеть маленький, чернявенький, вялый сделался на берегу и, видно, был совсем даже и без костей.

Что с ним, таким, делать? Ни зверь, ни рыба, ни человек... Рыбак поглядел на него, покачал головой, показал ему на костер, спросил: «Тебя в огонь?» — «Ме-ме!» — промычал тот в ответ. И рыбак понял это как «не-не!» и что в огонь ему не хочется. «Может быть, в воду тебя?» — спросил рыбак. Водяной кивнул головой и обрадовался. А рыбак, конечно, смекнул и дураком перед водяным хозяином не остался.

Так выпало рыбаку счастье — он поймал водяного; и так он ловко сумел с ним сговориться! Водяной выслал ему рыбу в Кижозеро, где перед этим только что траву косили: пошла рыба вместе с водой, и рыбак наш был тут как тут.

Много подобных сказок передавали в прежнее время друг другу рыбаки зимними долгими вечерами, и все эти сказки намекали на временные подземные течения, очень

нередкие в этом краю. Сколько же сказок должно было зародиться теперь, когда при наполнении и переполнении озер новой водою появились течения новые и в них, наверно, даже и сам водяной бы не мог разобраться.

Но зверки все-таки по-своему что-то поняли и уплывали на свой остров спасения, пользуясь ощутимым движением воды из Выгозера от Осударевой дороги к тому месту, где раньше было Кижозеро.

Вода заливала старые острова и тут же создавала новые и, обойдя сушу кругом, затопляла и вновь созданный остров.

Так незаметно для глаза и так неслышно наступала вода, что лесные букашки только-только успевали перебираться на травинки, на былинки, на соломинки, прятаться в трещинке старой коры омываемых деревьев.

Но только устроились паучки, букашки, всякие блошки на новом месте, как новая прибылая вода смывает их, рассаживает подальше до тех пор, пока от всего острова не останется небольшой пятачок с самым густым населением от красного, в булавочную головку, паучка до какого-нибудь лесного великана, медведя или рогатого лося.

«Спасайся, кто может!» — диктует вода.

И тогда уже некогда на соседа глядеть, каждый паучишко должен сам за себя постоять и показать, каков он есть и на что он годится сам по себе.

Тут не спрашивали каждого, как у нас на строительстве, кто его родители, где учился и чему, и что он умеет, и на какую работу хотел бы он сам определиться. Тут не помогали, не намечали, как у людей, каждому найти разумно место между его личным желанием и тем, что ему надо сделать для общества. Тут не было никакой возможности пауку войти с другим паучком в соревнование, как у людей входят в борьбу за свое первенство в создании лучшего для всех. Тут была борьба не за первенство в общей работе, как в человеческом мире, а за существование: только бы спастись самому.

В такую борьбу был выброшен из человеческого общества бедный Зуек наравне со всей живой тварью.

Вода обошла его со всеми зверями на берегу бывшего Кижозера и сделала этот берег островом спасения, куда и уплывали зверьки, оставляя последние кустики Осударевой дороги. Прежде этот остров был торфяным берегом, и весь он зарос черной ольхой. Это была та обманчивая земля, куда рыбак выходил с большой осторожностью.

Берег манил к себе частыми ярко-желтыми цветами между черными стволами деревьев. Казалось, вот бы самое подходящее место уху или кашу варить. Человек выходил на берег, разводил костер, подвешивал на рогульках котел с водой и уходил за сухими дровами. Огонь пылал, вода кипела, но человек не возвращался: на этом жидком берегу местами бывали провалы, и кто падал туда, больше уже не возвращался к своему костру.

Вот этот самый берег обошла вода и сделала его островом спасенья, и сюда плыли плотной массой все потревоженные водою мельчайшие существа, а иногда и крупные. Даже птицы летели сюда, к берегам Кижозера, на места своих привычных гнездований, утки и гуси кружились над водой и, не находя прежней земли, улетали. Только два белых лебедя, верных своей родине, остались вблизи острова: скорее всего они тут и выводились, но не смели из-за множества хищных зверей выйти на берег, и плавали они тут, наверно, с той же самой общей утешительной мечтой, что как-нибудь все уладится, разберется, звери уйдут и очистят места для лебединых гнезд.

На том крутом обрезе торфяного берега, где устроился Зуек, под большой кокорой случайно была широкая песчаная прослойка, настолько отлого уходившая в воду, что трясогузка могла бегать по мокрому песку у самого края воды. Эта самая живая птичка, светло-серая, с черным бантиком на груди, с длинным кокетливым хвостиком, ловила и проглатывала мгновенно букашек, выходящих на берег из воды. Бегала она взад и вперед и оставляла на мокром песке издали заметную строчку своих крохотных лапок: лапка за лапкой следовали на песке точно так же, как на бумаге в строчку идут буква за буквой. И если бы вода убывала, то строчка на песке поднималась бы вверх и трясогузка, возвращаясь, вела бы под нею вторую нижнюю строчку. И так бы, строчка за строчкой, поднималась вверх та рукопись птички, какую мы читаем постоянно на песчаных берегах северных рек, когда весенняя вода начинает спадать.

Сейчас на берегу Кижозера, ставшего островом, строчки трясогузки не оставались на песке: когда птичка возвращалась, оставленная ею строчка уходила под воду, и это значило — вода понемногу прибывала.

Зуек, не раз видевший, как трясогузки пишут свои страницы на песчаных берегах рек, сразу понял по этим

утопающим строчкам: вода прибывает и остров спасения подлежит затоплению.

Как изменился Зуек! Эти милые розовые щечки с пушком и ямочка на улыбке, и пружинистые ножки, чтобы на них подпрыгнуть и броситься кому-то на шею,— куда это все девалось?

Там, конечно, все осталось, где жили свои такие чудесные люди, с кем можно говорить, и песни петь, и плясать. Какими они прекрасными стали, когда Зуек их потерял! И как бы хорошо можно было с ними жить, если бы вернуться туда!

Но вода прибывает и долго будет прибывать, и много еще будет залито таких временных островов.

Мы все теряем рано или поздно свой пушок на щеках и пружинки на ногах. Но у нас все это постепенно приходит, и чем постепеннее, тем счастливее жизнь,— так ли? Но Зуйку это пришло внезапно, так мало дней прошло, а его уже почти не узнать. Давно ли он мечтал о том, чтобы походить на Сутулова или на дедушку. И вот он теперь сам стал, как Сутулов, принужденный рассчитывать верно каждое свое движение, чтобы не терять свою силу даром. Щечки его опали, носик обрезался, мысль неустанно сверлит все, на что ее ни кинет глаз, и светится в нем остро.

Весь иззябший, проснулся он под кокорой и сразу же заметил по птичке, как по часам, приближение страшного часа для себя вместе со всем множеством населяющих остров зверей.

Может быть, многим из нас приходилось встречать свой решающий день, или час, или минуту, когда свои руки опускались перед неизбежностью и только руки друга перекидывали для тебя паутинку спасенья? Вот хотя бы только паутинку Зуйку! Но среди зверей Зуек был совершенно один.

И вот, когда дошло до того, что среди зверей как будто не оставалось и человеческой паутинки, Зуек вдруг получил великое наследство. Это не было тем, что обещал Куприяныч: наследство, чтобы, ничего не делая, царствовать. Не в природе, даром, нашлось это наследство, а те же люди пришли на помощь, с кем он жил, кого он любил: это отец научил его ночевать в лесу, и Зуек стал делать точно, как если бы с ним был его отец.

Дрожащими, застывшими руками он стал обдирать бересту, ломать сухие сучки на ольхе и на елке, рубить лапник и сухостой. Потом он вынул, как и отец вынимал,

заботливо завернутые в кожаном мешочке кремень, огниво и трут.

Маленький человечек, подражая отцу, высек огонь, не думая о том, что очень давно огонь был взят с неба одним из богов, чтоб передать его людям, и сделавший это преступление бог был прикован другими богами к горе Кавказа, и коршун клевал ему грудь. Зуек ни о чем таком не думал, высекая огонь, и через этот огонь он вошел в общество людей, имеющих власть над огнем. Раздувая трут, он зажег берестинки и, подкладывая сушь, делал костер, неустанно подчиняясь приказам начальника жизни, человека, имеющего власть над природой.

В себе самом Зуек узнавал эту силу и мало-помалу начинал получать черты, общие всем людям, взявшим на себя дело спасения себя и своих близких. Лицо его, сосредоточенное, с опавшими щеками, глаза, всегда занятые, внимательные, походка, рассчитанные движения — все было в нем, как у человека в строю и, может быть, даже у человека, ведущего за собою в атаку людей.

Как в самой первой наивной любви каждому кажется, будто он это не для себя радуется, а что он со всем миром людей делает что-то прекрасное и единое и что как только он услышит от своей возлюбленной согласный ответ, то и весь мир в этом с ними согласится.

Та́к точно и в решительные минуты борьбы на смерть кажется: не за себя, а за весь мир, за всю правду стоишь, и все тогда, на что ни бросишь внимательный взгляд, все является в согласии личного желания и долга, и своя жизнь — не только своя, а это вся жизнь, единая от земли и до неба.

Все три медведя на том конце острова, большая медведица, пестун и медвежонок, подошли было к двум корявым березкам у края воды. Может быть, им захотелось есть, и медведица решила попробовать счастья у воды: нет ли рыбы вблизи. Она не ошиблась: рыба, конечно, плыла всюду большими стаями, определяясь в новых берегах. И медведица, увидев рыбу, только-только двинула лапой, чтобы прихлопнуть ее, как вдруг весь остров покачнулся, что-то глухо рухнуло, что-то оборвалось где-то под островом, земля дрогнула.

Край с березками понизился, вода хлынула, медведи бросились бежать от воды. И в ту же минуту край с березками опять поднялся, и вбежавшая вода не могла больше вернуться назад. В маленькой низинке собралась неподале-

ку эта вода, и озерко вышло такое мелкое, что сиги, выброшенные водою, были только-только прикрыты.

Все зайцы сидели, не шевелясь, на своих местах, застывшие от ужаса, как фарфоровые, и рядом сидели лисицы, не обращая на них никакого внимания, и волк дрожал рядом с лосем, и куница хищная не обращала внимания на белку, сидящую с ней на одном сучке. Все звери забыли свою хищность, больше того — они забыли даже голод: извечные враги рядом сидели.

Нет! конечно, от страха они не полюбили друг друга, им просто от ужаса есть не хотелось.

Но недаром медведи так скоро привыкают к человеку, и недаром у медведицы так смешон и знаком был ее широкий зад, когда она во весь дух мчалась от воды. В маленьких глазах было что-то похожее, как бывает у людей, способных при всякой беде не упускать своего. Этими маленькими глазами медведица сквозь тонкий слой воды увидала в луже сигов и, забыв уже о катастрофе, вернулась к тому, с чего начала: стала с пригорка спускаться к сигам. Возможно, что заботливое материнство руководило медведицей и оттого-то и явилась у нее смелость; молодые медведи, разделяя страх со всеми зверями, остались на горушке.

Медведица не долго гляделась в зеркало чистого прудика. Хорошенько устроившись, она лапой накрыла большого сига и швырнула его стоящим наверху пестуну и медвежонку. Но те, переживая про себя катастрофу, еще не совсем оправились, не успели поймать, и сиг покатился обратно к медведице и потом шлепнулся в воду. И когда второго сига молодые медведи опять упустили, медведица не дала ему скатиться в воду, а откусила ему голову и на него села. Следующего сига она и не пыталась швырять, а тоже откусила голову и подсунула под себя. И так одного за другим давила и подминала.

Нет, конечно, на острове Зуек был не один. Его родной отец, выводивший его с малолетства с собой полесовать, пришел ему на помощь. Зуек вспомнил, как отец много раз говорил, чтобы он не боялся медведя, что медведь покорен человеку и сам человека боится. Вспомнил Зуек, как было однажды: небольшой медвежонок обнял высокое сухое дерево и слушал, как оно от ветра гудит. Медведю это нравилось, он ударял по звонкому дереву лапой — и оно гудело. И так еще и еще, дальше и дальше. Полесники, старый и малый, стояли, дивились на мирное занятие любопытного медвежонка. Но вдруг вышла старая медведи-

ца-мать и стала угрожающе на задние лапы. Отец ударил по дереву топором и, указав на дерево, сказал медведице:

— Уходи сейчас, а то и тебе будет, как дереву!

У медведицы от злости пена пошла из рта, и она эту пену швырнула лапой своей в отца.

Тогда и отец рассердился, изо всей силы хлопнул топором по дереву и грозным голосом закричал:

— Прочь от меня, супостат, немытое рыло!

Так тут и оказалось, это правда, что медведь покорен человеку. Грозного окрика медведица не выдержала, рухнула на один бок и убежала в кусты вместе со своим медвежонком.

Не будь этого случая, как бы осмелился Зуек сейчас пойти на медведицу, чтобы отбить у нее рыбу на свое пропитание. Нет, Зуек был не один на своем острове, и люди из прошлого уже стали собираться, чтобы ему помогать. И это, наверно, будет правдой, если мы опять скажем, что ни один человек в одиночку никогда не спасался...

Вспомнив отца, Зуек вложил в ружье пулю, спустился к медведице на самое близкое расстояние и закричал во весь дух на нее:

— Уходи прочь, супостат, немытое рыло!

Услыхав сзади себя голос человека, медведица не побоялась даже воды и по прудику, по сигам бросилась бежать, и за ней обходом побежали пестун и медвежонок.

Зуек набрал себе сигов, сколько мог донести, и возвратился к костру. Тут, подвесив сигов на копчение, точно как делал отец, он немного повеселел.

Нет, нет, Зуек, конечно, был не один.

Утолив свой голод, Зуек еще больше повеселел, и внимательный глаз его еще смелее стал открывать чудеса.

Первое, что он увидел, — лебеди. Были эти лебеди белые, а теперь стали черные. Зуек подивился и задумался о том, как это могло быть. Но вот один из них окунулся в воду и побелел. И все стало понятно: масса насекомых, стронутых водой с островов, плыла по воде, по течению, как и все звери, к острову спасенья, и, не доплыв немного до основной земли, приняла за остров тела лебедей и стала на них подниматься. Когда Зуек это разгадал, он и еще увидел, что лебеди не только почернели, но стали еще много толще.

Но самое главное, что увидел Зуек, это что, пока он ходил к медведице, пока он коптил сигов, пока он насытился и повеселел, строчки на песке, сделанные лапками

утренней трясогузки, стали одна за другой выходить наверх из-под воды, и это значило, что вода начала убывать.

Он, конечно, обрадовался, и как было ему не обрадоваться: это значило, вода уйдет и он вместе со всеми зверями спасется.

Но эта радость была обманом, и обман питался его одиночеством. Да, конечно, как человек, он не мог быть одинок, но как маленький человек, как Зуек, он натворил бед и был теперь один-одинешенек.

Вода убывала оттого, что прорвала плотину и падун зашумел. Это было страшным несчастьем, все хорошие люди дружно бросились спасать общее дело и бороться с водой, и только один Зуек, сам не зная того, радовался личной свободе.

И с ним, конечно, в эту минуту был Куприяныч, обернувшийся в Гугая и суливший ему царство бесчеловечное.

## XXXIX. О ЧЕМ ЖУЖЖАЛА ПЧЕЛА

Что может быть лживей и коварней воды, и в то же время говорят постоянно — вода есть краса природы и что даже есть *святая* вода.

Так в природе вода, а любовь у людей? Говорят о святой любви, а сами постоянно дерутся. Как в этой путанице разобраться простому человеку, стремящемуся к хорошей жизни, человеку, каких огромное большинство на земле? Труженик такой, подумав о противоречиях, невозможных для честного ума, отгоняет весь этот вздор от себя, как пчелу. Но приходит ночь, пчела возвращается, тревожит совесть, порождает сны и уводит в какой-то волшебный край, где все вещи стоят на своих местах и вместе представляют единство.

Где тот волшебный край? И опять труженик отгоняет пчелу и, вздохнув, вручает желанную мысль топору, машине, напильнику, рубанку, перу или кисти.

Тогда, бывает, происходит то самое чудо, известное по себе каждому хорошему мастеру: на свет появляется новая, совершенная вещь, и, может быть, даже такая, каких еще на всей земле никогда и не было. Приходят люди другие и в совершенной вещи узнают свою затаенную мысль, ту самую, о чем ночью во сне каждому из них и так долго жужжала пчела. И сам мастер, сделавший вещь, понимает — не один он работал, были у него тайные помощники,

и вот они теперь пришли и узнают в сделанной вещи свою мысль: он только сделал, вручая себя целиком своему инструменту, а думали все!

Простой человек не ошибся: в своей суровой борьбе за совершенство люди соединены, как вода. И им остается только это понять и выступить с открытыми глазами против слепой стихии воды, где только случай решает, а не закон.

Так зачем же нам каждому в одиночку оставаться с мечтой о совершенстве и, вручая ее материалу и своему инструменту, дожидаться счастливого случая? Почему бы не попробовать удержать труд человеческий, как воду, плотиной, чтобы вода и вправду стала святой и человек к человеку обернулся с любовью?

И все-таки до чего же может отбиться, заблудиться в одиночестве своем человеческое дитя, что вот птичка ему лапкой указывает так ясно: строчка лапок ее на мокром песке вышла из-под воды, и, значит, это вода, капля по капле, с одного конца огромного водоема на другой передала весть о своем наступлении,— и все-таки нет! — дитя человеческое и не понимает беду. Человечек по себе самом думает, он даже радуется: вода убывает, и остров соединится с суземом, и тогда он, человечек, будет спасен.

---

Но мы простим заблуждение бедному мальчику, соблазненному мечтой помимо труда найти край, где все — цари. Было довольно и таких на строительстве, кто в упор глядел на творческий труд и все-таки продолжал думать только о себе самом и о своем личном спасении. Рудольф был один из таких, но даже и он со всей своей командой был не страшен общему делу. Какая могла быть сила в такой мечте, что вода прорвет плотину, и люди вернутся в прежнюю жизнь, и пахан опять своим золотым пером очень искусно будет выписывать бумажные деньги? Бессильна та мечта о прошлом: того прошлого уже нет.

И потом, как бы ни были плохи люди, осужденные за свои преступления, все-таки и среди них в труде повседневном вставал и множился простой хороший человек, каких огромное большинство на земле. Этот труженик занял уже и здесь, на канале, свое первое место, и созданный им участок работы на канале стал его новой родиной.

Даже и такие были, кто эту новую родину предпочел бы своей старой.

## XL. АВРАЛ

...Когда Евстолия Васильевна увидела в окошке Уланову, уснувшую на диване за переобуванием, с одной ногой в шелковом чулке, а другой в конском сапоге, она по сочувствию опустила руку, поднятую, чтобы постучать в окно. В следующее мгновение старуха опомнилась и постучала.

Уланова бросилась к окну.

— Вода! — сказала Евстолия Васильевна.

И Уланова сама услыхала: падун зашумел.

Но в это время на строительстве все уже переменилось.

— Аврал! — гремело по радио страшное слово.

Все быстро вставали.

И еще через несколько десятков минут Сутулов уже мчался сюда на машине с водораздела.

Нужно было много мешков, много песку. Кто-то указал на староверское кладбище, и пошли грузовик за грузовиком большой колонной туда за песком. Люди построились в боевые фаланги и шли, фаланги за фалангами, на место прорыва. Вот теперь бы уж не пришло Зуйку в голову в поисках источника власти бегать от одного телеграфного столба к другому. Каждый, создавший свой участок работы, шел теперь хозяином и начальником, в свою очередь подчиненным начальнику, имеющему власть над природой, и его личное желание было неотделимо от его долга общему делу.

Как только Уланова услыхала шум падуна, вся эта мечта ее о новом, хорошем Степане исчезла. Не до того! Что это? Было ли в Улановой чувство долга своего обществу так высоко, что личная жизнь при первых сигналах с той стороны исчезла? Или, может быть, эта личная жизнь давно уже была проплакана и являлась только в пустые минуты?

Забыв даже свой шелковый чулок со стрелкой, цвета загара, она сунула его в сапог. Не вспомнила даже и о письме Степана, оставленном возле зеркала, забыла убрать и бутыль одеколона, открытую, с пробочкой возле нее.

С простой железной лопатой в руке вместе со всеми служащими управления пошла на прорыв Уланова.

Когда все фаланги прошли и когда все грузовики с песком укатили, на место прорыва в легковой машине примчался Сутулов. Перед воротами управления машина остановилась, из нее вместе с Сутуловым вышел кто-то высокий.

— Пропустите к Улановой! — приказал Сутулов часовому.

— Идите, Степан, к ней,— сказал он высокому человеку с бледным лицом.— Если же не застанете, садитесь на первый же грузовик — и на трассу: скорее всего она уже там.

— Мне, может быть, сейчас, не заходя, ехать на трассу? — спросил Степан.

— Это как вы хотите,— холодно ответил Сутулов,— хотите, садитесь.

— Нет, я бы, пожалуй...

— А ну тебя!..— резко оборвал Сутулов, хлопнул дверцами и укатил.

До того ли было теперь Сутулову!

Часовой пропустил Степана, указал ему барак Улановой и то самое окно, куда стучалась Евстолия Васильевна. Степан тоже в это окно постучал, потом заглянул, потом обошел барак с другой стороны, в дверь постучал, потом ее приоткрыл: дверь была не заперта...

Он вошел в эту комнату, где все было брошено в том самом виде, как оно было при стуке в окно Евстолии Васильевны. И так бы оно осталось на века до раскопок, если бы при слове: «Аврал!» — было все засыпано пеплом. Нашли бы под пеплом один шелковый чулок на диване, и ученый строил бы свои предположения о втором чулке, и прочитал бы письмо, брошенное на столике, от какого-то Степана, и осмотрел бы бутыль с надписью: «Тройной одеколон».

Что же лучше? Пепел засыплет нашу личную жизнь или свой же человек придет и по-своему все сам уничтожит?

Степан был пепельный человек, но в глазах его было так, будто он у всего мира за себя просил прощенья и вперед за себя извинялся с рабской улыбкой. Так паук по углам паутину развешивает, а человек жалостью к себе опустошает чье-то нежное сердце. С такой улыбкой, вызывающей сострадание, он прочитал свое письмо и все понял лучше ученого,— и почему новые туфли, и один шелковый чулочек, и этот открытый одеколон: его, его самого, пепельного человека, Степана, женщина ждала его,— и чем он ее заслужил?

Пока он читал письмо, в пальцах он держал хрустальную пробочку и, когда все прочел, понюхал пробочку и заткнул ею бутыль с тройным одеколоном. Вспомнив что-

то, он встряхнулся и решительно направился к двери, чтобы уйти, конечно, туда, где были теперь все.

Он взялся было уж и за ручку двери, еще бы сделать шаг... но вдруг он остановился, задумался, и на лице его заиграла опять та же улыбочка с просьбой прощенья у всех за себя.

Он вернулся, вынул пробочку, немного отпил, еще немного и еще... Вдруг вырвался, бросился к двери и вышел, но опять вернулся к зеркалу, взял в руки бутыль, сел на диван, выпил всю до последней капли и поставил бутыль на пол, локти на колени, голову опустил на руки...

Так что же лучше? Если пепел вулкана засыплет нашу личную жизнь или же свой человек придет? Конечно, лучше под пеплом в Помпее: там хоть что-нибудь от человека остается, тут же исчезнет все без следа.

---

Была светлая ночь, когда солнце на севере за нами подглядывает. Если бы только могло оно удивляться, как мы, оно бы растрогалось, увидев, как один маленький цветочек раскрыл пять голубых лепестков: эти лепестки у него были небом, а посередине все эти лепестки были связаны маленьким золотым солнцем.

Так начиналась жизнь, порожденная солнцем, но все-таки жизнь сама по себе; не раскаленно-бездушное и такое далекое, а свое, живое солнышко на своем собственном голубом, на живом своем небе.

Солнце великое не могло увидеть такой красоты: человек увидел ее, удивился и назвал цветок с пятью голубыми лепестками и желтеньким солнышком внутри незабудкой.

Людям теперь было не до цветов, но все равно и земля еще лежала холодной, и все-таки на ней росли, прятались в росистой траве и ждали своего часа незабудки. И у человека они в душе тоже были и тоже ждали своего часа.

Фаланга за фалангой в боевом порядке и только не с ружьями, а с железными лопатами, веревками, мешками, корзинами и всем таким вооружением, пригодным для борьбы с водой, двигались каналоармейцы на место прорыва. Каждый в фаланге смутно сознавал, что в этой борьбе с водой там, на прорыве, есть такое место, где, наверно, придется пожертвовать не мешком с песком, а самим собой,

и что, может быть, себе самому именно и придется быть этим живым мешком.

Было немного таких, кто вперед бы хотел и тайно горел такой мыслью о страшном месте, куда бы ему стать, но были и такие. Другие, напротив, подумывали о том, как бы им не попасть на такое место и как бы это вышло, чтобы другой стал за него. Третьи ничего не думали и строго молчали, а если бы кто-нибудь к ним обратился с таким праздным вопросом, сказали бы хмуро сквозь зубы, как сказал об этом покойный Вася Веселкин: «Это не важно!»

Среди этих разных людей был еще и Рудольф, один из немногих, кому бы очень хотелось поиграть на том страшном месте с опасностью, но только если бы на него все глядели, все удивлялись его отчаянной храбрости и говорили: «Вот какой наш Рудольф!»

Сутулова, как все думали, не было, все знали, что он был отозван на водораздел.

И Рудольф решил показать себя. Он со своей отчаянной командой занял то самое страшное место, где плотина вытянулась огромной серой губой и лила воду, расширяя все больше и больше прорыв.

Рудольф стал на это место, и все понимали, что он со своей фалангой начнет: надо броситься туда вниз под струю, принимать первые мешки с песком и укладывать их. Но не так-то был прост Рудольф. Скрестив руки на груди, он стоял, как великолепный иностранный турист под наведенными на него лучами прожекторов кинооператоров.

Кто знает, как бы все вышло, скорее всего пахан поломался бы немного и бросил бы свою фалангу в воду. Но вдруг на другом конце плотины, с другой стороны прорыва, появился Сутулов...

Начальник шел с виду спокойно, рассчитывая каждый свой шаг, но время уплотнялось, как пар под давлением, оно выходило из своего обычного потока и осаждалось в душе человека и там исчезало. Сколько протекло времени, человек тут и не помнит: время уходит в него и превращается в жизнь.

Сколько времени прошло, пока расстояние между Рудольфом и Сутуловым стало близким, и их разделял друг от друга только прорыв: большая серая губа, по которой неслись, устремляясь стрельчатыми струями, воды.

Не будь начальника, пахан бы, наверно, теперь со своей фалангой был бы в воде, и ему бы все бросали мешки с

песком, и он их принимал бы, как знаменитый актер принимает от публики цветы под гром аплодисментов...

Но теперь идет навстречу не режиссер на театре, а ненавистный легавый с наганом на боку.

Так пусть же хоть застрелит — отдавать свою жизнь по приказу легавых он не согласен.

Скрестив руки на груди, пахан стоит с тонкой улыбкой на тонких губах. Сутулов, конечно, все понимал, и сотни раз удавалось ему Рудольфа обманывать, и все выходило как будто не по приказу начальника, а по милости предводителя бывших воров. Но как это сделать теперь, если время исчезло, нельзя ни слова сказать, ни сделать лица, а только бы успеть подойти скорей и приказать.

По одну сторону прорыва, скрестив руки, в женском малиновом берете — фигурант с голубыми глазами и маленькими черными усиками над загнутыми в мефистофельскую улыбку тонкими, змеистыми губами. По другую стоял начальник, и каждый знал, что начальник сейчас за правду стоит и ни одной минуты не поколеблется.

Сотни людей стояли и ждали, немало было из них, кто без всякой игры сейчас бы бросился, но Рудольф это взял на себя, его фаланга заняла все место прорыва.

Шум воды заглушал слова.

Сутулов махнул рукой:

— В воду!

Рудольф, скрестив руки, кривил губы.

«Попроси!» — говорило его лицо.

Сутулов махнул в другую сторону, чтобы место очистить другим.

Рудольф улыбнулся:

«Ты меня попроси!»

Сутулов вынул наган и стал медленно его поднимать. Он не колебался, но, медленно поднимая оружие, хотел дать время одуматься предводителю урок.

Но Рудольф тоже не сдавал и продолжал нагло улыбаться прямо в глаза начальнику.

И только, только бы...

Вдруг Уланова вырвалась откуда-то из гущи каналоармейцев, подбежала стрелой к самому краю плотины, крикнула:

— За мной, товарищи!

И бросилась в воду.

— Все за мной! — ответил, как эхо, в ту же короткую минуту Рудольф и бросился в воду за Улановой.

И вся фаланга, как один человек, бросилась в прорыв за своим паханом.

И полетели мешки с песком, корзины со щебнем, и все пошло, как на пожарах: тут же сами нарождались и брали власть над людьми какие-то начальники, и маленькие незаметные люди становились героями.

Сколько времени прошло? Вот в этом и была душа всего, что время остановилось, как в древней битве Израиля...

Солнце остановилось и поглядывало на всю эту битву человека с водой.

Времени не было, и Сутулов не мог бы сказать, сколько прошло с тех пор, как Уланова бросилась в воду, он видел тогда, что женщина не могла справиться со струей, что ее ударило о камень, что ее схватила чья-то рука, и потом снова все закрылось водой. А после люди массой своей заслонили всю эту сторону, и вниманье теперь нужно было Сутулову во что бы то ни стало направить в тыл этой атаки и тут людей расставлять, гонять машины за материалами. А дальше, потом, когда он стал повыше и ему все можно было видеть, того, что ему было так близко и дорого, все-таки он не видал и не знал, жива ли Маша, или ее в падун унесло.

Сколько же все-таки прошло времени?

Не было времени — время остановилось. Так мы и понимали когда-то, читая древнюю книгу о приказе Иисуса Навина: «Солнце, остановись!» В таких битвах время всегда останавливается, и, может быть, оттого-то и бывает таким блаженством вспомнить эту борьбу: это была победа над самим временем.

Сутулов заметил на работе — какой-то крупный предмет двигался по Выгозеру сюда, к месту прорыва, двигался очень медленно. Кидаясь туда и сюда, Сутулов возвращался к этому предмету, и он все близился, и, наконец, стало понятным: это плывет сюда гроб из размытого кладбища. Потом он видел, как гроб остановился и закружился на месте, и, когда он тихонечко обратно поплыл, Сутулов понял: человек победил воду, и она вновь, плененная, обратно пошла и понесла этот гроб...

Вот тут только впервые после того Сутулов разрешил себе вернуться к мысли о Маше Улановой и оглянулся туда. Она сидела у костра, живая Маша, и, повертываясь время от времени, сушила свою мокрую одежду... И впервые Сутулов не ощутил в себе острой боли от мысли, что

Маша никогда не станет ему родной и близкой и уйдет от него очень скоро куда-то далеко со своим Степаном: пусть уйдет — как радостно было сейчас увидеть ее живой!

И Сутулову очень захотелось ее обрадовать чудесной вестью о том, что ее желанный Степан уже здесь.

## XLI. ПОХИТИТЕЛЬ ОГНЯ

Когда последний куст Осударевой дороги должен был исчезнуть под водой, красный свет полунощного солнца засверкал в умных бисеринках животного с длинным хвостом. Нам приходилось не раз это видеть своими глазами, и каждый раз нам казалось, будто благотворная сила луча заходящего солнца вошла в глаза животного и вышла из него светом разума: водяная крыса, понимая, что в далеком пути она ослабеет, срезала себе в запас несколько прутиков ивы. Теперь одинокому животному, озаренному солнечной мыслью, оставалось только, прижав к себе продовольствие, плыть и открывать новый мир. Но как раз в это время что-то случилось с направлением движения воды, и, почуяв эту перемену, крыса завернула назад по новому течению, и увидела она там, назади, что ивовый кустик опять выходит из воды. Тогда умная крыса выпустила свои срезанные прутики и вернулась на старое место.

Мало-помалу, кустик за кустиком,— и опять стала показываться Осударева дорога, и опять обозначился исчезнувший под водой клюв альбатроса.

Бывают и такие события, когда кажется, будто все возвращается к старому, но только раз стронется — к старому по-настоящему никогда не вернется. И напрасно, может быть, теперь серебряные караси повернули к старому пруду: не были они в нем никогда карасями золотыми, и им это только так кажется, это их слабость, неохота к борьбе нашептывает, будто в старом пруду были они золотыми.

Но недолго согревала душу зверков мечта о возвращении всех в потерянный рай.

В этой войне стихийной воды с человеком разумный человек победил. Опять крепко схваченная плотиной вода, неустанно прибывая из лесов ручьями и речками, стала затоплять Осудареву дорогу. И опять загорелись бисеринки глаз водяной крысы от вечернего луча, и опять она срезала

себе несколько прутиков и поплыла, прижимая к себе продовольствие, к неведомому острову спасения.

Мало-помалу, конечно, Зуек стал догадываться, почему это строчки на песке, сделанные лапками трясогузки, начали исчезать под водой: это вода прибывала и затопляла птичкину грамоту. Со всей тварью Зуек радовался, когда вода стала было убывать, и со всей тварью он тоже встревожился, когда остров спасенья опять стал погружаться под воду.

Солнце к вечеру стало расплываться и краснеть, косые лучи его ложились на моховые колена корней дерева. Под корнями, вероятно, земля уже стала охлаждаться, и оттуда к теплу солнечного угрева выползли три малюсенькие ящерицы, вполне сохранившие форму предков своих, гигантских ящуров.

Зуек сидел у своего костра и коптил себе рыбу, как это делали постоянно рыбаки на ночлегах. Он заметил, что когда солнце, спускаясь за горизонт, поднимало лучи, то ящерицы, вместе с малиновым теплым пятном от солнечного луча на коре, поднимались выше. Невозможно было заметить, когда они успевали перебегать, казалось, будто малиновое пятно, само поднимаясь, поднимало и ящериц.

Может быть, и наш отдаленнейший предок сидел так где-то у огня вместе с ящурами и не знал, как и Зуек, что за водой, на том берегу, уже зарождалась мечта о человеческом городе.

Вдали на воде показался какой-то крупный предмет, и рядом с ним плыла темная точка. Мало-помалу определилось — это была небольшая плавина, кусок оторванной земли, скрепленный корнями нескольких деревьев и торфяными растениями, крепко сплетенными между собой. Может быть, это было течение, а может быть, легкий ветерок тянулся над водой, и деревья, принимая на себя ветер, служили парусами и несли плавину быстро, прямо к острову спасения.

На плавине держалось шесть больших лосей и один небольшой лосенок. Мало-помалу из точки возле плавины обозначился матерый волк, видимо, очень усталый. Ему хотелось вылезти на плавину, и он пробовал хвататься за корни, чтобы вспрыгнуть. Но как только он вылезал до половины, большой бык, стерегущий стадо лосей, ударял его копытом, и волк, окунувшись, с трудом догонял плавину.

Течение и ветер скоро пригнали плавину на остров

спасения, и она пристала на противоположной стороне от Зуйка, там, где остров оканчивался двумя корявыми березками. Осторожно, один за другим, высокие гости перебрались на остров спасения и тут, измученные далеким плаванием, ложились на землю, принимая ее за настоящую твердую землю, материк. Рядом были тут и медведи, и всякие звери, но и лосям было не до них, и зверям не до лосей. Все враги на время кончили свою войну. Лоси, достигнув земли, и на волка не обратили внимания, когда он, мокрый, поджарый, со страхом озираясь, прошел мимо них и тоже недалеко лег.

Среди этих зверей на острове было одно существо, не имевшее никакой связи со всем, потерпевшим великую катастрофу. Это был дятел, имевший возможность во всякое время куда угодно перелететь с острова спасения. В душе Зуйка трели дятла отзывались и возбуждали странное чувство неприязни к птице, имевшей возможность жить без заботы, когда все кругом погибали. Может быть, и люди есть такие? И смутное невольное сопоставление возбуждало неприязнь к этой птице. А дятел между тем нашел какой-то звонкий сучок на том самом дереве, под которым расположился Зуек и наблюдал своих ящериц. Дятел сильно ударил своим железным клювом этот сучок, и тот задрожал от удара так, что потом, часто ударяясь о клюв дятла, на весь остров поднял барабанную трель. И тут оказалось, что дятел был не один на острове, с другого конца ответил другой дятел такой же беззаботной барабанной трелью. И пошло у дятлов, и пошло: кто кого перестучит.

Тут Зуек вдруг услыхал глухие удары, как будто кто-то на острове раз за разом стрелял из небольшой гулкой пушки.

Поглядев в ту сторону, Зуек увидел, что пестун нашел сухостойное гулкое дерево и занимался с ним: ударит по нем лапой и слушает. А рядом медведица стоит с медвежонком и тоже с удовольствием слушают.

Посмотрев на медведей, Зуек перестал злиться на дятла. Мало того! Как будто через этих добродушных медведей и в него самого вошла радость жизни, и как только эта радость пришла, мало-помалу и дела его стали поправляться, и одна за одной стали рождаться в душе догадки о спасении себя самого и всех обитателей острова.

Когда лоси легли у березок, Зуек почувствовал некоторое легкое сотрясение острова и заметил, что две

корявые березки на краю несколько погрузились в воду. В то же время здесь, где он был, остров немного поднялся и стал заметно покатым, и вслед за этим послышались какие-то странные звуки, похожие не то на отдаленное пение, не то на клики пролетающих лебедей.

Вода с большой солнечной дорогой лежала теперь спокойная, ни одна веточка теперь не шевелилась на дереве. Звуки стали похожи на то, как если бы кто-то палочкой играл на стаканах.

Тихонечко Зуек стал подкрадываться к тому месту, откуда слышались эти звуки, и мало-помалу добрался до того места, где раньше бегала из края в край трясогузка. Теперь бы тут птичка не могла больше бегать: край этот совсем даже поднялся ребром над водой. Зуек осторожно подполз к тому краю, откуда слышались странные звуки, и перегнулся туда.

Там, под краем, приподнятым над водой, далеко, в слабо освещенной глубине, виднелись все корни, корни. С них стекала по корневым сосулькам вода крупными каплями, и эти капли, ударяясь внизу по воде, издавали те звуки, похожие, как если бы какой-то искусник металлической палочкой ударял по стаканам.

Когда Зуек вернулся к своему костру попытать, не довольно ли уже прокоптились сиги, он заметил, что ящерицы со своим малиновым пятном поднялись за это время еще немного по дереву.

Может быть, Зуек теперь и мог бы догадаться, почему весь остров с прибытием новых гостей немного как будто наклонился туда, а здесь приподнялся и что вода, вновь закрытая плотиной, прибывая, поднимает остров и отрывает его от основного грунта. И еще бы немного подумать, и можно бы чем-то и помочь этому ходу событий на острове спасения. Но какого-то совсем ничтожного звена чуть не хватало, чтобы Зуек догадался и взял бы в свои руки дело спасения.

Вдали показалась на спокойной воде какая-то маленькая движущаяся точка. Самой точки пока даже и не было видно, а только можно было догадываться по расходящимся на воде крыльям: красному — на зарю и голубому — с восточного неба,— что крылья эти сходятся в пока невидимую точку и она непрерывно движется, разделяя всю вечернюю спокойную воду на красное и голубое.

Солнце еще не село, когда водяная крыса подплыла близко к тому берегу, где сидел Зуек у своего костра.

Маленькая затопленная осинка торчала своей верхушкой из воды у самого берега. И до чего же измучилась крыса в своем путешествии от Осударевой дороги на остров спасения, что не имела даже сил вылезти на крутой берег. Она взобралась на развилочек осинки, по своему обыкновению спустила свой длинный хвост до воды, пустила хвостом кружок, другой по течению. И тогда, прочно устроившись, принялась очищать зубами привезенный с собою ивовый прутик.

Зуек глядел на крысу не с тем тревожно-корыстным вниманием, как утопающий глядит на подплывающую к нему соломинку. Совсем нет! Есть у человека особое напряженное внимание, похожее, как если бы тереть друг о друга куски дерева и вдруг они задымятся и явится огонь. Так и тут в таком рабочем внимании после большого напряжения является свет и радость свободы: вдруг рождается спасительная мысль.

Прежде всего заметил Зуек, что крыса привезла с собой продовольствие. Но, главное, заметил он, как, сверкая, горело красным огнем солнце в глазах-бисеринках и как последний луч, охватывая, обнял круглую головку и она стала похожа на маленькую человеческую...

Сердце сжалось у Зуйка, когда он вгляделся в огонек, сверкающий в глазах маленького умного животного... Ему вдруг вспомнилось, как однажды, совсем еще маленьким, он проснулся среди ночи и увидел на столе желтый огонек керосиновой лампы, и на лавке против огонька сидел дедушка совсем один и о чем-то думал, думал, и тоже вот такой же огонек, как у крысы теперь, тогда горел в глазах дедушки. До того стало тогда жалко дедушку и так неловко было самому, как будто ему, маленькому, под страхом наказания запрещено было заставать старших людей за их одинокими думами. Но такой был Зуек тогда, что уж раз оно случилось с ним, такое недозволенное, то надо было немедленно о нем говорить и расставаться, а не таить в себе и дальше разглядывать.

— Дедушка! — сказал Зуек.— Зачем ты такой сидишь?

Дедушка, могучий человек, от такого простого вопроса мальчика вдруг до того испугался, смешался, что Зуйку даже больно стало. Но через мгновение дедушка с собою справился, разогнулся, потянулся и засмеялся.

— Славные вы ребята,— сказал он,— только нельзя вам об том говорить, что вы хорошие.

— А почему нельзя, дедушка? — спросил Зуек.

— Потому нельзя,— ответил дедушка,— что вы несмысленые. Вы, правда, хорошие деточки, а скажешь — вы это каждый на себя переводите: так понимаете, что я, мол, хорош, а другой, значит, плох. Так и пойдет все у вас — я да я, а что это я?

Дедушка пыхнул от себя и сказал, выдохнув:

— Пар!

Зуек, вспомнив дедушку, отвел глаза от крысы, но встретился с такими же глазами у ящериц на малиновом пятне. А там у зайцев засверкали глаза, вон белка на дереве, вон лисица в кусту, там волк и там дальше в лесной чаще на сучках все глаза и глаза...

Это бывает на севере вечером, когда на солнце можно прямо глядеть, не отводя глаз, и думать, и думать. Тогда кажется, будто оттого солнце и погасло, что роздало живым существам свою мысль. Солнце не блестит больше, но зато человек думает, и ему теперь кажется, будто и на всей земле, и в каждом существе горит солнечная мысль, и даже верхушки деревьев, захваченные солнцем, теперь своей мыслью горят, и согласно мыслям каждая верхушка получает какой-нибудь свой особенный лик и делается на что-то похожа.

Это бывает так с каждым перед тем, как ему предстоит о чем-нибудь большом догадаться: душа лучами расходится от себя куда-то на все и на всех, и вдруг лично сам исчезаешь, себя вовсе не чувствуешь, но зато является спасительная мысль, и человек решает вопрос о том, что ему делать.

Случилось так, что волк наконец от голода перемог свой страх и устремился на лосенка. Мгновенно старый лось бросился на волка, сбил его, а испуганные лоси, и те, что были раньше на острове, и те, что прибыли на плавине, все встрепенулись и бросились в сторону. Тогда вдруг что-то громко треснуло, что-то обломилось, обвалилось, оборвалось. И значительный кусок острова, тот самый край с двумя корявыми березками, отломился, окунулся, как пробка выпрыгнул из-под воды и тихонечко поплыл в сторону, под парусами двух корявых березок.

Так на глазах образовалась маленькая плавина, а несколько зайцев, еще совсем белых, когда плавина ныряла, гигантскими скачками успели перепрыгнуть с этой дочерней плавины на материк.

Тут-то вот Зуек и понял, почему остров спасения

и колышется, и скатывается, и дрожит, и поет, и стонет: он может тоже двинуться и обернуться в плавину.

Так, начинаясь далеко где-то от огонька, зажженного солнцем в глазах умницы водяной крысы, мысль дошла до конца в голове у Зуйка, и с этой мыслью он оглянулся вокруг себя. Теперь все уже стало иначе: красные глаза больше уже не блестели, и только ящерицы, поднимаясь выше и выше за теплом малинового пятна, еще видели солнце.

Сгущался внизу мрак, и так оно было, будто Зуек своей догадкой отнял у зверей солнечную мысль, и она у всех так бесполезно прошла, а Зуек у себя удержал. Он подложил в костер много суши, и человеческий огонь вспыхнул, и опять в кустах загорелись чьи-то глаза, и ящерицы остановились в своем движении вверх, и их маленькие бисеринки загорелись от огня человеческого, и внизу становилось вокруг все теплей и теплей.

Полной тьмы в это время года не бывает на севере, но сумрак может все-таки помешать работе, надо было спешить, и Зуек, взяв с собою топор, направился к тому месту, где оборвалась маленькая плавина с двумя корявыми березками и вон уже сколько-то отплыла.

На краю облома земли было все видно: всего несколько толстых корней держало весь остров у того самого конца, где оторвался кусок, а там, на другом конце, куда он заглянул, под землей слышалась капель от сосулек — там все было свободно. Оставалось только рубить корни, но как их рубить, как их достать?

И Зуек начал доставать и рубить. Доставал, и рубил, и падал в воду, и вылезал, и сушился у костра, и опять рубил, и опять падал. И так белая ночь проходила, и начинало светлеть понемногу, белеть, оживляться.

Тогда блеснул первый утренний луч, и Зуек опять догадался.

Зачем же он такую массу тяжелых животных держит на этом краю, где он рубит? Их надо перегнать на свободный конец, и тогда, может быть, от их тяжести, сложенной с тяжестью всего поднятого острова, последняя связь разорвется.

Он вырубил длинную жердь из сушины, пошел к костру, разжег конец и с криком бросился на зверей, размахивая факелом. Звери шарахнулись и вдруг все посыпались кто куда, и сам Зуек с факелом своим повалился.

Но звери тут же опомнились и поднялись, и Зуек тоже поднялся. Остров спасения оторвался теперь от последних корней, скреплявших его с основной землей, он теперь стал

плоским, свободным, и он теперь даже вовсе и не был островом: он был плавиной.

Зуек еще успел подойти к костру, успел положить в него тяжелую сушину, но работа всей ночи дала себя знать: он тихо склонился у костра.

А ящерицы, почуяв тепло, оставили свой путь к холодному солнцу и быстро спустились к теплу огня человеческого. Звери тоже один за другим стали подбираться все ближе и ближе.

Не так ли будет потом, когда солнце остынет? Не зажжет ли тогда человек свое солнце, или, может быть, свою землю подвинет к горячей звезде, и, может быть, даже весь мир когда-нибудь соберет под огонь мысли своей человеческой?

Ветер поднялся вовсе не сильный, но сколько парусов было на большой плавине! И она поплыла на всех парусах, и на всех мачтах ее сидели маленькие матросы и капитаны: рыжие, белые, черные, серые.

## XLII. ПОБЕДА

Да умирится же с тобой
И побежденная стихия.

*(«Медный всадник», Пушкин)*

Весенние реки наговорились, и намолчалась земля. В одно теплое утро в тишине перед восходом солнца с воды начали подниматься свободные капельки: они больше теперь не работают — они уходят вверх, к себе, в облака. И журавли трубят им победу.

Было время, когда капельки на проволоке, набегая друг на друга, сливаясь, тяжелели и падали. Теперь капельки больше не падают, а поднимаются вверх, встречаются и, не сливаясь, образуют легкие свободные облака. Мы на досуге, вглядываясь, узнаем в облаках свою жизнь, о чем-то догадываемся, отдыхаем. И бывает тогда, что друзья наши, и журавли, и вся природа трубят нам победу.

## XLIII. ПЛАВИНА

На берегу озера Онего стоит город Повенец, и тут из озера вход в великий канал, соединяющий моря Белое и Балтийское. Прозрачным синеватым туманом поднимались капельки в утренний час, и им было хорошо: вода

забыла свой плен. Как будто даже и не очень-то хотелось капелькам улететь в небеса,— на всякой вещи, сделанной рукой человека, они оседали. Желтая блестящая полировка шлюзовых ящиков покрылась тем же самым синеватым туманцем.

У входа в канал собрались начальники в кожаных пальто и форменных фуражках, готовясь к парадному пуску первого парохода. Вокруг все было готово к празднику, и садовник-декоратор с гордостью указывал на васильки на береговых клумбах: васильки эти сюда из средней России доставили, васильки тут не растут.

Наконец подошел и герой праздника — небольшой пароход «Чекист».

На нем все было по-праздничному чисто, полировано и покрыто синеватой дымкой умиренной воды. Тут на борту собрались инженеры, и каждый на лице своем нес теперь отражение общего света человека-победителя; это были все люди, умевшие растворить личную обиду в труде, смыть ее в творчестве.

Вместе с инженерами тут были тоже и начальники узлов. Сутулов с Улановой стояли рядом у борта.

— А ты помнишь, Саша, то время,— сказала Уланова,— когда мы приехали в Надвоицы и попали за стол к староверам и как разгорелся у нас спор о том, как надо по-настоящему жить: вот именно, как должно или по своему желанию. Ты, конечно, ответил, что жить надо по закону, и староверы поняли это смешно для нас: по Священному писанию. А я сказала, что если до смерти захочется, то можно пожить и по желанию. Ты понимаешь теперь,— это у меня тогда еще была мечта о Степане...

— Понимаю, но у меня тоже была мечта о тебе, а я это свое личное желание не смешивал же с тем, что надо.

— Ты счастливый, ты цельный человек, но не все такие. Вот бабушка,— сколько борьбы приняла на себя старуха, чтобы в последние дни стать мирскою няней и умириться с собой. И помнишь, как вскинулся этот мальчик Зуек, когда я сказала свое: «По желанию».

— Как же не помнить! Я потом с ним немного погорячился и часто вспоминаю о нем: после того он, наверно, и бросился к уркам, и они его довели.

— Урки, ты думаешь? — рассеянно сказала Уланова.

Сутулов ничего не сказал. Помолчав, он снял Машину руку с борта, растер на ней насевшие капельки тумана своею рукой и сказал:

— Мальчик пропал, как роса.

— Роса,— сказала Маша, не отнимая руки,— роса не пропадает — она улетает. Саша, и не думай, что он непременно пропал! Нет ни одного хорошего человека, кто не рисковал бы в своих заблуждениях. Но жизнь больше, она сильнее наших заблуждений и рано ли, поздно ли выводит нас на путь. И потом, тут не ты и не урки. Я по себе знаю: тут у него была мечта о совершенстве и одиночество в ней. Как это сделать, чтобы разбить одиночество, а мечту не разбить?

— Нужен труд,— ответил Сутулов.

— Да, но как взяться, чтобы этот труд приближал к совершенству?

— По-моему,— сказал Сутулов,— нужно устроиться так, чтобы жизнь тратилась на себя самого, по желанию, как ты говоришь, а выходило бы для всех и как надо. Тогда по одну сторону останутся эгоисты, у кого все для себя, а по другую сторону — нытики и ханжи, кто живет по долгу для других и потихонечку скучает о жизни для самого себя. Ну, будет об этом, Маша,— ты лучше посмотри-ка на тот берег канала, как быстро он начинает жизнью живой обрастать!

И Маша увидала: на берегу полированного шлюза, как будто осев с капельками воды, примостился маленький мальчишка в кепке с огромным козырьком, и именно эта кепка придавала мальчишке необычайную серьезность. Мальчишка был такой маленький и далекий от забот строителей канала, что начальники в кожаных пальто, окружавшие шлюзы, его как бы и не замечали. Мальчишка сидел здесь не праздно: в руках у него была длинная удочка и сбоку ведерко, и удочкой он удил рыбу, первый рыбак удил рыбу в новой воде.

— Жизнь начинается, Маша! — радостно сказал Сутулов и помахал мальчишке шапкой.

Уланова что-то хотела ответить, но вдруг зашумела вода, пущенная в большой зал, где стоял пароход. Этот зал был разделен на квадраты, и в них снизу начала быстро набегать вода, и пароход начал подниматься, как в люльке.

Скоро открыли дверцу следующего шлюза, пароход вошел в новый зал и опять стал подниматься еще на ступеньку повенчанской лестницы. И так, проплывая по каналу некоторое время, снова поднимался «Чекист» на следующую ступеньку этой водяной лестницы, все выше

и выше, через водораздел, через тот самый Массельгский хребет, где мы когда-то с отцом ночевали и глядели на Осудареву дорогу.

Где теперь этот лес?

А речка Телекинка, где мы с отцом тогда сели в лодку и два лебедя не могли с нами расплыться, пока не доехали мы до Выгозера?

Теперь все это вместе с Осударевой дорогой под водой, и мы смотрим теперь на все здесь глазами таежного странника, вдруг из-за деревьев увидавшего большую воду. Помните, мы все это пережили: увидали большую бескрайную воду и вдруг остановились на берегу, и какая-то великая мысль охватила нас, увела далеко душу.

Какая это мысль?

Когда «Чекист» вышел из последнего шлюза перед Выгозером, все эти люди на палубе, так много пережившие в эти два года, люди, умевшие силой великой души человека высоко подняться над сетью привычек личных и обид, эти люди, выйдя из шлюзового ящика, вдруг стали перед большой водой...

Вот что это всегда неизменно при встрече с большой водой вдруг охватывает всего и человек замирает в молчании? Есть же в этом большом чувстве, в этом движении вопросов и ответов какая-то единая мысль? Мы все знаем это чувство, требующее от каждого своего выражения. Вот, вот, кажется, его назовешь, и все согласятся. Но каждый раз бывает, что только бы назвать, и тут-то непременно кто-нибудь перебьет и скажет не то. Так ответ на вопрос и откладывается до новой встречи с большой водой.

Так и тут, при встрече созидателей канала с большой водой нового огромного Выгозера, шевельнулась мысль, и слова были уже на языке, как вдруг капитан нам что-то сказал...

И опять осталось нам от встречи с большой водой в памяти только особенный запах воды и голубые глаза капитана.

— Глядите, глядите, товарищи! — сказал капитан.

И передал подзорную трубу ближайшему к нему инженеру.

Высокие борины прежнего леса теперь стали островами и маячили далеко там и тут. Но одна из этих борин как будто не стояла на месте, а медленно двигалась, изменяя там и тут расстояния между собою и другими боринами.

— Это не борина,— сказал капитан,— а плавина. Там и тут вода, наполняя и переполняя Выгозеро, подняла торфяные сплетения вместе с кустами, с деревьями. Мы каждый раз встречаем небольшие плавины, но эта плавина совсем особенная.

И стал рассказывать о необычайной плавине, как будто она была чем-то вроде всадника без головы в известном старинном романе. Плавина эта прежде всего сравнительно с другими очень большая, и на тех плавинах, как редкость, бывает, сидят два-три зайчика, пяток белок или водяных крыс. А здесь, на этой плавине, собралось множество всяких зверей: и медведи, и лоси, и волки, и барсуки. По всей вероятности, вода, наступая, сгоняла животных с большого пространства и, собрав множество их на один островок, оторвала его... В разных местах видят плавину с ее великим населением, но только показалась — и нет ее: то ветер завернет, то далеко до берега станет на мель, ничего разглядеть нельзя. А потом снова поднимается ветер и уносит опять неизвестно куда, и опять она там и тут, как всадник без головы.

— Плавина сейчас идет прямо на нас! — сказал первый инженер, получивший подзорную трубу от капитана.

Все потеснились к трубе, и каждый, по очереди получая, стал всем высказывать свои догадки.

— Там есть и медведи: виден огромный, другой поменьше и еще медвежонок.

— А сколько лосей! Как же вы не заметили, целое стадо, а медведей стало не видно.

— Понимаю, плавина повернулась другой стороной. И посмотрите, мне кажется, у зверей теплинка: синий дымок поднимается.

— Начинают показываться и маленькие. Сколько зайцев! Вот и волк, и какой худой! И барсук, и совсем маленькие зверушки какие-то на кустах, как виноград. А синий дымок, смотрите, скорее всего это пар от медведей,— не могут же медведи себе костер развести?

— Плавина повернулась снова другой стороной: вот ясно видно, у костра сидит человек, смотрите, мальчик! Вскочил, машет нам флагом на длинном шесте. Капитан, держите курс на плавину!

Все в страшном волнении сгрудились на носу вокруг капитана. Мало-помалу простым глазом все наконец увидали маленького оборванного Робинзона, окруженного мно-

жеством всевозможных зверей. И наконец Уланова радостно закричала:

— Это Зуек, это Зуек! Вот, Саша, только-только вспоминали его, и он тут как тут!

— Да, да, я вижу, это, конечно, Зуек,— ответил Сутулов, не сводя глаз с приближающейся плавины.— Только почему-то не видно друга его, Куприяныча. Я очень опасался, знаешь, про себя, что бродяга захватил мальчика для какой-то своей подлой затеи...

Быстро шел только пароход, а плавина двигалась очень медленно, и когда «Чекист» остановил машину, Зуек принял канат спокойно, как делают это на пристанях. Он обмотал чало несколько раз вокруг дерева, надел свою оборванную, лохматую куртку, взял сумку, ружье и медленно полез вверх по трапу.

Наконец Зуек вылез на палубу к людям, не понимая, что все глядят на него, как на чудо. Он еще не совсем вошел в радость своего спасения, он еще не опомнился от жизни своей у костра рядом с медведями. Зуек не улыбнулся даже, когда увидел Машу с Сутуловым,— так был он измучен, но только, узнав их, вдруг засветился.

Уланова сразу поняла, как сейчас трудно будет мальчику с людьми, и увела его вниз в свою каюту.

Когда Зуйка не стало на палубе, все бросились рассматривать зверей на плавине. Матрос с опаской спустился на нее и прошел сторонкой от зверей, чтобы устроить хоть какое-нибудь рулевое управление. После больших хлопот «Чекист» наконец натужился и потянул за собой обрывок земли, населенной всеми животными Севера.

Очень скоро Уланова там, внизу, устроила Зуйку все, как делают в этих случаях матери своим детям, и он, чистый, одетый, за чаем спокойно ей, как матери, рассказывал во всех подробностях о всем, что с ним случилось с тех пор, как он загуменной тропой по последнему насту покинул Надвоицы. Уланова думала, что Зуек постепенно станет пробуждаться от необыкновенного сна. Она знала, как это бывало со всеми в голодное время, когда в душистом кусочке хлеба поглощаешь всю природу, солнечный свет и в этом свете поглощаешь и добро, и красоту, и всю радость жизни, тут же тебя и наполняющую. Это только кусочку черного хлеба можно так отлично обрадоваться, а сколько же ступеней радости пройдет одинокий человек, пока утолит он свой голод на друга?

Зуек в своем испытании не пережил обыкновенного

голода на пищу, он ее себе доставал и на плавине. Зато не было ему и никакого обмана в его пробуждении. И, входя в обычную устроенную человеческую жизнь, он сразу очнулся среди неисчезающих радостей и полной свободы.

Вдруг почему-то исчезли все страхи, все тайны, все, о чем в обыкновенной жизни людям вслух невозможно и стыдно сказать. Но истинному другу своему все можно сказать, можно поверить свое тайное, увериться через друга, не мигая потом смотреть в глаза третьему и находить в себе неистощимую силу размаха в борьбе с темными силами.

Бывает, сухостойное дерево годами стоит, одетое корой, но вдруг в какой-то один миг вся кора сверху и донизу с шумом обрушится вниз и ляжет горкой у корня. Так все лишнее, ненужное, чуждое обрушилось с Зуйка, но сам он вышел не сухим из-под коры, а живым и новым.

Мать беседует с сыном о его далеких странствиях в чужой земле, и для нее не нужно каких-то особенных слов, она все сама отгадывает, все принимает к сердцу, все видит своими глазами и сыну своему этим дает новую мысль о всем пережитом, и эта мысль не проходит, она остается навсегда, и от нее, бывает, не только себе, а и другим достается.

Все грани, разделяющие человека от человека, исчезли. Зуек рассказал и об украденном зеркальце, и даже показал на руке своей выжженные Рудольфом голубые знаки: «Маша Уланова».

А когда пришел Сутулов, то и ему, оказалось, можно было теперь рассказать о себе, как о маленьком, что тогда хотелось ему захватить власть под предлогом спасения людей, но, конечно, на самом деле для себя. Ему казалось тогда, что приказывать — это очень приятно. А потом вышло на деле, что даже звери слушаются, если вперед сам себе прикажешь и послушаешься себя самого, как начальника.

— Зуек! — сказал изумленный Сутулов,— ты, брат, недаром пропадал: ты же теперь все понял!

И опять тоже, как и тогда, кора вторая с шумом опала с дерева и легла у корней, и Зуек увидал себя среди близких ему, дорогих людей.

Он узнал тут, что вода образумила и бабушку, что бабушка на своем черном карбасе, как на плавине, благополучно пристала к берегу, где строилась новая жизнь, и теперь живет мирской няней «по желанию». Он узнал,

что дедушка Сергей Мироныч, умирая, выслал мысль свою последнюю в помощь государственному делу: тоже по желанию, а вышло как надо.

А дедушка Волков со всеми лучшими инженерами и каналоармейцами уезжает строить канал Волга — Москва. А Рудольф бросился в прорыв и теперь награжден и получил гражданскую свободу.

— И бросил малиновую шапочку? — спросил Зуек.

— Сразу же и бросил. Теперь он ходит в хорошей коричневой паре и носит мягкую шляпу.

Когда Сутулов вышел, Зуек осмелился осторожно и тихо спросить:

— А как же Степан?

Уланова склонила голову на грудь, немного потемнела в лице, но быстро собралась и ответила, показывая на уходящего Сутулова:

— Вот мой Степан!

И Зуек ей ответил:

— Я это знал.

И рассказал ей, как он в печурке слышал разговор о хвостах и потом уж на острове спасения догадался, перебрав все, что Степан обратится непременно в Сутулова.

В Надвоицах между тем давно заметили плавину, влекомую «Чекистом», и, по мере того как она приближалась и определялись разные звери, каналоармейцы со своими прорабами и начальниками и местные люди в удивлении сбегались для встречи необыкновенного острова со множеством всяких животных.

Многие вспомнили и узнали Зуйка, и в один миг всем стала известна история его путешествия в страну, где не работают, а только царствуют и получают от природы все готовое. И посмеялись всему и порадовались.

Но особенно стало всем занятно, когда Зуек попросил разрешения у Сутулова выпустить всех животных на волю. Плавину подогнали к низкому берегу и устроили незаметный переход с острова на материк.

Прежде всего Зуек рассказал о водяной крысе, о том, как она, переплывая воду, запаслась продовольствием и навела его на мысль о возможности освобождения всего острова зверей. Водяную крысу первую с почетом отпустили на берег.

И о медведице Зуек рассказал, как она под себя прятала рыбу и он у нее отбил много сигов, накоптил и все время ими кормился. Медведям тоже рыбы хватало, и они даже,

немного опомнившись на берегу, кинули последний раз взгляд свой медвежий на людей и друг за другом, не торопясь, поплелись к лесу.

Но волк едва встал, а еще хуже было с лосями: они позволяли себя поднимать, подталкивать, но в конце концов оправились и всем стадом пошли. Зайчики запрыгали как ни в чем не бывало: наверно, им довольно было пищи на острове спасения.

Когда зайчики проложили дорогу, за ними запрыгали с веток белки, зашевелились мыши на кустиках. Некоторые зверушки до того рассиделись, что их пришлось выгонять. Зуек не забыл рассказать и о трех ящерицах, как они поднимались по стволу дерева за уходящим солнцем, а потом спустились к его человеческому огню. Ящерицы тут и нашлись на стволе — им деваться теперь было некуда: под корнями дерева, где они раньше жили, теперь была вода.

После того как окончился этот праздник выпуска животных, Зуйка повезли на водосброс и стали ему все показывать.

И тут сам собою вышел тот праздник праздников, когда старшие заканчивают свою большую работу, а после них приходит ребенок и обращает все в сказку.

Так и Зуйку теперь было позволено поиграть с водосбросом. Он приказал бросить воду в падун, а сам нашел свою печурку и смотрел и слушал, как, собираясь с силами, бросался на камни падун и опять начинался знакомый гул, когда струйки, сшибаясь между собою, бьются, бьются, пока наконец не послышится мерный шаг человека: весь человек идет все вперед и вперед...

Как же так? Ведь это камень тогда вертелся в своей каменной яме, и в гуле этом слышался мерный ход человека все вперед и вперед. А теперь же этот камень открыли, этот камень поместили в музей местного края. Откуда же берется теперь и по-прежнему слышится в гуле падающей воды мерный шаг человека?

Или, может быть, это не камень определяет мерный ход, а в душе у Зуйка сила человеческая расстанавливает звуки борьбы падающих струек так, будто это не водопад, а весь человек собрался и мерно шагает все вперед и вперед?

Зуек не стал разбираться в этом. Он только очень обрадовался, узнав этот знакомый с детства ему шаг.

Мальчик махнул рукой. На водосбросе повернули ручку, и падун замолчал.

Мальчик опять приказал. И падун опять зашумел, и опять, как человек, кто-то в нем все шагает вперед и вперед.

А там, в другую сторону, лежит большая спокойная вода, и кто-то рассказывает, будто он сам видел своими глазами, как один из лосей робко вышел из леса, верно, желая напиться. Он подкрался к воде и, наверно, увидел в ней сам себя, и ему из этого зеркала корова протянула лошадиную губу.

Лось было дрогнул и отошел назад, не узнав сам себя. Но пить ему очень хотелось, и он опять подошел и, не поглядев больше на лошадиную губу, напился воды.

А эта вода была уже в руках человека.

И вот как будто у нас шевелится опять мысль, обнимающая нас всегда при встрече с большой водой, бывшей когда-то колыбелью всей жизни: эта добрая мысль человека, глядящего в беспредельную даль, о том, что каждый из нас где-то соединен с другим человеком и все мы, люди, в суровой борьбе за единство свое, все, как капли воды, когда-нибудь придем в океан.

# КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА

## Повесть-сказка





# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ВАСИНА ЕЛОЧКА

### ГЛАВА ПЕРВАЯ



Солнце светит одинаково всем, и человеку, и зверю, и дереву. Но судьба одного живого существа чаще всего решается тенью, падающей на него от другого.

Так было ранней весной, горячий луч солнца все осветил и тронул даже семенную шишку на верху старой ели. На своем парашютике семя, кружась, медленно слетело вниз и упало на тающий снег. Вскоре снег разбежался водой и оставил на земле семечко.

Из этого семечка и родилось дерево — Васина елочка.

Да, конечно, солнце-то светит всем одинаково, а это от нас самих рождается тень. И мы, и животные, и деревья,

и все на земле дает разную тень. И даже сама земля по временам тенью своей закрывает иную планету.

Так вот и семечко Васиной елки, конечно, упало в лесу под чью-то тень.

Было это в селе Усолье, вблизи города Переславля-Залесского, за много лет до того, как родиться самому Василию Веселкину. Даже и самого старого нашего лесника Антипыча тогда еще не было на свете. Никакой человек не был свидетелем жизни первых лет этого дерева. Родилось оно и росло само собой, и «Васиным» оно сделалось долго спустя, когда стало даже так, что не будь этого Васи на свете, так и не было бы и его елочки.

Была-жила елочка чуть ли не за сто лет до рождения Васи.

Наше семечко, подхваченное весенней водой, сплылось со множеством таких же семян и было выброшено в лесное урочище Ведерки.

В далекие времена тут был великий сосновый бор. Никто не помнит его, но так понимают его происхождение: там и тут от великого, еще более давнего прежнего леса еще оставались отдельные деревья-семенники и от старости засыхали и падали; каждое дерево, падая, разрушало возле себя много молодых новых деревьев, и оттого в сплошном тесном лесу оставалась каждый раз светлая полянка; молодые деревья, обступая полянку, тянулись вверх, догоняли кроны старых деревьев и, догнав, смыкались со всем пологом леса.

Когда деревья наверху смыкались, то лесная полянка делалась похожей на высокое ведро с зеленым донышком.

Вот оттого-то и сделалось лесное урочище Ведерки, что из каждого последнего дерева старого бора в новом лесу вышло ведерко.

Догадка эта была верная: великаны-сосны с тех незапамятных времен кое-где сохранились и до нашего времени. Тут-то вот под тенью одного такого великого дерева на вспаханную кротами земельку были брошены семена елей, и среди них было семя Васиной елочки.

Еловой породе деревьев тень вначале бывает даже нужна. Елку губит не тень высокого материнского дерева, а малая тень своих собственных мелких собратьев.

Счастливо было семечко, что оно попало в тень великой сосны: такая первая материнская тень охраняет ростки от ожогов мороза и солнца.

Это была первая материнская тень.

Как всегда, семян было множество. Васина елочка была неотличима в ровном бобрике ростков. Иному доброму человеку по такому ельничку даже рукой погладить хочется, как по шерсти его друга-собаки. Но далека, вот как далека от человека эта жизнь беспризорных существ, брошенных игрою случая или бесчеловечного закона в рыхлую, вспаханную кротами землю для беспощадной борьбы между собою за свет.

Да, конечно, солнце дает нам только свет и тепло, но откуда же среди нас берется тень?

Надо думать, солнце в тенях не виновато: свет от солнца, а тень выходит ото всех нас, живущих на земле. Да ведь и сама-то земля тоже закрывает своей тенью луну...

Это, конечно, истинная правда, что солнце для всех деревьев, и всех елок, и всех зверей, и для каждого человека светит одинаково, да мы-то вот на земле все разные, и от каждого из нас на другого падает разная тень...

Не в солнце тут дело, а в самой земле, питающей семена. Не от солнца рождается тень, а от земли и от нас самих.

Мало того, что маленькие деревья затеняли друг друга. Они и просто силой своего движенья теснили, уродовали свои мутовки: каждому хотелось раньше другого подвинуться к солнцу. Вот почему от каждого на каждого падала тень.

А тут вышла и еще беда: лосю вздумалось лечь и почесать себе спину об эти елочки.

Медленно после тяжелого лося поднимались помятые маленькие, но Васина елочка не успела за всеми подняться и осталась в тени.

Так, из-за того только, что лосю надо было почесать себе бок, ей это было, как верная смерть.

Случилось еще, гром ударил почему-то не в самое высокое дерево — в нашу великую сосну, пионера всего этого леса, а рядом с нею, в догонявшую ее издавна елку. После падения этого дерева от всего нашего елового бобрика осталась только Васина елочка, и над ней другая, ее затеняющая, отнимала свет до темноты.

С тех пор прошло больше ста лет. За это время родился, и вырос, и застарел старый наш лесник Антипыч. Вот это он-то и любил повторять всем, и от него мы берем эти слова, что солнце светит всем одинаково, и свету солнечного хватило бы всем, да вот мы-то, земные жители, разные, и закрываем друг другу солнечный свет.

— А из-за чего,— спрашивал часто Антипыч,— закрываем мы свет?

И, помучив собеседника, сам отвечал:

— Из-за того, что все поодиночке гонимся за своим счастьем.

Собеседник тогда пробовал заступиться за счастье:

— Без этого счастья жить нельзя ни человеку, ни зверю, даже и дереву.

— Нет! — говорил Антипыч,— нельзя зверю и дереву, а человеку можно: у человека свое счастье, и оно в правде.

И тут выкладывал все, из-за чего начинал спор свой о тени и свете.

— Не гонитесь,— говорил он,— как звери, поодиночке за счастьем, гонитесь дружно за правдой!

Вот эти-то слова о правде, наверно, и слышал на печке совсем еще маленький Вася, и скорей всего от этих слов у него все и началось.

Однажды Антипыч пришел к великой сосне, и с ним был мальчик Вася Веселкин. Тут впервые Вася встретился со своей елочкой.

Радостно каждому глубоко вздохнуть чистым воздухом под пологом сомкнутых кронами деревьев. Редкий человек, обрадованный чистым воздухом, обратит внимание на деревце бледное, высотой не больше как в рост человека с поднятой вверх рукой. Хвоя на этом деревце тощая, бледная, сучки покрыты сплошь лишаями. Ствол — не толще руки человека, корни поверхностные.

Сильный может легко вытащить дерево и отшвырнуть, а между тем рядом с этим лесным сиротой стоит елка, его ровесница, могучее столетнее дерево. В тени-то этой счастливицы и хилится маленькая ее ровесница, в сто лет собравшая себе высоту в рост человека с поднятой вверх рукой.

Антипыч уже поднял было топор, чтобы прикончить эту несчастную ненужную жизнь, но Вася остановил его.

— Ладно! — согласился Антипыч.

И минуточку глядел в большие серые серьезные глаза мальчика, вроде как бы даже и с удивлением.

Оно и вправду было чему подивиться в лесу: во всей жизни всех лесов на свете не было такого случая, чтобы кто-нибудь, кроме человека, мог заступиться за слабого. И какой же это еще человек — Вася Веселкин, чтобы

против всех лесных законов вдруг ни с того ни с сего выставить свой человеческий!

С другой стороны, тоже подумаешь: почему бы ему тоже не выставить этот закон, если с незапамятных времен человек начал выбирать в лесу деревья, сажать их возле дома своего, поливать, навозить, ухаживать и, мало того! уходя на войну, потом уносить в душе своей наряду со своими близкими и память о родной березке возле своего дома, сосне или елочке.

Когда Антипыч заносил топор над Васиной елочкой, наверно, это наше всеобщее человеческое чувство мелькнуло в душе мальчика и перешло на дерево.

— Ладно,— ответил Антипыч, отчасти, конечно, и понимая причуду мальчишки: «все ведь и мы, старики, мальчишками были».

У Антипыча в этот раз был не просто его очередной обход лесного участка Ведерки. В лесничестве был получен приказ найти материал для авиационной фанеры. Требовалась сосна не меньше четырех обхватов толщиной и без единого сучка на высоту пяти метров. Во всех Ведерках оставалось только одно такое дерево. Вот за этим-то деревом и пришел теперь Антипыч.

Нечего было и мерить толщину: было видно на глаз — дерево больше четырех обхватов. И какие там пять метров вверх без сучка — куда больше! И смотреть было нечего.

Но Антипыч почему-то все глядел и глядел вверх, все больше и больше откидывая назад свою голову. Вася тоже за ним глядел вверх, пока не стало ему очень трудно. Тогда оба, и старый и малый, отступили дальше от дерева и все глядели и глядели вверх. И это было без всякого дела, без всякой надобности.

Так бывает с каждым в чистом бору: движение чистых стволов вверх, к солнцу, поднимает человека, и ему хочется туда, вверх, как дереву, тянуться к солнцу.

Голова скоро устает от высоты, приходится возвращаться на землю. Антипыч сел, свернул себе козью ножку и сказал:

— У нас в Ведерках это будет последнее дерево. Упадет — и останется на память последнее ведро в наших Ведерках. Нового больше не будет.

— А есть еще где-нибудь на свете такое? — спросил Вася.

— Есть,— ответил Антипыч.— Мой отец бурлачил на Севере, так он зимой нам, детишкам, много рассказывал.

Там где-то, в каком-то государстве маленьком, вроде Коми, есть заповедная Корабельная чаща: ее там не рубят, а берегут, как святыню.

Так вот эта чаща сосновая стоит высоко на третьей горе, и нет в ней ни одного лишнего дерева: там нигде стяга не вырубишь. Вот как часты деревья: срубишь — оно не падает, а остается стоять меж других, как живое.

Каждое дерево такое, что два человека будут догонять друг друга кругом и не увидятся. Каждое дерево прямое и стоит высоко, как свеча. А внизу белый олений мох, сухой и чистый.

— Высоко, как свеча? — повторил Вася.— И так-таки ни одного сучка до верху?

На этот вопрос постоянный шутник Антипыч ответил шуткой:

— Есть,— сказал он,— во всей гриве одно дерево, и в нем выпал сучок. Но и то в эту дырочку желтая птичка-зарянка натаскала хламу и свила себе там гнездо.

— Это сказка? — спросил Вася.

В глазах мальчика была такая тревога, так, видно, хотелось ему, чтобы Заповедная чаща не была просто сказкой!

— Это сказка? — повторил он.

Антипыч бросил шутить.

— Про птичку,— ответил он,— я сам выдумал, да и то — что я! в каждом бору есть дерево с пустым сучком, и в дырочке живет желтая птичка-зарянка. А Заповедную чащу отец мой видел своими глазами: это правда истинная.

— Истинная,— повторил Вася,— а какая же еще бывает на свете правда?

— Кроме правды истинной? — спросил Антипыч.

И опять в лице его щеки начали собираться в гармонику, а ястребиный нос опускаться к усам. Но тут же и опять, заглянув Васе в глаза, Антипыч бросил шутить и сказал:

— Правда на свете одна, только истинная.

— А где она?

— В уме и сердце человека.

— И у тебя?

— Конечно.

— Скажи, Антипыч, какая она сама, эта истинная правда?

Антипыч засмеялся, нос его крючковатый направился к усам.

— Видишь, Вася,— сказал он,— правда, она такая, что ее надо каждому держать в уме, а сказать о ней трудно.

— Отчего же трудно?

— Первое, трудно оттого, что у правды нет слов: в делах она вся, не в словах. Второе, оттого, что как скажешь, то сам ни с чем и останешься.

— Ты мне одному только скажи!

— Скажу,— согласился Антипыч,— только не сейчас: вот буду помирать,— ты к тому времени подрастешь, маленько поумнеешь,— ты ко мне подойди тогда — и я тебе на ушко скажу. Хорошо?

— Конечно, хорошо! — согласился Вася.— Только я знаю, что ты мне скажешь тогда.

— Неужто знаешь? — удивился Антипыч.

— А вот и знаю, хоть еще и не подрос, и не поумнел: ты скажешь так: не гонитесь поодиночке за счастьем, гонитесь дружно за правдой.

После Васиных слов Антипыч в изумлении остановился и, подумав, сказал:

— Ну и память у тебя, Вася!

Антипыч выплюнул свою козью ножку, поднял топор, подошел к великой сосне, зачистил на сером стволе белое местечко и на белом старательно вывел лиловым карандашом букву «А» *(авиация)*.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда-то ученые лесоводы думали — есть растения светолюбивые, вроде березки или сосны, и есть, как елка, тенелюбивые.

Так это и понимали: одни растения любят свет, другие какие-то любят тьму.

Ученые люди, сами не зная того, с человеческих отношений переносили мысль свою на деревья. В то время, в XVIII веке, положение господ считалось высоким положением, и один король Франции назывался даже «Король Солнце», а положение раба было положение низкое, но сверху казалось, будто раб любит свое низкое положение...

Лесоводы с человеческого общества перенесли это на деревья и разделили их на светолюбивые, вроде сосны и березы, и на тенелюбивые, как елка.

Когда же человеческие отношения изменились, то спала пелена с глаз и у лесоводов: оказалось — и елка любит свет

не меньше деревьев-господ, но боится на свету ожогов мороза и оттого прячется в тень.

В этом сближении людей и деревьев нет ничего особенного. Стоит только распилить ствол дерева поперек, сосчитать на срезе круги годового прироста, и часто оказывается — год, благоприятный для роста дерева, был и у людей урожайным, а тощий для дерева был голодным и у людей: для солнца все одинаково, что деревья, что люди — у тех и других для солнца природа одна.

Другое выходит, когда люди переносят на природу такое, чего в ней нет: неравенство как высшее установление.

Вот почему скорее всего и Антипыч постоянно нам всем с детства говорил, что солнце светит для всех одинаково.

Спрашивали Антипыча:

— Откуда же тень?

Как мог верно ответить Антипыч, если даже в учебниках мало говорилось о происхождении тени? А раз нет в учебниках, то, само собою, приходилось слушать мудрость старых людей.

— Тень,— объяснял нам Антипыч,— берется от нас самих. Каждый из нас,— говорил он,— все равно, люди, растенья или звери, дорожат светом солнца, и спешат: каждому хочется перед другим скорее продвинуться к тепленькому местечку на солнышке. Вот отчего на другого от этого счастливого и падает тень: от нас самих приходит тень, а солнце всех любит ровно.

Смешные были у нас деревенские мудрецы в лесах, но и мы, школьники, были не лучше. Мы отвечали:

— А если солнце любит нас, то у него тоже должны быть любимцы: всех-то всех, а кого-то любит больше.

— Солнце всех любит ровно,— повторял Антипыч,— никого нет у него любимого, но каждый из нас думает, будто солнце любит всех ровно, и только его самого любит больше, и оттого сам лезет вперед. Вот отчего в споре за место и рождается тень.

И правда, только слепому не видно, что борьба деревьев и всяких растений в лесу бывает больше всего только за место свое к источнику света. И особенно это было заметно, когда пришли с Антипычем лесорубы к тому месту, где стояла великан-сосна.

Было это еще на нашей памяти, когда выпала из лесного полога последняя сосна, последний свидетель давно прошедших времен.

Мы слышали не раз обвалы в горах, но почему-то не так эти обвалы хватали за сердце, как хватает каждый раз, когда вдруг в лесу из-под руки человека валится огромное дерево.

В горах бывает гул нечеловеческий, а дерево падает — всегда понимаешь про себя: так и ты сам, человек, можешь прошуметь, потрясти все кругом и навсегда замолчать.

Много было наломано деревьев и подлеска паденьем великана, и сплошной теневой полог был продырявлен. Вот в эту дыру и бросился на лесную поляну свет прямой и великий.

Никто у нас раньше и не задумывался над тем, почему лесное урочище называлось Ведерками. А когда упала древняя сосна, то круглая поляна после нее в лесу стала очень похожа на огромное лесное ведро. И все поняли: оттого и стали Ведерки, что издавна древние сосны падали одна за другой.

Сотни лет на том месте, где стояла великая сосна, все было без перемен, но когда упала сосна, все стало быстро изменяться. Свет великий, желанный и страшный ринулся в дыру лесного полога и начал внутри леса на поляне все изменять, кому на счастье, кому на гибель.

Золотые стрелы света летели неустанно, непрерывно падали на донышко лесного ведра, на светолюбивые травы. И мы все, у кого были на это глаза, видели, как у растений открывались глазки, подобные солнцу, с белыми, голубыми, красными и всякими лучами.

Васина елочка, столетняя и маленькая, уродливая в бледно-зеленых лишаях, открылась на весь великий солнечный свет, и по виду невозможно было понять, что такое в ней самой происходит. Елочка эта только наводила на мысль о тех людях, нам лично знакомых, кому вдруг нечаянно доставалось незаслуженное богатство, и редко кому оно шло на пользу. Глядя на елку, все думали о человеческом счастье, но никто не мог видеть, что же происходило внутри нее самой под влиянием огромного света.

Во всем лесном районе нашего края справиться о научных вопросах можно было только у нашего учителя Фокина Ивана Ивановича, и это он-то для нас и нашел в книгах справку о том, что дерево, внезапно выставленное на яркий свет, перестраивает свои теневыносливые клеточки на световыносливые, и от этого на некоторое время *слепнет*.

Так и наша елочка в борьбе за новую жизнь на какое-то время скорей всего тоже ослепла.

Не всякая елка выдерживает такую борьбу, и одно время некоторые сучки в лишаях стали так отпадать, будто лишаи тут же на свету и догрызают те сучки, на которых сами сидят. А еще хуже было, что некоторые другие сучки начали желтеть и хвоя на них осыпаться.

Так и думали Антипыч с Васей, что этой затее пришел конец и елка должна неминуемо скоро погибнуть.

Год за годом уходили, и стало забываться когда-то замеченное деревце в Ведерках, на донышке последнего ведра. В лесных обходах, в случайных налетах за грибами, за ягодами стали проходить мимо елки, ее не замечая.

Пришло наконец время, когда Вася Веселкин дождался пионерского галстука, и вот тут-то, на радостях, вспомнил о когда-то спасенном им деревце.

— Антипыч! — сказал он.— Давай с тобой сходим, поглядим, как наша елочка: совсем ли засохла или, может быть, поправляется. Ты как, при обходах своих не замечал?

— Нет,— ответил Антипыч,— проходить-то проходил, а в глаза чего-то не казалось: скорей всего осыпалось, оттого и не кажется. А поглядеть — отчего же не поглядеть — пойдем, мне как раз там сейчас надо оглобли достать.

Так и пошли: Антипыч с топором, Вася — в первый раз в пионерском галстуке.

И вот как это бывает иногда удивительно: думали, были уверены, что там, на полянке, теперь нет ничего, только пень великого дерева возле скелета столетней елочки в рост человека с поднятой вверх рукой. Когда же подошли, то еще издали увидели возле большого, как обеденный стол, пня деревце, хотя, конечно, и не великое, но совсем свежее и зеленое.

— Гляди! — воскликнул удивленный Антипыч.

И когда совсем подошли близко, опять повторил с удивлением свое:

— Гляди!

И показал на сучки дерева: они все очистились от лишаев бледно-зеленых, все покрылось темно-зелеными хвоинками, и каждая веточка кончалась резко светло-желтой, чуть-чуть с зеленью надставкой, веселой и сильной.

— Это новый прирост! — указал Антипыч.

— А что это? — спросил Вася.

— Это значит,— ответил Антипыч,— что дерево стало на свой путь.

— Какой же это у дерева путь?

— А как же,— ответил Антипыч,— у дерева путь прямой, самый прямой — к солнцу.

И показал кругом в ведре лесном на стволы прямые, и все, как один, напрямик от земли и к солнцу.

После того Антипыч показал и на сучья, что у каждого *хлыста*, как он называл стволы, непременно множество сучьев, и каждый сук непременно кривой.

Чудак этот Антипыч! Вот, сколько ни помнишь его, все говорил то ли шутками, то ли на что-то словами своими указывал... Тут он тоже взялся указать на то, что хлысты все прямые, а питающие их сучья все непременно кривые.

Могло даже быть и так, что Антипыч вздумал свой ум показать перед важным человеком: пионером в красном новеньком галстуке.

— Смекнул? — спросил он.

— Нет,— ответил удивленно и просто Вася,— я ничего не смекнул.

— Вот смекни,— сказал он.— Ты смекни это, что ствол у дерева есть прямой путь к солнцу, и он один путь, а сучьев великое множество, и они все разные, и все кривые. Ствол идет к солнцу, по правде, а сучки все по кривде. У вас там учат в школе: что это значит?

— Наверно, учат,— ответил Вася,— только мы до этого еще не дошли.

— То-то вот,— засмеялся Антипыч,— что не дошли, и, должно быть, не скоро дойдете!

— А ты,— спросил Вася,— ты-то дошел, ты это знаешь, почему у всякого дерева путь прямой, а сучки все кривые?

— Нет,— ответил Антипыч,— скорей всего до этого и я не дошел, мы же ведь и люди все, как кривые сучки, все говорим в одно слово: правда и правда, а когда доходим до дела, то ни у кого правды нет, все мы, как кривые сучки.

— Что ты, что ты, Антипыч! — воскликнул до крайности удивленный Вася.— Помнишь, ты мне давным-давно говорил, что знаешь правду истинную, и когда умирать будешь, то мне перешепнешь ее на ушко.

— Милый ты мой! — воскликнул Антипыч и засмеялся, и долго не мог остановиться: все смеялся и смеялся.

А Вася, не обижаясь, удивленно глядел на него, как мы глядим на что-нибудь такое диковинное в природе и спра-

шиваем себя постоянно, почему бывает то, а почему другое. Так и Вася серьезно спрашивает:

— Почему ты смеешься, Антипыч?

— Милый ты мой! — сказал наконец Антипыч,— Ведь это я тогда с тобою шутил.

— Ты шутил? — сказал Вася.— А скажи мне теперь, для чего ты в таком деле, в таком важном деле *шутил*?

Антипыч вдруг сильно смутился, как будто вдруг почувствовал над собою власть этого небольшого мальчонки в пионерском галстуке.

Ничего так и не мог ответить Антипыч на вопрос мальчика, для чего он над ним так шутил.

— Шутил! — грустно повторил Вася.— А что, если я спрошу учителя нашего Ивана Ивановича, скажет он мне, что такое есть правда истинная?

Антипыч серьезно задумался и потом ответил:

— Навряд ли даже и Фокин тебе тут ответит: для правды у человека вернее всего, что нет слов, она вся в делах, а как слово, так это говорят взамен дела, взамен правды...

— Нет! — ответил Вася решительно и серьезно.— Ты все шутишь и теперь, я тебе не верю — есть слово и для правды, говорят же все: правда истинная. Я спрошу у Ивана Ивановича!

— Конечно, спроси,— согласился Антипыч, все еще немного смущенный,— спроси, на что же вас там и учат. А что нас, лесников, спрашивать, что мы знаем? В уме-то у каждого есть правда своя, а оглянешься кругом, и нет никакой правды на свете.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Какие разные времена, какие разные леса, какие разные в лесах деревья, и как по-разному люди их понимают.

В старину говорили так: «в сосновом бору богу молиться, в березовом лесу веселиться, а в еловом — трудиться».

Елочка и Васе на это указывала: Васе досталось трудиться.

Елка — дерево собранное, она сучок подбирает к сучку, мутовку к мутовке, она, вырастая, как будто и нам всем путь свой дает, как пример.

Дерево неласковое, но растет чередом, и нашему Васе,

может быть, оно с малолетства указало добиваться своего во что бы это ни стало.

Долго Вася не решался спросить своего учителя Ивана Ивановича Фокина о том, что решено было в беседе с Антипычем: спросить хорошего, умного, ученого человека о слове, отвечающем правде.

Да и как спросишь! Дома про себя кажется все так ясно, и в школу придешь, кажется, вот только бы увидеть Ивана Ивановича — и все сразу так и слетит с языка. Но как только появится учитель, то сейчас же приходит в голову — непременно надо то все рассказать, что было перед этим, и о том надо тоже, как и с чего все взялось.

Многие ученики думали, что Иван Иванович только строг, и страшно его боялись. Но немало было и таких, что усердием и способностями привлекали к себе внимание учителя и думали: конечно, он очень строг, но тоже и справедлив.

Вася был любимым учеником и совсем не боялся Ивана Ивановича в обыкновенных делах, но зато в чем-то другом боялся его больше всех.

Что это такое, Вася никак не мог бы назвать, но скорей всего, мы думаем, это выходило из признания всех, что учитель справедлив и это значит: он знает правду и поступает по правде.

Поди-ка, расскажи все в двух словах строгому и справедливому учителю! И так вот получается у Васи каждый раз, что, когда надо спросить, и можно, и учитель тут рядом стоит и дожидается, все исчезает из головы, все испаряется. А чтобы не показаться явным дураком, то что-нибудь другое спросишь, и, значит, соврешь. И от этого усилия и в жар бросит, и в пот, и в краску.

После таких неудач Вася и зарок даже себе давал, чтобы не думать о таком чем-то и забыть. Но был у Васи какой-то ноготок в душе: точит и точит до тех пор, пока опять захочется спросить Ивана Ивановича это же самое: почему это у каждого правда только в уме, почему тоже — у дерева ствол такой прямой и один-единственный, а пути к нему — все эти сучья, несущие соки, разные и непрямые.

Червяк точит дерево, пока жив сам и пока не источит все. И этот ноготок в уме если заведется, то уж и не останавливается и будет точить до конца. Так пришел и этой Васиной затее конец...

Однажды в классе было очень шумно и на задних скамейках даже дрались. Казалось, весь класс был как

крона лиственного дерева в ветреный день, каждый листик, каждый гибкий сучок хотел сорваться с места, кого-то не послушаться и улететь.

И вдруг кто-то услышал шаги и крикнул:

— Идет!

В один миг в классе все стихло, и каждый, кому хотелось жить, как хочется самому только для себя, стал делать то самое, что каждому надо делать для класса.

Проходили умножение, и каждый бросился решать свою задачу.

Учитель вошел. В классе была тишина не мертвая. Такая живая тишина бывает в лесу, когда зеленеют деревья и в тепле горячего света каждый час все переменяется.

Вася быстро решил трудную задачу и сидел в ожидании учителя: Фокин всех обходил поочередно, кому помогал, кого наводил на ум, на кого сердился, с кем радовался.

Вася, положив перо, сидел на парте своей, ждал и слушал. Один ученик, решая задачу, говорил громким шепотом:

— Два в уме!

Другой, прошептав «пятью семь», повторял:

— Три в уме!

Так было и «четыре в уме», и «пять в уме», и весь класс повторял все то же: в уме и в уме.

Это повторение напомнило Васе ясно вопрос о правде в уме, и когда Иван Иванович подошел и очень обрадовался отлично сделанной работе, Вася вдруг осмелился и решительно произнес:

— Иван Иванович!

Он хотел спросить: «Говорят, что правда живет только в уме человека, и так же, как число в умножении, а что самой правды вовсе и нет на свете. Или, может быть, она есть и живет между нас невидимая правда истинная?»

Вася по годам своим, конечно, не мог бы уложить в слова свой смутный вопрос, как мы теперь его укладываем, но мы знаем это верно тоже и по себе, что такой был вопрос в Васиной голове, и если бы вышел вопрос, то как бы Фокин обрадовался!

Но случилось, когда Вася назвал учителя по имени и хотел спросить о правде, Иван Иванович что-то заметил в классе и положил руку на плечо Васе.

— Погоди! — сказал он.

Так делают учителя в классе: там надо остановить, здесь — переждать.

И, пристыдив того нехорошего мальчика, кто хотел списать задачу у другого, вернулся Иван Иванович к Васе и спросил:

— Ну, Вася, что-то ты хотел спросить?

— Иван Иванович! — начал было Вася.

И вдруг весь покраснел и сказать не мог ничего.

Учитель погладил его по голове.

— Ты,— сказал он,— ведь о чем-то большом хочешь спросить?

— Ага! — ответил Вася.

— Приходи ко мне после обеда, поговорим! — серьезно сказал Фокин.

И Вася успокоился.

После обеда у Ивана Ивановича был счастливейший час, когда он жил для себя. Конечно, дело свое он любил и все в деле у него шло хорошо, но это все было для будущего, когда еще дети вырастут, когда еще будущие граждане помянут его добром: его самого тогда, может быть, и не будет на свете. А так, чтобы вот сейчас, и не для кого-нибудь, и не то делать, что надо, а что самому лично хочется для себя — такого счастья был какой-нибудь только час в рабочем дне деревенского учителя. В этот час он отдыхал и не очень-то думал о будущих гражданах.

В этот час учитель ложился на кушетку и, над головой у себя нащупав кнопку, пускал в ход свой приемник.

Счастье это было в том, что весь-то приемник был делом рук самого Ивана Ивановича. Ветряк на крыше был сделан своими руками, динамку от старого автомобиля подарил ему знакомый шофер, и учитель сам выточил для нее новый якорь. Старенький аккумулятор он перебрал тоже сам.

Так с крыши в комнату пришло электричество. А сам ламповый приемник частями переходил из рук любителей. И когда такой самодельный аппарат стал передавать все, что делается на свете, то как тут понять, отчего именно пришел счастливый час: оттого ли, что получает каждый техник, входя в стихию изобретательного творчества, или же от соприкосновения своей собственной души с движением дня всего мира, отчего каждый из нас чувствует себя современным.

Скорей всего Фокину хорошо стало оттого, что он по себе и в том и другом увидел величие понятой им силы физики.

Когда в такой час Вася пришел и остановился в дверях, Иван Иванович поманил его пальцем к себе и усадил на кушетке.

— Помолчим! — сказал он.

Передавали рассказ Чехова о том, как фельдшер ключом дергал неудачно кому-то зуб.

Очень смеялись и учитель и Вася, но ученик не забывался и свой вопрос держал крепко в уме.

После Чехова Фокин закрыл приемник и спросил:

— Ты, Вася, мне что-то хотел сказать в классе, трудно там при всех о чем-то таком своем спрашивать; давай с тобой потихоньку обсудим, а потом, может быть, полезно будет наш разговор вынести в класс. Ничего ты со мной не бойся, не церемонься, через какие-нибудь десять лет ты, может быть, сам будешь учителем.

Васю Фокин очень любил.

Конечно, был грех у Васи с этим вопросом о правде. Он уже стал привыкать к тому, что учитель отличает его, и сейчас с этим вопросом втайне его не так правда к себе тянула, как чтобы удивить Ивана Ивановича. Вот скорее всего отчего он так и волновался.

Но теперь, при спокойных ласковых словах учителя, все напускное прошло, и Вася собирался учителя по всей правде спросить.

И это мы поймем: сама задушевная правда умным котеночком глядела из детской души, как глядит на лесной полянке цветочек.

— Хочется мне знать, Иван Иванович,— сказал Вася совсем спокойно,— верно ли это, что правда на свете одна для всех: правда истинная?

— Это бесспорно! — ответил учитель.

— И Антипыч тоже мне говорил, что правда на свете должна быть одна, а когда я пристал к нему и просил показать правду, он ответил, что правда у каждого человека своя, и сколько ни есть на свете людей, столько есть и разных правд.

Хорошие, хорошие, чуткие люди бывают среди деревенских учителей. Мальчик что-то о правде спросил — и нужно же так обрадоваться!

Иван Иванович вскочил с кушетки и быстро зашагал по комнате взад и вперед. Шагал и думал о правде, думал и думал, а о Васе как будто совсем и забыл.

О чем он думал?

Он думал о Виссарионе Белинском, соединявшем в свое время в себе пути русской правды. Личность этого человека была ему воплощением правды. Но Вася ничего не знал о Белинском, этим Васе ничего не скажешь.

Вдруг Фокин перестал шагать и спросил:

— Скажи, Вася, как это было у тебя, с чего у тебя начался этот вопрос, потрудись хорошенько, припомни.

— Мне трудиться нечего,— сказал Вася,— началось это давно, я еще и в школе не был. Антипыч указал мне на елочку в лесу маленькую, в рост человека, и сказал: «Этой елочке больше ста лет, и она не растет оттого, что ее затеняет другая. Солнце светит,— сказал Антипыч,— для всех одинаково, да мы-то все разные: каждому хочется стать поближе к тепленькому местечку на свете. Солнце любит всех, но каждый думает — его оно любит больше, и оттого рождается тень».

— Молодец твой Антипыч! — не удержался Фокин.— Но как же все-таки вы добрались с ним до разговора о правде?

— Так и добрались мало-помалу. Эту елочку мы освободили от тени, и она стала у нас поправляться. Как-то раз и вышел у нас разговор о том, почему это ствол у дерева прямой, а сучья неправильные.

Тут Антипыч и указал мне на правду человеческую, что истинная правда — она тоже одна и прямая, а у нас в уме у каждого свое, и сколько на свете людей, столько в мире и правд, и что это у людей с правдой, как у деревьев с солнцем: каждому хочется стать к свету поближе, и оттого у деревьев тень, а у нас неправда.

Мы с Антипычем давно в лесу говорим, и я его спрашиваю: «Как это, сам говоришь, правда одна, правда истинная, а в уме у человека правда своя. Как это может быть?»

— Вы-то знаете, Иван Иванович?

— Знаю! — ответил Иван Иванович.— Но честно скажу, сразу ответить тебе не могу. Давай вместе подумаем.

Так они и сидели на кушетке рядом, ученик с учителем, и оба думали о правде: Вася думал о хитром Антипыче, а Фокин о Белинском. Ясно была Фокину видна правда Белинского — вот как ясно! и в то же время сказать о ней мальчику было нельзя — слова такого не находилось.

— Нет! — сказал наконец учитель.— Слово на правде как-то не держится.

— Это и Антипыч,— ответил Вася,— тоже говорил вроде этого: что у правды слов нет.

— Правда, Вася, не в словах, а в делах. Одна правда на свете: правда истинная, а делают ее все по-разному и по-своему. Мне нравится, как вы с Антипычем выбрали себе примером дерево: оно ведь тоже живое, значит, и в нем есть правда жизни.

Мне нравится ваш прямой путь к солнцу, и что сучья, подводящие от листьев соки к стволу, все разные, и что ни один сучок, ни один листик не складываются — все разные, а все по-своему служат солнцу. Но я чувствую — есть какое-то слово о правде между нами, людьми, слово наше собственное, близкое всем нам.

Было ли это на время у Васи, что ему показалось, будто он через Ивана Ивановича смысл правды нашел, или такая добрая беседа сама ему представилась правдой, только ему было довольно этого: все служат правде истинной по-разному.

— Правда истинная,— сказал он,— ведь, конечно, много выше солнца?

— Истинная правда,— ответил Фокин,— обнимает Вселенную и еще дальше, все, что там за Вселенной, и без конца. И в то же время она тут с нами сейчас на кушетке.

И опять Вася почувствовал так, будто правда сейчас тут с ними на той же кушетке сидит.

— Спасибо, Иван Иванович, вы мне на все ответили, и я об этом скажу Антипычу. Скажу так: Иван Иванович тоже так думает, как и мы, что правда прямая, как ствол дерева, а все служат правде по-своему.

После ухода Васи учитель не стал заводить приемник.

Никто не знал лучше Ивана Ивановича, сколько нужно проводить времени и претерпеть его в пустяках, пока наконец не придет такой крылатый час, когда нам не нужно бывает никаких приемов и способов, чтобы самому держаться в воздухе и, когда захочется, летать куда вздумается.

Это кому-нибудь со стороны, может быть, и покажется, будто учитель после ухода своего ученика просто ходил, размышляя, из угла в угол. На самом же деле Иван Иванович не ходил, а летал из одной земли в другую в поисках такого слова, чтобы оно вполне совмещалось бы с делом и было бы словом истинной правды.

Летал Иван Иванович и в наших столетиях, и в далеких от нас временах. Смутно ему чудилось — скорее всего слово правды надо бы ему искать у Белинского.

И вот он подходит к своему шкафу, переносит книги на стол, пересматривает, перелистывает...

— Нет! — говорит он вслух.— Кажется, это встречалось у Чернышевского.

То же стало потом и с Лениным: ближе всех, казалось учителю, к правде подошел Ленин, и правда его, как особая материя, ощутимая сердцем русского человека, соединяла между собой поколения. У тех старых народов больше великие памятники прошлого, а у нас — правда...

Так и полуночные петухи прокричали. Иван Иванович много стран облетел, много книг перебрал и до конца не дошел: правду нашу он понимал и знал, как свою физику, но слова к ней не нашел. И так после всего остался вопрос: «Неужели же правда остается только в одних делах и не может быть слова у правды?»

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как ни теснятся деревья, но всегда, если захочется, найдешь себе светлое пятнышко, и с ним приходит надежда на скорый выход из темного, нудного в походе елового долгомошника.

Так идешь, идешь, высматриваешь себе светлое пятнышко и надеешься на скорый выход из леса. Но большею частью это бывает не выход на свет, а сквозь деревья просто небо показывается.

Сколько-то времени идешь без надежды и учишься поневоле понимать глубоко природу северного дерева елки. Это дерево может чахнуть в тени под пологом затеняющих его деревьев целое столетие и при первом соприкосновении со светом раскрыться во всю свою затаенную мощь.

Бывает часто, над чем работаешь всю жизнь, на то и сам мало-помалу становишься немного похож.

Так, может быть, и древний наш славянин, как елка под пологом, жил много лет, вырубаясь к свету из леса, и каждое пятнышко света принимал за свет, надеялся, и терял надежду, и все вырубался и вырубался.

И когда вырубился, то и сам победитель чем-то стал похож на дерево, никогда не теряющее надежду когда-нибудь выйти на свет.

Нам за то, может быть, и приглянулось Васино дерево, что захотелось ближе самого Васю понять.

До сих пор если сверху посмотреть на северные леса, то кажется лес сплошным от самой Москвы и до северных морей. Там и тут мелькнет среди лесного массива светлое

пятнышко, и это пятнышко с полями и есть все счастье человека в северном лесу, и это счастье он себе, вырубаясь, создал своим топором.

Вокруг такого светлого пятна полей узенькой пилой по небу глядит северный лес на дела человека. Северный человек по себе понимал природу леса, своего врага, он грозил ему топором, повторяя с древних времен: «Лес — это бес!»

А лес тоже стоял и, напряженно прищурясь, ждал случая покрыть собой эти вспаханные и удобренные для себя человеком поля.

Чуть война — и мужское население уходит из сел, лес сейчас же приходит в движение. На опушке у него для этого всегда стоит готовая стража. Лес движется по земле опушками: тут стоят его воины — семенные деревья, и ветер с них бросает на человеческие поля семена.

Чуть война затянулась — и в бороздах, и в кротовых кучах уже зеленеют березки, а под березками, в тени их, спасаясь от заморозков, переходят елочки, и так лес, собирая силу из множества, идет по земле и часто не оставляет никакого следа от прежней борьбы с ним человека.

Вот она где и таится разгадка и ответ людям, упрекающим северного человека за то, что он редко сажает дерево возле своей хаты. Не дожил он еще до того, не срубил еще далеко свой лес, чтобы ему захотелось сажать у себя возле дома деревья.

Так оно выходит как бы какой-то закон по всей земле: чтобы дикий лес у себя извести, а потом сажать вновь и любить отдельное дерево.

Для чего так делают на всем свете: изведут — и опять все сначала?

Мы так делать не будем!

Конечно, и у нас в Усолье эта дикая повадка в борьбе с лесом человека оставалась в полной сохранности: мало ухаживали за лесом, и всякий тащил себе оттуда на еду ягоды и грибы, на топливо — дрова, на стройку — деревья. Обходиться с деревьями, с каждым отдельно, как с человеком, сажать, удобрять, поливать — это первый завел у нас учитель Фокин Иван Иванович.

Это он первый вздумал весь большой школьный участок засадить двойным рядом лип, и что самое главное: он заставлял самих своих учеников находить в лесу эти липы в десятилетнем возрасте, выкапывать их, переносить, рыть ямы, удобрять, сажать, поливать.

И каждое посаженное кем-нибудь дерево непременно сохраняло в себе особенности того, кто его сажал. Иногда казалось, будто человек не дерево посадил, а сам себя на стороне увидел, и что хорошо особенно: с хорошей стороны себя самого увидал!

Так говорил у нас в Усолье учитель Фокин.

Не будь этой посадки лип, может быть, и Вася Веселкин забыл бы в лесу свою елочку вместе с детской правдой своей? Скорей всего так бы и забыл, а когда потом хватился — так и не нашел бы в лесу, может быть, и того ведерка, где стояла сосна-великан, и в ее фильтрованном свете стояла, глубокой тенью угнетавшая его елочку, сытая и довольная елка.

Тоже, может быть, и так совершается переход от леса дикого к лесу саженому в сознании самого человека: человек, посадивший дерево, начинает, как всякий, ценить свой собственный труд и через это ценить и любить самое дерево? А от своего трудового дерева перекинется к дикому и задумается над тем, что и дикие леса, даровые, тоже надо хранить.

Так было и с Васей, он вспомнил, сколько борьбы с Антипычем он перенес, чтобы заставить лесорубов срубить угнетавшую его деревце большую сытую елку.

В то время Антипыч еще был жив, они вместе с ним пришли к лесному ведерку, где сейчас мох зеленый, кукушкин лен, травы, цветы, грибы хоронили пень великого дерева — последнего пионера и могикана в Ведерках.

Васина елочка на первый взгляд была все еще угнетенным деревом, ничем не отличная во всем множестве угнетенных деревьев, составляющих особый лес в лесу, называемый подлеском.

Но для опытного глаза старого лесника Антипыча много было изменений. Много и знать было надо о жизни елки, чтобы понять эти изменения.

Дерево лиственное то ли не успевает за короткое время жизни своих листьев выработать себе форму: лиственное дерево бесформенное, как нечесаная голова, а у елки веточка к веточке прибирается, и ветви все вместе образуют нам хорошо известную форму.

Почему-то ночью в закрытых глазах нам представляется, будто все елки в лесу держат единую правильную форму. Но когда пойдешь в лес с топором, чтобы к Новому году найти себе елочку, то правильную не скоро найдешь,

а если и попадется такая, то все-таки и у правильной надо бывает что-то подправить.

Тогда ясно становится, что родилась-то елка в лесу неправильной формы, но человек понял ее форму как стремление к свету и на этом пути все поправляет и направляет.

Шли годы, и елочка, перестроив на свету свои клеточки, изменяла из года в год форму своих ветвей. А Вася, конечно, как и всякий человек, глядел на нее и ожидал от нее свершения правильной формы.

Комсомольцем он после нескольких лет застал свою елочку однажды, когда она большинство своих ветвей начала поднимать вверх, как руки. Это было оттого, что каждая более нижняя ветка старалась выйти из-под тени более верхней. И, обогнав ее, нижняя ветка поднималась, загибалась вверх к свету, как поднимается каждый сук, выходящий из тени на свет.

От этого каждый сук выходил рогом, снизу более длинным, кверху все более коротким.

Пришло время, Вася кончил семилетку, елка была не очень велика в высоту, но неузнаваемо расширилась снизу. Только самые нижние ветви почему-то не поднимались, как все, а оставались внизу.

После школы Вася стал лесником на место умершего Антипыча и во время ежедневных обходов встречался со своей елочкой и, каждый день глядя на нее, изменения перестал замечать.

Так он женился и с молодой женой Лизой был тут, рассказывал ей о великой сосне, показывал пень, больше и больше зарастающий цветами. И тут, показывая жене на свое дерево, вдруг он заметил всю огромную перемену.

Когда Лиза, не знавшая прошлого елочки, стала любоваться деревом, каким оно стало, Вася вдруг начал понимать, почему елка его растет, и очень быстро и правильно.

Заметил он что-нибудь? Нет! он в первую минуту ничего не заметил, отчего так стало. Но так и со всеми бывает: сначала представится что-нибудь через перемену, а потом начинаешь и сам разбираться, отчего так представилось.

Теперь не хилая елка стояла, а красавица во всем своем счастливом дыхании...

Но отчего она такая была, какая перемена случилась, что она такая, Вася не знал.

— Только почему же нижние ветви ее не поднимаются? — спросила Лиза.

И Вася не мог ничего ей на это сказать.

После того опять каждый день в лесном обходе он встречался со своей елочкой и не обращал на нее особенного внимания.

Потом, когда первый раз пришли с ним в лесное ведерко его детишки — Митраша и Настя, он опять обратил внимание, до чего правильно и роскошно на великом свету образуется его прежняя елочка.

Митраша, как и мать его, Лиза, сразу обратил внимание на нижние ветки, лежащие на земле. С того он и начал знакомство с елкой, что стал поднимать ветку. А когда поднял, то увидел, что она пустила свои корешки и держится за землю. Он дернул ветку с силой и оторвал. Эта ветка у него стала дверцей для входа в шатер.

Он вошел туда, в шатер, позвал Настю и дома ответил своей матери, для чего нижние ветви держались за землю и не поднимались к свету: для того, чтобы они с Настей могли в своем любимом шатре складывать грибы, ягоды, спасаться от внезапного дождя или просто сидеть.

— Как грибы под елкой? — спросила мать.

А Митраша отчего-то обиделся и ответил:

— Грибы не просто под елкой сидят...

— А зачем же они там сидят? — спросила мать.

— Они там растут,— ответил, насупившись, Митраша.

— Ну что ж, растите и вы, детки! — ответила Лиза и отчего-то тревожно вздохнула.

Детям было — Митраше девять, а Насте одиннадцать, когда началась война, и отец их Василий Веселкин ушел...

Сказать, чтобы перед уходом лесник нарочно пришел к своей елочке проститься,— это нельзя так сказать: наши люди таких чувств стыдятся и их не показывают... Так тоже нельзя сказать ни о ком, чтобы память о любимой, свободно растущей на круче сосне, или о веселой березке возле родной хаты, или о елочке, вроде Васиной, оставалась в душе и на памяти...

Скорее всего она оставалась как заступница родины, но сказывалась только в крайней беде.

Так было и с Василием. Он просто в раздумье перед уходом зашел на ту поляну, где стояла елка. Тут первое, что он увидел, это что пень великой сосны весь скрылся во мху и цветах. Тут ему вспомнилось, что когда хоронили Антипыча, то родные и в гроб ему положили цветов полевых, и на могиле тоже посадили цветы.

Посмотрев на убранный цветами пень великой сосны, Василий подумал: «Вот оно откуда взялось у людей убирать цветами покойников».

И тут же, взглянув на елку, он навсегда потерял свою мысль о том, что природа могилы своих покойников убирает цветами и что люди это взяли себе у природы.

Он увидел на своей елке, что каждый сук, рогом выходящий из тени вышележащего сука, держал и как бы торжественно поднимал на себе нескольких маленьких шишек кровавого цвета.

Сколько времени, сколько незаметного труда было истрачено у этой елки на образование ее правильной формы — и вот пришел конец: всякий изгиб любого сука находил себе оправдание и награду: он держал на себе знамя будущей жизни — маленькую шишку кровавого цвета.

С других веток на эти красные шишки летела великой массой золотая пыльца. У елки наступила брачная пора: ее семенные годы.

Василий, конечно, не мог бы сказать, что мы сейчас после всего говорим, что новая законченная форма елки была охватом бурных стремлений, направляемых к свету. Все это движение заканчивалось верхней мутовкой с единственным верхним указующим пальцем на солнце.

Так было, что сломись этот пальчик — и все сочетание миллионов сучков и хвоинок теряло бы смысл.

Сказать, чтобы Василий Веселкин так-таки все и думал на войне о своей елке в шишках кровавого цвета, осыпаемых золотой пыльцой,— нет! он никогда об этом не думал. Но случилось однажды, когда война уже решалась в пользу нас, сержант Веселкин вышел из окопа и приказал части своей подниматься в атаку.

Казалось, все было вокруг обыкновенно и просто, но вдруг свет, великий свет больше солнца, может быть, свет самой истинной правды просиял перед ним, и он открытыми глазами мог смотреть на него! Он видел на поле елочку правильной формы, и каждый сук, каждая ветка на ней выносила из тени на свет знамя будущего, сложенное в шишечку кровавого цвета, и на шишечку со всех сторон летела золотая пыльца.

Так было человеку, так ему и бывает порой, а люди видели самое обыкновенное, то, что видят они каждый день на войне: сержант Веселкин упал.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## КРУГЛЫЕ СИРОТЫ

### ГЛАВА ПЯТАЯ



С тех пор как пришла похоронная о сержанте Веселкине, убитом где-то на западе, жена его Елизавета каждый вечер, уложив детей, уходила в лес, и всю ночь, если очень прислушаться, долетал до села ее надрывный стон.

Раньше, в прежние войны, мужики очень боялись этого бабьего стона, слабый на сердце человек не мог выносить его и отводил душу по-своему как-нибудь, больше, конечно, в вине.

В этом женском вопле каждый у нас из войны в войну, от пожара к пожару является наследником переходящего из поколения в поколение чувства сиротства.

Казалось иногда, мы, русские люди, не живем, а какими-то круглыми сиротами переходим из одного времени в другое, новое, а там тоже война, и опять переходим куда-то... Но это, конечно, не всякому так именно складывается русская история. Можно думать даже, что это время сиротства кончается, и новый человек входит в историю с чувством беззаветной любви к своей матери-земле и с великим пониманием отца своего.

И мало того! нам, участникам эпохи сиротства, кажется, что прежний круглый сирота несет с собою какую-то новую правду для всего мира.

И нет! конечно, не всякий мужчина отвечает на женский стон непременно вином. Иной человек от этого стона погружался в глубокое молчание и собирался с духом, чтобы когда-нибудь с этим всем злом разом покончить и начать какую-то новую жизнь.

Да, так собиралась гроза революции, гроза кругом на весь мир.

Утром дети Веселкины уходили к матери в лес, к тому самому месту, где клюква, брусника, черника, папоротники, горошки, незабудки, гвоздички и всякие всевозможные цветы хоронили навсегда пень великой сосны и тут же мало-помалу расцветала Васина елочка.

Тут на широком ложе соснового пня, на его цветах дети находили в беспамятстве свою мать и начинали реветь. И мать, слушая детский плач, приходила в себя, поднималась...

Так и пришел этот страшный час для сирот, когда мать их и не поднялась.

Тогда, первые дни, кто бы ни встречал детей, каждый старался выразить им свое сочувствие и со слезами в глазах говорил:

— Круглые сироты!

Попробуйте весной ударьте в березу ножом — сок польется из дерева белый, потом рана сделается красной: сок перестанет литься, но рана, след ее, останется навсегда. Так и с нашими детьми было, как с березой, только что на березе рану всем видно, а люди привыкают свои душевные раны таить: каждый таит, а все вместе, конечно, к чему-то выходят. Наши дети с виду скоро поправились и всех удивляли своим недетским мужеством.

Все мы видели, как не без помощи, конечно, добрых людей дети справились с хозяйством и стали жить между нами в селе настоящими большими хозяевами: Митраша, как маленький настойчивый и упрямый мужичок, Настя, годом старше его, вела себя, как женщина совсем взрослая, умница.

У всех на глазах так это удивительно случилось, что Митраша случайно из большого отцовского ружья убил страшного вредителя деревенских стад — известного волка, прозванного Серым помещиком. Всем тоже пришлось по нраву, что когда из колонии ленинградских детей пришли в село за помощью сиротам, то Настя отдала им весь свой годовой запас весенней сладкой клюквы, целебной ягоды, собранной ею самой в болотах. Да, пожалуй, этот поступок девочки нашим людям еще больше пришелся по душе, чем геройская расправа мальчика с Серым помещиком.

В этом общем сочувствии Насте сказывалось, может быть, то самое сиротство, скопляемое из войны в войну, из поколения в поколение. Ленинградские дети были у всех на глазах, рассказы о каждом ребенке переходили из села

в село и, случалось, так трогали сердца простых людей, что бездетные брали сирот, и эти сироты находили себе отцов и матерей.

Так можно сказать, что в какой-то мере в это время сироты Митраша и Настя вели и оказывали всю тайную сердечную жизнь нашего села.

Было однажды, в первые дни самой ранней весны, Митраша с Настей вышли на солнечную опушку. Тут они хотели вместе подумать, не пора ли собираться в болота за вытаивающей из-под снега самой сладкой весенней и полезной от всех болезней клюквой.

Само собой так сложилось, что дети пришли и сели на пни у той самой опушки, у той самой полосы колхозных полей, где корчевал перед самой войной пни их отец, и вся семья — и жена и дети — ему помогали. Работа была трудная: отец и мать выкапывали пни, а ямы от пней на поле заделывали дети. Приказ от старших был детям такой, чтобы нижнюю землю, бесплодный песок укладывать в яму на низ, а наверх чтобы приходилась темная хорошая земля из-под леса. Теперь, за годы войны, лес успел собраться с силами и повел свое наступление на дела человека. На каждой разделанной ямке, разрыхленной, удобренной, трехлетняя березка маленькая под тенью своей выводила совсем крошечную малютку-елочку.

Через дело отцовское, через труд его и через ужасное горе Митраша, как сильный мужичок, вник в самую жизнь этих маленьких деревьев, самовольно выросших на месте труда человека, и, преодолев горе, обрадовался одной своей догадке. Он так ей обрадовался, что захотел сию же минуту об этом Насте сказать, и сказал, не оглядываясь на нее:

— Настя, а деревья-то ведь тоже ходят!

Это и была его догадка, что деревья живые и тоже, как люди, могут ходить по полям.

Мало того! Разве это не удивительно, что и по всему полю там и тут деревца вышли на простор полей, как маленькие люди.

— Настя! — даже немного и рассердился Митраша.— Чего ж ты молчишь? Ты погляди только, ведь под каждой березкой на поле укрывается елочка. Деревья, как люди, выходят из леса и расходятся полями.

Настя, однако, молчала. Когда же Митраша на нее

оглянулся, то лицо ее было все облито слезами, и сквозь слезы блестели большие карие и чуть-чуть с раскосом глаза. Митраша сильно испугался этого лица Настина, отвернулся и долго молчал и, дергаясь изредка плечами, все так сидел и сидел.

Тут весенний первый дождик пошел, и он под дождиком на своем пне мокрым кобчиком, все не оглядываясь, сидел и сидел. Но дождик все шел, и Митраша, не оглядываясь, наконец сказал:

— Настя, ты не плачь, отец наш, может, еще и жив.

Настя же давно поняла, почему Митраша сидит молча так долго, не оглядываясь, почему плечи его дергаются время от времени, собралась с духом и на слова Митрашины, сказанные ей в утешение, ответила:

— А ты это верно, Митраша, сказал, деревья тоже по нашим полям ходят, как люди.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Не у нас одних, в Усолье, это было, а тоже на торфоразработках в Купани пришел домой схороненный и оплаканный Михаил Новоселов. За озером в Хмельниках было двое, об одном бумага пришла, что убит, о другом, как о без вести пропавшем,— тоже оба пришли. За лесами же Бармазовскими в селе Половецком был и такой случай, что жена успела и похоронить, и устроиться по-новому с другим, с новым мужем, и только устроилась, откуда ни возьмись, приходит старый муж.

Тоже бывало и так, что никакого нового мужа не было, а просто женщина мысль эту о муже потеряла, схоронила ее, стала на свои ноги, полюбила свою независимость, а тут-то вот и появляется муж!

Все было. Если взять посчитать, сколько такого случалось во всем-то большом Переславском районе, так и задумаешься и спросишь себя, отчего же раньше-то в прежних войнах бывало такое редко до крайности, а в этой войне сколько-то случаев на то или другое место было как правило.

Мы опять скажем об этом: а ведь раньше и войн таких не бывало, чтобы кругом со всего земного шара люди сходились убивать друг друга такими массами. Раньше был твердый счет человеку; все, конечно, были, как все, но и каждый в отдельности тоже не забывался. Теперь

же в таком массовом деле сплошь да рядом выходили ошибки.

Так было, когда Митраша и Настя вернулись домой из леса, возле избы у них на завалинке в ожидании их сидела почтальонша и с ней двое наших любопытных. И уж, конечно, эти любопытные держали в уме догадку о хороших вестях для наших сирот.

Письмо было трудное для чтения. Василий Веселкин писал его левой рукой и с этого и начал писать, что правую руку ему хотели отнять, да он не дал: рука висит, и он учится писать левой рукой. Это было понятно написано, а дальше приходилось по отдельным словам только догадываться. Все складывалось в письме к такому смыслу, что после первого большого ранения, когда все думали, что он убит, он не скоро поправился и в это время посылал письма. Этих-то писем дома и не получали, и оттого вся беда и вышла: получили только похоронную. Во второй раз он был ранен в руку на севере, и, как поправится, то его больше в строй не возьмут, а как лесника назначат искать в северных лесах материал для фанеры на самолеты. За весну и за лето он надеется работу свою закончить, и его совсем отпустят домой, все равно: кончится война или затянется.

Пока это письмо разбирали, народу собралось возле хаты Веселкиных множество, и всем хотелось помочь написать сейчас же Веселкину ответ.

Так случается в жизни: людям даже и в такое ужасное время, какого и никогда на свете не бывало, приходит радость. Такая была это радость, что дети сидели на завалинке с горящими щеками, с блестящими глазами: у Насти блестели глаза карие, чуть-чуть с искосом, как у монголов, у Митраши серые большие глаза были точь-в-точь как у отца.

Дети сидели и радовались, а вокруг них народ все прибывал, пока наконец не решили, что писать ответ надо немедленно, и о чем писать, надо детям помочь. С этим решением писать сейчас же ответ все ввалились в избу. Митраша достал лист писчей бумаги, Настя что-то мешала в чернильнице, все стояли вокруг стола. И только бы вот начать вместе сочинять и диктовать хором маленькому Митраше, вдруг догадливый бондарь Скворешников Леня носик острый свой просунул между плечами чужими к столу и так говорит:

— Писать, писать, а куда же мы посылать будем?

Ему, конечно, ответили:

— Писать по адресу.

Стали искать адрес, а в письме об этом ничего не было. Вертели, вертели, да так понемногу бросили, и человек по человеку стали выходить.

Так вот люди все ушли, да и радость тоже с ними ушла из избы. Что-то смешалось в душах детей, и радость о том, что отец жив, и печаль, что правая рука у него висит, и тревога о том, что нет адреса и что ждать надо до осени, а придет осень, опять что-нибудь выйдет плохое...

Так, измученные за день и счастьем и горем, дети в этот раз, не зажигая огня, улеглись было спать.

И, конечно, дети и тут оставались детьми: как легли, так и заснули.

Еще не было очень поздно, сосед бондарь Скворешников Леня стругал своим ладилом дощечки для бочки и пел. Вскоре взялся петь и сверчок.

Вдруг Митраша как вскочит с постели, как закричит:

— Настя, Настя, скорей просыпайся, скорей вставай.

Настя села на постельке заспанная, но быстро, умница, собралась.

— Что с тобой, Митраша?

— Настя! — сказал Митраша твердым и решительным голосом.— Я пойду на север искать отца. Его, больного, нельзя так оставить. Ты пойдешь со мной или тут останешься?

— А куда же мы пойдем, Митраша, ведь у нас нет его адреса?

— Об этом мы будем говорить у Фокина Ивана Ивановича. А ты мне сейчас говори ясно и твердо и навсегда: пойдешь ты со мной искать отца?

— А куда мы пойдем? — повторила Настя.

Митраше не терпелось, и он резко сказал:

— Пойдем, Настя, отца искать, об этом я тебя спрашиваю, пойдем, куда глаза глядят. Понимаешь меня?

Настя и правда только сейчас спросонья совсем очнулась и сразу все поняла и ответила:

— Поняла, Митраша, я тебя поняла только сейчас. Куда же я тебя одного от себя пущу,— конечно, пойдем.

— Куда же пойдем? — спросил Митраша.

Настя улыбнулась и ответила:

— Куда глаза глядят.

И Митраша успокоился: Настя его поняла.

Тогда Митраша встал и сел на кровать рядом с сестрой.

— Сейчас еще время не поздно, вставай, одевайся, и пойдем к Фокину Ивану Ивановичу. У меня есть план: все, все ему сказать, всю правду истинную, и он, как отец наш, он станет за нас и даст верный совет и все сделает нам.

— Как же сказать ему правду истинную? — спросила Настя.

— Так просто и скажем: умрем, а отца найдем.

— Да, это правда,— ответила Настя,— мы отца своего найдем.

Так под горячую руку Митраша нашего дорогого учителя Фокина Ивана Ивановича назвал отцом и ему, как отцу, захотел тут же ночью сказать, открыть всю свою сиротскую правду истинную.

Так широка, велика, так огромна и как часто пустынна бывает наша дорога к отцу! Но каждый из нас знает,— за каждым кустиком, из каждого овражка во все глаза на нас кто-то глядит.

Кто это?

Еще маленький человек, Митраша это уже знал, уже понимал, кто это, но сло́ва этой великой правды не знал.

И к этому ли отцу он звал свою Настю?

Тоже и Настя, конечно, это знала.

И дети к своему учителю сейчас вместе пошли, как к отцу.

Подумаешь о прошлом нашем, что из войны в войну отцы от нас уходили и умирали, но правда-то наша, та самая, что только такому человеку, как отец, ее можно открыть,— эта правда с нами, с сиротами, так и остается, так и ждет, чтобы открыться самому хорошему для нас человеку.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Старые учителя деревенские у нас очень долго оставались на своих местах, и были такие, что даже и до конца своего оставались в той же школе.

Таким учителем был у нас Фокин. Липы, посаженные десятилетними четверть века тому назад, были свидетелями учительской жизни Ивана Ивановича. Все теперь, кто

бы ни приехал, любовались летом тенистыми аллеями вокруг всего школьного участка. Зимой же, если окна не были совсем заморожены, еще удивительней были разросшиеся за четверть века лимоны и фикусы. В каждом классе было большое дерево до потолка, и дети с того начинали свои занятия, что тряпочками протирали пыль с каждого листа своего фикуса. Из окна же зимой, если снаружи посмотреть, удивительно казалось, что вокруг везде белый снег и трескучий мороз, а в классе дети сидят, как в раю, под своим классным фикусом или рододендроном.

В каждом городе нашей области и в самом Ярославле в начальниках были ученики Ивана Ивановича, но люди как люди — и особенно хорошие люди, уходят в свои дела и в них затаиваются. А деревья вокруг школы и в классах все-таки собой показывают и рассказывают о человеке.

Большое это было дело, и много лет надо было, чтобы вырастить деревья вокруг школы и так устроить внутри, чтобы зимой из окна школы выглядывал рай.

Зато через много лет теперь растения каждому стали сами собой рассказывать о хорошем человеке, о тех самых людях, кого вел за собой учитель.

Поседели виски, побелели от времени усы. Лицо, всегда загорелое, теперь потемнело, как бронза. Но динамка на крыше, много раз ремонтированный аккумулятор, самодельный приемник были все те же самые.

Вечерний час для учителя был самый счастливый, когда он, еще не раздеваясь, лежал на своей кушетке и, не глядя на приемник, рукой над своей головой управлял знакомыми кнопками. В этот-то самый спокойный час кто-то постучался в окно.

Учитель приподнялся, открыл форточку и на свой вопрос: «Кто там?» — получил ответ:

— Мы, Веселкины, Митраша и Настя, пришли по большому делу. Пустите нас, Иван Иваныч.

Фокин спокойно встал, закрыл приемник, снял с двери крючок, открыл дверь, и дети вошли.

Усадив гостей, учитель спросил:

— По какому же делу, на ночь глядя, вы пришли ко мне?

— На ночь глядя,— ответил Митраша,— мы к вам, Иван Иванович, пришли по большому делу, по самому большому, какое только у нас может быть.

Чем хорош был Иван Иванович, это что лишних слов никогда не тратил и нужные слова в другом человеке сразу узнавал и выбирал.

— По большому? — повторил он вслед за Митрашей.— Какое это дело?

— Отец находится,— ответил Митраша.

Иван Иванович от этих слов Митращи чуть заметно вздрогнул: он вдруг вспомнил, что четверть века тому назад совершенно такой же мальчик, любимый ученик его Вася Веселкин, разговаривал с ним на том же месте о правде истинной. Вспомнилось ему, как тогда сам чуть-чуть оторопел от вопроса мальчика и стал с ним вместе думать. И хорошо помнилось до сих пор это, что вместе придумалось: у правды нет слов, что истинная правда в делах.

— Четверть века тому назад,— сказал Иван Иванович,— мы с отцом твоим говорили на этом самом месте, что истинная правда не в словах, а в делах. Вот они теперь слова-то: чего, казалось, верней, похоронная! а оказывается теперь, это неправда. Что же вы, письмо от отца получили?

В эту минуту Настя, умница, понимая, что нельзя у Ивана Ивановича на ночь глядя отнимать время на разговоры, сказала спокойно и учтиво:

— Извините нас, Иван Иванович, мы письмо получили и прямо к вам, как к отцу.

И подала ему в руки письмо.

— А! — только и сказал Иван Иванович, сразу все поняв и мгновенно по привычке учительской переходя от слова к делу.

Он повернулся к столу, к лампе. Долго читал, долго изучал письмо с таким видом, как будто делал самое что-то важное, самое главное. После того хватился за конверт и стал его долго разглядывать.

Закончив изучение конверта, в таком же раздумье, как бывало в старину с Васей Веселкиным, обратился к гостям: сам один не может решить, а необходимо вместе подумать.

И пересел на кушетку и детей позвал сесть рядом с собой.

— Все понимаю,— начал Иван Иванович,— у нас было одно такое дерево, теперь от него остался только пень, и там растет Васина елочка: вы ее знаете. Это дерево срубили на фанеру для самолетов. А старый лесник Антипыч тогда

рассказывал Васе и мне тоже не раз говорил, что где-то на севере у какого-то маленького народа есть священная Чаща и там дерево к дереву стоит так часто, что стяга не вырубишь, и если дерево срубить, то оно не упадет, а только прислонится к соседнему и будет стоять. Эти деревья так чисты, что нет сучков на большую высоту, а под деревьями мох белый олений, и тоже чистый и теплый, станешь на коленки — и только чуть хрустнет и будет, как на ковре. Тогда кажется человеку, будто его эти деревья, поднимаясь к солнцу, и самого поднимают. Сам Антипыч так рассказывал. Вася, отец ваш, ему говорил: «Ты, Антипыч, это нам сказку заводишь».

В ответ на эти слова Антипыч снимал с головы шапку и говорил: «Это не сказка, это правда истинная».

А после Вася ко мне приходил и спрашивал меня, есть ли на свете какая-нибудь другая правда, одна истинная и какая-нибудь неистинная.

«Правда неистинная,— отвечал я,— называется ложью, а истинная правда на свете одна, и эта правда не в словах, а в делах».

— Ты теперь меня понимаешь, Митраша? — спросил учитель.

— Хорошо понимаю,— ответил Митраша,— мне тоже кажется, будто отец рассказывал про белый мох со слов Антипыча, что на мху чисто, как в императорском дворце.

— Вот правда! — сказал учитель.— Я тоже помню, Антипыч говорил, конечно, так: в императорском дворце. Теперь я думаю, что это не сказка: чаща эта есть где-то на севере, и отец ваш вспомнил ее и теперь хочет помочь нашему делу: руки-то все-таки нет у него, и правой руки, так просто воевать нельзя ему, то вот он хочет помочь этим способом. По-моему, чаща эта есть на свете, и отец ваш ее непременно найдет. Отец ваш — смелый, умный и правдивый человек: он правду не променяет на сказку, напротив, он и сказку сделает правдой, он эту чащу найдет.

— Сказку сделает правдой! — повторил Митраша.— Разве так можно?

В это время, когда Митраша и сам учитель его Иван Иванович, такой маленький Митраша и такой большой и даже старый учитель, вместе приходили к какой-то неведомой чаще и в чаще находили какую-то правду истинную, маленькая женщина Настя сгорала от нетерпения перейти

к правде, к самой правде, как она ее понимала. Вот почему, улучив минутку, когда Митраша открыл учителю свой план идти на север искать отца, тихонько и спокойно сказала:

— Вот только, Иван Иванович, мы адреса-то не знаем: отец не пишет, где эта чаща, где даже он сам.

— Как не пишет,— ответил Иван Иванович,— а на конверте разве вы не заметили штемпель: Пинега. Чаща, наверно, где-нибудь там, и сам он где-нибудь в больнице или в лазарете. Очень даже просто пойти туда и найти. Поезжайте, поезжайте,— сказал Иван Иванович.

И детям показалось, будто учитель ушел от них куда-то далеко, в свою какую-то учительскую, и оттуда глядит и все видит и знает, о чем думают дети. Но детям туда, в учительскую, нельзя, и оттого никак не поймешь, то ли вправду можно ехать им за отцом, то ли учитель смеется.

Помолчав недолго, дети смущенно и осторожно спросили, сначала Митраша:

— Это вправду, Иван Иванович?

Умница Настя хитро поправила:

— Как ты смеешь, Митраша, так говорить: Иван Иванович всегда говорит правду.

Между тем Иван Иванович, глядя на детей издалека, вдруг как будто вышел из своей далекой учительской, повеселел, погладил Настю по головке, сказал:

— Сейчас пока вы никому ничего не говорите. Пусть это будет вашей великой тайной, и вы храните ее. Там, на Пинеге, я слышал, живут простые, хорошие люди, и их смешно зовут там: пинжаки. Поезжайте, детишки, смело, такое раз в жизни приходит, счастьем будет великим на всю жизнь, если найдете отца.

Митраша поверил учителю и сказал:

— И отца найдем, и Корабельную чащу.

Настя же все еще не совсем вверилась тому, что учитель говорит совершенно серьезно, и спросила:

— А вы нам поможете, Иван Иванович?

Тогда Иван Иванович уже несомненно вполне серьезно ответил:

— Вы сейчас, детки, идите спать и будьте спокойны, я же все обдумаю, посоветуюсь с кем надо и после все вам скажу. Да, конечно, если только возможно, я вам помогу.

Тогда дети, как будто и вправду свалив заботу о будущем на учителя, пошли домой и там сразу уснули.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## ДРУЗЬЯ

### ГЛАВА ВОСЬМАЯ



Медицинская сестра Клавдия Никитина, вставая утром, привыкла начинать день с того, что отрывала листок своего календаря на столе и, покручивая бумажку, некоторое время в постели собиралась с мыслями.

Она была немолодая, но нельзя тоже сказать, чтобы совсем и старая девушка. Может быть, оттого каждое утро мысли ее разлетались веером в стороны, и каждое утро их надо было связать.

Вот отчего она каждое утро скручивала в трубочку листик и все крутила и крутила, пока не складывался ясный план рабочего дня.

Собравшись с мыслями, сестрица одевалась, умывалась, делала свою гимнастику и в то же время не выпускала из рук скрученный в трубочку листик отрывного календаря.

Бывало, положит где-нибудь рядом трубочку во время умывания или гимнастики, а потом непременно найдет и все крутит и крутит, теперь скорей всего уж без всякой мысли, по одной только привычке.

До того ее доводила эта досадная привычка, что потом и после чая захватит трубочку на службу, да так и ходит от больного к больному. Бывает, конечно, возле какого-нибудь серьезного больного она и забудет трубочку. Так вот до чего же берет в свои руки человека привычка, что деловая женщина тут же начинает искать свою игрушку.

— Чего это вы ищете, Клавдия? — спрашивает старшая сестра Махова.

И Клавдия тут непременно что-нибудь соврет: скажет — пинцет потеряла, щипцы или бинт. Нельзя же сказать старшей сестре, что ищет свою крученую трубочку из листика отрывного календаря.

В этот раз, обходя поутру больных, Клавдия должна была поправить подушки у сержанта Веселкина. И тут-то, в его постели, она и потеряла свою бумажку. После, когда она хватилась и вернулась к Веселкину, чтобы взять свою трубочку, сержант уже нашел ее, раскрутил здоровой левой рукой и читал.

Охотно бы Клавдия подошла к сержанту и поболтала с ним. Была она далеко не молодая девушка, но сохранилась птичкой, летала и щебетала, как молоденькая. Старшая сестра Махова, женщина с большой семьей на руках, говорила о Клавдии:

— Птичка все о чем-то мечтает!

И вот как раз, когда птичка подлетала к сержанту, внезапно встречается Махова и спрашивает:

— Вы опять что-то ищете?

Клавдия без слов повернулась, и Веселкин сделался обладателем календарного листка.

Часто бывает, даже и целая книга лежит-лежит в библиотеке на полке, и люди ее обходят. Но случайно обратит на нее внимание ее настоящий читатель, и книга оживает.

Так и этот календарный листик, скрученный в глупую трубочку, попал теперь в руки того, кто его ждал.

На развернутом листике был напечатан портрет Белинского, и Веселкин прочитал под ним его знаменитые слова о том, что мы — русские — призваны сказать всему миру новое слово, подать новую мысль.

Так постоянно бывает между людьми: мысль, как крылатое семечко по ветру, находит какой-то свой способ лететь от человека к человеку и находить своего друга, хотя бы и через сто лет и за тысячи верст.

Так и в этот раз слово нашло своего человека и сделалось его собственной жизнью.

Кто знает, совсем это, может быть, и не случайно, если вникнуть всем своим умом и сердцем в жизнь этого человека, разобрать во всех подробностях, почему, может быть, сотни людей на то же самое слово глядели слепыми глазами, а тысяча первый взглянул и понял.

Веселкин взглянул — и схваченное глазами слово проникло в него.

Веселкин понял.

И вышло теперь, что мысль Белинского, как крылатое семечко, вылетело от одного человека, через сто лет прилетело к другому и пришлось ему так же точно, как приходится на сухую разогретую землю капля дождя.

Бывает же так!

Веселкину сразу же вспомнилось, как он мальчиком со своим учителем Фокиным решали когда-то вопрос о правде, о том, что вся правда в делах остается, и оттого, может быть, у правды нет слов, и постоянно люди между собой говорят:

— Дайте нам правду, а не пустые слова!

Но как же это может быть, правда отдельно, как голая, живет только в делах, а слова о ней, как одежда голых людей, висит и болтается где-то в стороне на веревочке?

А вот у Белинского правда всего нашего дела переходит в слово. И это новое слово укажет всему миру новый путь.

Обернув страничку на другую сторону, Веселкин прочитал там о том, что великий демократ родился в 1811 году, а умер в 1848-м. Выходило, что новую мысль Белинский предсказал в первой половине прошлого столетия.

«Как это могло быть,— спросил сам себя Веселкин,— что Белинский задолго до нашей революции мог сказать так смело и решительно?»

В прежнее время, когда был здоров, Веселкин не стал бы заниматься праздными вопросами. Он бы просто вспомнил Фокина, примерился бы к его пониманию, и так бы ответил сам себе:

«Каждый из нас понемногу думает вперед, и это от каждого складывается в одно место, куда приходит великий человек, соединяет все в одно и решает».

Теперь же из-за больной руки он шевельнуться не мог, и голова от нечего делать вертела вопрос, раньше казавшийся праздным.

Сержант, раздумывая, повернул глаза к окошку. Небо с его места нельзя было видеть. Но пойменный луг, заваленный снегом, широко расстилался. Было на севере самое время начала весны света, когда свет после долгих, почти не размыкаемых между собой ночей приходит, как великая радость жизни.

Это время весны света, когда о весне думают только хозяйственники да мельчайшие черные блошки появляются во множестве великом и сидят на снегу.

По нарочно приготовленной зимней ледяной дороге лошади «ледяночки» вывозили на берег для весеннего сплава из леса ошкуренные желтые «хлысты».

День был солнечный, и на белом снегу тени от сложенных ярусами хлыстов были голубые. Так и догадался Веселкин, не видя неба, что большие, голубые, переходящие пойму по снегу тени были от облаков.

«Вот,— подумал он, возвращаясь к своей мысли,— неба-то я и не вижу, а по этой пойме понимаю облака и что на воле сейчас ветер, и не очень сильный: тени проходят степенно. Так, может быть, и Белинский догадался о том, что родная земля когда-нибудь скажет новое слово для всего света.

Родится у нас, а придется для всех слово правды.

Ему представилось: где-то на невидимом небе всего человечества бродят скопленные всеми веками великие мысли, бросают тени, как облака, и по этим теням особенно чуткие люди догадываются и понимают самые мысли...

Еще раз прочитал он о Белинском и только теперь обратил внимание на заключительные слова: «...какое это слово, какая это мысль, об этом пока рано нам хлопотать...»

«Служу Советскому Союзу,— ответил сам себе Веселкин на эти слова Белинского.— Это мое дело правды».— «А вся большая правда?»

И повторил из Белинского: «...а какое это слово, какая это мысль, об этом пока рано нам хлопотать...»

Этим он как будто заглушил в себе, как ему казалось, «праздную» мысль о необходимости слова. Но зато в чистой совести раненого воина сошлись и остановились без спора и те проходящие на невидимом небе облака, и видимые голубые тени на снегу, и все стало так — о чем бы только ни подумаешь, все тут же мгновенно разрешается в согласие.

Тихо стало в душе, ясно в голове, и тут явилась на памяти угнетенная елочка, за сто лет собравшая рост человека с поднятой рукой. Но в минуту согласия даже такое несчастное деревце вдруг процвело.

Свет великий, безмерный, могучий и страшный бросился к угнетенному существу, но этот страшный свет тут же был взят, измерен, устроен, жизнь победила — и елка покрылась красными кровяными цветами в золотой пыльце.

Веселкин радостно подумал и об этой своей елочке, и о собственном сучке своей правды, и о себе самом, и о всем русском угнетенном народе, и о том, что на всех нас бросился свет правды безмерной, могучей и страшной...

«Если даже простая елка,— думал Веселкин,— столько лет должна была болеть и перестраивать теневые хвоинки на солнечные, то как же, переделываясь, должен болеть русский человек, чтобы вынести такой великий и страшный свет!»

Вспомнился и Антипыч, как он, указывая на солнце, говорил: «У них солнце, а у нас правда!»

Приходило все хорошее, все складывалось, все устраивалось так ладно в чистой совести раненого воина.

Или это он так выздоравливал? Скорей всего так, а то почему же его здоровая левая рука, самостоятельно и независимо от мечты о каком-то новом слове для всего света, явно пыталась выкрутить из листка отрывного календаря козью ножку. А уж когда больному курить захотелось — это бывает самый верный признак выздоровления.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

День весны света на севере в снегах сиял много ярче того, как он сияет на юге над темной землей. День сиял на радость и другого больного, лежащего недалеко от Веселкина.

Человек этот был такой большой, что длины койки ему не хватало, и ноги свои он то подгибал, то помещал, вытягиваясь, сверх спинки железной кровати.

Такой большой человек и немолодой, лет под шестьдесят, видно, очень крепкий, мощный, теперь лежа внимательно глядел в одну точку, и глаза его, совсем детские и ясные, какие иногда бывают у больших людей, на досуге чему-то по-детски улыбались.

А это было, что он давно заметил, как Веселкин своей здоровой левой рукой начал что-то выкручивать из календарного листика. Простой человек легко мог догадаться о добрых мыслях соседа и потому, что мало-помалу ему становилась понятна цель кручения: пальцы здоровой руки делали козью ножку.

«Покурить захотел!» — понял большой человек, и тут-то он и стал следить за пальцами светящимся глазом и с детской улыбкой.

Кто не знает, что когда больному курить захотелось, то это значит то же самое, что жить захотелось.

Большой человек сочувствовал своему соседу. Видно, ему от души хотелось, чтобы больной сосед свернул козью ножку и, может быть, как-нибудь исхитрился и покурил.

Да и самому-то ему, наверное, захотелось с соседом покурить и побеседовать.

Не так легко, однако, было одной рукой свернуть папиросу. Раненый, о чем-то размышляя, здоровой рукой

подносит бумажку к забинтованной руке с торчащими из-под белого бинта белыми бескровными пальцами с синими ногтями. Три пальца забинтованной руки — большой, средний и указательный — зашевелились и помогли здоровой руке скрутить козью ножку.

Вот тогда-то большой человек, уверенный, что дела у соседа пошли к лучшему, обратился к нему:

— Товарищ дорогой! Вижу, ты скрутил себе козью ножку. Может быть, ты знаешь, где бы нам с тобой можно было достать табачку и покурить?

Веселкину нельзя было повернуться, чтобы увидеть лицо соседа. Но по голосу он чувствовал друга и ответил ему:

— Очень бы хотел покурить, но можно ли? Мне и в голову не приходило покурить. Я думал совсем о другом. А рука это сама крутила. Видно, должно быть, и в руке тоже свой какой-то умишко живет.

Большому человеку эти слова очень понравились. Он засмеялся и, как водится у всех людей в дороге или на чужбине, спросил:

— Ты сам-то, товарищ, откулешний?

Охотно и с дружеским чувством, возбужденным одним только голосом, сержант ответил:

— Я издалека, из-под города Переславля-Залесского.

И потом, отвечая на другие вопросы, и о том, где этот город, и что в этом городе люди делают, о всем таком рассказал. И еще — что живет он не в самом городе, а в селе Усолье, и что жена его Елизавета, и он не знает верно: жива ли она, и что дети у него, и тоже не знает — живы ли они двое.

До тех пор пришлось отвечать Веселкину, пока соседу его стало все ясно. И сержант стал ему своим близким человеком.

Вот только после этого длинного опроса Веселкину тоже захотелось узнать, кто же его сосед.

На первый же вопрос, откуда от родом, сосед охотно ответил:

— Мы — пинжаки.

Веселкину до того это показалось чу́дно, что он чуть-чуть не забылся и двинулся, чтобы повернуть голову в сторону.

Это заметил сосед и, упредив вопрос, сам пояснил:

— Бурлачим мы, по всем северным рекам бурлачим, и как мы с Пинеги, так все и зовут нас «пинжаки».

— С Пинеги? — повторил Веселкин.

И стал с трудом вспоминать, что это такое хорошее и даже прекрасное связано в его памяти с этим словом.

— Пинега-река впадает в Северную Двину,— сказал он.

— В Двину,— повторил за ним сосед.— А в Пинегу бегут наши две речки — две сестры — Кода и Лода.

— Что-то я,— сказал Веселкин,— слышал такое хорошее о ваших местах, лучше чего и на свете нет...

Сосед ответил:

— Нет краше на свете места, где Кода и Лода, а между ними село Журавли.

И приподнялся над койкой, а ноги спустил, и стал говорить в волнении, чуть заметно покачиваясь в стороны, как маятник, но такой великий маятник, что ему качаться много не надо, и только чуть намекнуть на ту сторону, куда маленькому маятнику необходимо надо качнуться.

— Нет краше нашей Пинеги! — повторил сосед.

И чуть-чуть качнулся.

— Обрывы и скалы!

И намекнул другую сторону.

— Красные и белые горы!

И опять намек.

— А на горе стоит монастырь!
Пятнадцать верст не доедешь —
И видко!
И пятнадцать верст переедешь —
Все видко!
Под высокий берег уходит вода,
И под землей едут карбасы,
Живые помочи!

На этом месте Веселкин остановил своего соседа и спросил:

— А что это: Живые помочи!

— Не знаю,— ответил сосед,— так пинжаки всегда говорят, когда гораздо высоко зайдешь, или гораздо низко спустишься, или станет порато жарко, или порато морозно, или порато страшно, или чудно, или зверь нападет, или черт за ногу схватит.

— Вот оно что,— подивился Веселкин,— значит, ты сказочник?

— Нет,— ответил сосед,— сказками у нас заманивают в небывалое, а я говорю только то, что между нами

самими: я только правду говорю и никуда не заманиваю. Я говорю: нет на свете краше того места, где реки текут Кода и Лода.

— А как тебя зовут?

— Меня зовут Мануйло, и они все думают: за то меня назвали Мануйло, что я умею манить. А я говорю только правду, они же до того врут, что мою правду считают за сказку и ходят ко мне слушать. Я же так люблю сказывать правду! Они приходят, и я ставлю им самовар.

— А кто же это они такие? — спросил Веселкин.

— Наши колхозники,— ответил Мануйло,— такие же пинжаки, что и я. Только они теперь на землю садятся, а я все бурлачу и остаюсь на своем путике.

— Каком таком путике? — спросил Веселкин.

— Путика не знаешь? — спросил Мануйло.— Ну об этом надо много сказать. Кода и Лода — это, я сказывал, две родные сестры, и между ними стоит наша деревня Журавли.

В прежнее время все пинжаки в Журавлях бурлачили и охотились на путиках.

Но как все люди разные, то и тут тоже было по человеку: одни больше бурлачили, другие больше охотились на своих путиках.

Что же до того, сладко ли мы живем, я тебе на это отвечу: не гораздо сладко, но тоже нельзя сказать, что гораздо и горько.

Мы не от бедности бурлачим и охотимся, а что живем в лесах и между реками.

И колхоз наш «Бедняк» не по бедности назван, а по глупости.

Думали бедностью своей похвалиться и вызвать к себе самим жалость.

Вот и получилось теперь: в государстве стоит знамя «Зажиточная жизнь», а пинжаки хвалятся бедностью.

Видно, Мануйло был сильно задет своим спором с колхозом «Бедняк». Он опять поднялся на кровати, спустил ноги и опять стал помогать своей речи чуть заметным покачиванием.

— Становую избу, друг мой, на путике ставил мой прадед Дорофей.

Одним рубышом мой прадед Дорофей на первом дереве от становой избы поставил свое знамя.

Это знамя на путике было Волчий зуб.

Мой прадед шел на путике и через девять деревьев ставил свое знамя на север, на полдень, на восход и на закат.

Ставил свое знамя и приговаривал:

— Живые помочи!

И это значило у моего прадеда: «Ты, другой человек, не ходи на мой путик ни с восхода, ни с заката, ни с севера, ни с полудня.

Живые помочи!

И ты, ворон, не смей клевать мою дичь.

Живые помочи!»

Так идет мой прадед по своему путику, зачищает пролысинки, разметает птичьи гульбища, поправляет пуржала, ставит петельки, силышки и приговаривает постоянно:

— Живые помочи!

На конце путика, далеко в *суземе*, мой прадед поставил едомную[1] избушку: в ней он ночевал, складывал дичь, подвешивал пушнину.

Мой дед Тимофей от отца своего Дорофея получил по наследству тот путик, и на могиле Дорофея он поставил деревянный памятник и на нем топором вывел наше знамя: Волчий зуб.

Памятник и сейчас стоит.

И я тоже, как получил от отца своего по наследству путик, на могиле его поставил деревянный памятник и вывел на нем топором наше родовое знамя — Волчий зуб.

Памятник этот и сейчас стоит.

На кладбище разные знамена: Воронья пята — три рубыша, Сорочье крыло — четыре рубыша, наше знамя Волчий зуб делается одним рубышом.

Моя обида с колхозом вышла из того, что, когда начались колхозы, с меня потребовали: отдал бы я по доброй воле в колхоз свой путик.

А я свой путик любил и не хотел отдавать своего путика. Никто не может по моему путику ходить, как я по нем ходил.

Я сказал: «Примите меня в колхоз со своим путиком. Я буду мясо и пушнину для колхоза доставать больше всех». Я сто раз их просил, я умолял: «Примите меня в колхоз со своим путиком».

---

[1] Едомной избой, в отличие от начальной становой, называется подсобная изба на конце путика в лесу.

Они же меня не принимали, и я хожу в единоличниках.

Они называют свой колхоз «Бедняком», а кругом везде знамя «Зажиточная жизнь».

Они не хотят меня принять со своим путиком, а я не хочу быть единоличником.

Что делать?

Я работал в лесу на свалке, работал и на скатке хлыстов, и на окорке, и на вывозе.

Тошно было на душе, падало дерево, не захотелось от него уходить. Я не поспешил — и попал под дерево.

Высказав свою обиду, Мануйло перестал покачиваться и просто спросил:

— Скажи, друг Вася, кто у нас прав: я или они?

— Конечно,— ответил безо всякого раздумья сержант,— правда на твоей стороне. Ты хочешь добра колхозу, ты говоришь им правду, а они твою правду принимают за сказку и боятся — ты обманешь их своим путиком.

— Друг,— сказал Мануйло,— дай мне совет, как же мне теперь свою правду сыскать: ведь чуть из нашего леса вышел, никто и не понимает наших путиков, никто ничего не разберет.

— А ты иди прямо к Калинину,— сказал Веселкин,— он разберет.

— Что ты говоришь! Идти к Калинину со своим путиком?

— То-то и будет хорошо. Ты придешь со своим путиком, тебе там помогут, вот как только поправишься, так прямо и иди в Москву и успеешь вернуться на весеннее бурлачество к сплаву лесов.

Мануйло в глубоком раздумье поставил на колени локти, на ладони положил голову со всеми своими щеками, покрытыми какими-то кустами и волосатыми бородавками.

Зато какие чистые, какие ясно-голубые детские глаза теперь раздумчиво глядели вдаль.

И великан повторял:

— Идти в Москву! Идти к Калинину со своим путиком! Живые помочи!

— Отчего же не идти,— отвечал ему добрый товарищ.— Раз ты правду свою чувствуешь, ты за нее должен стоять и биться. К Калинину люди идут за правдой даже с Ангары, с Енисея.

— С Ангары, с Енисея,— ответил Мануйло,— люди идут с делами. А я пойду со своим путиком!

— Не с путиком своим ты пойдешь, а с правдой: у каждого к правде есть свой собственный путь, и каждый должен за него стоять и бороться. Смело иди!

После того Мануйло выглянул в свою какую-то даль, и то ли он там что-то хорошее разглядел, чему-то заметно обрадовался, вернулся сюда к себе и радостно и твердо сказал:

— Это верно, у каждого человека на пути к правде есть свой путик, робеть тут нечего, спасибо, Вася, иду к Калинину!

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Есть у каждого на родине что-нибудь такое дорогое, такое заветное, о чем хочется сказать вслух на весь мир, а сказать отчего-то совестно.

Так, правда, совестно об этом сказать! Кажется, все равно, что срубить заповедный лес.

Отчего это?

Не оттого ли совестно, что родина у всякого чужестранца есть, и каждый про себя думает, будто его родина лучше всех, и если каждый из нас перед другим будет выхваляться своей родиной, то будет раздор ни для чего.

И оттого, если кто-нибудь любит свою родину по-настоящему, то об этом не мечет бисер слов перед людьми, а молчит.

Мы же сейчас об этом самом дорогом на родине скажем не для того, чтобы хвалиться, а чтобы понять этих двух больных в госпитале за номером 231.

Такой вышел случай в этом полевом госпитале, что раненый сержант Веселкин, не имея возможности поглядеть на собеседника, узнавая его душу только по голосу, вдруг соединился душой вот с тем самым заветным, дорогим, о чем вслух говорить не хочется, и, наверно, оно и не надо говорить.

Вот это самое дорогое на родине и есть то, что, в какую бы трущобу ты ни попал, нигде на родине ты не будешь один, как на чужбине, везде найдется понимающий тебя друг, и кажется тогда при душевной беседе, что вся родина, огромная страна со всеми своими веками жизни, сейчас

является в двух лицах: ты, как представитель одной стороны, и твой друг — представитель другой, и вы с ним советуетесь.

И такая она вся — советская Русь.

Вот это и есть нам самое дорогое: наша родина есть родина нашего друга.

Так оно, конечно, и есть: в этом чувстве друга и состоит главное богатство нашей родины.

Так оно и было: одного раненого привезли в госпиталь с поля сражения, другого, ушибленного деревом, принесли и положили рядом.

И оба они, каждый отдельно, стали думать, молча, об одном и том же: «Что это со мной случилось такое?»

Веселкин думал по-своему, Мануйло по-своему о чем-то близком тому и другому: один стоял за всех с одной стороны, другой — тоже за всех с другой, оба уверенные — если сойдется, то это и будет правдой.

Трудно было сержанту слышать голос близкого душой человека и не видеть его лица. Уже несколько раз он порывался повернуть голову и поглядеть на лицо своего нового друга, но каждый раз приближение боли его останавливало.

И только уж когда из разговора вдруг вышло, что идти к Калинину со своим путиком, это значит за правдой идти, Веселкин не выдержал, резко повернулся...

Ничего не удалось ему увидеть: от боли все замутилось в глазах и вырвался крик.

Как раз тут проходила Клава с теплой водой и бинтами. Услыхав стон, сестра поставила на табуретку таз с кувшином и принялась разбинтовывать плечо у больного сержанта.

Сестра, наверное, поторопилась и что-то сделала неправильно.

— Что вы делаете? — остановил ее старый врач.

Эти добрые люди, старые земские врачи, закалялись в строгости, и сейчас, конечно, голос прозвучал так, что сестра опомнилась.

— Как вы не видите, что бинт присох! Вам ли, медицинской сестре, мне говорить, что надо размочить теплой водой, а потом уже и снимать бинт.

Услыхав недовольный голос врача, тут же явилась и старшая сестра Махова и тоже на Клавдию:

— Вы все мечтаете, все ищете и забываете, а что возле — ничего не видите...

Смущенная Клава отмочила бинт, и он легко снялся. Осмотрев рану, доктор поморщился, и больной понял — руку ему скорей всего придется отнять. Как и многие больные, он, конечно, не знал того, что знают врачи, но тоже и чувствовал нечто такое, о чем врачи знать не могут: так он чувствовал сейчас, что рука его жива, что она не мертвая и еще может ему пригодиться.

— Прошу вас, доктор,— сказал он,— руку мне эту не отнимать: ведь это правая моя рука и на что-нибудь мне еще и пригодится.

— Что вы говорите! — ответил врач.— На что она вам такая годна? А отнимать, мы сделаем, будет совсем нечувствительно.

— Какие уж тут чувства! — ответил больной.

От этих слов доктор, как это с ним бывает, вдруг направил внимание свое не к болезни, а к самому больному.

Так бывает у них.

— Будьте рассудительны, сержант,— сказал он,— если так оставить, то вам все время придется только тем и заниматься, что следить за рукой. Вам ничего нельзя будет делать.

«Делать!» — повторил про себя Веселкин.

И в одно мгновение пронеслось у него в голове что-то очень хорошее, пережитое вот только-только, сию же минуту. И это хорошее тут же и определилось: с рукой своей, по правде говоря, он уже про себя простился, и как-то стало ему не жалко руки. Но до того хорошо ему что-то сейчас пришлось по мысли: какая там рука, если потеря миллионов живых людей находила себе оправдание: наша страна скажет миру новое слово!

В один миг это все пронеслось у него в голове, и на слова доктора о том, что без правой руки ему ничего нельзя будет делать, он ответил:

— Не все же, доктор, делать и делать...

Доктор, очень обрадованный, что нашелся больной с признаками самостоятельной мысли, улыбнулся и спросил:

— Ну, а что же останется, если сидеть инвалидом и ничего не делать?

— Подумать можно,— ответил Веселкин.— Вот я сейчас в отрывном календаре прочитал: Россия за то и терпит так много, что в конце концов должна сказать всему миру новое слово.

— Это верно,— сказал доктор,— Россия между востоком и западом столько терпела и от Востока и от Запада, что наконец должна же понять, из-за чего и за что она все терпела. И если она после всего скажет какое-то слово, то это будет словом правды.

— Словом правды! — повторил Веселкин.

И чему-то улыбнулся.

Доктор вопросительно поглядел на больного.

И Веселкин сказал:

— Почему-то бывает часто, подумаешь о чем-то великом, а тут же из-под рук и маленькое показывается. Мне подумалось, что если бы на руке хотя бы два пальца могли работать, и то можно бы папироску свернуть.

И показал доктору, как он этими своими двумя пальцами правой руки мог себе из календарного листика скрутить козью ножку.

Доктор очень смутился, он никак не думал, что при оборванной «аксилярис» и разбитых плечевых сочлененьях пальцы все-таки могли бы действовать.

В раздумье он развернул козью ножку и увидел портрет Белинского и под ним прочитал его слова о том, что Россия скажет на весь мир новое слово.

Веселкину очень бы хотелось сказать доктору что-то совсем от души, но вдруг почему-то ему стало неловко, и он заставил себя от лишних слов отказаться.

А как ему хотелось бы сказать, что не только от Белинского он узнал о великом свете человеческой правды. Он хотел бы в этом раскрыть самый смысл слов: служу Советскому Союзу. И потом хотел бы рассказать об угнетенной елочке, как бросился на нее свет великий, могучий и страшный, как она ослепла в этом свете и долгое столетие неподвижная стояла на всем свету, оставаясь ростом в человека с поднятой рукой. И как она потом расцвела красно-фиолетовыми цветами-шишками, осыпаемая золотой пыльцой.

И как он, прочитав Белинского, вспомнил, как елочку, всю родину свою в свете великом, могучем и страшном.

Если бы Василий решился своими словами сказать это доктору и он, старый земский врач, отдавший всю жизнь свою на службу народу, узнал бы себя самого в этой елочке, как бы он тут же обнял солдата этого!

Сына так не обнимешь!

Но так уж почему-то у нас всюду хорошим людям о самом главном стыдно бывает сказать.

Доктор, прочитав листик, старательно расправил его и передал обратно больному.

После нового осмотра правую руку Веселкину оставили, а здоровую левую доктор от всего сердца пожал.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Веселкин часами лежал с закрытыми глазами, стараясь вспомнить то хорошее, что связывалось у него в памяти с Пинегой. И вот однажды, перебирая в памяти далекое прошлое, он вспомнил рассказы Антипыча о какой-то заповедной Корабельной чаще, такой чудесной, на какой-то горе, третьей от речного берега.

И тут ему, как молния, сверкнуло:

«Эта Корабельная чаща была где-то за Пинегой».

Выхватив это из памяти, Веселкин сейчас же обратился к своему теперь дорогому товарищу и спросил его:

— Вот, Мануйло, в детстве наши мне лесники сказывали о какой-то удивительной Корабельной чаще за Пинегой: что будто бы в этой сосновой чаще дерево к дереву стоят так часто, что старому и свалиться некуда: падая, облокотится о близкое дерево и стоит, как живое.

На какой реке эта чаща, я не запомню, а только так понимаю: у этой реки берег поднимается тремя горами, на первой горе лес прижался ко второй скале еловый, на второй горе какой-то лес — не запомню, кажется, березовый, а на третьей горе стоит Корабельная чаща.

И в этой чаще так часто — стяга не вырубишь, и мох белый, как скатерть лежит. В этой чаще и тебя самого деревья всем миром поднимают, и тебе кажется, будто ты прямо к солнцу летишь.

— Скажи, Мануйло, ты слышал когда-нибудь эту сказку?

— Это не сказка,— ответил Мануйло,— Корабельная чаща стоит за Пинегой верст на сто подальше в сузем в немеряных лесах. Это не сказка.

— А разве за Пинегой еще сохранились немеряные леса? — спросил Веселкин.

— Мало здесь, но там, в области Коми, такие леса еще есть, и Корабельная чаща — совсем не сказка: Корабельная чаща вся на правде стоит.

Бывало, старики начинают *манить*, вот и думаешь, сам еще маленький,— это они нас, ребят, заманивают в царство Коми.

Речки Кода и Лода, по их словам, будто бы там и начинались, в царстве Коми. И там протекала большая река, всем тамошним рекам река, Мезень.

А мы думали, ничего этого нет, ни Корабельной чащи, ни Коми.

Бывало, слушаешь, слушаешь, да и спросишь:

— А где это, царство Коми?

Бабушка всегда отвечает на это:

— В немеряных лесах, дитятко.

— А разве,— спросишь,— есть леса немеряные?

— В Коми все леса немеряные!

Так мы и думали с детства — нет на свете никакого царства Коми и нет немеряных лесов и Мезень-реки, и все это держится только на сказках для нас, маленьких, а по правде ничего этого нет, даже и реки Мезени нет, а есть только наши Кода и Лода.

Тоже так говорили нам о каком-то некотором царстве и некотором государстве при каком-то царе Горохе.

И вдруг однажды оказывается, что и Коми есть, и леса немеряные там, и на третьей горе у реки стоит Корабельная чаща.

Так зачем же, думаю, нужно все запутывать в сказки, если можно о правде говорить и оно будет лучше сказки? Так я с этого начал в сказках правду искать, и у меня это дело бойко пошло, люди стали ко мне ходить — слушать меня. На своих сказках для людей сколько я в своем самоваре воды выпарил!

Было однажды,— я уж начал тогда полесовать,— пришли мы, полесники, из далекого промысла...

Было как у всех: мы прибрали свою пушнину. Бабы прибрались, поставили на стол всякую снедь, вино. Тут мой друг Кузьма достал из своей сумки палочку, и это было *ушкало,* на чем мы расправляем и высушиваем беличьи шкурки. Ушкало было не нашей работы, и Кузьма захватил его скорей всего на потеху ребятишкам.

Вот как раз в то время, как Кузьма достал ушкало и положил на стол, постучись к нам неизвестный человек и попроси у нас ночлега.

По нашему северному обычаю, гостя впустили, приняли, как своего, и, не спрашивая даже имени, усадили за стол.

И он спустя малое время сам говорит о себе:

— Я из Коми иду.

Ребятишки на печке зашевелились. По себе их пони-

маю: сам тоже долго думал, что Коми — это в сказках и что в Коми леса немеряные и цепь землемерная, цепь врага рода человеческого, тех лесов не касалась.

Сказки эти о враге человеческого рода — Антихристе передавались старухами из рода в род.

И на вот! из этих сказочных немеряных лесов приходит живой человек!

Ребятишки головки подняли, локотками подперлись и замерли.

Гость был нестарый, со светлой бородкой, ясными, светло-голубыми, небного цвета, глазами.

По-русски говорил он, как и мы сами говорим, только все-таки можно было понять — не русский был человек, а тутошний: из Коми. Долго он отказывался от вина и все не спускал глаз с той палочки, принесенной полесниками с промысла.

Было очень похоже, гость все собирается спросить об этой палочке или взять ее в руки, но все не решается. Когда же стало ему неловко отказываться от вина и он стакан свой налитый выпил, то осмелился, протянул руку к палочке, осмотрел ее и спросил особливо почтительно и робко:

— А могу я узнать, мои добрые хозяева, где вы нашли это ушкало?

— Это ушкало,— отвечаю я,— не нашей работы, так делают их только у вас, мы из ваших краев принесли его показать нашим ребятишкам.

Тут гость в чем-то своем уверился и заволновался.

— Это,— говорит,— мое личное ушкало, своими руками я его вырезал. Скажите, где вы его нашли?

— В суземе,— говорю,— нашли и подивились.

И показал гостю, как у нас делают ушкала.

— Это я знаю,— говорит гость,— как у вас делают. Мне бы охота узнать, в каком суземе вы нашли его: сами знаете, какой наш сузем.

— Да,— говорю,— сузем наш велик.

— Велик-то велик,— говорит гость,— но зато же он чуткий. Человек, зверь, даже птица пролетит, бывало,— и то чутко. Сузем наш, как море, один человек пройдет — и во все стороны побегут от него вести. Десять лет в прошлом я потерял в суземе это ушкало, а вы пришли и его увидали. Я даже точно скажу теперь, где вы нашли мое ушкало: нашли вы его в наших немеряных лесах на путике Воронья пята.

Тут не выдержали и ребятишки на печке и все там зашептали:

— В немеряных лесах!

Скажу, Вася, я даже и оробел и по привычке своей говорю:

— Живые помочи! Да как же ты знаешь, где мы нашли твое ушкало?

— Воронья пята,— сказал гость,— это наш родовой путик и достался нам от прадеда, и наш прадед вырубил там везде наше знамя: два коротких рубыша — это два пальчика вороньей пяты, третий же пальчик и ногу в один длинный рубыш... А какое вы сами ставите на своем путике знамя, можно сказать?

— Да отчего же нельзя,— говорим,— конечно, можно. Наше знамя — Волчий зуб — мы ставим одним рубышом.

— Волчий зуб! — говорит.— Знаю и знал его с малолетства. Ну, теперь я вам точно все расскажу, где вы нашли мое ушкало.

Тут полесники наши все затихли: понимаю их, боятся чужого человека.

— Все, все расскажу,— говорит гость,— как у вас вышло на промысле. На вашем путике была вам незадача: дичь попадается, но ее обирает медведь.

— Живые помочи! — говорю,— да как же ты это узнал?

— Медведя этого,— говорит,— вы скорее всего чем-то отпугнули, но дальше стало еще хуже медведя: вас ворон одóлил.

— Живые помочи! да как же ты знаешь? — спрашиваю.

А он смеется и говорит:

— Что ты на мои правдивые слова твердишь все свои «Живые помочи». Я не колдун.

И перекрестился по-нашему.

А я, Вася, в колдунов и сам не верю, только отцы, деды, прадеды этим оборонялись в лесах, и я за ними по привычке говорю постоянно: живые помочи. А оно вроде как бы и помогает.

Так вот, говорю я этому чудному человеку:

— Имя твое наше, христианское?

— Имя мое,— отвечает,— Сидор.

— Скажи,— говорю,— Сидор, как это могло быть, чтобы узнал все наши пути?

— Подожди, Мануйло,— отвечает он мне,— я еще

больше вас удивлю, а потом ты сам поймешь, как я понял ваши пути. Медведя вы прогнали, а после из-за ворона бросили свои леса и перешли в наши немеряные.

— Так,— говорим,— в точности было.

— На границе ваших лесов и наших немеряных стоит часовенка старая, забытая, вся в зеленом мху, вся зеленая. Креста на ней нет, и заместо креста стоит скворешник. Видели эту часовенку?

— Видели,— отвечают все наши полесники.

— А видели,— спрашивает,— как там скворец выходит из дырочки и начинает служить свою обедню, раздувается, бормочет,— это видели?

Смеются полесники: все они это видели и на скворца на том месте дивились и много смеялись.

— От этой часовенки,— продолжает Сидор,— вы шли долго по общей тропе и вот видите: общую тропу пересекает путик, мой путик Воронья пята. Вы тут увидели: хозяйство охотничье давно заброшено, петли порваны, дичь давно выбрана вороньем и медведями. Вы тут-то решили взяться за дело и попробовать счастья на Вороньей пяте.

— Верно! — отвечаю.— Так оно и было: мы никого обижать не хотели — видим, все брошено, взяли путик и пошли к становой избе.

— Цела ли,— спрашивает гость,— становая избушка?

— Все,— говорю,— там цело, избушка и беседка: два бревна, одно посидеть, к другому прислонить спину. Прудик тут вырыт, вода чистая, вокруг растет кукушкин лен, и во льну плица [1] лежит.

— Это моя собственная плица,— говорит гость.

— Каждый камешек,— говорю,— на дне прудика виден, и возле камушков жмутся две рыбки.

— Вьюн и карась? — спросил гость, и когда мы ему ответили, что своими глазами видели: вьюн там был и карась,— он нам весело так говорит:

— Ну, вот, друзья мои, тут где-нибудь возле прудика вы и нашли мое ушкало.

Тут все мы обрадовались, все поняли, что были на путике у старого хозяина, и никакого нет в этом колдовства. Стали мы тут, как товарищи и друзья, просто пить вино, закусывать. Гость больше нас не стеснялся ничем, был как свой, но только заметно было: хотя он и пил, но ничуть не хмелел.

---

[1] Плица — ковшик из бересты.

— Ты что-то таишь,— сказал наконец гостю один откровенный охотник.

И гость ему ответил:

— Ты это верно сказал: я таю.

После такого ответа как будто все сразу стали трезвыми, и гость, собравшись весь в себя, спросил вполголоса:

— А вы дошли до того места, где Лода уходит под землю, а Кода одна бежит?

— Дошли!

— Тут берег высокий горой поднимается, как стена, и к этой стене деревья как бы ветром прибиты, и на этой стене, отступя, стоит вторая стена. Вы туда поднимались?

— Поднимались.

— И как поднимешься и пройдешь немного, то увидишь — третья речная стена горой поднимается выше всех, вы и туда поднимались, и что вы там видели или не видели?

— Видели мы там,— говорю,— Сосновую чащу — великое чудо в наших лесах: каждое дерево в четыре обхвата и до верху чистое, и ни одного сучка. Дерево стоит к дереву часто — стяга не вырубишь, и если срубишь одно дерево, оно не упадет, прислонится к другому и будет стоять.

— Ну, вот, друзья мои,— сказал гость,— эту Сосновую чащу в немеряных лесах мы и таим, и весь народ наш таит. И вас я прошу, не показывайте этот лес никому из начальства: мы в Коми с этой тайной все растем.

— Мы это слышали,— ответил я.

После этих слов я понял все, повеселел и налил всем по стаканчику.

— Чего ты смеешься? — спросил меня гость.

— Не смеюсь,— отвечаю,— а жалею вас. Кто хочет молиться — на каждом месте, к чему только захочется, может обратить свое сердце. Зачем же для этого назначать лес? Сколько ни молись в лесу, он, рано ли, поздно ли, без пользы пропадет для людей от червя или пожара.

Больше охотники в этот раз ничего не говорили, а все улеглись спать. Утром, расставаясь с гостем, спросил я:

— Ты нам имя свое оставишь или так уйдешь?

— Да я ж вам вчера сказал,— ответил гость,— имя мое Сидор.

Стало тогда в лице этого человека не по-прежнему, пришло что-то в него не свое. И я это заметил и говорю:

— Нет, это неправда, тебя не Сидором зовут.

А он глубоко вгляделся в меня, как будто что-то нашел во мне. И улыбнулся.

— Ты,— сказал он,— Мануйло, ясный человек, я тебе верю и открою тебе: я не Сидор, настоящее мое имя Онисим.

Тут я спросил этого человека:

— Скажи мне, Онисим, для чего ты о себе неправду сказал?

— О себе,— ответил Онисим,— часто человеку ради истинной правды надо неправду сказать, ты разве этого не знал? Человеку часто в наших лесах надо таиться, чтобы только жизнь свою сохранить.

Так мы расстались тогда хорошо с этим человеком, и с тех пор я еще больше стал понимать, что сама правда прямая, как ствол дерева, а мы сами... как сучки поневоле все кривые.

И так я веду свои слова: кажется — сказка, а я веду к правде!

Может быть, всякая настоящая хорошая и всем нужная сказка является попыткой каждого из нас по-своему сказать правду, найти свое собственное слово правды?

Как хорошо, если так!

Но во всяком случае мы-то это знаем наверно, что Мануйло из-за этого только всем и рассказывал о всем по-своему, чтобы какую-то смутную, но существующую правду сказать.

При легком ветерке на елках тяжелые ветви покачиваются плавно, как будто слышат музыку где-то и согласно ритму отвечают, как могут.

Так и Мануйло тихонько раскачивался, чтобы согласовать свои слова с тем, что ему слышалось.

И когда, случалось, на его слова сердца других людей раскрывались и вдруг все понимали свободно, весело и радостно и одинаково его слова, его сказку, он знал тогда: это правда, это он сумел правду сказать.

Сколько сказок, похожих на правду, и сколько правды, похожей на сказку, пробежало между солдатом и полесником, когда перед весной под тяжелым ледяным одеялом дремала вода!

— Так неужели же это правда,— спросил Веселкин,— что Сосновая чаща и сейчас еще стоит на том месте, где ты сказал. Точь-в-точь и в тех же самых словах я слышал о ней

от старого лесника Антипыча. Чаща эта сосновая, деревья в четыре обхвата, и что деревья такие так часто стоят, что не могут упасть?

— Как же им упасть в такой чаще?

— И что там только одни великаны, и между ними стяга не вырубишь?

— Только белый мох.

— Неужели же и это правда,— спросил Веселкин,— что на пути в чащу старая часовня и в ней скворец играет?

— Видел своими глазами.

— А как это может быть, что сколько-то лет вьюн с карасем в одной луже дружат? Может, они и сейчас там?

— А что им там делается! люди проходят по общей тропе, возле прудика скамеечка, тут все отдыхают, все наслышаны, все ищут глазами, где вьюн, где карась. Все видят — все радуются. Что же им сделается? Эх, Вася, вижу, и ты мою правду тоже, как все, за сказку хочешь принять, а я только о правде и думаю.

— Нет! — решительно ответил Василий.— Я тебе во всем верю, только сам в себе не могу скоро увериться: как-то кажется, не бывает все вместе: и чаща сосновая, и скворец за дьякона, и вьюн, и карась...

— Все бывает! — сказал великан, расставаясь со своим новым другом и любовно его оглаживая.— И бывает, и было! и что было, и чего не было — нам с тобой на стороне никогда не разобраться. Только верно одно, что нас с тобой, двух таких чудаков, на свете еще не было.

Так из госпиталя Мануйло и отправился прямо к Калинину правду искать, и очень скоро после того и Веселкин вышел с твердой решимостью найти Корабельную чащу.

Сержанту даже и в голову не приходило, чтобы могла быть помеха какая-нибудь на пути необходимости победы в этой войне, он ни на мгновение не сомневался, что люди, укрывающие Корабельную чащу, поймут его с первых слов и отдадут сокровище свое на дело спасения родины.

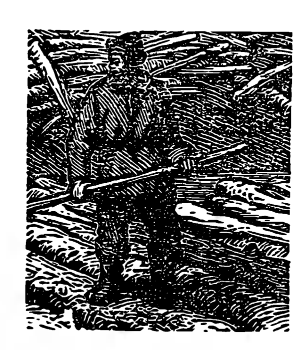
Он был уверен, что как только он откроет, как нужна теперь для авиации фанера высокого качества, так все за ним и пойдут.

С большим трудом левой рукой он написал домой письмо о себе, наскоро в районе по начальству оформился в своем начинании, и весь, со всей найденной на пути к выздоровлению великой мыслью о новом слове для всего мира, обратился к исполнению военного долга: «служу Советскому Союзу».

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## МАНУЙЛО ИЗ ЖУРАВЛЕЙ

### ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ



Дети Веселкины были похожи на перелетных птиц, задержанных в пути медленным таянием снега. Как птички сидят у края снегов и дожидаются вешней воды, так и они сидели и ждали. И как только двинулись первые ручьи, птицы полетели на места гнездований, дети пустились тоже на север искать родного отца.

Они глядели в окна, и засыпали, и опять просыпались, глядели и опять засыпали.

Скоро леса начались и пошли на север почти рядом с поездом. Стало понятно, почему почти каждое лето под городом Переславлем-Залесским в его малинниках показывается медведь и так страшно пугает наших женщин, собирающих малину. Медведь идет сюда с севера сплошными лесами, обходя светлые места редких городов, сел и деревень. Ничего нет в этом удивительного: дорога медведя большая, широкая, зеленая, а дом, его теплая шуба, с ним тоже идет...

Вспомнив родного медведя, ребята опять засыпают и опять, очнувшись, сквозь окно глядят в далекие леса, как будто они там оставили что-то самое дорогое и теперь стремятся к нему.

Так им, бедным, пришлось, что в лесах далеко где-то затерялся и их родной отец. Но что потеряли мы все в этих лесах, когда сами с какого-нибудь лесного холма глядим в зеленые и синие голубеющие дали, и так тянет, тянет там далеко походить, поискать чего-то?..

С древних времен вырубаясь из леса на свет в поля, что это мы, потомки славян, оставили там, в диких лесах, что мы там забыли, почему нас всех тянет в эту девственную природу, никогда не знавшую ни пилы, ни топора человека?

Да и есть ли еще такие леса? И почему так хочется, чтобы они были, и кажется, будто все мы там, как дети, оставили своего родного отца?

Всего только сутки какие-то проехали дети на поезде, а сколько лесов прошло, сколько было в них деревень, сел, и наконец одним ранним утром пришел большой город — Вологда.

— Настя,— сказала проводница,— буди Митрашу! Что это вы заспались? Я же с вечера говорила, Вологда рано будет.

И стала помогать Насте складываться.

Так вот и приехали. Из вагона вышел Митраша с большим мешком за спиной и с отцовским длинным ружьем. Рядом с мальчиком шла золотистая девочка Настя тоже с мешком и с небольшой свернутой палаткой.

Ребята вышли и сразу заметили перемену в природе: в Переславле шоколадные почки на березах были с зелеными хвостиками и такие густые, что в почках этих птица скрывалась от глаз. Тут никаких хвостиков не было, на берегу реки Вологды еще лежал снег, река только что освободилась ото льда, но из берегов вода еще не выходила.

— Ты заметила, Настя,— сказал Митраша,— тут у березовых почек еще нет зеленых хвостиков.

— Почки,— ответила Настя,— боятся мороза. Может быть, они тут и были, но пришел мороз, и они спрятались.

Митраша снисходительно улыбнулся сестре:

— Так не бывает, где ты видела, чтобы почки раскрытые опять закрывались? Это ты с людей берешь: у людей — показались и спрятались, а у них только раз бывает: показался на свет, и в почку назад не вернешься. Нет! тут они еще не показывались, и оттого, что мы едем на север. Ты замечай, такого у нас много будет, такое увидим, такое узнаем, чего у нас не было и не будет!

Теперь пришло время Насте, маленькой женщине, улыбнуться на мальчика. Сказать она не собралась, но про себя подумала: «Искать отца — это дело, но гоняться за тем, чего не было,— это пустяки, и об этом нечего и говорить».

Так они перешли привокзальную площадь и остановились. Митраша вынул из кармана план, начерченный ему Фокиным, и, разостлав его на коленке, стал раздумывать, в какую улицу им свернуть.

В это время постовой милиционер внимательно приглядывался к детям. То ли он уморился стоять и не на что было

глядеть, то ли и правда ему было дивно видеть мальчика с таким огромным ружьем и девочку, похожую на водяную курочку на длинных ногах.

— А ну-ка, охотник,— подмигнул он весело Митраше,— права-то у тебя имеются?

Митраша не ответил на улыбку и серьезно, даже с оттенком важности сказал:

— Права? Вот наши права.

И подал милиционеру сложенную и перевязанную ниточкой газету. Из газеты вышел пакет. Из пакета — бумага с печатью.

Бумага была адресована Вологодскому Завгороно, и в ней подробно описано положение сирот, с просьбой помочь им доехать до Пинеги.

Удивительного милиционеру в этом ничего не было: мало ли теперь в военное время кто кого ищет.

«Вы круглые сироты?» — хотел спросить милиционер, но по ошибке спросил:

— Вы голые сироты?

— Какие же мы голые,— сердито сказал Митраша,— мы одеты, обуты.

— Я вас спрашиваю: матери у вас тоже нет, и если ни отца, ни матери, то, значит, вы сироты круглые. Понятно?

— Круглые! — повторил Митраша.— А ты сказал: голые.

Тут маленькая женщина поняла, что милиционер им будет полезен и нельзя с ним обходиться по-митрашиному резко.

— Да, дяденька,— сказала Настя жалостливо,— нам сказали, что отец убит, и мать, услыхав это, умерла от горя. А теперь пришло письмо — вроде как бы и жив. Хорошие люди все нам помогают, и вы, дяденька, нам помогайте!

Подумав немного, может быть, о том самом, о чем Настя его попросила, милиционер сказал:

— А как у вас с деньгами, есть деньги?

— Есть! — сказал было Митраша.

Но Настя быстро перехватила его слова и ответила:

— Мало!

— Если мало,— сказал милиционер,— так зачем вам обращаться к Завгороно и беспокоить его в таком легком деле: круглым сиротам у нас везде помогут. А сейчас вода вас доставит даром на место. Поезжайте прямо на щуке!

Настя по голосу поняла милиционера, что он им серьезно хочет добра, и только ей надо было спросить, про какую щуку он говорит. Но вдруг Митраша как будто вырвался у нее из рук и заносчиво выпалил:

— Вот хорошо! Мы поедем на щуке, а ты поезжай за нами на окуне.

— Пацан! — строго и серьезно сказал милиционер.— Я, мой милый, не смеюсь, и ты не обижайся. Ведь я тоже с Пинеги, я сам тоже *пинжак*.

— Как пинжак? — оторопел Митраша.

— Дяденька, дорогой наш,— вцепилась Настя,— если ты с Пинеги, то помоги нам туда попасть!

— Да, детки,— отвечал милиционер,— я с Пинеги, и щука — не рыба, а это у нас особая сплотка леса зовется щукой. Шкуреные хлысты сейчас лежат на берегу, и бурлаки их между собою связывают. Получается щука, голова у нее и хвост, а посередине строится будка, и в ней сидят пинжаки.

По всем северным рекам бурлачат наши пинжаки. Пойдемте сейчас к реке, найдем щуку. У меня на реке все знакомые, даже родня. Я ведь сам тоже...

И милиционер опять назвал себя «пинжаком».

Счастливо пришлось, что на смену милиционера как раз вовремя пришел другой и, узнав в чем дело, сказал:

— Пинжаков сейчас там полный берег, ты, Щуренок, поди их проводи.

А река Вологда была тут совсем недалеко, средняя река вроде нашей реки Москвы, но, конечно, весной посильней. Весенняя вода еще только чуть коснулась шкуреного круглого леса на берегах. Но некоторые хлысты уже были тронуты водой и, желтые, плыли рядом с белыми гусями. Всюду на берегах люди возились с лесом, приготовляли его к сплаву.

Милиционер крикнул им сверху:

— Есть пинжаки?

— А как же? — ответили ему снизу.

И показали на готовую щуку.

— Там,— сказали,— в будке сейчас Мануйло из Журавлей.

— Мануйло! — обрадовался милиционер.— Он мне дядя.

Великан Мануйло, услыхав эти слова, вышел из будки и, увидев милиционера с детьми, сказал:

— Здравствуй, Щуренок, куда тебя несет с детьми?

— К тебе,— ответил Щуренок.

— Идите ко мне,— сказал Мануйло,— будем чай пить. И полез в будку обратно.

Разговор за чаем был про дела на Пинеге, о том, что Мануйлу не хотели принимать в колхоз со своим путиком, но что он ходил в Москву, к Михаилу Ивановичу Калинину, и что он теперь войдет — ему можно теперь войти в колхоз со своим путиком.

— Как же так это у тебя вышло? — спросил Щуренок.— В колхоз и со своим путиком?

— Ничего тут нет удивительного: каждый в колхоз должен нести что-нибудь свое, и такой колхоз будет «Богач», а не «Бедняк», как у нас до сих пор называется.

Там над «Бедняком» посмеялись, и все поняли: я не для себя прошу, а для общего дела.

Щуренок покачал головой с большим удивлением и, подумав, сказал:

— Ты у нас, Мануйло, похож на медведя: первое, тем похож, что никому нельзя, а ему можно, и только за то, что медведь. Второе, тем похож, что когда он встает и выходит весной из берлоги, то подымется на задние лапы, померяется на первой елочке и делает загрыз. Так и ты встал и меряешься со всем колхозом.

— Давно ли, Щуренок,— ответил Мануйло,— ты со своего путика в милицию попал, и уже наши охотничьи приметы путаешь! Медведь делает на елке загрыз не когда встает из берлоги, а когда ложится на зиму.

— Так я это и хотел сказать,— засмеялся Щуренок,— медведь меряется, когда ложится, а Мануйло меряется, когда встает: тем он от медведя и отличается.

Тут Митраша не выдержал и решился спросить:

— А для чего медведь меряется, когда ложится в берлогу?

— Это,— ответил Мануйло,— приглядываясь к Митраше,— медведь хочет заметить, сколько за зиму он подрастет.

— Значит,— сказал Митраша,— весной медведь еще раз меряется?

— Нет,— ответил Мануйло,— на зиму ложится медведь и с горя померяется, а когда придет весна, то обрадуется воле своей, встает и забывает померяться.

Мануйло, рассказывая о медведе, глаз не спускал с мальчика, Митраша ему напоминал кого-то, но кого, он вспомнить не мог.

— Вот что! — сказал он вдруг Щуренку.— Ты куда хочешь *плавить* детей.

— К нам,— ответил Щуренок,— на Пинегу, там у них раненый отец где-то в суземе.

— Отец? — сказал Мануйло.— Ну так что отец?

— Дети отца ищут: у них мать умерла.

— Мать померла,— повторил Мануйло,— так чего же отца-то искать? в свое время отец сам придет.

— Когда еще придет, когда еще война кончится,— ответил Щуренок.— Им одним без отца, без матери жить горько, взяли и собрались искать отца.

— А из какой же он местности?

— Из города Переславля-Залесского.

— Знаю,— сказал Мануйло,— хорошие там люди, со мной в госпитале один лежал — вот был человек! Это он меня на путь поставил, он сказал: «Иди, Мануйло, к Калинину и не бойся, помни, ты со своим путиком за правдой идешь». И так оно точно и вышло, и я правду нашел.

— Правду нашел,— повторил Щуренок.

И засмеялся морщинами на щеках и возле губ.

— Тебе бы,— ответил Мануйло,— это не дивно бы слышать, ты же милиционер: на законе стоишь.

После чая Щуренок ушел. Мануйло сказал детям:

— Не горюйте, ребята. Взялись искать отца и найдете. Сузем наш чуткий. Будете спрашивать — и люди скажут. Сузем наш чуткий, порато чуткий: олень копытом наступит — и на том месте другая чем раньше травка растет. А человек слово земле скажет — и на том месте березка встанет.

— Не может быть! — сказал Митраша.

— А вот и было! — усмехнулся Мануйло.— Были у царя ослиные уши. И никто никому не смел сказать об этом. Вот один человек не мог вытерпеть, наклонился и земле перешепнул: «У нашего царя ослиные уши!»

Прошли годы, на том месте выросла березка.

Проезжал однажды мимо того места царь. Березка наклонилась к нему и шепнула: «У нашего царя ослиные уши!»

— Это сказка! — вскрикнул Митраша.

— В этой сказке есть правда: затем и сказка, чтоб правду найти,— ответил Мануйло.— Наш сузем чуткий. И где отдыхает человек, там всегда вырастает березка. Придете к тому месту, где ваш отец отдыхал, и березка вам скажет, где ваш отец.

Было еще раз вечером, перед тем как спать ложиться, Мануйло внимательно поглядел в глаза Митраше и чуть бы только — и вспомнил бы он друга своего Василия Веселкина, и понял бы, что эти дети — его. Вот бы обрадовался Мануйло, вот бы помог! Да он и не расстался бы с ними, он бы их к себе взял на свой путик, он бы повел их на Воронью пяту и в самую бы Чащу доставил, в благодарность их отцу за совет его пойти к Михаилу Ивановичу.

Так, может быть, и все мы около правды истинной ходим и обходим ее: она тут рядом, ее можно рукой достать, а нас направляют в какой-то сузем, далеко, в дикий лес, спрашивать об отце какую-то березку...

Дети как легли, так и уснули сразу, камушками. А Мануйло ночью отвязал канаты, подобрал их на плот, поработал рулем и отпустил щуку свою плыть по течению головой вперед.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Митраша с Настей выросли в Усолье и Москву никогда не видали. Сейчас тоже объехали Москву северным путем из Переславля через станцию Берендеево.

Во время войны в Усолье собирался народ по ночам на высокое место, смотрел на небо в сторону Москвы, и небо было в зареве, и какие-то страшные огни то вспыхивали, то потухали, и народ повторял одно зловещее слово:

— Бомбят!

А недавно в той стороне стали показывать другие огни, они высоко поднимались на темном небе: голубые, красные, зеленые, и сыпались разноцветными фонтанами вниз, и всем видно было — это огни радости, и люди весело повторяли:

— Победа!

И все это горе и радость — в Москве, а самой Москвы не видать.

Вот отчего, с первых же слов Мануйлы, как только он сказал, что был у Калинина, Митраша подумал о нем с уважением: Мануйло видел Москву! Вот бы теперь узнать от него все о Москве: какая она сама, какие там люди и что они делают. И еще хорошо бы тоже узнать, как Мануйло в Москве достигал своего путика и что это за свои путики и какие они.

Утром, как только дети проснулись, Мануйло уже и рыбы поймал, и наварил ухи, и дожидался у теплинки, когда они встанут и будут с ним вместе уху хлебать.

За ухой Митраша подумал, что первое надо спросить о своем путике, а потом, как Мануйло его достигал.

— Что это: свой путик? — спросил Митраша.

— А у отца твоего разве не было,— ответил Мануйло.— Кто твой отец?

— Мой отец лесник.

— А если он лесник,— сказал Мануйло,— то как же ты ничего не знаешь о путиках?

— У нас на родине нет своих путиков,— сказал Митраша,— ты, дядя Мануйло, скажи нам, какой бывает свой путик, и как ты в Москве достигал своего путика, и какая Москва.

— Свой путик, ребята,— сказал Мануйло,— долгий, он достается нам от отцов, и дедов, и прадедов.

Путик у меня долгий, и на деревьях затесы: наше знамя охотничье делается одним рубышом и означает Волчий зуб.

Путик мой пересекает чужой путик, и на россошине у меня стоит знамя Волчий зуб.

Наше знамя на россошине означает мою сторону, мой полуденный ветер.

Знамя Волчий зуб означает: «Не ходи другой на мой ветер, на мой топор».

Знамя другого человека стоит на другой россошине и означает Воронью пяту и делается в три рубыша.

Знамя другого человека на россошине означает: «Не ходи на мой ветер, на мою пяту, на мой топор».

Такой у нас в суземе закон: другой не ходи на мой топор!

Мануйло остановился и задумчиво глядел в глаза Митраши.

Было ему так, что с малолетства слышал про этот закон и думал о нем одно, что это верный, хороший и твердый закон. А вот теперь говорит, глядит в эти ясные большие серые глаза, и что-то ему чудится: где-то он видел эти глаза и что-то было такое, вроде как бы кто против этого закона ему говорил.

И вот этот мальчик сейчас его спрашивает:

— Страшно у вас?

И на вопрос: «Чего страшно?» — отвечает:

— Себе-то, дядя Мануйло, хорошо на путике, а другому

страшно: вдруг нечаянно и попадешь как-нибудь на твой топор?

— Нечаянно можно,— ответил Мануйло,— нельзя только с умыслом. Так вот я вам и сказываю дальше:

На путике своем у корней дерева я вижу от солнца светлое пятнышко, насыпаю на это место песочку и на том гуменце ставлю силышко.

Откуда ни посмотришь на силышко — гуменце все бывает видко.

Глядит птица с высоты — и ей внизу гуменце видко.

Летит мимо птица, и ей гуменце мое вот как видко: и сверху, и снизу, и сбоку.

Все видко!

Птица в лесу любит песочек на солнышке, пуржится в нем, трепышется и попадается в силышко.

И тут я иду, собираю дичь, и отец мой ходил по тому же путику, и дед, и прадед ходил, и у них всегда было одно знамя Волчий зуб. Теперь же пришло время, и с меня требуют, чтобы я свой путик отдал в колхоз, а меня назначат на чужой путик.

— Нет,— ответил я,— никто не может управлять моим путиком: у меня есть свои тайны, и я о них никому не скажу. Примите меня в колхоз со своим путиком.

Колхоз назывался «Бедняк», и им было завидко. Я же хотел им добра: не себе, а всем было бы мясо с моего путика. Но им было завидко, и они меня не приняли в колхоз со своим путиком. Живые помочи!

— А это что? — спросил Митраша.

— Ничего,— ответил Мануйло,— у нас полесники все так говорят: помогает... Так вот я дальше сказываю:

Горько мне было на душе, когда я бурлачил в лесу этой зимой: от горя своего потерял я голову, и оттого упало на меня высокое дерево, и я тоже под ним упал на землю.

И тут вспомнилось Мануйле ясно, что был у него разговор с другим человеком о своем путике, и где именно: в госпитале с сержантом Веселкиным.

Теперь бы еще о глазах вспомнить, что там же он и видел такие глаза, как у Митраши, и спросить сироту о том, как звали его раненого отца. Но как раз в это время над самой рекой бреющим полетом пролетел с грозным шумом самолет и вышиб из головы Мануйлы нарастающее внимание к человеку.

Он продолжал о своем путике.

— Потерял голову! — дивился Митраша.

— Ну да! — ходил, как в тумане, все равно, что не было у меня головы, и я не мог услышать, скоро обернуться, увидеть, увернуться: я потерял голову — и дерево упало на меня.

Мне было на душе горько: я не мог жить без людей и не мог жить без своего путика. «Прощайте!» — сказал я.

Но меня подняли и в больнице выходили. И один человек, самый хороший, какого я только видал на свете, послал меня в Москву искать правды.

— Бедный Мануйло! — сказала Настя, и глаза ее, большие, темные, заблестели от слез, как ягоды блестят на дожде.

Не пожалей Настя Мануйлу, очень может быть, Мануйло и стал бы расспрашивать у Митраши про отца, и так бы все и дошли до правды. Но Мануйло заметил, какой милой от слез сделалась девочка, и своей огромной ладонью погладил ее золотистые волосы.

— Ты не меня жалей, а наш колхоз, недаром же он сам себя назвал «Бедняком». Мне же, деточка, везде хорошо: что ни задумаю, мне во всем счастье. И об одном я горюю, что люди не хотят брать свое счастье и похваляются своей беднотой.

— Дядя Мануйло,— сказал Митраша,— не надо больше про колхоз «Бедняк» и про путик, расскажи нам, что это за Москва, и какая она, на что похожа?

— Москва ни на что не похожа,— ответил Мануйло.— Большой дом и много окон: десять, двадцать, может, сто. А над этим большим домом построен другой большой дом, и тоже все окна и окна: не пересчитать. Над этим вторым домом сверху третий такой же, и опять все окна и окна, и опять вверх. Есть дома в двадцать домов и вверх.

А к этому дому рядом примазан другой такой же, с другим смазан третий, и так целая улица.

И тоже улица — не улица, как ручей — не река. Улицы, как речки, вливаются в большую реку, и по ней течет не вода, а народ.

Вот иду я, иду, и нигде мне самому ничего не видко: только все люди и люди, как льдины в ледоход.

Иду я, иду, и ничего мне самому не слышно: все везде кругом гудит, стучит, звенит и огнями играет: и красными, и зелеными, и желтыми.

Иду я, иду и вижу перед собой, великий мост через реку выгнулся и повис, по мосту люди идут тесно по той и по другой стороне. А по середине машины, много машин, как

жуки: и черные, и синие, и разные. А под мостом внизу по реке идут пароходы по воде, а по берегам реки — опять машины. Только по мосту они ползут нешибко, как жуки по земле, а там они летят, как жук по воздуху, и гудят.

Иду по мосту, на ту сторону, гляжу на пароход, и мне мнится, будто не пароход идет, а мост подо мною идет.

Голова кружится!

Иду я и не смотрю больше на пароход, и голова у меня больше не кружится и будто стала на свое место. Все впереди видко мне опять.

Вот на той стороне дом великий, а на дворе уже темнеет, и в том великом доме загораются огни: один огонек, другой, третий, и пошло, и пошло: не счесть, сколько огней!

Я больше не иду, а как стал на мосту, так и стою, и смотрю, когда вовсе стемнеет и все огни загорятся.

Много огней в доме загорелось, и от низу и до верху в окнах все видко.

Там укладывает мать, вся в белом, маленьких детей в кроватки.

Там умываются.

А там — пьют вино.

А еще повыше — двое так сидят...

И все внизу видко, и только невидко, где окна завешаны.

А в одном окне мальчик сидит за столом, пишет, читает, губками перебирает, себе помогает, весь кудрявенький, хорошенький, а лампа зеленая.

Гляжу я на мальчика под зеленой лампой и забыл про себя, что я приехал в Москву, и куда мне идти, и что мне делать.

Стою спиной у железной решетки и гляжу туда на огни. Сам не вижу и не знаю, кто проходит, кто стоит возле меня и на меня глядит.

Вдруг человек хорошего вида, не молодой — не старый, из-под руки меня спрашивает ласково:

— Скажи, друг, откуда ты к нам пожаловал?

— С Пинеги,— отвечаю,— мы пинжаки.

— Оно и видно,— говорит,— издалека приехал. Похоже, еще и не устроился нигде. Чего же ты тут так долго стоишь и глядишь? Что ты видишь?

— Мне,— говорю,— вон тот мальчик полюбился под зеленой лампой: сидит, пишет, читает, губками себе помогает, какие веселые волосы. Не можешь ли мне сказать, кто этот мальчик у вас?

Засмеялся неизвестный человек на мои слова и говорит:

— Мальчик этот у нас, это вернее всего — новый Пушкин родился. Мы ждем от него, чтобы он так сказал о правде, чтобы все ее поняли и чтобы весь свет пошел за нашей правдой. Вот мы какие, вот какой у нас мальчик! Слыхал,— спрашивает,— про Пушкина?

— Нет,— отвечаю,— человек я северный, бурлак и охотник, сказки сам сказываю, а про Пушкина, может, и слыхал, да к чему он — не понимаю. Сделай милость, расскажи!

— Пушкин,— говорит,— был человек замечательный: он говорил только правду. Мы все ждем, чтобы он опять родился: вот, может быть, этот мальчик и есть новый Пушкин.

Тут я понял, что он это пошутил: не может человек два раза родиться. Но мне полюбилось, как он сказал: мне самому тоже хочется в своих сказках правду сказывать.

— Милый ты мой,— говорю я, и радуюсь, и прошу его,— друг, давай где-нибудь посидим, поговорим.

И показываю ему в окно на тех двух в окошке, что вот уже час или более так сидят, ничего не делают и между собой неслышно говорят.

— Можно! — отвечает мне мой друг.

И повел меня опять назад через тот великий мост.

Ну вот, пришли мы в другой большой дом, там все сидели, ели, пили, и мы сели за столик одни. Он меня накормил и сам немного отведал, а потом спрашивал и записывал, и так-то ему это полюбилось, когда я ему рассказал, что приехал в Москву просить, чтобы приняли меня в колхоз со своим путиком.

— Счастливый ты,— говорит,— человек!

— Это,— говорю,— я знаю.

— Нет, в том счастливый ты,— говорит,— человек, что на меня напал!

Так сложил он свои бумажки, заплатил по счету и велел вызвать машину.

Сели мы в машину и поехали скоро, вся Москва со всеми огнями за нами гонится и не может догнать.

— Хороша,— говорю,— Москва!

А он мне:

— Да и ты хорош!

Так приехали мы в общежитие, и тут велено мне было жить спокойно и ждать, когда меня позовут. Прощаясь, друг мне еще раз сказал:

— Счастлив, что напал на меня.

И назвался Иваном Егорычем.

Ну, хорошо! Рано утром я просыпаюсь на белой постели, а вокруг все до одного человека спят. Слышу: внизу где-то люди шумят, покрикивают, скребут и машины гудят и шуршат.

— Что бы это было такое?

А кругом меня человек к человеку спят на белых простынях.

Спросить некого.

Вижу, кот сидит на окне и тоже вроде меня слышит и тревожится: что бы это было такое?

Окно все голубеет, все светлеет. Кот что-то по-своему понял, сел на задние лапки, поднялся и передними двумя, часто перебирая, начинает драть по мороженому стеклу.

Драл-драл, и ему стало видко.

Видит кот, галки летят, много летит галок, и он мордочкой ведет в их сторону:

Галки прямо — и кот прямо, галки вбок — и кот вбок, галки вправо, галки влево: куда галки — туда кот.

Подхожу и я сам к окну. Живые помочи!

Полна улица людей, и все с лопатами. Машины приходят, машины уходят. Приходят машины пустые, уходят — полны снега.

Все работают, улицу очищают, снег накладывают.

Чем, думаю, я-то плох? Потихоньку оделся, спускаюсь с лестницы и спрашиваю у людей:

— Что вы делаете?

А они мне весело отвечают:

— Весну делаем!

Чем же, думаю, я-то плох? Беру себе лопату в руки...

Так у них в Москве: головой работают больше по ночам, и эти — по утрам долго спят.

А кто руками, так еще начинают работать в темноте, как и у нас, на Пинеге. И я с теми каждый день в темноте начинаю, в темноте и кончаю.

Так у нас все скоро вышло: весну в Москве сделали.

Хорошо весну сделали мы: ни одного пятнышка белого. А когда снегу не стало — что делать солнцу? Сушить улицу. Сушит оно и играет цветными платочками на головах. Любо!

Первые дни меня в общежитии спрашивали:

— Что ты делаешь?

А я в ответ:

— Весну делаю!

А они мне:

— Ты что же, в дворниках или в трест по очистке нанялся?

А я им:

— Нет, я это не задаром в Москве хлеб ем.

С тем они от меня и отошли.

Потом вдруг приходит машина и говорят мне:

— За тобой! — И повезли меня к Калинину.

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## УТИНАЯ ВЕЧЕРКА

### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ



Бывает, в бору у какой-нибудь золотисто-рыжей сосны из белого соснового тела выпадет сучок. Пройдет год или два, и эту глубокую дырочку оглядит зарянка, маленькая птичка точно такого же цвета, как золотисто-рыжая кора у сосны. Эта птичка натаскает в пустой сучок перышков, сенца, пуха, прутиков, устроит себе теплое гнездышко в пустом сучке, потом выпрыгнет на веточки и запоет. И так начинает птичка весну.

Через какое-то время, а то и прямо тут вслед за птичкой приходит охотник и останавливается у этого самого дерева в ожидании вечерней зари.

Вот где-то, с какой-то высоты на холме, певчий дрозд первый увидал признаки вечерней зари и просвистел свой сигнал. На этот сигнал отозвалась зарянка, и вылетела из пустого сучка, и, прыгая с сучка на сучок выше и выше, оттуда сверху тоже увидала зарю, и на сигнал певчего дрозда ответила своим сигналом.

Охотник, конечно, слышал сигнал дрозда и видел, как по сигналу вылетела зарянка. Он даже заметил, что зарянка, маленькая птичка, открыла свой клювик, но что она

пикнула — он не слыхал: голос маленькой птички не дошел до земли.

Птицы уже начали славить зарю, а человеку внизу зари не было видно.

Но пришло время, над всем лесом встала заря, и охотник увидел: высоко на сучке птичка свой клювик то откроет, то закроет.

Это зарянка поет, зарянка славит зарю, но песни ее человеку не слышно.

Охотник все так понимает, по-своему, что зарянка славит зарю, а отчего ему ее песню не слышно — это оттого, что зарянка поет, чтобы славить зарю, а не чтобы самой славиться перед людьми.

И вот мы считаем, что как только человек подумал об этом, чтобы ему тоже так хорошо было, чтобы ему славить зарю, а не чтобы зарей самому славиться, так и начинается весна самого человека.

Все наши настоящие любители-охотники, от самого маленького и простого человека до самого большого, только тем и дышат, чтобы прославить весну, а не самому весною прославиться.

И сколько таких хороших людей есть на свете, и никто из них сам не знает о себе, и так все привыкнут к нему, что никто и не догадывается о нем, что он хорош, что он для того только и существует на свете, чтобы славить зарю и начинать собой такую хорошую весну человека.

Вот тоже и у нас в Вологде на самом берегу реки жил такой плотник Федор Силыч. Как все плотники, он работал всегда молча, но если станешь ему рассказывать о чем-нибудь, то слушает охотно, не говорит даже ни да и ни нет, а только улыбается и, насколько ему можно оторваться от топора или рубанка, поглядывает понимающим глазом. Самому себе всегда кажется, будто разговор с ним идет ему впрок, и оттого так скоро между ним и тобой вырастает целая большая пахучая гора стружек.

А когда отойдешь от него, то всегда думаешь: а не пойти ли самому в плотники, не заделаться ли самому столяром?

Когда Силыч сильно стал стареть и вертеть бревнами стало ему невмоготу, он перешел на столярные работы, и на этом деле он и свил себе такое же гнездышко незаметное, как свивает зарянка в пустом сучку. Силычу на своем уделе удалось послужить хорошо, и всякий вологодский охотник поминает его добром.

Бывало, Силыч работает, а дорога уже подопревает, рыжая по белому, и в душе охотника начинает мутить, и тянет куда-то. Вот и скажешь:

— Силыч! А дорога-то подопревает...

Он улыбнется, поглядит то на дорогу, то на тебя.

— Ты знаешь, Силыч! — скажешь ему,— охотничья душа начинается от разлуки, что-то мы с тобой потеряли в лесах и в болотах, к чему-то так теперь тянет.

Он улыбается.

Каждую весну мы так начинаем, и наконец лет уже тридцать, а может быть, даже и сорок Силыч, услыхав о разлуке, бросил обычную работу и начал делать что-то другое и стал на долгое время каким-то другим человеком и рассказы всякие слушал рассеянно.

Так родился наш замечательный вологодский ялик из мысли этого скромного человека о разлуке и твердом своем решении соединить разлученного городского человека с природой.

Не знаю, конечно, свет велик, и, может быть, где-нибудь делают охотничьи ялики лучше нашего, но нам ялики Силыча всем так пришлись по душе, что кажется, будто лучше яликов Силыча не было и нет ничего лучше на свете.

Сколько людей было, что вовсе ружья никогда в руках не держали, а как поглядит на ялик Силыча, так закажет себе, а как проедется, так ружьишко достанет и начнет, из своего собственного ялика, как птичка из пустого сучка, славить зарю...

Эта знаменитая лодка делается из двойной фанеры, и оттого она такая легкая, что одному легко можно ее перетащить с одной речки в другую. На ней есть и палуба, чтобы в непогоду забраться, закрыть за собой отверстие и в бурю, и дождь, и холод быть, как у себя дома.

Мало того! захочется подышать свежим воздухом, или в ветер и дождь чаю сварить, или жирную утку зажарить на примусе, то отверстие прикрывается особой маленькой палаткой. А по бортам ялика частые гнезда, в них вставляются ветки, и ялик обращается в плавучий шалаш.

Умеючи обращаясь с веслом, можно на близкий выстрел подплывать к уткам, гусям, лебедям. А если ветер походный, то есть гнездо для мачты, можно парус поставить и на легком ялике птицей мчаться по ветру.

Несет ветер вперед на воду — воде нет конца, мчись водой хоть в Северную Двину, хоть в Белое море, хоть в Ледовитый океан.

Прощайте, домашние люди, я мчусь в океан!

Несет ветер домой, тоже как хорошо!

Здравствуйте, милые люди мои и мой любимый труд!

Удивляются и смеются люди со стороны на взрослых людей, даже и на стариков, что они все свое свободное время проводят на яликах, смеются и не понимают того, что это новый человек возвращает себе древнюю силу природы.

Так вот оно и вышло, что от разговоров о разлуке человека с природой наш Силыч перешел к делу и за долгую жизнь свою создал целый флот охотников на вологодских яликах.

Где теперь эти охотники? Один где-нибудь в ночное время на постройке плотины для перехода своей части на ту сторону задержал собственным телом прорыв ледяной струи, другой, может быть, телом своим закрыл пулемет, третьему посчастливилось: сидит у огня и пишет жене, чтобы берегла в сарае его ялик, и хорошо, если она у шофера достанет отработанного масла и на всякий случай промажет им весь ялик.

Все здоровые охотники теперь на войне, весь флот Силыча теперь у жен под замком, и остались охотники теперь одни только те, кому нельзя на войну: люди они хорошие, как и все, только негодны оказались для войны и оттого их зовут *негодниками.*

Из негодников первые охотники, спорить об этом никто не станет, это, конечно, *братки,* два одинаковых брата — Петр и Павел. До того братки друг на друга похожи, что узнать верно, кто у них Петр и кто Павел, можно, только когда они рядом. Но хорошо, что никогда и нельзя увидеть их отдельно. От рождения Петр был совершенно глухой, а Павел слепой, но зато глухой Петр имел такое острое зрение, что видел, говорят все, вдвое дальше среднего человека, а слепой Павел слышал вдвое против среднего человека.

Вот почему всегда так бывало, что когда слепой Павел издали услышит такое, чего средний человек еще слышать не может, то, почуяв движение брата, глухой Петр повертывает туда голову и видит такое, что для среднего человека еще совершенно невидимо.

А еще у братков то замечательно и всем тоже известно в Вологде, что они могут говорить только правду и ни разу никого в жизни своей не обманывали.

Иные слабые люди у нас до того изверились в правде, что в Вологде всюду в привычку вошло отвечать на всякий

обман тем, что правды вовсе и нет на свете, что правда только у Петра да у Павла.

А есть и такие, по-нашему — совсем негодные, до того изверились, что не удивляются даже и на Петра и на Павла и говорят, будто оттого у них и правда, что слепой и глухой не умеют между собой сговориться, чтобы обманывать.

Братки служили на одной должности повара на железной дороге, и вологодский буфет далеко славился по всей Северной дороге их пирожками, жареной дичью и гарнирами. Когда поезд подкатывал, то люди, даже и сытые, выходили попробовать знаменитых пирожков и всегда при этом дивились на двух граждан, соединенных поневоле в одного повара.

Дивились, что два обиженных природой человека, соединенные в одного, работали, пожалуй что, лучше, чем два несоединенных нормальных. И некоторые высказывали:

— Вот бы всем так!

Но тут же с горечью вспоминали, что Павел был слепой, а Петр глухой, всем же хотелось непременно и видеть и слышать.

Покушав пирожков, с этим примером все уезжали, но мало кто знал о братках самое удивительное, о чем знали только мы, кровные вологодские охотники. Братки у нас в городе были самые замечательные охотники, и глухарей они всегда приносили много больше охотников с полноценным зрением и слухом.

Все было в том, что глухарь поет очень тихо и успех зависит много от того, кто раньше других глухаря заслышит. Раньше всех, конечно, слышал глухаря в лесу слепой Павел и, заслышав песню, хватал братка за руку и скакал с ним к глухарям.

И вторая причина успеха в этой охоте была от того, кто раньше во мраке рассвета разглядит среди ветвей птицу. На это был мастером глухой Петр: завидев глухаря, когда еще никто не мог видеть, Петр останавливал Павла и глядел то на глухаря, то на брата. По уговору слепой Павел трогал Петра за левое плечо, когда глухарь начинал песню, и Петр под песню стрелял.

Так вот все со смехом в Вологде говорили, что правда только у Петра да у Павла, и на службе у братков выходили славные пирожки, и на охоте птиц у них всегда больше всех. Осенью поздней, когда утки жирные и захочется кому-нибудь покушать, то с этим желанием безошибочно можно бывает пристать только к ялику братков: они всегда

накормят, когда уткой, когда гусем, а случится — даже и лебедем.

Все эти охотники, и сам Силыч, и братки, и еще, хоть и мало их оставалось из-за войны, привыкли каждый год, когда Мануйло отправлялся на щуке, тоже к этому дню начинать свой отпуск и садиться в ялики.

Стар стал к этой весне Силыч, до того стар, что никак и не чаял на своем десятом десятке и эту весну, как всегда, встречать на воде. Даже и утке-то его подсадной Маруське пошел восемнадцатый год. Про утку не думал, что доживет. И кто бы ни поглядел и на охотника и на утку, никто бы не поверил, что оба они встретят еще одну весну на воде.

Но закричала Маруська, почуяв весну, и Силыч, услыхав утку, перемог свои ревматизмы, собрался и поплыл вслед за Мануйлой.

А за Силычем собрались в ту же ночь и братки.

Нельзя пересказать о всех вологодских *негодниках*, но нельзя никак забыть Журавля.

Мы знали, еще когда он жил в своем маленьком глинобитном домике на болотах в присухонской низине, в свое время, по молодости, он поверил в такую мечту, чтобы жить только охотой.

Дичи так много бывает на присухонской низине, что он захотел устроиться прямо на болоте в комарах, и даже сманил на эту особенную жизнь одну вологодскую девушку.

Скоро жена испугалась этой жизни в болотах и убежала обратно в Вологду. Что ее испу́гало?

Разве мало рыбы в Сухоне, и в Леже, и в Вологде? Мало ли уток выводится, и гусей пролетает, и лебедей? А боровая дичь когда весной подымает свой голос, так и кажется, будто весь горизонт кругом заговорил!

Нет, конечно, голодной на присухонской низине не могла быть жена Журавля. Ошибка его расчета была в том, что охота его была не в том только, чтобы убить,— это было самое последнее. Его любительская охота была в чем-то совсем непитательном, как тоже и девушка городская искала общества, а муж угощал ее тетеревами и утками.

Вот она от него и ушла.

После ухода жены охотник еще долго жил в мазанке, и все мы его знали.

Бывало, прилетят на присухонскую низину в великом множестве журавли, погамят весной, пошумят, покричат и разбиваются на пары, и этими парами скрываются в

болотных зарослях. Каждой весной появляется на пойме один какой-нибудь одинокий журавль, он не прячется, а ходит по лугам с утра до ночи и не трубит, как трубят все журавли, а свистит.

— Чего он свистит? — спрашивают люди прохожие местных.

— Наверно,— отвечают,— пары не может себе подобрать!

И указывают на мазанку одинокого охотника на пойме.

И так говорят:

— Вот тоже был человек, жил — распевал, а как жена его оставила, он теперь тоже свистит...

Если же время придет такое суровое, что спрячется в зарослях даже и тот одинокий журавль, то разговор бывает иной:

— Кто,— спрашивают,— живет на болоте в таком маленьком мазаном домике?

— Одинокий человек,— отвечают,— по прозванию Журавль.

— А почему он «Журавль»?

На этот вопрос местные люди охотно рассказывают о том одиноком журавле, что не трубит, когда все трубят о победе весны, а только свистит.

Все, однако, кончилось счастливо тем, что умерла старушка — теща Журавля, и жена возвратила мужа с болота к себе в Вологду на свою жилплощадь. Все и кончилось тем, что Журавль сделался шорником и завел себе охотничий ялик.

Другой охотник, по прозвищу Длинный чулок, тоже когда-то мечтал заниматься охотой, как делом, но поглядел на судьбу Журавля и купил себе во время нэпа чулочную машину.

Случилось однажды, загорелась в Вологде деревянная слободка, и все бросились бежать из своих домиков и спасать вещи. Тоже и чулочник бросился со всеми со своей машиной, и за ним кишкой через всю улицу тянулся неразрезанный чулок.

Тут-то все и увидели, и многие поняли это в первый раз, что чулок в своем происхождении бывает един и делается как бы на ногу всего единого человека. Это всех так удивило, что чулочника с тех пор стали звать «Длинный чулок». Вскоре, однако, он свою машину забросил и вернулся к любимой охоте, но прозвище за ним так чулком и тянулось.

Вот и этот Длинный чулок был охотник неплохой и тем же охотничьим чутьем почуял утиный пролет и выехал на своем ялике. Еще несколько охотников с броней было с лесной биржи, несколько новых инвалидов Отечественной войны.

Раньше всех отчалил Мануйло, но, конечно, его щука не могла без помощи весел двигаться так же скоро, как легкие ялики. Вот отчего среди ночи Силыч первый нагнал щуку. Вода немного отсвечивала даже и ночью, и Силыч даже в темноте узнал в огромной фигуре у руля Мануйлу.

— Здорово, пинжак,— сказал он,— ты куда это плавишь щуку?

Мануйло дремал у руля и не сразу узнал Силыча, да к тому же они давно не встречались, и Мануйло думал, старик уже давно на том свете живет. Когда же он взглянул, опамятовался, узнал, то в глубоком изумлении воскликнул:

— Живые помочи! ведь это ты, Силыч!

И заставил Силыча вылезти к нему на щуку.

С трудом, из-за проклятой спины, выкарабкался Силыч на щуку, а ялик его Мануйло переставил с воды на щуку, как коробочку из-под спичек.

— Ай да дед! — сказал весело Мануйло старинному охотнику.— Все живешь — не сдаешь. Сколько же у тебя, Силыч, из рубля вышло копеек?

И как рыбак рыбака, так и охотник сразу понял охотника.

— До рубля,— ответил он,— осталось мне семь копеечек.

И это означало, что Силычу теперь было девяносто три года.

— А сколько старухе твоей? — спросил Мануйло, поглядев на его утку.

— Маруське,— ответил Силыч,— пошел восемнадцатый год.

Другие охотники, перегоняя щуку, узнавали Силыча, и сами, конечно, просились на щуку.

— Живые помочи! — повторял Мануйло, помогая тому и другому выбраться на щуку.

Так еще до рассвета собрались славно все вместе с Мануйлой на щуке наши лучшие охотники: старый Силыч, братки, Журавль и Длинный чулок.

Всех их Мануйло предупредил, что он *плавит* детей и они сейчас тут спят у него. Стараясь не шуметь, не сме-

яться, не будить детей, охотники поджались, замолкли и на заре все прикорнули.

Мы знаем, как хорошо им всем было: сами в молодости немало поплавали.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Река Вологда впадает в реку Сухону, а с другой стороны, почти напротив, впадает в Сухону река Лежа. Неподалеку на присухонской низине есть никогда не затопляемый весенней водой холм Выгор, и с него все три наши реки, как на ладони.

Выгор — место весенних утиных охот.

Этой весной все эти реки прошли на очень низком горизонте, оттого захватили на молевой сплав только ближайшие к воде хлысты. Теперь редкая желтая *моль* из этих хлыстов плыла по Сухоне в сторону Северной Двины, изредка потукивая в бока буксирных маленьких пароходов.

Всю зиму люди работали, окатывая срубленный и ошкуренный лес к берегам рек. Но только самая малая часть этого *круглого леса* была захвачена первой весенней водой. В лесах еще полным-полно снегу, и та сплавная весна, настоящая весна воды для бассейна Северной Двины еще не пришла.

Но скорей всего дело было так близко к половодью, что охотники, чуя, как животные по запаху болот, приближение последнего часа зимы, при встрече делились этой радостью и говорили друг другу:

— Часом все кончится!

Напряжение этого часа в душе охотника бывает так велико, что им на сторону и смотреть нечего, они чувствуют по себе приближение этого великого начала весны воды.

Рассказывая, мы вот тоже вспоминаем, как было раз в молодости, в одиночной камере политического заключенного: нам с соседом по камерам в тюрьме так запахло болотом. Какой это был чудесный запах!

И потом явственно в закрытых глазах показалось болото с кочками, обтаявшими на солнце. Такие видения бывают в одиночном заключении. Тоненьким зеркальцем была окружена в этом видении каждая кочка, и тяжелая кряква, переваливаясь с боку на бок, несмело переходила с кочки на кочку по неверному льду.

Не знаю никаких на свете приманок жизни чудеснее видения такого болота в тюрьме!

И вдруг товарищ, тоже страстный охотник, заключенный в соседней камере, выстукивает в стенку слова:

«Зима теперь часом кончится!»

И оказалось, что и ему тоже запахло собой весеннее болото, и он тоже вспомнил свою крякву на тоненьком льду между кочками.

Много не настучишься в тюрьме — надзиратель заглянет в дырочку и заругается, только и было сказано, что часом все кончится.

Мы были уверены, что это так из тюрьмы хорошо показалось болото и является прелестью, чтобы нас мучить в тюрьме, и после, как выпустят, все пройдет непременно, как сон.

И вот нет! из шалаша глядеть на болото, оказывается, еще лучше, и так оно пошло на всю жизнь.

Сколько раз, тоже из шалаша, мы своими глазами видели, что кряква иногда ошибается: бывает, и оскользнется и провалится, и так это было чудесно посмеяться вместе, и какие это милые люди, охотники, что могут в шалаше посмеяться над кряквой!

Как раз вот так и было в болотах на присухонской низине, когда Мануйло вывел свою щуку в реку Сухону. Кочки были окружены тонким зеркалом льда. А потом, когда солнце расправилось со льдом, вдруг, в какой-то час это сделалось: на каждой кочке сидела раздумчивая птица с большими черными глазами и длинным носом.

Чудесная картина! Кажется, это не просто известные птицы а само болото очнулось и так по-своему думает. Так понемногу и тебя втягивает болото в раздумье. И в болоте, кажется тогда, вовсе и нет времени, и время как-то уходит из-под души, и счет исчез.

Не сразу хватишься, одумаешься, придешь в себя и начнешь разбирать все по-своему.

Тут и большие кулики сидят, самые большие — кроншнепы, к лесам поближе сидят вдвое меньше кроншнепов вальдшнепы, вдвое меньше этих сидят дупеля, вдвое мельче дупелей — божий баран.

А еще меньше барана или бекаса, совсем каплюшка с воробья — гаршнеп: сам, правда, не больше воробья, а нос длинный, и в ночных раздумчивых глазах общая вековечная и напрасная попытка всех болот что-то вспомнить.

Вот она, эта попытка что-то вспомнить, повторяется бесконечно и переходит от кочки к кочке, от птицы до птицы.

— На веках это было, на веках это было, на веках это было...

Отчего-то становится грустно и даже жалко их всех, и в ответ на их слова о том, что на веках все это было, с досадой скажешь:

— Все было и было, да скажите хоть одно слово о том, что оно было-то?

И вдруг все откроется: все эти птицы и кочки болотные, как были, так и остались в былом, а я с малолетства оторвался от них и стремительно мчусь к небывалому.

Они весной летели вперед и прилетели на места гнездований, где они были. Я же человек, и у меня впереди — небывалое!

Дело Мануйлы было самосплавом довести щуку по течению до того места, где сходятся все три реки: Сухона, Лежа и Вологда, и тут у лесной биржи на Леже дожидаться буксирного парохода и отправить с ним щуку вверх по Сухоне на известный завод «Сокол» на Кубенском озере.

Для того и сплачивается лес щукой, чтобы он легче шел против течения.

Счастливо вышло, что буксир как раз тут и был на Леже и поджидал щуку. Мануйло тут же и сдал ее и, свободный, вместе с охотниками и ребятами вышел на Выгор.

Между охотниками с детьми теперь выходило, как и у нас в былое время в больших семьях в гостях: поглядят на тебя старшие одну минуту и забудут тебя, и ты живешь себе у чужих сразу как дома.

Особенно же хорошо было детям с Мануйлой. Познакомился он с ними, наговорил им всего от себя, и стало, как будто он что-то посеял и посеянное оставил с заветом: «Сами растите и радуйтесь!»

Время уж близилось к вечерней охоте, все большие и малые охотники бросились устраивать себе шалаши.

Присухонская низина, можно сказать, так и создавалась для встречи охотников с утками и для редкостных теперь уже в других местах дупелиных токов, тех самых, когда охотники, поняв места тока, днем ставят на нем зажженный фонарик. В темноте дупеля, собираясь на ток, почему-то теснятся к фонарику, и охотники стреляют по огоньку.

В особенности пришелся к сухонской долине незатопляемый холм Выгор. В ольховых зарослях тут есть и елочки,

чтобы взять с них лапнику на шалаши, есть гибкая ива, черемуха. Все с годами, конечно, сильно пощипано, зато на самой низине остается множество жердей от стогов сена, да тоже в тех же одоньях немало бывает и сена для спокойного спанья в шалаше.

За много лет у каждого охотника, конечно, определилось свое любимое место на Выгоре, и Силыч, пожалуй, не меньше как лет уже сорок ставил на одном и том же месте свой утиный шалаш.

Ни одного лишнего шага, ни одного случайного движения руки, и оттого у старого человека хватает силенки, чтобы и в эту весну устроить себе все ладно и добыть своего весеннего селезня, как и в молодости.

Каких только болей нет в старых костях: и нытье, и ломота, и всякие внезапные схватки, пронзительные прострелы. Но долгая жизнь против всего этого находит защиту. И никаких болей не боится Силыч, а такого боится, что приходит без всяких болей.

Бывает, вечером, когда наступит желанная минута и на светлой воде, как на озаренном чистом глазу самой земли, проплывает, сияя всеми красками в своем брачном наряде, селезень, Силыч тихонько выставляет сквозь дырочку в шалаше на этого селезня ствол своей «Крынки»...

Что это за «Крынка?»

А это редкостное ружье, в давнишние времена переделанное в охотничье из военного кремневого ружья Крымской кампании. Таких ружей осталось теперь очень мало, но у кого оно есть, тот всех уверяет, что никакое ружье на свете не может так сильно и громко ударить, как «Крынка».

В нашей округе такое ружье сохранилось только одно, звук его всем известен, и когда вечерней зарей раздается такой выстрел, все в своих шалашах обрадуются и скажут:

— Это Силыч ляпнул из «Крынки!»

Вот сейчас мы скажем о самом большом горе Силыча. Бывает, Силыч и пороху подсыпал на полку, и просунул длинное дуло в щелку шалаша, и вон он, селезень, разноцветный, выплывает на озаренную воду. Остается только нажать на гашетку. И вдруг вся цветущая жизнь исчезает, все обращается в глазах в кромешную тьму.

Вот этого и боится одного Силыч, и это бедствие неотвратимое называется куриной слепотой.

Не всякий раз, однако, это бывает, и не всегда беда приходится к тому мгновению, когда целишься.

Нельзя, однако, сказать, чтобы и на куриную слепоту в широкой душе Силыча не находилось бы утешительной защиты: куриная слепота приходит на короткое время, откроются глаза — приплывет другой селезень. А что тот селезень жив остался и даже весело потоптал его Маруську, то ведь, как раздумаешь, и то не беда.

Маруське тоже ведь надо отдохнуть от вечного обмана в пользу хозяина. Да и стара уже становится, ей теперь уже пошел восемнадцатый год, ей тоже надо оставить Силычу наследницу свою от дикого селезня.

Помаленьку, не торопясь, Силыч натаскал себе жердей, лапнику, сена и устроил шалаш. После того он достал себе хороший долгий кол, с одного конца затесал его, чтобы легко воткнуть в дно, а к другому прибил гвоздем привезенный из дому деревянный кружок. С этим маленьким круглым столиком, прибитым к длинному столбу, старик в высоких сапогах прошел по разливу на расстояние близкого выстрела, тут вбил он кол в дно так, что круглый столик пришелся как раз к самому зеркалу воды.

Все время, пока Силыч возился с устройством деревянного круга на воде для своей *круговой* утки, возле шалаша на ялике из открытой корзины за ним неотрывно следила Маруська своим маленьким круглым агатовым глазом. За семнадцать лет жизни с Силычем она отлично научилась понимать черед всех его действий на охоте. И теперь она ждала завершающий все позыв старика, приглашение занять сухое место на круглом столике.

Закончив работу, Силыч позвал ее тем голосом, как шваркает селезень, и Маруська безо всякого промедления стала на крыло и села на столик.

Никогда в обычное время Силыч не подрезает крылья своей подсадной утке и не связывает их, даже и корзину ее не накрывает: она у него совершенно свободна.

Единственно только теперь, самой ранней весной, когда вся дикая утка с юга тронулась на север на места гнездований, Силыч опасается, не умахнула бы от него его Маруська, осторожно и вежливо вытягивает из-под нее утиную ее ногу и обносит ее круглым ремешком, *нагавкой,* к этой нагавке привязывает бечеву и конец бечевки привязывает к колу под водой. Утка, если захочет, может плавать кругом на длину бечевы, может отдыхать на кругу, а улетать ей не дает привязанная к ноге бечевка.

Тоже так и братки Павел и Петр устроились на своем

месте в одном шалаше. Зрячий Петр глядел в дырочку на подсадную утку, а слепой Павел слушал, и когда что-нибудь слышал, то быстро и тихонько толкал Петра под локоток.

Вот какой слух был у Павла, что полет и шварканье селезня он слышал раньше подсадной утки!

Получив толчок под локоть, Петр приготовлялся и глядел на утку в ожидании, когда у нее начнет открываться клюв для крика. После того он ждал в воздухе приближение селезня.

Если же селезень, услыхав позывные утки, где-нибудь невидимо для Петра садился на воду, Павел всей ладонью трогал Петра по спине, и это значило, что он услыхал всплеск воды, когда селезень где-нибудь неподалеку садился.

Мало того! Слепой слышал самое подплывание селезня, слышал, как утка почесывается, если селезня почему-то долго все нет.

Вот почему и выходила охота двух человек, соединенных в одном, много лучше, чем охота двух даже отличных охотников, но разделенных друг от друга отдельными маленькими желаниями. Вот отчего Петр и Павел всегда были правдивы: у них было все вместе, у них не было отдельных желаний.

Точно так же, как все, устроив на круг свою подсадную утку, сидел тоже и Журавль. Шалаш его был совсем недалеко от того места, где когда-то стояла его мазанка, где он пытался свою охоту за утками, дупелями, тетеревами устроить как дело жизни. Что только он не перенес от жены, кто только не посмеялся над ним за эту попытку жить не тем, что установлено испокон веку для человека, а тем, чего только себе самому хочется!

Плохо было, главное, что ничему он, по правде, в этом опыте не научился. Дичи и рыбы для жизни было довольно. Уменья достать пищу на воде и в лесу ему хватало. Так почему же все-таки получилось, что жить одной любовью к своему делу нельзя?

Почему нельзя хорошему охотнику в богатейших дичью местах жить с любимой женой?

Этот вопрос оставался Журавлю нерешенным и оттого, что благородный охотник не хотел всю беду свалить на жену.

Нерешенный вопрос всего дела жизни создавал в душе Журавля, как у всякого человека, особую встревоженность

на охоте, и это, как у всякого утиного охотника, передавалось и утке.

Такая нервная утка кричит не только селезню, но даже и всякой вороне: была бы тень на воде и слышался бы в воздухе свист и шелест крыла. Летят же на вечерке, конечно, больше вороны и галки, чем селезни, и оттого и утка без перерыву кричит, и от каждой вороны охотнику приходится вздрагивать.

Зато у чулочника утка была такая спокойная, что хоть сюда в шалаш чулочную машину поставь. Закричит — и смело хватайся за ружье: подплывает селезень, замолчит — садись, и хоть машину сюда: и вяжи и вяжи длинный чулок.

Но это, конечно, только к слову пришлось, а на деле чулочник все на свете сейчас забыл, и ничего ему больше на свете не надо, как только бы на небе или на воде где-нибудь тихонько бы шваркнул селезень и на шварканье взметнулась бы утка и на всю округу по-своему заахала: ах! ах! ах!

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Многим непонятно, как это можно любить природу и всей душой сосредоточиваться на убийстве животных. Для многих совсем непереносимо, как это охотники-любители, поэты в душе, могут на поющую во мраке ночи птицу в брачном наряде наводить ружье и потом друг перед другом хвалиться тем, что он больше всех убил и даже набил.

Со стороны, и правда, это совсем невозможно понять, но по себе мы должны разобраться и в природе охотника-поэта. Мы так понимаем, что каждый страстный охотник является обладателем огромного и многим вовсе неведомого чувства природы. Прямо же тут, близко за околицей, для него начинается волшебный мир. Душа его, как у пьяного, куда-то летит в переменах, ему, как пьяному, хочется за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. Как и пьяный, он ищет друга, чтобы ему все сказать. Ему нужен трофей — доказать, что мир чудес существует и начинается совсем близко, прямо же тут, за околицей.

Настоящий поэт свое видение чудесного мира, его истинную правду утверждает стройным хором звуков. В этот хор вступают друзья поэта, и правда поэта между людьми утверждается: за околицей мир чудес существует.

А сколько раз, бывало, в какую-нибудь деревеньку

приходит дикий поэт, охотник, с глухарем в руках, и вся деревня собирается вокруг охотника, вся деревня удивляется, и тут между ребятами утверждается новая правда: за околицей начинается действительно мир чудес.

Так было на веках, с этого началось: само же страстное чувство природы требует поймать бегущего зверя, метким выстрелом остановить летящую птицу. И после самому своей собственной рукой поднять, подержать...

На этом для самого дикого поэта страсть кончается и остается еще тоже очень большое наслаждение: показать свой трофей близкому человеку, убедить его, удивить: такой чудесный мир у нас так близко, прямо же тут, за околицей.

— Друг мой! — говорит он,— пойдем со мной, я тебе все покажу, вот бери мое ружье.

На эти слова другой кто-нибудь и ответит:

— Милый друг! мне ружья не надо, я без ружья верю тебе: мир чудес существует, и прямо тут же, у нас за околицей, чудеса начинаются.

Так, может быть, с древних времен что-нибудь одно ладно складывалось с другим, в природе и в жизни человека, и сама собой из этого выходила народная сказочка или песенка свадебная или похоронная. И вот кто-нибудь когда-нибудь понял поэзию как закон природы.

— А что, если,— сказал он,— я и сам так ладно сложу, как оно складывается?

Так он попробовал, сложил и запел.

И так создался на свете настоящий поэт.

Было тоже так и с Мануйлой. Он с малолетства был промысловым охотником, для него поймать зверя или остановить полет птицы было постоянным занятием, но с охотниками-любителями он сходился, как он думал сам, из-за дружбы, и они держались его из-за его понимания всего, что делается в природе. Ему нужно было только след увидеть, чтобы без всяких собак выставить зверя на охотника. Самое же главное, что после всего Мануйло рассказывал, и слова его лучше, чем все трофеи охотников, всех убеждали в том, что мир чудес начинается прямо тут же у нас, за околицей.

Так у Мануйлы складывалось, что для охоты ему уже не надо было ни ружья, ни подсадной утки и собаки, да, пожалуй, и совсем без охотничьих угодий он мог бы оставаться с одной «правдой» охоты в душе, как он сам называл свои сказки.

И в этот раз он совсем не рассчитывал на утиную охоту и нарочно поставил свой шалаш на самом верху Выгора, чтобы отсюда лучше видеть движение птиц на вечерке, а также поберечься тут, на высоте, от внезапной весенней воды: до сих пор еще никогда весенняя вода не затопляла Выгор доверху.

Как часто мы говорим между собой: «Ну, скажите по правде». Или тоже и так: «По правде говоря...» И так часто мы говорим, ссылаясь на правду, что со стороны можно подумать, будто вообще-то мы друг от друга всегда что-то скрываем. И так чувствует себя и ведет себя каждый. Но Мануйло так понимал, что в природе все, что там есть, на правде стоит, и он, рассказывая, как бы черпает воду глубоким ведром и вытаскивает ее со дна из глубины на свет.

Как хороши эти еще не сказанные слова о всяком животном, какое только полюбится, о каждом цветке, дереве, птице, если только в них поместил частицу себя самого. Тогда какая-то утка, или береза, или этот Выгор на присухонской низине оживают по-человечески во всем единстве природы.

С высоты своего шалаша Мануйло спокойно мог наблюдать всех охотников и всех пролетающих птиц. Постепенно входя в тишину, он озарился, и начались для него чудеса.

Летела парочка: впереди серая утка кряква, за ней селезень в своем чудесном брачном наряде. Вдруг навстречу им откуда-то вывернулась другая пара. И только бы обеим парам встретиться и разлететься: одной паре в свою сторону, другой — в другую, вдруг ястреб кинулся на утку из второй пары, и все смешалось.

Сердце оторвалось у охотника без ружья, но, к счастью, ястреб в этот раз промахнулся.

Тронутая когтями ястреба испуганная утка бросилась прямо вниз и на пойме скрылась в кустах.

Ястреб, ошеломленный неудачей, и какой — из четырех уток он не взял ни одной! — ястреб медленно подплыл под синюю тучу.

Селезень из разбитой пары, придя в себя, стал искать свою утицу и сделал небольшой круг. Нигде пары его не было, и только далеко впереди первая пара продолжала свой путь.

И вдруг одинокий селезень стал на длинное крыло и, вытянув и так-то длинную шею, стрелой пустился догонять ту пару.

Тут завороженный зарею Мануйло не выдержал.

— Ты понимаешь, Митраша,— сказал он,— зачем он так пустился?

— Не понимаю,— ответил Митраша.

— А вот я тебе скажу: он подумал, что какой-то другой селезень подхватил его утку и теперь они вместе от него удирают. Вот он теперь и помчался.

Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плес и стала кричать.

— Это она зовет своего потерянного селезня? — спросил Митраша.

— Может быть, своего,— ответил Мануйло,— а может быть, и другого — у них время скорое: потужила — и будет.

Вдруг показался на желтой заре новый одинокий дикий селезень и услыхал два разных голоса: звала его и та дикая утка, потерявшая своего селезня, и подсадная утка охотника Журавля.

Между двумя утками, дикой и подсадной, завязалась борьба голосами. Утка Журавля разрывалась на части от крика, но дикая все-таки ее пересилила. Селезень выбрал дикую и потоптал.

— Летят, летят,— сказал Мануйло.

— Где, где? — шепнул Митраша.

И сам увидал.

Совершив огромный круг, возвращалась первая пара, и за ней мчался тот селезень первый, потерявший из-за ястреба свою пару. Он, видимо, как это и у людей постоянно бывает, мчался за воображаемой уткой, принимая ее за свою, украденную чужим селезнем.

Его же настоящая утка, довольная, очищала сейчас на плёсе перышки, смазывала их жиром, и молчала, молчала...

Зато подсадная утка охотника Журавля, теперь одна, без соперниц, взялась достигать дикого селезня.

И он услышал ее и оставил воображаемую утку.

— А ты говорил,— сказал Митраша,— он мчался за своей. Как же так?

— Очень просто,— ответил Мануйло,— у них время скорое: по-ихнему, время прошло, и догонишь ли еще ту, да и хватит ли силы отбить, а тут вон орет, разрывается.

Селезень так стремительно бросился к подсадной утке, что Журавль не успел выстрелить, и он потоптал. После того счастливый селезень стал делать свой обычный селезневый благодарственный круг. Журавль мог бы спокойно целиться, но ему вспомнилась его горячая молодость, когда

он так полюбил свою девушку, что хотел присвоить себе всю природу и утвердил среди поймы свою мазанку. Весь мир на этой пойме ему явился, как возлюбленная.

Так, вспомнив себя, охотник не стал стрелять дикого селезня, и он улетел.

— Почему же он его не стрелял? — спросил Митраша.

Мануйло ответил:

— Это бывает.

Митраша почти рассердился.

— Как так — бывает?

— Очень просто,— ответил спокойно Мануйло,— намаялся охотник за день и уснул.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Еще светила лимонно-желтая заря, еще можно было хорошему стрелку схватить тень пролетающей крупной птицы, но маленьких ночных птиц уже не было видно, и слышались только их голоса. Ученые люди, конечно, знают и понимают все голоса на болоте. Но простые охотники всего за всю жизнь свою не узнают, и для каждого, самого даже хорошего, остаются такие голоса, что в темноте слышишь каждую весну и знаешь голос хорошо, а какой он сам, кто прокричал, не знаешь и не можешь сказать.

Вот когда пришло время к вечеру и маленькую птицу стало не видно, Митраша услыхал этот голос. Знакомый голос неизвестного существа, может быть, даже и не птицы, похож был на то, как если бы маленький конек-горбунок, летая по твердому воздуху, без перерыву стучал звонко и часто своими крошечными копытцами.

В свое время Митраша спрашивал отца своего, но тот тогда вслушался и стал дожидаться, когда оно повторится, а оно не повторилось тогда, и вот теперь явственно слышалось: конек скакал и стучал копытцами.

Услыхав теперь, Митраша толкнул Мануйлу и тихонько спросил:

— Это кто?

Как и отец тогда, Мануйло повернул лицо в ту сторону и стал дожидаться. Скоро конек опять застучал, и Митраша опять тронул Мануйлу и сказал тихонько:

— Вот!

Опять Мануйло молча проводил таинственный звук, и опять неведомая птица сделала круг и вернулась.

— Вот слышишь теперь? — опять тронул Митраша.

— Слышу! — ответил Мануйло.

Митраша это «слышу» так понял, будто Мануйло прямо так-таки и сказал:

— Слышать-то, мальчик, слышу, да не знаю, нужно ли нам это знать, мало ли на свете есть такого, что лучше нам о нем с тобой и вовсе не знать.

Вечерело все больше и больше. То и дело проносились спаренные утки. А подсадные до того насиделись дома за зиму в ожидании весны, что орали даже и спаренным селезням. Холостые же селезни, как только появлялись, так, услыхав голос той или другой подсадной, сразу поддавались обману и попадали в руки охотника.

Но один селезень не поддавался обману, скорей всего поняв такой обман еще прошлой весной. Каждую весну везде бывает непременно один такой селезень — мучитель охотников — и почему-то называется у них «профессором».

Уже совсем стемнело, и едва-едва только на фоне воды можно было навести мушку. У всех охотников, кроме Силыча, было довольно настреляно, но бедному старику в этот раз все не везло: то, было раз, кремень старинного ружья подвел, то сам поскользнулся и пошумел, то, как водится, нечистый помешал...

Все утки орали и орали, стараясь завлечь «профессора», но старый опытный «профессор» кружился и не обращал на голоса никакого внимания.

Все утки кричали в одно:

— Ах-ах-ах!

Но Маруська вдруг почему-то крикнула по-своему:

— Ха-ха-ха!

Такой голос понравился «профессору», он опустил вниз шею-стрелу, скосил-согнул крылья и, упав на воду, так шукнул, что даже и Силыч услыхал и приготовился.

А уж как Маруська-то надрывалась! Нам даже со стороны казалось, что вроде как бы ястреб налетел: все утки вдруг, услыхав, наверно, эти необыкновенные позывные Маруськи, на мгновенье примолкли, и слышалось одно Маруськино:

— Ха-ха-ха!

Какие-то разные прутики, в темноте и не поймешь, закрывали «профессора» от Силыча, и старик уже начинал думать, не подшумел ли уж он «профессора», или, может быть, «профессор» и сам разгадал предательство Марусь-

ки, затаился и так будет ждать, а там полная темнота наступит, не разглядишь даже и на воде.

Заря совсем, совсем доцветала.

И вдруг тут совсем рядом послышалось со стороны «профессора»:

— Шварк!

От последней зари зеркальце стало желтеньким, и на желтом прямо весь и выкатил черный, как вырезанный, «профессор».

Силычу было, как будто он все свои старые годы, со всеми болезнями, битком забил пыжами в свою огромную «Крынку», нажал гашетку — и старые годы разом все вылетели.

Тогда в тишине вечерней зари не только мы тут все охотники на присухонской низине, но и там поняли, далеко на лесной бирже, на реке Леже, и каждый сказал:

— Вот это так, это Силыч ляпнул из «Крынки»!

Так пришло счастье, и по нашим охотничьим правилам в таком случае непременно надо сплюнуть на левое плечо. Так мы к этому привыкли, что некоторые даже перенесли на погоду: что как только заиграет небывало прекрасный денек, так не очень-то показывать радость, а лучше удержаться, а что лишнее накипело в душе, взять тут же и сплюнуть через левое плечо.

А сколько накипело всего лишнего от радости у Силыча! Вот он скорей всего тут и не сплюнул...

Когда рассеялся дым, Силыч ясно видел еще, что селезень-«профессор» плоским темным пятном неподвижно лежал на лимонно-желтой воде между двумя черными кочками. Вовсе не чувствуя лет своих, резвым юношей выскочил он из шалаша, вошел в воду и тут-то вдруг мгновенно, как самая темная ночь, охватила его всего куриная слепота.

Тут надо сказать, что не всякая слепота одинакова. Бывает, слепой, как и все слепые, наружу ничего не видит, а сам в себе с закрытыми глазами видит чудесные картины, написанные то огненными, то водяными знаками. А вот эта куриная слепота, как она бывала у Силыча, ничего и там внутри человеку не оставляла. Да и не мудрено, что темнота у Силыча застелила не только селезня между черными кочками, но и весь его внутренний мир.

Ведь эта темнота застала его, охотника, на том самом месте, когда все долгие ожидания весны, все бесчисленные порывы, устремления, попытки сошлись в единый момент

исполнения всех желаний: прекрасное мгновенье остановилось.

Мало того! это действительно было так, что болезни свои Силыч забил в стволы, и они все вылетели. Теперь ему, как всякому охотнику, оставалось только взять то самое, чего он добивался...

Удивительно в охоте это мгновенье, когда охотнику остается только пойти и взять убитую дичь. Пожалуй, можно даже сказать, что взять и подержать немного в руке убитую дичь и взглянуть на нее глубоким глазом, перед тем, как опустить ее в сумку, есть самый важный, самый глубокий момент охоты. Опустив дичь в сумку, охотник вроде как бы с чем-то простился, расстался...

Некоторые охотники даже любят поскорей кому-нибудь свою дичь подарить, другие хвалятся, что они, как охотничьи собаки, дичь свою не едят.

Взять свою дичь, пожалуй, действительно самый важный момент, и это видно особенно, когда почему-нибудь нельзя бывает взять убитую дичь: в темноте подстрел убежит, нырнет и затаится под листом утка, с горы свалится козел в недоступную глубину. Да, это хуже всего, когда убитую дичь взять нельзя.

Так это и случилось с Силычем. Конечно, внезапная слепота не остановила его движение к убитому селезню: ведь он же увидел его, и, казалось, идет теперь прямо в том направлении. Но только он ошибался, он шел не туда, а вода становилась ему все глубже и глубже.

Хорошо еще было, что Мануйло с горы все видел и понял сразу куриную слепоту: старик шел водой в одну сторону, а селезень оставался в другой.

Мануйло бросился бежать с горы и остановил старика в то время, когда вода начала уже заливать к нему в сапоги. Он вывел его на берег, а Митраша принес и отдал ему селезня.

Хорошо, что это бывало уже не раз и ничуть не расстроило Силыча: пусть темнота, но селезня он держит в своих руках! И еще он знал хорошо,— через какой-нибудь час прямо сном уйдет его слепота и он успеет даже в эту ночь попасть на глухариный ток.

Устраиваясь в шалаше на сон грядущий, он сказал:

— Доплетусь как-нибудь и на Красные гривы.

И, поблагодарив Мануйлу, уснул.

# ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

## КРАСНЫЕ ГРИВЫ

### ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ



В самом начале половодья у охотников есть еще время вздремнуть между вечерней зарей, когда на воде уже и утку не видно, и до утренней, когда еще в полной темноте запевает глухарь.

Решено было идти на Красные гривы, на большой глухариный ток, а перед этим несколько часов хорошенько поспать.

Любоваться и отдыхать душой можно было каждому, глядя, как Мануйло укладывал в шалаше детей своего друга. Не у каждого из нас был отец таким товарищем, как сделался Мануйло этим совершенно чужим ему детям.

Или бывают люди — всем детям отцы?

Мы знаем, как собаки открывают невидимую им дичь в траве, и мы эту способность называем чутьем. Но как назвать у людей подобную способность угадывать в душе другого человека самое главное, самое для него нужное?

Называют эту способность вниманьем, но как-то в этом чудесном слове не хватает немного чего-то, чтобы выразить самое дорогое, самое великое. Разве сказать — любовь? И тоже: назовут, а вслед за словом спрашивают — а что такое любовь?

Скорее всего люди еще не дошли до того, чтобы словом называть то самое дорогое, самое великое, чем, может быть, еще и держатся на свете.

А чтобы не ошибаться и попусту не тратить дорогие слова, называют, как и собачью способность узнавать о невидимом, тоже чутьем, и людей таких, самых хороших, называют *чуткими*.

У нас в прошлом был такой чудесный дедушка, великий охотник и горячий друг всем ребятам. Однажды вышло так, что час решающий в природе, охотничий час, как раз совпал с часом, решающим в школе: подошли экзамены.

Тут Миша и выкинул свою самую скверную штуку: он, никому не сказав, потихоньку, от экзаменов ушел из города к дедушке. Старик, увидав внука, очень обрадовался и, ни о чем не спросив, увел его на охоту в леса и на озера.

Недели две они так счастливо жили.

А в школе внимание тоже направлено было целиком в большое дело экзаменов. А что Миши нет, так думали, он к родителям ушел и отрезан половодьем. И родители думали — он в городе отрезан от них полой водой.

После сколько беды из-за дедушки вышло, и из-за того только, что он, любя детей и охоту, не обращал своего внимания на то, что Миша есть Миша, а не какой-нибудь Саша.

Такой был и Мануйло: всем детям товарищ и друг, сто раз отец, но только не родной — заботливый; при всей его радости жизни и даже внимании к детям, любви, может быть, не хватало такой чуткости родного отца, чтобы сразу понять и схватиться за то самое главное, из-за чего они и явились на свет.

Об этом на охоте он даже почти что забыл...

Когда все улеглись и хорошо согрелись под сеном перед сном, захотелось поговорить, и Митраша спросил:

— А что это — Красные гривы?

Мануйло повел свою речь о Красных гривах издалека.

— Бывает,— сказал он,— идешь, идешь по темному лесу с утра до ночи, переночуешь, и опять идешь, и опять переночуешь, и опять все идешь и идешь...

Вот какие наши леса!

Дня три так пройдешь в долгомошниках и в борах, и ничего даже не увидишь, не услышишь: ни глухаря, ни чухаря, ни рябца.

Ты не бывал в таких лесах, ты спросишь: а где же вся птица?

И я тебе отвечаю: все глухари улетели на ток, на большой ток в Красных гривах.

Вот какой ток на Красных гривах, там птицы хватало на всех охотников.

С вечера глухари прилетают с разных сторон. Красные гривы большие, глухари собираются кучками в разных местах, там больше, там меньше.

Каждый глухариный охотник еще по весеннему снегу, по насту на лыжах выходит искать себе ток.

Каждое утро поет глухарь, и каждое утро свет прибывает, и глухариная песня становится все дольше. Каждое утро шея у глухаря больше раздувается.

Время придет — и глухарь шею себе наиграет, а в шее-то у него вся певчая сила. Когда шею себе глухарь наиграет, он с тока не улетает, а падает на снег с дерева и уходит по снегу, оставляя следы.

Охотник идет на лыжах до следа и по следу в пяту, приходит к тому самому дереву, где утром глухарь пел.

Охотник приходит по следу прямо на певчий помет.

— Спите, ребята?

— Ну, вот еще! — ответил Митраша.

— Хотите спать или еще поманить?

— Мани, мани, Мануйло! — сказал Митраша.

— А где спят глухари? — спросила Настя.

— Умница! — сказал Мануйло.— Спят они диковинно.

Вечером, еще засветло, они прилетают на ток и рассаживаются по деревьям.

Случалось, вечером налетят раньше времени и застанут тебя на свету. Что делать?

Прижмешься к дереву, а они прямо у тебя над головой рассядутся. Что тут делать?

— А если тихонько уйти? — спросила Настя.

— Нельзя, красавица, нельзя даже и кашлянуть: весь ток разлетится!

— Что же делать? — спросил Митраша.

— А только стоять,— ответил Мануйло,— стоять и дожидаться, пока не уснут.

— Как же это узнать?

— Слушать надо. Стоишь и ждешь, и становится в лесу все слышней и слышней. Капелька капала с дерева на лужу, а то начала стучать. Вот когда со всех сторон капли стали по лужам стучать, начинают похрапывать и глухари.

— Ну, это сказки! — отрезал Митраша.

— Сам раньше не верил себе, а после понял: храпят, просто, как люди, храпят. Спят они головой в перья и дышат. Воздух играет перышками, и оттого кажется нам, будто птица храпит. После глухарей я дома кур стал слушать, и куры, бывает, тоже храпят, все птицы спят и во сне храпят.

Вот когда услышишь, там и тут, и подальше, пока слуха хватит, спят глухари, храпят,— сам тихонечко начнешь отходить от своего дерева, чтобы их не разбудить: на пятках идешь больше, и так пятюгать, пятюгать, пока их будет не слышно. Да так и уйдешь, и переночуешь у своего огонька.

— Спите, ребята! — остановился Мануйло.

Митраша и Настя вместе в один голос сказали:

— Мани, мани, Мануйло.

— А дальше и ничего,— ответил Мануйло,— вы это знаете, как подходят к глухарю под песню.

— Да,— сказал Митраша,— глухари поют везде одинаково.

— Конечно,— ответил Мануйло,— поют одинаково, а как вот у вас утки: то же самое — черные, белые, пестрые?

— Те же утки,— ответил Митраша,— только у нас не так много.

— И селезни так же шваркают?

— Как и у вас, шваркают.

— И крякуши подзывают?

— Крякают.

— А можешь ты, как чухарь, чуфыкнуть?

— Могу чуфыкнуть и бормотать могу, и тетеркой квохтать.

— И ухать можешь, как бык водяной?

— Еще бы!

— И волков подзывать?

— Конечно могу: завою, и мне откликнутся все, и я их сосчитаю, я даже одного сам убил, и волк был страшный, его у нас звали Серым помещиком.

— Кто же тебя всему научил?

— Да я же тебе говорил: мой отец был лесником.

— Да, помню,— ответил Мануйло,— он где-то у тебя пропадает за Пинегой. У меня отец был тоже полесником. А твой дедушка кто?

— Дедушка мой, Антипыч, был тоже лесником, и, говорят, он знал правду истинную.

— Что ты говоришь!

— Не я говорю, а люди говорят, и будто бы он, когда умирал, то правду истинную перешептал собаке своей Травке, и эта собака Травка потом вытащила меня из болота.

— Это бывает,— ответил Мануйло,— собака — это истинный друг человека.

Тут Мануйло ясно вспомнил свой разговор в лазарете с другом своим о правде и, вспоминая, непременно бы скоро догадался подумать и спросить себя: не он ли и был тем самым отцом, кого теперь ищут ребята.

И что бы тогда это было!

Митраша мыслью своей ходил кругом около самого главного, а Настя умным сердцем своим почуяла что-то в Мануйле такое хорошее, будто он им был тоже отец,

только не свой родной, а какой-то общий: всем детям отец.

Мануйло всегда засыпал так, что пережитое за последнее время располагалось как бы пирогами на вертящемся тихо круглом столе. Подойдет это что-то к нему, еще неясная, неконченная мысль пирогом, и он ткнет пальцем в пирог и говорит:

— Катись дальше, ты еще не поспел!

И стол, медленно двигаясь, уносит этот и подкатывает другой.

И так это было всегда: Мануйло не заставлял себя через меру убиваться над думой и каждую новую мысль отводил от себя, как отводит сеятель заботу о зерне, когда оно бывает брошено в землю.

Подкатил сейчас к нему на столе и тот пирог с правдой, как он был начат когда-то в лазарете.

— Поспел! — хотел крикнуть Мануйло.

Но стол вдруг перестал вертеться, и Мануйло уснул.

Вот так точно и вы, и я, и ты, мой друг дорогой, и все люди на всем свете живут с далекой правдой в глубине души. Бывает постоянно, что близенько она возле тебя, стоит только бы руку протянуть, и человек был бы спасен.

Мануйло сейчас был так близок к правде, что еще бы одно мгновенье, и он соединил бы в себе отца с детьми, он уже хотел спросить даже Митрашу о том, как звали его отца, и тут сразу бы открылся путь к нему, и сам бы он непременно отвез их туда в Корабельную чащу за Пинегой возле Мезени.

Есть у каждого в жизни такое одно мгновенье, и его надо схватить, когда оно близко проходит. И когда упустишь его и поймешь, то в горе хочется на все махнуть рукой и жить как придется... Один только свет остается, одна надежда на то, что чудесное мгновенье когда-нибудь снова вернется и еще больше и лучше будет: каждый на каждого будет глядеть и догадываться о самом его главном, о том, что у самого сердца лежит.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Время такое, когда бывает на дню сто перемен. Так было и на присухонской низине. Днем казалось — вот-вот все оборвется и пойдет большая вода: все болотные кочки уже потонули в воде, и так держалась вода, все прибывая,

до тех пор, пока не кончилась вечерка, не погасла лимонная заря, не уснули все перед глухариной охотой. Засыпая, все рассчитывали через какие-нибудь два-три часа плыть водой на Красные гривы.

Когда уснули охотники, вдруг на небо вышел месяц, а на земле откуда-то взялся мороз и скоро заковал всю пойму. Да и как еще заковал! ступи человек — и не провалится.

Простые люди думают — это приходит весной уже не сам мороз, а его внук. Сам могучий Дед Мороз теперь уже кончился, пришел его слабенький внук. Будь это настоящий мороз, так бы этой перемене и остаться. Но вдруг среди ночи опять все переменилось: ветер потянул с юго-запада, небо закрылось, повалил снег крупными хлопьями, в один час вся пойма стала, как одна широкая белая скатерть.

Такая нежданная пороша обманула даже нашего старика Силыча. Он вышел из шалаша, оглянулся вокруг себя, ногой твердо на лед наступил и поверил.

Ему это было на руку: тихонько идти до самого тока, чем мучиться с яликом между кочками в темноте.

Обрадованный морозом, он весело сказал:

— За дедом внук пришел!

Кругом почесался, что-то на себе подтянул, где-то привязал, что-то пхнул в карман, застегнулся, подпоясался, надел на себя «Крынку» и степенно по льду между кочками зашагал на глухариный ток Красные гривы.

После Силыча проснулись и наши первые в Вологде глухариные охотники братки и тоже, как старик, были обмануты морозом. Очень уж выходило соблазнительно: чем пробиваться водой на ялике, а в лесу все равно ялик бросать, куда лучше прямо из шалаша идти пешком по морозцу на Красные гривы.

И, собравшись, подумав — чего бы не забыть, слепой и глухой, два лучших охотника на глухарей, с одним-единственным ружьем на двух, как на одного, зашагали.

Рука слепого была за кожаным поясом у глухого, и чуть что, слепой Павел тянул за пояс глухого Петра и его одерживал.

— Чего ты? — тихо спрашивал зоркий Петр, устремляя глаза свои в темную даль.

— Звенит! — отвечал Павел.

И так они ждали, один ушами, другой глазами.

Так бывает, и это скорей всего лось переходил пойму, и под ногами его звенели, разлетаясь в стороны, тонкие

льдинки. Потом, когда лось, одолев пойму, перебрался в лес и там затих, Павел говорил:

— Пойдем, больше ничего я не слышу.

Тут опять слепой крепко ухватился за пояс глухого.

И так они шли.

Может быть, на всем севере нет охотника лучше Мануйлы, но в этот раз и его обманула погода, как маленького: он то же самое поверил: мороз продержится, и можно будет по морозу пройти на ток в лес и вернуться в свой шалаш на Выгоре.

Как не подумать бы такому опытному охотнику о том, что вода на носу и вся держава лесная может в какой-нибудь час оборваться и к утру вся пойма сделаться морем!

В этом разбираясь, так надо понимать, что идет такой смельчак до последнего часу по закону и верит в закон, а если выйдет какое-нибудь случайное беззаконие не от себя, так чего же бояться случая: всё мы видели, русские люди, где наша не пропадала!

Мануйло без часов знал часы, как петух. Тронув Митрашу, он шепнул ему:

— Сам подымайся, а девочку не буди, пусть ее спит.

— Это не такая девочка,— ответил Митраша,— ее не удержишь. Настя, подымайся на глухарей!

— Пойдемте! — ответила Настя, вставая.

И все трое вышли из шалаша.

Хорошо пахнет болото первой весенней водой, но не хуже пахнет на нем и последний снег. Есть великая сила радости в аромате такого снега, и эта радость в темноте понесла детей в неведомые угодья, куда слетаются необыкновенные птицы, как души северных лесов.

Но у Мануйлы в этом ночном походе была своя особенная забота. Вернувшись недавно из Москвы, на ходу он от кого-то слышал, будто Красные гривы этой зимой пошли под топор. Кто это сказал, где было сказано? Теперь вспоминал Мануйло и не мог вспомнить, и начал уже подумывать, не обманулся ли он, не во сне ли ему это почудилось.

Так дети шли в темноте, доверяясь ногам, слушаясь ног, как днем слушаешься глаз. И по-другому стали чувствовать землю: тут был еще глубокий снег, сейчас скованный настом. По насту они пошли, как по скатерти, и даже еще лучше: наст не проваливался, но как бы чуть-чуть пружинил, и оттого выходило идти веселей.

Вспомнив на такой дороге о порубке глухариного тока Красные гривы, Мануйло решительно сказал:

— Набрехали!

Только это сказал — нога донесла ему о чем-то совсем другом, чем пружинистый наст.

Перещупав свой путь ногами в разные стороны, Мануйло скоро понял, что у него под ногой была засыпанная порошей *ледянка:* дорога ледяная, устроенная в зимнее время для вывоза круглого леса на берег реки.

— Плохо наше дело! — сказал он.

Митраша спросил, отчего дело плохо.

Мануйло указал Митраше ледянку.

Помолчав, он сказал печально:

— Простимся, детки, с Красными гривами!

Митраша понял, что Красные гривы с глухариным током этой зимой срублены и окатаны на сплав к берегам.

— Назад? — спросил он.

— Зачем назад? — ответил Мануйло,— ток недалеко отсюда, пойдем поглядим, о чем думают теперь глухари.

Силыч стороной шагал на ток и на ледянку не вышел. Он знал такой прямой путь на ток, что каждый год выходил прямо на песню, и теперь ощупью все шел, шел, и наконец вроде как бы что-то ему почудилось, он остановился.

В лесу было очень темно.

А он знал — темнее всего бывает перед рассветом.

Вокруг не было ни одного высокого дерева, кругом кусты, подлесок, а самого леса не было вовсе.

Но мало ли чего ночью в лесу ни почудится. Поняв чутьем сейчас самое темное время, Силыч стал слушать и ждать...

Так и братки тоже в темноте, угадав место тока, затаились.

В это самое время как раз и подкрадывался к людям тот час, когда начинается и как бы бросается дружная весна всей водой на дело человека.

В это самое время как раз и подходит тот страстно ожидаемый охотниками час, тот крылатый час в природе, когда спящая красавица пробуждается и говорит: «Ах, как я долго спала!»

Началось это где-то на каком-то дереве, на какой-то очень тоненькой веточке, по-зимнему голой. Там от сырости скопились две капли — одна повыше, другая пониже.

Наращивая на себя сырость, одна капля отяжелела и покатилась к другой.

Так, одна капля догнала на ветке другую, и, соединенные, отяжелев, две капли упали.

С этого и началась весна воды.

Падая, тяжелая капля о что-то тихонечко тукнула, и получился от этого в лесу особенный звук, похожий на: «Тэк!»

И это как раз был тот самый звук, когда глухарь, начиная свою песню, по-своему совершенно так же «тэкает».

Никакой охотник на том расстоянии, как это было, не мог бы расслышать этот звук первой капли весны.

Но слепой Павел отчетливо услыхал и принял ее за первое щелканье глухаря в темноте.

Он дернул Петра за пояс.

А Петр сейчас в темноте был такой же слепой, как и Павел.

— Ничего не видно! — шепнул он.

— Поет! — ответил Павел, показывая пальцами на место, откуда шел звук.

Петр, усиливаясь в зрении, даже рот немного открыл.

— Не вижу,— повторил он.

В ответ на это Павел зашел вперед, протянул руку к Петру и тихонечко подвинулся. По-настоящему нельзя бы шевелиться, когда слышишь это глухариное капанье, но Павел так привык верить своему слуху, что разрешал себе всегда, если слышал, немного подвинуться.

Так братки и подвинулись.

— Нет,— шепнул Петр,— я не вижу.

— Нет,— ответил Павел,— это не глухарь, это капли с веточек капают, видишь это?

И опять показал.

Теперь душа охотника была отдана ожиданию глухариного пения, и ему было совсем невдомек, что это вода идет, что им теперь выхода из леса не будет. Его занимало сейчас только одно: среди тэканья капель услыхать и понять глухаря.

Вдруг какая-то никому не ведомая птичка спросонья не сказать прямо, что запела, а как бывает и с человеком: хочет потянуться, а вроде как бы что-то и скажет. И друг его спросит:

— Ты что говоришь?

— Нет,— отвечает проснувшийся,— я это так...

Наверно, и птичка эта неведомая тоже пикнула что-то спросонья и замолчала.

Но это было все-таки непросто. В эту самую минуту на небе стало, как говорят охотники, *лунеть*.

И тут глухарь на слух Павла явственно заиграл.

— Поет! — сказал Павел.

И братки, как это делают все, начали скакать: поет глухарь и не слышит, как охотники подбегают к нему на прыжках. Он остановится, и охотники в тот же миг замирают.

Братки скакали под песню глухаря не совсем как мы все скачем в одиночку. Благодаря чуть светлеющему небу кое-что все-таки было и видно, и оттого нельзя удариться лбом о дерево. Видимую светлую лужу мы тоже можем обскакать, но в невидимую мы все равно попадем и с полным зрением и слухом. То же самое, если глубоко попал в болотное тесто, а глухарь в этот миг перестал петь, тут все равно, слепой, глухой или здоровый человек со всем своим счастьем, раз уж попал, то и стой в грязи в ожидании, когда глухарь опять заиграет.

Братки скачут рядом, взявшись за руки, до тех пор, пока зрячий глазами не увидал самого певца. Так всегда и было, что Павел раньше услышит, чем все, а Петр раньше увидит. И это маленькое «раньше всех» решало весь успех у двух людей, соединенных в одно лицо: у них всегда глухарей бывало убито больше, чем у отдельных охотников.

Еще было совсем темно и неразличимо, когда братки вдруг перестали скакать и остановились, как пораженные...

То же самое было и с Мануйлой, и Силыч тоже начал и вдруг замер.

Все охотники замерли не оттого, что глухарь петь перестал и надо было дожидаться, когда он опять запоет и оглохнет на короткое время, на какие-то пять, шесть скачков человека вперед.

Охотники замерли от небывалого с ними: пел не один глухарь, а множество, и нельзя было понять в этом множестве звуков, какой глухарь свою песню пропел и теперь отлично слышит шаги охотников и, встревоженный, только изредка «тэкает», а какой сейчас только свою песню заводит и сам глохнет на все.

Было так, будто в лесу разожгли огромную чугунную сковороду, и на горячем кипело, шипело и лопалось масло.

И так близко! казалось, вот еще немного подберись к этой шипящей сковородке — и тебе самому глаза выжжет.

Вот, поняв это близкое и необычайное скопление громадных птиц на одном месте, охотники и замерли.

Мало-помалу на небе стало все больше и больше лунеть, а вокруг все светлеть и светлеть, и вдруг как бы что-то моргнуло, и все открылось на глаз.

Оказалось, леса вокруг вовсе и не было, оставался только после порубки подлесок, разные кусты и хилые деревья. Там же, где раньше были самые Красные гривы, на большом видимом пространстве были одни только широкие пни от огромных деревьев, и на пнях, на самых пнях сидели и пели глухари!

Некоторые глухари на этой огромной сковороде были так близко, что каждому легко было взять своего, но у какого же охотника поднимется рука на такого глухаря!

Каждый охотник понимал сейчас птицу по себе, представляя, что сгорел у него собственный обжитой и милый ему дом, и он, прибыв на свадьбу, видит одни обгорелые бревна. На этот страшный случай придумал человек свое слово: «Помирать собирайся — рожь сей!»

А у глухарей это выходит по-своему, но тоже очень и очень сходно с человеческим: на пне того же дерева, где раньше он пел, скрытый в густой листве высоко, теперь он сидит на этом пне беззащитный и поет. Глухарь поет теперь ту самую правду, какая остается и человеку: «Помирать собирайся — рожь сей!»

Долго раздумывать охотникам не пришлось: хлынул весенний дождь, оставляющий людям на окнах те всем известные весенние слезы радости, собой серые, а нам всем такие прекрасные!

Глухари сразу все примолкли: какие прыгнули с пней и мокрые куда-то побежали, какие стали на крыло и разлетелись все неизвестно куда. Тогда охотники открытыми глазами оглянулись кругом и сразу все увидали друг друга: там стоял Мануйло с Митрашей и Настей, там с одним ружьем жались друг ко другу братки, там, прикрывая осторожно от дождя ладонью полку с порохом своей кремневой «Крынки», стоял Силыч.

Все они, удивленные, не смели стрелять в поющих на пнях бездомных теперь глухарей.

После каждой крупной рубки в лесах непременно от лесорубов остается избушка, где они зимой грелись и варили себе пищу. Была и на Красных гривах такая избушка. В ней-то и укрылись все наши незадачливые охотники и, прогуляв всю ночь, утомленные, все скоро уснули.

# ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

## ПОЛОВОДЬЕ

### ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ



Ветер, несущий снежную пыль, поземок, перед встречей с каким-нибудь деревом не бросает поземок прямо на дерево, на его ствол, а обносит, и от этого выходит кругом дерева ямка, еще и до весны заметная.

Некоторые говорят, будто такая весенняя приствольная чаша вокруг дерева бывает от воды, стекающей по стволу на снег. Конечно, и от этого тоже бывает. Но мы своими глазами видели тоже, как ветер обносил поземок, и оттого вокруг дерева делалась ямка. Мы тоже видели много раз, как в туманную весеннюю оттепель ветки дерева ловят сырость в воздухе так усердно, будто нарочно так сделано, чтобы всеми ветвями со всех сторон деревья ловили туман в воздухе и обращали его в воду. Сгущаясь на каждой веточке, туман разбегается водой, множеством ручейков льется на ствол, и по стволу — вода рекой катится вниз в приствольную чашу.

Часто бывает в это ранневесеннее время, на дерево садятся отдыхать разные перелетные птички и, высмотрев эту первую воду приствольной чаши, купаются в ней. Нам приходилось видеть, как в солнечный день, купаясь, птичка разбрасывает в воздухе столько мелких брызг, что над чашей складывается на короткое время маленькая радуга. И все кончается тем, что вода из одной приствольной чаши сбегает в другую, переполняет ее, и так начинается в глубине леса первый ручей.

Так бывает каждую весну: где-то из глубины лесов выходит первый ручей.

В то время как первой весной на низких горизонтах проходили реки, в глубоких лесных радах и сурадьях медленно создавалась та самая весна половодья, когда размываются все приствольные чаши, прорываются все

временные плотинки, и вся огромная лесная вода ручьями, реками, водопадами и всякими временными потоками и протоками бросится в настоящие постоянные реки и подхватывает с берега и несет вместе с собой весь круглый лес, приготовленный для сплава зимой.

Исподволь, медленно подготовляется половодье, и часто бывает, что держит-то долго, многими днями, а часом все кончится.

Так было этой весной, в те часы, когда охотники спали на глухарином току. Присухонская низина быстро сделалась морем, и Красные гривы были на нем как острова.

Первым проснулся Мануйло и, глянув в окошко, сразу принял решение и никого даже не стал и будить. Бурлак природный не боится воды и, если приходится спасать от прорыва какую-нибудь запонь, с багром в руке для равновесия и на одном бревне проносится в потоке и заделывает в брызгах пены прорыв.

Теперь он спустился к воде, насмотрел тут два не захваченных водою бревна, связал их, вырубил длинный шест и, упираясь им в дно мелкого моря, стоя помчался куда-то и скрылся в тумане.

Можно подумать было, он это поплыл за лодкой для детей и для спящих товарищей.

Так оно было, конечно, так и подумали все, когда пробудились и хватились Мануйлы.

Выждав немного, стали поглядывать в туманную даль и ничего уже между собой не говорили.

Ждали, ждали, а Мануйлы все не было.

От нечего делать развели огонек, вскипятили воду. Запасливые братцы достали чаю, сахару. Силыч выложил свой запас хлеба. Так и сели за чай. А Мануйлы все не было.

Много разговаривали о токующих глухарях на пнях срубленного леса, много дивились тому, что птица так привязывается к своему месту, к своему дереву. Обсуждали вопрос, для чего так устроено, что глухарь лишается слуха на то время, когда поет.

Тоже и о том говорили и хотели решить вопрос: с горя поет глухарь или от радости. Силыч стоял на том, что поет глухарь с горя, и оттого, когда он поет, у него дрожит каждое перышко. Петр на это отвечал, что ведь и от радости тоже может дрожать у живой птицы каждое перышко.

Так решали мудрецы и решить ничего не могли оттого только, что хотели понять глухаря по себе, а как чувствует себя сам глухарь — знать не могли.

О всем переговорили. За разговором и чайник остыл, а Мануйлы так все и не было...

Силыч первый забеспокоился и стал высматривать материал для плота; Митраша и Настя драли вицу на сплотку; братки, не разделяясь, помогали то детям, то Силычу. Всем работа по сплотке деревьев была с малолетства знакома, и оттого очень скоро сделался плот, охотники вышли на него, стали и, упираясь жердью в дно, выехали.

Как только обогнули заслонявшую вид на море гриву, так и показался вдали Выгор, как небольшой остров на море. При виде острова даже и старое сердце Силыча сжалось: никаких следов от нижних шалашей не оставалось, и яликов не было, и Маруська, видно, уплыла куда-то вместе с яликами.

Загоревали тоже и братки, увидев на воде, что от всего Выгора остался теперь один пятачок.

Медленно двигался плот, но мало-помалу глаза, присматриваясь, стали привыкать и кое-что узнавать впереди. Так и узнали наверху Выгора шалаш Мануйлы: он как стоял, так и теперь стоит нетронутый. Потом разглядели возле этого шалаша вытащенные к нему ялики. А когда еще ближе подплыли, то из корзины на ялике Силыча вытянулась Маруськина шея и показалась ее голова.

На близком расстоянии Силыч не удержался, крикнул свое «шварк» по-селезневому, и Маруська вмиг стала на крыло и опустилась на плот прямо на руки Силычу.

Все было спасено, все было на месте и в полном порядке сложено: продовольствие, чайник, котелки, все было перенесено и переложено сюда, но самого Мануйлы не было.

Как можно было понять исчезновение Мануйлы? Мысль о том, чтобы такой бурлак мог утонуть, никому и в голову не приходила. И какой разговор мог быть о случайности, если Мануйло так хорошо о всех позаботился, все стащил наверх к своему шалашу. Он не забыл даже и о детях, все продовольствие сложил, снес и уложил в одном месте, посуду всю вымыл и даже покрыл тряпочкой. Так все решили согласно, что скорей всего внезапная вода заставила принять его какое-то решение в бурлацких делах: может

быть, затрещала где-нибудь запонь, буксирчик подхватил знаменитого бурлака...

Дедушка Силыч при этом разговоре не спускал глаз с детей и наконец сказал:

— Вам бы обратно со мной в Вологду...

Настя поглядела на Митрашу, и тот, долго не думая, сказал:

— Мануйло нас не бросит, мы его здесь будем ждать. Нам надо на Пинегу, а не назад. Мы дождемся!

— Как знать! — сказал Силыч,— бывает, сам думаешь твердо: дождусь! а выйдет не по-нашему. Семьдесят рек впадает в Северную Двину по грубому счету, а маленьких и не перечесть, и таких еще много, что летом нет ничего, только потное место, а сейчас тут река, и тоже несет на себе круглый лес. Вы и понять сейчас не можете, какое дело теперь закипело вокруг леса.

Конечно, о том и говорить нечего, чтобы бросить сирот, но и о том надо подумать, что сирот у нас каждый пожалеет, каждый им поможет, а к тому же они сейчас не обижены: продовольствия хватит им на неделю. И опять еще надо знать, что в таком деле сам не волен: рад бы всей душой так, а оно подхватит тебя и унесет в другое место.

— Поневоле Мануйло вас оставил,— сказал Силыч,— не он сам, а дело. А вы все будете ждать? Садитесь-ка лучше ко мне в ялик!

— Спасибо, дедушка! — ответила Настя,— мы все-таки Мануйлу здесь подождем, а если ему нельзя будет нам помочь, люди добрые нас не оставят.

— Как знаете! — ответил Силыч, укладывая убитого селезня в ту самую корзинку, где жила и Маруська.— Тоже и так сказать: для чего и дом родной бросили, как не затем, чтобы найти отца. Странствуйте, детки, ищите: Мануйло не один-единственный хороший человек на свете белом, вам каждый поможет, прощайте! Считайте по солнышку, через пять дней я к вам наведаюсь. Не Мануйло, так Силыч вас на Пинегу доставит!

Так простившись с детьми, Силыч кивнул браткам головой, и те сели в ялик: слепой Павел взялся за весла, а глухой Петр сел у руля.

И все поплыли.

Дальше и дальше плыли по разливу между островками, и на каждом пятачке затопленной земли кто-нибудь их встречал и потом провожал: было много зайцев, много

водяных крыс, и то волк, то лиса сидят, глядят и не боятся людей.

Как это с нами часто бывает, что вот сейчас были тут около нас какие-то люди, и мы тоже вовсе и не думали, что они такие добрые, такие хорошие и, главное, такие нам нужные, необходимые. И вот они уезжают, вот совсем уехали, скрылись с глаз...

И мы остались одни!

Одни мы, совершенно одни на затопленном острове. Кругом нас вода, и вот вместо людей показываются на воде плывущие к нам сюда голодные напуганные мыши и водяные крысы.

Дети, поначалу немного смущенные своим одиночеством, стояли молча, и каждый по-своему наблюдал за плывущими животными. Митраша для наблюдения выбрал себе одну водяную крысу, видно, уж очень уставшую. Как только эта крыса достигла берега, сразу же и повалилась на бок.

— Крыса кончилась! — сказал он.

— А я,— ответила Настя,— за мышонком слежу, все как только попадают на берег, так и разбегаются в разные стороны, а этот как прикоснулся земли, так и сидит. Наверно, плохо ему?

— Еще бы! — ответил Митраша.

И, скользнув глазами по мышонку, вернулся к своей крысе. Нет! оказалось, она только устала, а не умерла. Отдохнув немного, она встала, и по стволу обыкновенной корзиночной ивы стала подниматься к развилочку. Добравшись, тут в развилочке она и устроилась. Ей было хорошо, удобно на седловинке. По одну сторону у нее поднималось вверх деревце, по другую ветка была когда-то срезана, и теперь от нее рос вверх целый пучок тонких веточек.

Митраша до того заинтересовался судьбой водяной крысы, что подошел к ней поближе и осторожно, подвигаясь вперед шаг за шагом, стал к ней совсем близко и видел даже, какие у нее глаза.

Такие, показалось ему, глаза были умные!

Усталая водяная крыса не обращала на него никакого внимания.

Митраше казалось, будто в глазах водяной крысы загорелся огонек.

Может быть, это отсвечивался так в глазу солнечный луч?

Конечно, может быть. Но почему же, как только это что-то сверкнуло в глазу, так и вся крыса зашевелилась?

Почему это?

Крыса устроилась поближе к пучку тонких прутиков ивы, в один раз, двинув челюстью, срезала прутик и стала его кругом объедать.

Почему тоже это?

«Грызуны!» — ответил себе Митраша, вспомнив школьную свою книгу.

И обратил особенное внимание на то, что срез прута был косой и в один раз.

Крыса очистила так три прутика, а когда срезала четвертый, то не стала его есть, а поджала к себе и вместе с прутиком начала спускаться вниз по иве. Не отпуская прутика, крыса вместе с ним бросилась в воду и поплыла, и когда бросалась, то Митраша опять заметил, как в ее глазу сверкнул огонек, и он опять спросил себя: «Почему тоже и это?»

Его, конечно, удивляло, что перед каждым решением у крысы в глазу сверкал огонек, но он не разбирался, а только дивился и оттого спрашивал, когда удивлялся: почему то, почему другое? От крысы его удивление расходилось на все, но самое главное, конечно, было, что с этим прутиком крыса и поплыла. Не было для Митраши никакого сомнения в том,— крыса взяла прутик себе про запас, на случай, если она так же устанет, а на берегу покушать будет нечего.

Значит, огонек тот мелькал недаром, но почему это все?

А крыса плыла с прутиком все дальше и дальше, и Митраше было так же, как и нам было в наше время. Нам казалось тогда, что если у кого-нибудь самого ученого, самого умного выспросить, вызнать обо всем на свете, почему это так делается, то можно бы все на свете объяснить, все открыть, и тогда — как тогда было бы всем хорошо жить!

Митраша сейчас утопал в своих безответных вопросах. Ему казалось теперь, будто где-то, не здесь у них, а в настоящей, хорошей жизни, когда один спрашивает, другой ему отвечает. И эта их жизнь не настоящая, если нет ответа на свой вопрос.

Бывало у него такое сомнение и дома, и всегда оно кончалось горем о своем отце.

Отец его все знал, и отца у него нет, и от этого жизнь его не настоящая!..

В это самое время, когда Митраша занимался крысой и провожал ее очень далеко, пока глаз мог терпеть, Настя глядела на своего мышонка. Один раз даже она попробовала привлечь к нему внимание Митраши и дернула его за рукав и показала.

— На что тебе мышонок нужен? — спросил Митраша.

И опять вернулся к уплывающей крысе и стал, как мы все в свое время стояли, на свое «почему?».

У Насти был совсем какой-то другой интерес, но тоже не менее сильный, чем у Митраши его «почему?». Понаблюдав за мышонком, сидящим в одном и том же положении, она подошла к нему и тут увидала — он был очень хорошенький и глядел на нее добрыми, милыми глазками. До того мышонок был мил, что она осмелилась, взяла его двумя пальцами и посадила себе на ладонь. Мышонок не боялся, не пробовал убежать, как будто ему было хорошо.

И вот тут-то Настя прямо и спросила мышонка, совсем как маленького человека:

— Кто ты такой?

Так спросила, будто мышонок был и вправду родной. Ей самой что-то в этом вопросе понравилось, она вертела мышонка, перекидывала его тихонько с ладони на ладонь и все время спрашивала:

— Да скажи же наконец, кто ты такой?

Мышонок заметно повеселел.

Поняв по-своему, что мышонок веселеет, она понесла его в шалаш, нашла кусочек сала, нарезала его тоненькими кусочками, дала, и он стал есть.

После того Настя вспомнила, сколько там внизу было мышей и нельзя ли им тоже помочь. Пошарив в шалаше, нашла картошку, натерла с постным маслом и на блюдце отнесла вниз и поставила мышам. Как только она отошла, мыши бросились к блюдцу.

Когда же Настя вернулась в шалаш, то мышонок, оказалось, наелся и теперь сидел в ожидании с надеждой: может быть, ему и опять что-нибудь перепадет. Опять Настя взяла его себе на ладонь и опять спрашивала: «Кто ты такой? Почему тебя, такого маленького и хорошенького, люди боятся? Почему я сама, еще так недавно, вскрикивала и бросалась на скамью или на стол, если в избе по полу пробегал мышонок? Почему говорят: ты, мышонок, поганый?»

Ничего не мог ответить мышонок девочке, но если бы мог, то на вопрос, отчего он такой хорошенький и людьми считается поганым, ответил бы так:

«Люди, милая девочка, больше любят такое, чтобы скушать, а меня кушать нельзя!»

Мышонок сам, конечно, не мог так сказать, но глядел, точно будто он так говорил доброй Насте, и она повторяла ему:

— Какой же ты умница!

Сколько всего передумал Митраша, пока скрылась у него с глаз умная крыса. Он и спрашивал все свое «почему?», и скучал, что ему нет ответа. Он еще не мог знать тогда, что ответы на это все собраны и надо только научиться читать их, где-то находить.

Если вопрос приходил такой, что ответа на него еще не было, то это значило — ему самому надо пожить, потрудиться и догадаться.

Так и везде теперь было по разливу: на всех бугорках, на кустах, на ветках затопленных деревьев сидели захваченные врасплох животные, большие и маленькие, зайцы, лисицы, волки, лоси. На иных прутиках так часто устраивались мелкие зверушки, что издали были похожи на кисти черного винограда.

Все жизненные ареалы теперь ими были оставлены, вся настоящая жизнь перешла у них в будущее, в один-единственный вопрос:

«Как быть теперь дальше?»

Вся присухонская низина теперь задумалась над этим, и к этой общей думе присоединились и маленькие люди.

Митраша спрашивал в тревоге:

— Почему это все?

Настя спокойно улыбалась и говорила каждому:

— Кто вы такие?

И, хорошо вглядевшись, что-то свое понимала и повторяла:

— Какой же ты умница!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Бывало не раз и с нами на охоте весной, когда разольется река и неодетые деревья там и тут верхушками торчат из-под воды и на этих сучках собирается столько всяких

маленьких темных зверушек, что иная веточка от них издали кажется похожей на гроздь черного винограда.

Сидят зверушки на ветках, теснятся кучками на островках. Другие, маленькие, куда-то плывут. И больше бывают звери: плывут лоси, медведи, волки, а все ведут себя, как маленькие испуганные дети.

Рядом, видишь, плывут злейшие враги: лесная куница и белка, и хищнице кунице и в голову не приходит схватить свою белку, и кажется, у всех этих зверей, больших и малых зверушек, одна какая-то рождается общая мысль или чувство, вроде как бы каждый твердил:

«Чур меня!»

Только это одно они чувствуют и оттого никогда в такой беде не кусаются.

Бывало и с нами в такое время во время весеннего потопа на охоте: товарищ привезет тебя на какой-нибудь островок с кустарниками. Тут свяжешь кусты вроде шалаша, чтобы в нем укрыться, устроишься. Мы сговариваемся: после охоты он заедет за тобой.

И остаешься один, конечно, еще в полной темноте. В это время потопа счастливы только птицы да охотники. Плывут, конечно, не одни только крупные животные, плывут миллионы миллионов всяких блошек и вошек. А на берегах островков, как ни в чем не бывало, бегают проворные трясогузки и встречают гостей этих: разных жучков и блошек.

Какое бедствие всем этим насекомым и какая потеха трясогузкам: вот наклюются, вот им истинный пир на весь мир!

А какое раздолье на разливах водоплавающим птицам всех пород — уткам, гусям, лебедям! Сидишь сам в шалаше, и на глазах у тебя твоя же подсадная утка из серой делается черной: это плывут массами всякие жучки, блошки и вошки, принимая птицу за остров спасения, лезут на них.

Тут-то вот во время величайшего бедствия зверей и насекомых со всей страстью разгорается птичья любовь и свобода. Вот, может быть, откуда и взялось у нас всех почитание крылатых существ, как посланников небесных: какие они счастливые!

А может быть, и так надо понять, что и в нашей человеческой природе есть какие-то скрытые крылышки, и оттого каждому хочется полететь, иной раз даже чувствуешь на плечах место прикрепления крыльев, вроде как бы тут чешется, иной раз во сне так явственно все мы летаем.

Не из этого ли чувства свободы крылатой выходим и мы, природные страстные охотники? А то откуда же взялось это чувство радости у охотников, такой ощутимой?

Так вот едешь на лодочке ночью в сырости, а иногда даже и зябнешь, дрожишь от холода, а за спиной каждое перышко на своих крыльях трепещет от радости. Встречаешь рассвет с ружьем в руке на своем островке.

А между тем потеплело, и вода быстро стала прибавляться. Вот и самому заметно на рассвете, что, когда садился ночью, вокруг шалаша был большой темный круг земли, а теперь остается от всей этой земли пятачок. Конечно, очень не хочется расставаться с крыльями радости, думаешь — товарищ, конечно, устроился где-нибудь тут близко тоже на островке, и он по себе поймет: когда вода сильно прибавится — он за тобой и приедет.

Успокаивать себя можно разными мыслями, а вода неумолимо, неминуемо, вода сама по себе, по своим правилам, потихонечку все ползет и ползет, и вот уже пятачок мой скрылся, подходит уже вода к сапогам, и от всей великой радости жизни крылатой остается радость одна, что сапоги-то все-таки резиновые и высокие!

Мало-помалу становится так, что и глаз не можешь оторвать от воды, и тут-то вот начинаешь понимать этих плывущих к тебе мышей, взлезающих на ветки твоего шалаша водяных крыс, и кажется тогда, все они шепчут неумолимой воде:

«Чур меня!»

Вдруг подсадная утка взялась, весь расписанный яркими красками селезень шлепнулся на воду, за спиной у себя опять взметнулись крылья свободы...

Но пока этому радовался, воды еще прибавилось, и крысы водяные сидят теперь на ветках рядом с тобой, а товарищ после того селезня подумал, что, значит, все хорошо, если охотник стреляет.

Крикнуть разве?

Тут ветер подул как раз с той стороны, куда надо кричать.

А звери разные плывут, все выше и выше поднимаются, утка подсадная все чернеет и чернеет от наседающих на нее насекомых.

Стыдно сказать, но как и не сказать, если то была правда: был этот грех, тоже тогда сорвалось с языка у человека вместе со всеми:

«Чур меня!»

Потому теперь так и стыдно, что потерял на короткое время разум и, как всякий зверь, окруженный водой, отдался судьбе своей:

«Чур меня!»

Так бывает, волчий щенок перевертывается на брюхо, когда его догоняет борзая. И ему тоже остается одно только это:

«Чур меня!»

Тоже и с медведем, говорят, бывает, когда человек у него под носом, прошептав свое: «Чур меня!» — притворяется мертвым и лежит неподвижно. Говорят, это «чур» иногда помогает, и медведь удаляется...

Так и со мной было: послышался плеск весла, вдали показалась лодка, и за плечами опять зачесалось то место, где охотники чувствуют по временам у себя крылья.

К счастью, Выгор на присухонской низине такой высокий, что его никогда не заливает водой, да и Мануйло никогда бы так не сделал, чтобы оставить детей на волю воды. Вскоре на лодке, пробиваясь между бревнами, приехал бурлак с лесной биржи и рассказал, что Мануйло по телефону сказал из Верхней Тоймы: он должен там стеречь запонь, а дети или ждали бы на бирже парохода, или, если не боятся, связали бы плот и плыли бы потихоньку к нему: вода будто бы как раз и принесет их к самой Верхней Тойме.

Митраша, долго не думая, решил плыть как можно скорее к Мануйле, и бурлак до самого вечера помогал ему вязать надежный плот из проплывающих бревен.

Работу закончили только к самому вечеру, и тут бурлак поглядел на детей и задумался и долго о чем-то размышлял.

— А хотите,— сказал он наконец,— я, так и быть, вам свою лодку отдам, а сам как-нибудь к себе проберусь на плоту. Дядя Мануйло, я знаю, потом в долгу не останется.

— Ну, а как ты думаешь,— спросил Митраша,— ничего с нами не будет худого, если мы на плоту поплывем?

— Тоже ничего, если не боитесь: мало ли у нас плавают на плотах. Варить можно, греться у костра, у нудьи, а на лодке, как сел, так и сиди, и дрожи!

— Плывем, Настя, на плоту! — решил Митраша.

И бурлак повеселел, а сам все повторял:

— Ну, а ежели хотите на лодке, что же, берите, дядя Мануйло не такой какой-нибудь, берите!

— Спасибо, спасибо! — повторяли Митраша и Настя.

А бурлак все веселел, уж сидя в лодке, отчаливая, все повторял:

— А мне что, я и на плоту переелу, ежели надо, берите лодку!

Так он и уплыл, и после него к вечеру поднялись на пойме голоса, сколько голосов, и все голоса повторяли некоторое время все одно и то же: последнее слово бурлака.

— Берите, берите!

Странно и так удивительно это бывает, что когда о чем-нибудь и очень крепко задумаешься и тут где-нибудь тоже вблизи петух прокричит, то кажется, петух этот поймал твое последнее слово из того, о чем ты задумался, и выкрикивает на весь свет.

А тут было Митраше, что вся пойма, тысячи болотных птиц подхватили одно слово, и все на свой лад повторяют:

— Берите, берите!

И нужно сказать,— это не просто бывает с людьми, когда свои слова начинаешь узнавать в птичьих голосах. Это бывает, когда к человеку подходит какая-то своя новая догадка, своя собственная новая мысль.

Бывает это со всеми нами — придет какая-нибудь своя новая мысль, и ты о чем-нибудь сам догадаешься вдруг, сам откроешь. Вот тогда почему-то и кажется тебе: все на свете этим обрадованы, и даже в крике петуха слышится твоя эта какая-то мысль на его лад.

Так было с Митрашей в шалаше на вечерней заре: он вдруг догадался...

Было это совсем перед тем, как уснуть в тепле под сеном. Уже проводил Митраша все голоса на пойме, знакомые и незнакомые, и любимый его конек-горбунок проскакал, стуча копытцем, по твердому воздуху. Кругом всего неба по горизонту началось уже бормотание тетеревов, колыбельная песнь на весь мир.

Тут-то вот в последнюю минуту перед засыпанием и пришла Митраше в голову одна догадка, озаряющая всю душу.

Себе самому потом кажется, будто эта догадка просилась к тебе давно уже и не раз стучалась в двери души твоей, но ты почему-то ее не впустил. Другой раз даже и волосы на голове у себя рвать хочется, до того винишь себя в этом, что вовремя не догадался. В конце концов кажется, что не она замедлилась, а что сам виноват: не догадался.

А пока не кончилось, то кажется, будто мысль сама тебя ищет, и она тебя находит. Придет время, и она тебя непременно найдет, и от мысли этой ты никуда не уйдешь.

У Митраши эта мысль была о той Корабельной чаще, куда ушел их отец. Эта мысль, теперь совершенно ясная, законченная, вдруг толкнула Митрашу в момент засыпания, и она была такая большая, что прямо и не помещалась в себе, как не помещается иногда в ведре вода под капелью: места в себе не хватало!

— Настя! — сказал он,— ты не спишь? Ты знаешь, о чем я думаю?

— Нет,— ответила Настя,— не знаю, а что?

— Вот что! Наш отец и есть тот самый, помнишь, тот, кто говорил Мануйле о правде истинной.

— Это кто лежал с ним в больнице? — воскликнула Настя, поднимаясь с постели. И потом, сидя:

— А я давно об этом думала, только не смела как-то сказать...

— Я все время тоже думал и почему-то не смел сам себе это сказать: как-то вроде как в сказке все получалось...

— Теперь я знаю: конечно, оно так и было — отец раненый с больной рукой лежал в лазарете, а на Мануйлу упало дерево, и его доставили в тот же лазарет. Они там познакомились и говорили о правде истинной.

— Мало того! И та Корабельная чаща и есть та самая Чаща, куда отец ушел! на какую-то важную работу!

— И весь путь этот, и по пути Волчий зуб, и Воронья пята, и все это на пути к отцу.

— А помнишь, как эта река называется?

— Мне кажется, Кода.

— Их две реки, они сестры: Кода и Лода.

— А помнишь, скворец там где-то на том же пути в старой часовне служит за дьякона?

— А как потом где-то возле становой избы, откуда начинается путик Мануйлы, там прудик, и в нем живет рыбка Вьюн?

— Две рыбки: Вьюн и Карась.

— А помнишь: еще он говорил...

— Нет: вот самое главное, почему же он-то, такой хороший и умный, не догадался, что мы — дети его друга?

— Мне кажется,— ответил Митраша,— он временами догадывался: он так долго глядел то на меня, то на тебя. И скорей всего после он догадался.

— Я тоже так думаю,— ответила Настя,— временами

он догадывался, а мы на глазах мешали ему: теперь, как и мы, он догадался!

— Если бы он догадался!

Так подошли в разговоре дети к чему-то большому, самому простому и такому непосильному им для решения, что вдруг смолкли.

Какая-то великая мысль о правде, переходящей в понимание людей между собою, какая-то догадка о правде понимания людей между собою носилась тут в воздухе и не могла войти в головки этих детей.

Эта догадка была скорее всего о какой-то великой правде понимания людей между собою: не в том ли правда, что если бы только чуть-чуть внимания больше, и они были бы сейчас с Мануйлой, как с отцом родным, и он бы просто привел их к отцу. Вот если бы всё-всё так, и всё на свете было бы наше, и мы все были, как один человек!

Не тут ли зрела эта мысль, общая всему миру, созревая, изменяясь? Может быть, дети прошли тут около какого-то слова, где ходит весь мир, а назвать слово не может... Какое это слово?

Но это думалось детям далеко не так, как теперь хочется об этом сказать: их тянуло куда-то далеко, в неизвестное, и казалось, что решение всему там, а не здесь, возле себя, в простом понимании близкого человека.

— Ты слышишь, Настя,— сказал тихо Митраша,— мне кажется, будто маленький конек-горбунок скачет по воздуху и тукает копытцами...

— Слышу, как рассыпается,— ответила Настя.— А что это?

— Это и отец не знал,— ответил Митраша.— Да и есть ли такой человек, что все знает,— добавил он, подумав.

Насте нравилось, что есть среди лесных голосов голос конька-горбунка и никто о нем не знает. Помолчав, она сказала:

— А нужно это, чтоб все знать?

— Как же не нужно! — ответил Митраша с неудовольствием.

Было же это, как будто кто-то далеко и высоко, пролетая в небе, сказал совсем по-человечески:

— А?

Митраша прислушался и сказал:

— Давай вылезем!

И они вылезли из шалаша прямо под звезды над великим весенним разливом.

Сколько всяких звуков было, сколько витало загадок, и над всем этим, изредка повторяясь, что-то спрашивало:

— А?

Митраша замер в попытке догадаться, но вдруг понял, что звук этот повторяется, проходя по какому-то невидимому следу прямо с юга на север. И когда напал на след летящего с юга на север существа, вспомнил отца на охоте и Насте сказал:

— Это цапля летит на места гнездований, на север!

Так он вспомнил отца.

А Насте уже было все равно, что это летело и кто это спрашивал. Она думала только об отце: ужасно жаль, что упустили они Мануйлу, но теперь зато они напали на верный след, и только бы жив был отец, только бы не захворал, а то теперь его непременно найдут.

# ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

## ГЛУБИННЫЙ ЗАЛОМ

### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ



Пока дети спали, солнце невидимо за горизонтом переодевалось в новую утреннюю одежду. Так бывает всегда в стране полуночного солнца: уже начиная с полой воды солнце не *садится,* как на юге, а переодевается из вечерней зари в утреннюю и выходит в новой одежде.

Так и в это утро, дети еще только уснули по-настоящему, а солнце уже встало. В это утро для солнечного глаза была перемена в зеленых лесах. Раньше в зеленом река бежала синяя, а теперь от схваченного полой водой шкуреного леса река стала желтая. В эту желтую реку из лесов бежала одна маленькая речка — прежняя синяя жилка. Но то была не речка, а временный поток по зимней дороге-*ледянке*, сделанной зимой для

ската срубленных и ошкуренных деревьев к реке. Вот теперь, спасаясь от половодья, на эту ледянку выбежал из глубоких снегов потревоженный водою медведь и бросился в эту малую речку на зимней дороге.

По этой ледянке медведь, где было глубоко, плыл, а где мелко, бежал. В то самое время, как медведь несся по ледянке, вслед за ним выбился из глубоких снегов мокрый, долгий, худой, измученный лось. Его начали преследовать охотники еще по насту, когда он не мог бежать и резал себе ноги о наст. Но вдруг стало теплеть, наст размяк, лосю стало легче даже и в глубоком снегу, он стал набирать скорость и подбежал к ледянке в то самое время, как по ней проплывал медведь.

Так велик был у лося страх от человека, что на медведя он не обратил никакого внимания, как будто медведь ему был свой. Только уж когда эти лесные братья добрались до желтой реки плывущего леса и медведь в раздумье остановился на берегу, то и лось, не дойдя до медведя, тоже остановился и как бы задумался.

Вдруг послышались назади подозрительный шум и крики охотников, потерявших надежду настигнуть лося, и медведь бросился прямо в тесноту плывущих хлыстов. Лось по примеру своего лесного товарища бросился тоже.

Встречаясь с плывущими по реке деревьями, медведь с такой силой раздвигал их сильными ударами, что некоторые хлысты глубоко ныряли, а другие как бы не успевали от ударов опомниться, на мгновенье задерживались, и оттого на короткое время на желтой реке сохранялась водная синяя дорожка. Оттого-то лось и спешил воспользоваться водной дорожкой за медведем, чтобы не дать деревьям сомкнуться.

С трудом медведь наконец пересек реку и на разливе достиг какого-то берега. Вслед за ним вылез и лось, и как-то вышло у него это не сразу: сначала он выбросил передние ноги и немного помедлил с задними,— казалось, он ожидал, что лесной брат ему, совершенно измученному, поможет. Но, не обращая на лося никакого внимания, медведь как только вылез, так развалил задние лапы, согнулся туда и стал там что-то настойчиво вылизывать.

Лосю же пришлось сделать очень большое усилие, и так он, мокрый, длинный, худой и странный, был очень похож на подъемный кран, а кто в детстве читал «Дон Кихота», то был ему очень похож на рыцаря печального образа.

По крутому взлобку над животными на самом верху затопленного Выгора стоял шалаш, и сквозь просветы сена, покрывающего жерди, на зверей глядели человеческие глаза.

— Что нам делать? — шепнула Настя.

— Ничего,— ответил спокойно Митраша,— они нас не тронут, они сами еле-еле на ногах держатся. Смотри, как бревна лосю шею натукали.

— Тише! — шепнула Настя,— они, кажется, собираются ложиться.

— Это лось,— сказал Митраша,— а медведь, смотри, опять собирается в путь.

И то была правда. Медведь что-то высмотрел недоброе, своими маленькими глазками остановился на шалаше и вдруг бросился в воду. Лось тоже вдруг ожил и бросился вслед за медведем. И лесные братья направились в ту сторону, где серой щеточкой между небом и водой стоял лес.

Долго не думая, Митраша с Настей закусили, не разводя огня, перетащили запасы продовольствия на плот, подправили приготовленное вчера спанье на плоту, шалашик, заготовили запас дров для нудьи, устроились сами хорошо и, развязав причало, вверили свой плот и свою судьбу общему движению по реке круглого желтого леса.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Бывало со всеми, кто ночевал на плоту у своего костра и не проспал то первое мгновенье, когда первый солнечный луч встречался с нашим огнем: казалось, будто солнце с удивлением глядит на этот маленький, но такой тоже и упрямый на своем месте огонек.

«Откуда ты взялся такой?» — спрашивает удивленное солнце.

А он горит себе и горит, не обращая никакого внимания на удивленное солнце.

Сказать так, что это похоже на то, как если бы великий и славный отец встретился со своим малюткой сыном,— нет! Что-то есть человечески независимое даже и от самого солнца в этих наших красных угольках на рассвете.

Огонек был на желтой реке — это горела северная нудья на плоту. Нудья же — это сухое толстое дерево горит

посередине себя, а маленький человек Митраша дремлет и, просыпаясь по необходимости, сдвигает концы прогоревшей середины.

Северная нудья — это всеобщий очаг промыслового человека, ночующего на *сендухе,* или, по-нашему, просто на воле: на лесных полянах, на берегах рек и тоже всегда на плотах: нижние деревья, составляющие самый плот, погруженные в воду, от нудьи не загораются.

По эту сторону нудьи, ближе к рулю, сидит сейчас Митраша, а по другую сторону спит Настя под еловым лапником... Горячее дыхание девочки пробивается сквозь еловые ветки и так успевает охладиться, что кристаллы белым снегом остаются на ветках елки и, накопляясь, так плотно складываются, что кажется, спящая девочка покрыта белым платком.

Но это кажется только, что спящей холодно, под толстым слоем лапника на сене у нудьи очень тепло. И Митраше, не спавшему ночь, конечно, очень бы хотелось поскорее попасть на это сено.

У кормщика на плоту не одно только дело, чтобы время от времени сдвигать концы перегорающей нудьи. Его главное дело держать плот на стрежне, где вода самая быстрая и где у желтых хлыстов меньше спора, чем в других местах реки: на быстрой воде им хорошо.

Только очень издали кажется, что на желтой реке все так спокойно. Стать же поближе и смотреть на все с берега, то на реке видишь то же самое, что и бывает в ледоход, когда каждая льдина дерется с другой, чтобы успеть не растаять и цельной льдиной, может быть, даже и приплыть в океан.

Но то льдины, и это нам очень понятно — зачем они так спешат, за что стоят и за что борются между собой: за то, чтобы скорей всех прийти в море. Но за что спорят бревна, неужели только за то, чтобы первым бревном приплыть к месту назначения, на лесопильный станок, и обратиться в безличные доски и тес определенного размера?

Так нам, людям, живым существам, представляется, будто и бревна тоже, как люди, плывут невольные и вольные, борются между собой за лучшее, стремятся в законе идти и без закона, по-своему.

Невозможно часами и днями сидеть человеку, и особенно живому мальчику Митраше, чтобы в этом движении круглого леса, этих желтых хлыстов не узнать тоже и наше человеческое движение.

Казалось так ясно, что одна масса бревен вместе с плотом на стрежне плывет стройно и в законе, а дальше до самых берегов между хлыстами идет борьба. И все кончается тем, что законные в движении бревна выпирают на берег незаконных и так сильно выпирают, что им остается только лежать, сохнуть и дожидаться, когда наконец придут женщины с баграми и будут их снова скатывать в воду.

Берега реки — высокие *слуды* и низкие, намытые водой *наволоки;* на крутые берега бревнам не выбраться, а низкие наволоки желтеют от наседающих на них беззаконных хлыстов.

К середине реки, конечно, подбирались хлысты поровней, и оттого им легче было согласиться между собой и вместе плыть по быстрой воде. Это сразу понял Митраша, и дело его главное и было в том, чтобы держать плот непременно на быстрой воде.

Но как ни собирались, как ни подбирались деревья по сходству, все-таки и среди этих попадались, втираясь к ним, такие, что ровно плыть никак не хотят, останавливаются, кружатся, ныряют и всем мешают до тех пор, пока со стрежня не выгонят их в беспорядочную кутерьму несходных и борющихся между собой за первенство береговых хлыстов.

Длинною жердью, вроде багра, Митраша отводит наседающие бревна и этим толчком тоже и помогает движению плота.

Так вот все и двигалось по желтой реке: по стрежню на быстрине строго и в законе движения всей воды шла главная масса круглого леса, и закон этот был — закон подбора всех бревен по сходству между собой. По другому закону различия плыли все несхожие между собою бревна, чем-нибудь друг от друга отличные, и безобразной и непонятной борьбой друг с другом как будто тоже стремились установить свой отдельный какой-то закон: по различию.

Наш же плот человеческий шел по самому стрежню, не уклоняясь ни к слудам высокого берега, ни к наволокам берега низменного. Этот плот с огоньком, управляемый маленьким человечком, плыл, не повинуясь единому неизменному закону движения, но плыл он не как льдины плывут в океан, не как бревна плывут на завод, а по законам человеческого ума и сердца: пользуясь законом движения для всех, дети-сироты плыли в неведомую даль на розыск своего родного отца.

Так вот как же и не удивиться было солнцу, когда его первые лучи встретились с человеческим огоньком на плоту: от солнца же от самого, этого же нашего общего солнца родился огонек, но был он зажжен рукой человека и плыл даже и самому солнцу в неведомом направлении.

Плыви же, плыви, огонек нашей человеческой правды, нашей суровой борьбы за любовь!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Солнце, поднимаясь, грело все больше и больше, а спереди грела нудья, — вот бы обласканному и солнцем, и человеческим огнем Митраше уснуть и оставить свой плот на волю воды, несущейся в огромную реку — Северную Двину.

Поддаваясь этой двойной ласке, Митраша и поставил было уже свои локотки на колена и подпирал себе кулачками подбородок, оставалось бы только закрыть глаза, и они сами собой узились, вот только бы закрыться, вдруг среди бревен он заметил одно бревно необыкновенное и странное. Все оно было не желтое, как все, а пестрое из желтого, белого и черного и серого. Вершина его была опущена в воду, и, поддевая ею всякое дерево, бревно ныряло и выходило на плёс, как подводная лодка.

Митраша даже и полусонный понял, что такое страшное бревно могло, конечно, нырнуть и под плот и так хватить по нем из-под низу в какой-нибудь край, что другой конец плота погрузится на время в воду и холодная волна окатит сено и спящую на нем Настю. Кто знает? Может быть, волна эта снесет с плота и все их продовольствие, и хозяйственную утварь?

А может быть, этот Топляк где-нибудь одним концом упрется в дно реки, а другой конец разорвет, развяжет их плот и сбросит их в воду?

Митраша, конечно, очень устал, и это огромное пестрое бревно-змея представилось ему существом самовольным, не признающим никаких законов на свете, ни солнечных, ни человеческих.

Рядом плыли такие мирные бревна: было одно, и на нем чудесная птичка, стройная, подвижная, хорошенькая, сизая с черным фартуком, священная птица древних египтян, у нас же непонятая и прозванная просто трясогузкой. Удивительная птичка теперь плыла на этом бревне и пела!

Священная посланница египетского солнца не гнушалась бревном, плыла себе и пела, прославляя своей песенкой и священное солнце, и священное бревно, на котором плыла.

И вдруг со всего маху бревно-змея из-под низу так хватило по мирному бревну, что оно колом встало, нырнуло и выбросилось прямо на плот.

А священная египетская птичка вспорхнула, села на другое бревно и на нем, как ни в чем не бывало, тоже запела.

Видел Митраша и тоже удивлялся, как пауки двигались в неведомый мир, стоя на воде, как мы на земле: каждый паук на своих длинных коленчатых ногах стоял на воде, как мы, спускаясь и поднимаясь, стоим в метро на лесенке эскалатора, и их несло. Пауков было множество, казалось, они всем народом переселяются в какие-то новые земли.

Многим из них нравилось больше взбираться на бревна, чем стоять на воде. Одно бревно почему-то они особенно облюбовали, оно было им особенно хорошо, на нем ехали густо паук к пауку.

Тут-то вот, где было хорошо и ладно, по-видимому, и было ненавистно бревну-змее, тут и бедокурил Топляк.

Так чудилось измученному бессонницей Митраше, будто этот Топляк нарочно и метится туда, где хорошо. И вот оно хватило в излюбленное пауками бревно, и так сильно, что все пауки разлетелись и расставились опять прямо босыми ногами на своем водяном холодном эскалаторе.

Всему стройно плывущему на стрежне составу бревен невозможно было бороться с этим одним-единственным бревном. Как только добрые хлысты нажимали на Топляк, он нырял своей опущенной в воду вершиной, поддевал какой-нибудь хлыст, отбрасывал его в сторону, а сам становился на его место, намечая себе в кого-то новый удар.

Так подобрался Топляк и к Митраше. К счастью, мальчик не продремал, ударил со всей силой жердью во врага, нажал грудью, сильно подвинул вперед плот, а сбежистое пестрое бревно нырнуло под другую самоплавно сплоченную группу хлыстов.

И вот тут-то с Митрашей случилось то самое, что часто случается с победителями и потом оказывается почти что закон: победить-то, оказывается, легче бывает, чем победу удержать за собой.

Почему бы теперь, подумалось Митраше, не поставить

локотки на колени против доброго огонька, а спину не отдать теплым лучам солнца?

И так он уснул.

Вдруг что-то сильно толкнуло. Митраша едва не кувыркнулся в воду, но справился, вскочил и увидел прямо перед собой половину огромного змея-бревна, а другая половина, передняя, была уже под плотом и вершиной ударила как раз в то самое место, где Настя спала.

Толчок был сильный, Настя вскочила, разметала над собой лапник, укрытый снегом собственного дыхания, бросилась на помощь Митраше, и они в две жерди, крепко нажав, освободили плот от бревна.

Поглядев в измученное лицо Митраши, Настя сказала ему:

— Ложись-ка ты спать на мое место, я теперь буду и править, и кашу пора нам варить: поспеет — я тебя разбужу.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Не один раз в жизни приходилось нам бороться и со льдами, и с коварной полой водой, и с мошкой таежной, и всяким гнусом земным. И каждый раз после аварии схватывался и все зло как свою вину понимал: то надо было поберечься знакомого коварства воды, то вспомнить, что против льдов северных есть ледоколы, против гнуса лесного есть особая частая сетка. И так против всего есть что-нибудь. Если же ты не предусмотрел, не запасся там продовольствием, там какой-нибудь сеткой, или даже просто не научился ждать или терпеть, как это необходимо в путешествии, то потом сам себя и вини!

Но как предусмотришь какой-то топляк, скрытый под водой, направленный в самое дно твоего суденышка, груженного добром человеческим?

Есть у нас один такой знакомый топляк, правда, не тот, что бросился на детей, плывущих к своему отцу, но похожий на него, как все топляки друг на друга похожи.

Было это на реке Тойме, впадающей в Северную Двину, где на берегу высится каменная слуда. С этой слуды тонкой струей падает в реку ручеек.

Каждому хочется выйти на этот берег, поглядеть, разузнать, с чего и как начинаются на севере могучие реки.

Так было раз, мы вышли на берег и увидели: много больших деревьев стояли на берегу и, сплетенные корнями,

делались запрудой огромных болот. Сквозь эту запруду и выбивался ручеек, падающий с высоты слуды в реку Верхнюю Тойму.

Но не тут было начало ручья.

За этой береговой плотиной начиналась длинная и широкая *темная рада*, или болото с редкими и корявыми елками.

Эта темная рада тоже не была первым истоком ручья.

За темной радой начиналась *рада светлая* — болото, покрытое небольшими березками.

Тоже и светлая рада не была самым первым началом.

Дальше, много дальше, перейдя все эти сурадья, мы увидали сверкающее на солнце взгорье, все покрытое блистающими родниками.

Это взгорье, покрытое сотнями родников, и было самым первым началом, питающим все сурадья и замеченный нами ручей.

Вот тут, на горе, высоко над всеми сурадьями, стояла лиственница — дерево с опадающими осенью хвоями.

Миллионы хвойных деревьев, елок, сосен, по пути к этой лиственнице показывалось нам на глаза, но в памяти осталась только эта очень высокая лиственница на взгорье, покрытом сверкающими родниками.

И так вот они всегда на севере, везде по Двине, эти высокие одинокие с нежной зеленью деревья запоминаются и далеко раскрывают нам картину рек, и лесов, и озер.

Каждый охотник на севере, каждый промышленник благодарит такое дерево, помогающее запоминать пройденный путь и открывающее ему путь впереди.

Высокое дерево-маяк — это настоящий друг человека.

Но бывает, такое же дерево делается истинным врагом человека и называется у нас оно *топляком*.

Вот, когда долго идешь северными лесами, то ведь голову никуда не денешь, непременно думаешь о том, о другом, и если о дереве думаешь, о его судьбе, то переходишь на судьбу человека. Устанешь от человека и опять возвращаешься к дереву. Да так вот понемногу иной раз судьба дерева и человека сближаются.

Так вот жила-была одна молоденькая нежная лиственница на высоком берегу, и будь бы все благополучно в ее судьбе, она бы сделалась маяком, указателем пути человеку в лесах.

Но случилось, еще в ранней юности это нежное деревце облюбовал себе глухарь и одним движением клюва

наискось срезал себе нежную сочную верхнюю мутовку с молодого деревца.

Вся судьба лиственницы переменилась из-за этой несчастной минуты! И точно так у людей бывает, что иной расположенный к добру и дружбе становится врагом человека и всю жизнь проводит вроде какого-то демона.

Поднимаясь вверх год за годом, наше раненное смолоду дерево получило форму дерева *сбежистого,* с влагоемкой вершиной. Когда деревья срубили, то все хлысты имели форму цилиндра, а наша лиственница вышла конусом, и так, что на воде одна ее влагоемкая часть опускалась вниз, а другая — торчала.

И плохо иному кораблю, если капитан на неглубоком месте проглядит этот *топляк.* Бывает, дно парохода, опираясь в верхний конец топляка, заставляет дерево упереться другим концом, и оно делает в дне корабля пробоину.

Так вот быть бы лиственнице маяком, а оно сделалось из-за ничтожной случайности топляком!

А чего только не бывает с этими топляками на сбежистых речках молевого сплава! Дерево-топляк, от низу и до вершины утончаясь, как бы сбегает, и тоже река иная называется сбежистой, значит, от весны и до лета постепенно сбегает.

Взять Верхнюю Тойму. Весной эта река в половодье, как мы не раз ее такой видели, река могущественная, несущая на себе в Северную Двину тысячи ошкуренных желтых деревьев, а осенью по ней, как посуху, переезжают свободно машины, телеги и будто бы даже курица сама пешком переходит на другую сторону.

Верхняя Тойма не одна у Двины молевая река, их очень много таких сбежистых рек молевых, и если бы свободно, не вмешиваясь, пустить со всех рек всю *моль* в Двину, то весной ни одному пароходу невозможно бы пройти, и едва ли можно бы тогда и весь сплав удержать и направить на завод. Тогда, пожалуй, и вся бы моль прорвалась в Белое море, и часть прошла бы, может быть, даже и в океан.

И это бывает, часть леса уходит из рук человека.

А отчего уходит?

Только из-за того, что деревья неодинаковые и ведут между собой, как люди, борьбу.

А отчего деревья разные — это оттого, что деревья эти рубили, пилили, окатывали, шкурили люди же и своими человеческими руками. Оттого и деревья все разные, что люди над ними работали тоже все разные.

Скоро с лесами будет все по-иному, но пока что делается все по-старому. Близко от впадения Верхней Тоймы в Двину с берега на берег протягивается дорожка из крепко связанных между собою деревьев. По этой дорожке можно свободно человеку ходить, но с высокой слуды, как нам приходилось наблюдать, этот разделяющий реку *бон* кажется паутинкой, и трудно поверить, что такая паутинка может удержать напор сплошной массы моли в несколько километров!

Таких паутинок, *направляющих бонов*, раскидывается много по Двине, и с той нашей Высокой слуды их узнаешь, только если по ним зачем-нибудь идет человек: кажется, человек идет по воде.

Есть много бонов, разделяющих моль на сорта, но этот бон, удерживающий моль от выхода в Двину, называется *запонью*.

Тут где-нибудь у запони сидит в будке бурлак самый опытный и смелый. Тут он пережидает время, когда можно будет открывать в запони воротца и выпускать, разбираясь в сортах, лес в ту или другую сторону двинской воды, опутанной направляющими бонами.

В каждую клетку из запони направляются тот или другой сорт круглого леса, тут же вяжут из него плоты и переправляют на завод возле Архангельска.

Запонь, эта паутинка в сравнении со всей напирающей на нее массой моли, является преградой, конечно, только для плывущих на поверхности деревьев. Тут каждый новый ряд деревьев делается запонью для следующего.

Из-за того-то и получается такая видимость, будто тонкая паутинка из связанных деревьев держит несколько километров напирающей на нее моли.

Но всему бывает конец: не какое-нибудь особенное сбежистое дерево с влагоемкой вершиной — топляк, а и самое простое, тупое дерево под огромным давлением как бы наконец догадается нырнуть под этот потолок на воде и попробовать плыть под водой.

Нырнуть-то в ее воле. Но как оно может там плыть, если оно легче воды и его тянет наверх? Как оно может плыть, если и другое дерево догадалось нырнуть и нажимает снизу? А там и третье, и пятое, и десятое тоже догадались и ныряют, ныряют одно под другое до самой последней глубины и, наконец, всей своей желтой массой, наполняющей реку от поверхности до самого дна, образуют *глубинный залом*.

До чего же плотно сдвигаются деревья в глубинном заломе, что мы своими глазами видели, как большой старый медведь по глубинному залому перешел реку Верхнюю Тойму.

Постоянно бывает в глубинном заломе, что верхние деревья под давлением нижних начинают там и тут подниматься и наконец все встают, как у ежа иглы.

Белой ночью на севере, когда деревья в глубинном заломе начинают подниматься, суеверному человеку можно напугаться, да и несуеверному жутко бывает смотреть, когда в белой прозрачной тишине северной ночи эти огромные деревья, эти лесные мертвецы начинают одно за другим вставать: тогда вспоминается одно страшное кладбище на Днепре у Гоголя, где мертвецы в полночь тоже так поднимались над своими могилами...

Вот такой бывает страшный на севере глубинный залом!

Если бы наше дерево-топляк плыло бы в одном из первых к запони рядов, конечно, оно не стало бы ждать напора на себя плывущих сзади рядов: своей опущенной вниз влагоемкой вершиной оно бы легко поддело первые ряды и нырнуло бы под запонь.

Так бы оно вошло в Двину и встретило бы паутину бонов, разделяющих воду на клетки для сортиментов лесного материала. И если оно могло справиться даже с запонью, с глубинным заломом, то как легко могло бы оно здесь нырять под разделяющие и направляющие боны и выбиться на свободную воду Двины и плыть куда хочется, в море или даже в океан.

Чаще бывает, конечно, что сбежистое дерево плывет не в первых рядах и ныряет, когда и простые деревья с тупыми вершинами догадались тоже нырнуть. Вот тогда сбежистому дереву приходится долго ждать, пока под огромным давлением глубинного залома запонь не разорвется и масса лесная не разорвет и направляющие боны.

Труднее бывает прорваться, когда запонь чередом разбирается на сортименты в приготовленные на Двине клетки. Тут распределяющий деревья на сортименты бурлак может понять всю загадку самовольного дерева и пустить его куда-нибудь в дело на месте.

Но бывает, бурлак и проглядит, мы это однажды и видели, и теперь мы можем историю нашей лиственницы с поврежденной вершиной закончить на необитаемом острове.

Было это в Северном Ледовитом океане.

Под нажимом плывущих льдин корабль наш чуть-чуть заблудился, и путь наш на Новую Землю был отклонен. В тумане показалась какая-то земля, и мы сначала думали — это как раз и есть остров Новая Земля.

Но когда мы подъехали к этой земле, то сразу же поняли — это не старый остров Новая Земля, а действительно остров новый, и земля новая, где не ступала еще нога человека.

Была видна нам только узенькая полоска зари, и на ней силуэтами виднелись частые головки тесно сидящих на скалах диких гусей. Морские зайцы с человеческими усатыми головами попрыгали с берега в воду от нас.

Остров был небольшой, мы обошли его кругом, имея в виду найти хоть какие-нибудь следы человека.

Такая была бесчеловечная пустота на заполярном островке, что стремились всей душой найти хоть какой-нибудь след человека.

Далеко на льдине проплыл белый медведь, и то чуть-чуть повеяло человеком: так он важно и задумчиво сидел на снегу, как человек на мягком диване.

И мы все, ничего не говоря, поглядели на него теми морскими глазами, когда люди куда-то глядят и молча думают о прелестях ароматной земли и населяющего ее человека.

Вот тут-то и увидели мы и все сразу заметили на берегу шкуреное бревно, сохранившее во всей свежести свой пестрый, как бы змеиный цвет.

Это и был топляк, выкинутый волнами Северного Ледовитого океана.

Это и был тот самый демон, из-за случайной раны ставший врагом человека.

Но что это? нам было теперь, как будто это враг человека среди камней, льдов, диких гусей и медведей умолял нас признать его человеком...

Рассмотрев дерево со всех сторон, мы его перекатили на другую сторону, и там открылись нам слова человеческие.

До того страшно и пусто было на необитаемом острове, что мы и простым деловым словам обрадовались, как счастью: на дереве всего был только штамп: «СЕВЛЕС».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Когда круглый лес, сдержанный запонью в устье молевой реки, под нажимом плывущего сверху начинает нырять под верхний слой сплава и набивать реку на всю ее глубину, то вся эта набитая лесом часть реки называется у бурлаков *пыжом*.

Так ведь и пыж в ружье из войлока натуго прибивается к пороху: пыж в ружье — из войлока, пыж в реке — из круглого леса.

Иной пыж бывает на несколько километров вверх от устья и толщиной до самого дна. Какое же, значит, давление снизу испытывает на себе каждое верхнее бревно! Вот отчего при крайнем нажиме нижних деревьев верхние сплошной щетиной поднимаются вверх.

Долго, конечно, под таким давлением и вся запонь оставаться не может. Тут или бурлаки дружно возьмутся за дело, откроют в запони воротца и мало-помалу, разбирая лес на сорта, выпустят его по направляющим бонам в Двину, и река от пыжа освободится. Или же, если бурлаки прозевают, «мертвяки» с якорями вырвутся, запонь разорвется и пыж вылетит из устья реки на всю волю двинской воды, как настоящий пыж вылетает из ружья после выстрела.

Хорошо еще, если так вырвется одна молевая река вроде нашей Верхней Тоймы, а если в то же время вывалит лес сразу в Двину из всех молевых речек, что это будет?

Оттого-то на всем севере бурлаки так боятся дружной весны.

Сколько тревоги, сколько волнений, сколько лишних людей, отлынивающих от дела, приходят прямо по пыжу из любопытства в сплавную контору. Сколько тоже и лишних слов вылетает из уст таких любопытных, сколько дают они всяких советов, а в глубине души, в ее сокровенной праздности, бывает, как на пожаре: бездельники втайне желают, чтобы пламя разгоралось все больше, больше.

Отчего это?

На памяти старых людей не было еще такого пыжа на Верхней Тойме, какой собрался в устье реки в ту весну, когда кончалась война и двое ребятишек, брат и сестра, в поисках своего отца показывались там и тут между людьми.

Теперь уже издали кажется, будто тогда только и говорили о том, как и где странствуют детишки, и даже некото-

рые настойчиво требуют проверить их бумаги, и если они своевольно плавают и ходят в лесах, то перехватить бы их и вернуть в родные места.

Еще была молва о том, что какой-то солдат без руки прошел куда-то за Пинегу в Корабельную чащу. Эта молва катилась от человека к человеку, как морская волна, и, может быть, не раз уже успела вернуться к тому самому, кто, казалось бы, первый от кого-то услышал и кому-то сам рассказал.

Так было и между теми людьми, кто, чуя опасность прорыва запони, приходил по пыжу через реку в контору на сплаве.

По раннему времени года в конторе горела железка, и многие приходили в контору, только чтобы погреться, сами же делали вид, будто тоже принимают горячее участие в спасении запони.

Больше всех тут разглагольствовал какой-то неизвестный пришлец, будто бы инструктор канадского лесопиления. Он тем отличался от всех наших знакомых, что у нас принято о всем главном помалкивать, он же делал вид, как будто и об этом всем нашем тайном все знал и смело мог о всем заключать и к чему-то все подводить.

И все у него сводилось к тому, что у нас ничего не понимают в лесном деле.

В Канаде, в Канаде, только в Канаде о лесах известна вся правда.

Наш бухгалтер из Райзо, самый скромный гражданин в мире, слушал «канадца» долго и с тихой улыбкой, как от стыда, опускал голову. Но, видно, и такому скромному и застенчивому Ивану Назарычу слушать канадца стало невмоготу.

— Милый мой! — сказал он, — ты все говоришь о правде в Канаде, да какая же в этом правда, что пилить леса и пилить. Если в этом одном будет правда и все мы будем леса пилить по-канадски, то кто же их будет растить и хранить?

— А зачем их растить? — ответил канадец, — мы же скоро перейдем на каменный уголь.

Иван Назарыч опешил и успел только сказать:

— Вот оно что!

И остался с открытым ртом.

— Вот оно что! — повторил за ним канадец, — а ты думаешь, надолго человечеству хватит угля? На самое

короткое время! Но и тогда опять ничего не будет плохого.

Тут Иван Назарыч не утерпел.

— А уголь,— сказал он,— ведь, как и лес, кончится — сгорит. Что тогда?

— Ничего опять не будет плохого: тогда перейдут на силу атомную, и этого в природе столько, что над нами после смеяться будут: для чего мы так долго берегли свои леса от пилы.

— Вот оно что! — повторил Иван Назарыч, не успевший одуматься еще и от каменного угля.

— То-то вот оно и есть,— продолжал канадец,— люди за леса держатся из-за робости, и лес делается аккумулятором всего отсталого, всякой косности, он консервативен, как старая баба, и чем скорей мы с этой зеленой дрянью покончим, тем свободней, лучше нам будет жить.

— Это не способ! — заявил Иван Назарыч.

И вдруг загорелся, как это бывает с такими людьми, как с медведями в лесу: копался-ковырялся в корешках, в ягодках и вдруг, почуяв врага, стал на дыбы.

— Ты говоришь,— сказал он,— леса пилить. Сон ты это видишь или от большого ума говоришь? Наше горе пилит леса, а не мы. Ты — нет! ты не от ума говоришь. Ты же понимать должен: наша сила в лесах совершается. Есть среди наших лесов за Пинегой краса всего нашего края: Корабельная чаща. Триста лет ее берегли в республике Коми. И выросла чаща дерево к дереву так часто, что срубишь дерево, и оно на землю не упадет: прислонится к другому дереву и останется.

— Ты говоришь,— сказал он,— леса надо пилить. Сон ты это видишь наяву или от большого ума говоришь?

Канадец чуть-чуть смутился от внезапного нападения и растерянно спросил:

— Зачем сон?

— А затем сон,— ответил Иван Назарыч,— что есть люди вроде тебя, говорят складно и такие слова, что хоть возьми да прямо в карман положи. И кладут многие в карман и верят, а это после окажется сон, и кто сказал их — это сказал сон-человек.

— Как это сон-человек? — повторил канадец, не понимая еще, с какой стороны будет на него нападение.

— А так — сон,— ответил Иван Назарыч.— Как же это не сон, ежели ты горе человеческое хочешь нам пред-

ставить как правду и хвалишься тем, что в Канаде спешат уничтожить леса поскорей и взяться за каменный уголь.

— А чего ты-то ерепенишься? — спросил, собираясь с духом, канадец.— Тебе-то что?

— Как же не беспокоиться мне за леса,— ответил Назарыч,— если в лесах наша сила совершается. Ты это понимаешь?

— Не понимаю,— ответил канадец.

— А вот я сейчас тебе притчу скажу, и ты поймешь. Есть у нас возле реки Мезени в маленьком государстве Коми Корабельная чаща, вот какой силы и красоты, что каждое дерево на подбор: дерево к дереву так часто, что какому надлежит падать, упасть нельзя: прислонится к другому и стоит, как живое. Полюбилась людям эта роща, и решили они ее хранить. Старики молодым передавали завет свой хранить Корабельную чащу: сила в этой роще хранится и правда. Так триста лет эту чащу укрывали от пилы и топора.

— Суеверие и косность! — сказал канадец, собираясь с духом.

— Не суеверие, а сила правды,— ответил Назарыч,— и я сейчас тебе это выведу. Триста лет хранили Корабельную чащу, и вот приходит с войны чужой солдатик без руки и говорит: «Я лесник по природе своей и дорожу лесами не меньше вас. Я солдат и служу Советскому Союзу, и я знаю: Ленин сказал и завещал нам правду сказать, и мы должны эту правду сказать на весь мир, и слово у нас это найдется, слово правды на весь мир».

Так сказал простой солдатик, и люди задумались. Не по-нашему он им сказал, не сон были его слова.

Умел сказать простой солдатик, люди задумались и порешили свою священную рощу отдать. Триста лет берегли и, услыхав слово о правде, нашли в себе силу расстаться.

Понял? Горе наше заставляет рубить леса, и радоваться тут нечему: леса надо растить и хранить, в лесах народная сила растет. Когда же время придет, мы ничего не пожалеем.

Так сказал Иван Назарыч, и кто-то спросил его о Корабельной чаще и о солдате с подвязанной рукой, но он сел на свое место, с улыбкой для всех и с вопросом: «Не сказал ли чего-нибудь лишнего?»

А молва людская, как морская волна, о Корабельной

чаще и о безруком солдате и каком-то его слове правды покатилась дальше и дальше.

Из области вышел приказ держать в устье Верхней Тоймы запонь до прихода одного парохода, названного в честь славного северного партизана «Быстровым». Приказ был решительный: «До прихода «Быстрова» запонь ни в коем случае не спускать».

Вот и поговори теперь о необходимости спустить запонь, если есть из области такой решительный приказ. Кто возьмет на себя ответственность не послушаться и поступать не как надумали в области, а как надо поступить, учитывая видимый здесь и невидимый в области закон природы.

Оно, конечно, понятно, почему в области вышел такой решительный приказ: «Быстров» назначен пройти с продовольствием в такие глухие места, куда можно на пароходе попасть только раз в полую воду. Если же «Быстров» вовремя не попадет в те места, то люди, занятые охотничьим промыслом, останутся на весь сезон без муки.

Выходит, что «Быстрова» во что бы то ни стало надо пропустить.

Против этого разумного приказа восстал только один человек, вроде атамана у бурлаков, заведующий запонью Верхней Тоймы. Он требовал запонь сейчас же открывать и брался устроить такое распределение направляющих бонов, что «Быстров» мог бы между ними свободно пройти вверх.

Правда была, конечно, у бурлаков: из конторы никак нельзя было служащим увидеть того, что ясно указывало на приближение тех признаков стихийной катастрофы, какую чуяли бурлаки и не могли словами понятно об этом сказать тем, кто склонялся больше понимать приказы, чем прямые указания жизни.

Бурлак, заведующий запонью, стал раздраженно требовать разбора запони, контора вздыбилась и пошла «на *при́нцип*».

Кому-кому, а уж никак не бухгалтеру Ивану Назарычу спорить с приказом из области: все понимает, а до времени все помалкивает. И так все: один за другого, другой за третьего, снаружи как будто все за приказ, и все тоже помалкивают, а слово берет на себя сон-человек один-единственный.

Так, через какого-то пустозвона канадца контора и пошла «на при́нцип», хотя втайне ни у кого настоящего

принципа не было: настоящий принцип, по нашему мнению, был только у бурлака, заведующего запонью.

Кто же он, этот человек, что может спорить и с приказом из области?

Все знают, это не простой человек.

Река сбежистая в весенних водах — это река безумная, она мчится, чтобы всю лесную воду почти что досуха сбросить в Двину. Такая река все равно что водопад, и вот по такому-то водопаду лесной наездник, бурлак, мчится, бывает, на одном бревне, как степняк на коне. Бурлаки на сплавах такие же молодцы, как степные наездники на своих конях.

Бывает даже, когда разнесет вдребезги запонь и моль вырвется в Двину, то и тут ватага удалых бурлаков под управлением своего природного атамана, кто на челне, кто на бревне окружат всю моль и успеют за одну какую-нибудь ночь обвязать и обнести ее бонами.

Вот такой-то молодец атаман был сейчас заведующим запонью. Не легко было такого найти. Не легко теперь с ним и справиться. За его спиной стоят сейчас все бурлаки. Вот он опять звонит по телефону:

— Долго ли вы будете реку держать?

Человек у телефона ничего не может ответить.

— Что он спрашивает? — говорит канадец.

— Спрашивает: долго ли вы будете реку держать?

— Скажи ему: скоро пустим, а если спросит: «Как скоро?» — скажи ему: «Как скоро, так сейчас».

На короткое время телефон смолкает, но вот он опять.

— Дешевый мужик! — сказал инструктор лесопиления.

И тут же объяснил свои слова:

— Такие они все пинжаки дешевые: сохранит запонь — награждать не надо, он даже и не поймет, за что его наградят, а упустит, запонь разлетится — не жалко такого и наказать... Вон опять накручивает, спроси, что ему надо.

По телефону сказали:

— Открывайте запонь — последнее предупреждение: лес встает!

Все бросились к окнам, а некоторые выбежали даже вон из конторы, и все увидели, что там и тут по всей желтой поверхности пыжа отдельные деревья, вернее — скелеты деревьев, тут же у всех на глазах без всякой видимой при-

чины вдруг вскакивали быстро и некоторое время, чуть покачиваясь, утверждались.

— Лес встает! — повторяли свидетели этого редкого и странного явления.

И шептали суеверно о заведующем запонью:

— Он что-то знает.

Это была действительно правда: Мануйло кое-что знал.

Теперь из своей будочки с телефоном из окошка он смотрел на береговую грамоту, написанную лапками птички, смотрел на свои собственные заметки на песке, на подплывающих паучков, соображал, думал, и правда — старый бурлак кое-что знал.

Он знал — это наступает последняя ночь нажима новых и новых деревьев на пыж: в эту ночь запонь больше не выдержит.

Что же ему было особенно трудно и отчего ему было так тяжело на душе: он знал, а людям сказать и их уверить не мог. Если бы он своими словами указал бы на разные признаки, вроде грамоты птички, все бы только посмеялись, полагая, что Мануйло заводит свою новую сказку о какой-то грамотной птичке.

И еще тяжелее было, что они знать того не хотели, что ему как главному бурлаку, вроде атамана, ему, заведующему запонью, так же, как и им там в конторе, хотелось бы пропустить «Быстрова», и он по себе самому больше их понимал, какая промысловым охотникам бывает нужда в продовольствии. У него даже сложился план в голове, как это сделать, чтобы и лес спустить, и дать пройти пароходу. Им же было все дело только в приказе и в том, что Мануйло приказа не хочет слушаться.

Не для себя же, не для своей какой-нибудь выгоды он не хочет слушаться приказа, тоже не для их и благополучия он не может слушаться приказа.

И вдруг вспомнилось ему, как лежали они вместе в больнице с тем сержантом.

«Как его звали?» — стал вспоминать Мануйло.

И вспомнилось — звали его Васей, и говорили они с ним о правде истинной.

«Вот куда надо смотреть,— сказал он себе,— вот кому надо служить».

И когда от этого разговора с Васей пришел к спору своему сейчас с начальником, вдруг ему стало все ясно: он будет слушаться и не будет нарушать приказ, но он приготовится на случай, если запонь полетит в эту ночь. Он

распорядится сейчас всем бурлакам приготовиться и в эту ночь, не смыкая глаз, сидеть возле лодок: дело трудное, опасное, но бывалое: окружить на Двине бонами всю моль и запереть ее.

Теперь после решения веселей ему стало смотреть из своего окошка на крутой песчаный берег с грамотой птички.

Он видел, как пауки, растопырив ноги, пешком по воде прибывали на берег, видел, как всякие букашки подплывали на остров спасения, какие-то ничтожные блошки и вошки плыли, скакали, ехали, кто на чем, кто на ком.

Их всех встречала самая хорошенькая птичка, вся ровно сизая, и на груди у ней черный галстук, сама узенькая, стройная, хвостик длинный, ножки тонкие; и все бегает, бегает, и до того забегается по краю взад и вперед, что когда надо остановиться, то хоть и на одном месте стоит, но все равно движется, и на тонких ножках своих раскачивается, и трясет хвостиком. И вдруг — цап! носиком одного из прибывших гостей — цап! другого — цап! третьего,— много нацапается, нахватается, и себе на пользу, и им, такому множеству, никогда не в убыток. И опять примется бегать по краю вперед и назад, вперед и назад.

Такие уж, видно, и гости, что им от этого ничего не делается, на то так и множится вся эта мелочь, чтобы все ее кушали и чтоб хватало на всех.

Тут были с прилету и зяблики и тоже клевали, но правильных следов на песке ни от каких птиц не оставалось: таких следов, чтобы по ним, как по следам трясогузки, можно было бы понимать движение прибывающей и убывающей воды на Двине.

С утра до ночи бегает трясогузка по песку у самой воды. И от лапок птички у самой воды, лапочка за лапочкой, складывается настоящая строчка.

Прибывает вода, строчка набеганная тонет, а птичка гонит новую, и опять новая тонет: вода прибывает.

Скоро тонет, скоро и птичка бегает, и, значит, очень, очень сильно вода прибывает.

А то и птички нет на берегу, а на глазах строчки выходят из-под воды, много или мало, скоро или медленно, смотря по тому, мало или много прибывает вода.

Какое множество рек больших и малых впадают в Двину, этого птичка не знает, ее дело только встречать гостей и брать от них свою долю. Птичке кажется, она работает

только для себя, только чтобы самой наклеваться, а выходит ее дело на всех. Ведь если повысится горизонт какой-нибудь речки, Двина это чувствует, и если понизится, тоже чувствует, и все это передается на песке через лапки бегающей птички трясогузки.

Мануйло дожил почти до старости, но все удивляется и старается всегда понять, зачем это и к чему. А когда сам поймет, то это самое и считает за правду и об этом на пользу хочет сказать. А вот какие-то *они*, вроде канадца, знать не хотят этой правды, слушают какого-то приказа, его же правду принимают за сказку, за птичью грамоту.

День как-то странно кончался, темнело больше, чем темнеет в это время, чем оно может темнеть в это время года. Строчки тонули прямо даже из-под лапок птички.

И вдруг Мануйло понял все и до конца.

Это Вычегда, большая река, вся разом бросилась в Двину, теперь неминуемо запонь в эту ночь разлетится. Вот на глазах даже и птичка бросила бегать и улетела. Надо идти, бежать, готовиться к беде и самому с собой тоже укладываться: редко бывает чтобы спасение леса обошлось без человеческой жизни.

Была тут минутка, когда Мануйло вспомнил, что детям он послал записку и все их ждал и их все почему-то не было.

Так он подумал сейчас, уходя к бурлакам на работу, что скорей всего детей тогда забрали охотники и увезли обратно в Вологду.

И он надолго перед наступлением темноты отвел свои глаза от Двины, и вот нужно же, что как раз в эти какие-то, может быть, два часа и случилось на Двине: подплывал какой-то маленький плот с огоньком.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Высокий берег на севере называется *слудой*. Вода, ударяясь о слуду, конечно, размывает ее и мельчайшие частицы переносит на другой, низменный берег.

Тот новый намытый берег называется *наволоком*, и там бывает веселая, радостная, раззеленая травка. Весной рано, выйдя прямо из берлоги, медведь любит копаться у воды на зеленой травке.

Мы не раз бывали на высокой слуде ранней весной и смотрели, как там на другой стороне по наволоку бродил

мишка и долго на одном месте копался. Возле нас всегда люди делали свои догадки о том, чем в такое раннее время занимается медведь: добывает ли он после долгой берложной жизни себе сладкие корешки для питания или, может быть, лечится и очищает себе желудок травами?

Высокая слуда на Верхней Тойме была кругом выше всего, и еще к тому же на ней росла тоже очень высокая лиственница. Возле самой этой лиственницы в незапамятные времена вышел из-под земли большой камень, и рядом с этим камнем проходила постоянная тропа из Нижней Тоймы.

С этого высокого места далеко видно, и каждый прохожий, скинув с плеч сумку, садится на камень и, обрадованный отдыхом, куда-то глядит по разливу Двины и посвоему о чем-то думает.

Сейчас и под слудой, и на той стороне по наволоку забиты в землю чугунные мертвяки с якорями, и ими-то на тросах и держится запонь, раскинутая по устью Верхней Тоймы. Запонь разделяет воду бурной сбежистой реки от великой и с виду спокойной Двины.

Немало на свете великих рек, и что они многоводные и широкие — это, само собой, всех их делает и красивыми. Но Двина красива своими лесами.

А белая ночь!

Сквозь белый сумрак глядишь в эти леса, и почему-то тянет туда далеко в эти леса, как будто вышел когда-то из них давным-давно и никак не можешь вспомнить, что такое там свое самое дорогое когда-то забыл...

Мало ли у каждого из нас бывает разных причуд, и разве стал бы о них говорить, если бы касалось только себя одного. Но послушайте, что люди между собой говорят, раздумчиво глядя с высокой слуды на море лесов по Двине.

— Чего ты все глядишь туда,— спрашивает один отдыхающий прохожий,— что ты там потерял?

— Ты угадал,— отвечает спрошенный,— я чую сейчас, будто я там что-то оставил, забыл там самое мое дорогое.

И говорят люди между собой о том, что сильно порублены там, за Двиной, эти леса из-за этих великих войн между людьми. Но еще хорошо, что мы понимаем это и все жалеем леса. На всем же свете думают так, что с лесами надо кончать. И кончают везде, а потом, когда все размотают, опомнятся и давай их сажать.

— Понимаю,— говорит один,— леса можно посадить и вернуть, только чего-то все-таки и не вернешь.

— Ты угадал: вот это самое и мне чудится, будто я там свое что-то самое себе дорогое забыл и тревожусь теперь, как бы не срубили леса, не погубили бы то самое мое дорогое, чего уже никогда не вернешь. Понимаешь?

— Понимаю, друг, леса наши надо беречь.

Иногда кажется в тишине белой ночи на великом разливе Северной Двины, будто это не наши живые люди идут по тропе, а те, что прошли: они-то прошли, а сам еще здесь и теперь, сам живой еще, их всех вспоминаешь, и они от этого показываются, не они, какими были, а только их призраки.

Так белою ночью на Северной Двине все кажется призрачным.

Показалась древняя женщина, сгорбленная, с большой палкой и мешком за спиной. Тоже и она, как другие прохожие, села отдохнуть на большой камень и, устроившись, поглядела сначала в сторону Двины.

Вся-то большая вода сейчас была в паутинках. Такими с высоты слуды казались боны, приготовленные для распределения сортов выпускаемого из запони круглого леса.

Вдали в обход направляющих бонов старуха заметила движущийся огонек и старыми глазами остановилась на нем.

«Плот идет! — подумала она.— Кашу варят бурлаки или уху».

И повернулась в другую сторону, где над водою Двины теперь висела стеной вода Верхней Тоймы, замкнутая в своем движении запонью с пыжом желтого леса длиной в несколько верст и глубиной до самого дна.

По тропе же люди все проходили — какие с мешками, какие с корзинами, какие просто с палками. И уж ей-то, усталой старухе, конечно, казалось: это не здешние люди проходят, а те, что в ее жизни прошли.

Такая на севере всегда белая ночь: детишки, молодежь, конечно, спят, а кто постарше, вспоминают и думают больше все о тех, кто прошли.

Не на все же разом смотреть! а было так, что попалось на глаза какое-то одно большое желтое шкуреное бревно круглого леса, и почему-то глаза так на нем и остались: одно только это бревно без всякого смысла торчит, а все

другое, как было в жизни, так теперь и проходит в призраках.

Тут-то вот, белою ночью, и показалось старухе, будто желтое большое бревно на ее глазах пошевелилось, легонечко вскочило, покачалось, кивнуло ей и опять легло.

Видно, старуха в жизни своей такого еще никогда не видала и подумала на себя, что это не там, на реке, делается, а у себя в голове мешается.

Медленно подняла старуха руку с двуперстным сложением и перекрестилась внимательным староверским крестом.

А там мертвое бревно не только не унялось от креста, а живенько прыгнуло вверх, погрозилось старухе и так осталось как бы с угрозой:

«Попробуй-ка еще перекрестись!»

И как только старуха попробовала занести руку, вдруг как прыгнет вверх другое мертвое дерево, как прыгнет другое, третье, как начнут везде во всех сторонах и концах мертвецы вставать и грозить, вставать и грозить...

Так вскоре и весь пыж на всем видимом пространстве замкнутой реки ощетинился.

Когда весь пыж, как одно существо, поднялся и ощетинился, старуха одумалась, твердо перекрестилась и стала слушать, как об этом всем люди говорят тут на камне возле нее.

Говорили, что скорей всего это наделала Вычегда, что это большая вода тронулась. Другие уверяли, будто это своя вода, здешняя, пришла из верхних сурадий, вырвалась из-под темных ельников и бросилась.

Кто-то позвал:

— Глядите, глядите сюда!

Все повернулись к Двине, и старуха, повернувшись со всеми лицом на ту сторону, узнала тот раньше замеченный огонек. Теперь было ясно видно — это был маленький плот с огоньком. Он плыл прямо на паутинку бона и остановился возле этой дорожки из двух связанных бревен. Двое детей, мальчик и девочка, сошли с плота на бон и стали вытаскивать и вешать на себя какое-то имущество.

И вдруг в одну минуту потемнело и белая ночь стала темной. Тучи закрыли все небо, и дети исчезли из глаз.

Тут-то вот и случилось то самое, чего так боялись на лесной бирже, так боялись, так много говорили, так спорили.

Вдруг отчего-то чугунный мертвяк, глубоко врытый в землю, обвитый тросами толщиной в руку, закрепленный якорями, выскочил из-под земли и, как маленький, со своими якорями и тросами помчался к реке.

Тогда в один миг прорвало запонь, и все мертвецы, как по сигналу, мгновенно легли на воду и всей желтой массой понеслись в Двину.

Какие уж там направляющие и разделяющие боны! Все приготовленное, все, связанное и сшитое человеком, летело, как паутинка!

Пришли темные тучи, хлынул дождь, и белая ночь стала черной.

Все, кто видел, как вырвался из рук человеческих глубинный залом, теперь молчали и думали только о том, как бы самим благополучно добраться домой.

Нельзя сказать, чтобы никто не подумал о детях на паутинке, схваченных теперь, наверно, силой массы мертвого дерева. Что будет с этими детьми?

Нет, никак нельзя сказать, чтобы никто не подумал о детях, скорее напротив, про себя каждый подумал, каждого чуть-чуть царапнула за сердце мысленка о детях: нельзя ли хоть за что-нибудь ухватиться и помочь им?

Так и утопающий хватается за соломинку, но в темноте и соломинки нет. И никому больше не видно, где мчится и что разрушает и топит теперь желтый поток круглого леса. Может быть, и дети, как зверушки в половодье, уцепились за что-нибудь, прижались друг к другу и дрожат.

Нет, никак нельзя сказать, чтобы люди не думали. Но что же делать? Теперь каждый шел по мокрой скользкой тропе, рискуя каждый миг сам оборваться и полететь туда, где сейчас на глазах чугунный мертвяк, как детская игрушка, улетел со своими якорями.

Мало того! Совесть каждого спрашивала: «А что ты сам сделал для спасения этих детей?»

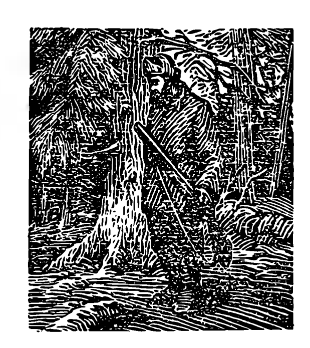
И каждый на это, как бы в свое оправдание, вроде как бы обвинял самих детей такими словами: «Да откуда же вы взялись и кто вас пустил ходить по направляющим и разделяющим бонам: они же приготовлены для дела, а вас понесло в эту пропасть из баловства».

И так каждый, свалив всю беду на самих детей, очищал свою совесть и с каждым шагом приближался к своему дому, где в тепле сам уснет от забот и рядом с ним уснет его совесть.

# ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

## СУЗЕМ

### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ



Пусть и наш лес велик, но если есть в нем хоть одна деревенька или село, это уже не сузем.

Так говорят на севере, проходя деревню на берегу зеленого моря сузема:

— Последнюю деревню проходим!

И это значит, что дальше будет только сузем, и в нем уже больше нет ни деревень, ни дорог и ничего человеческого, кроме общей тропы и охотничьих путиков с их маленькими курными избушками.

Мы когда проходили в первый раз в жизни последнюю деревню и вступали в сузем, то казалось нам, будто мы куда-то идем к началу человека и там, в глубине сузема, поймем, где же та самая граница в нас самих: по одну сторону ее леса, воды, деревья, животные, вся природа, а по другую начинается такое, чего нет в природе: начинается сам человек.

И когда мы прощались с последней деревней, то и правда в себе самом как бы отделялся человек с чем-то своим небывалым, и мы приходили в восторг, когда в диком суземе встречали начало чего-то небывалого в природе и своего собственного человеческого.

В стужу, в бурю, с глазами, залепленными мокрым снегом, мы однажды пришли ночью в маленькую курную избушку после огромного перехода по общей тропе. Пошарив там руками по лавочке, мы нашли там спички и пучок лучинок сухих, заготовленных кем-то для другого неизвестного человека, странника вроде нас самих, замерзающего в стуже сузема.

А что это делается с собой, когда разгорятся дрова, распалится камень и начнет отдавать свое тепло человеку?

Не камень раскаленный причина радости, а что другой человек о тебе подумал и свое добро тебе же тут и отдает в этом тепле.

Дым, как черное небо, сверху садится ниже и ниже, делается все теплей и теплей и там вверху дым, а у себя на лавочке в себе самом — чувство великой благодарности тому, кто подумал вперед о тебе.

После, когда уходить, сам тоже заготовишь сухих лучинок для неизвестного, и тогда открывается тебе душа самого сузема, как душа самого человека, и началом этой души кажется небольшое усилие заготовить дрова для подобного тебе человека.

Чем вот он нам и хорош, сузем, и, наверно, оттого и тянет в леса, что в населенных местах мы привыкли ко всему и не обращаем внимание на добро; тут же, в суземе, благодаришь за всякий пустяк и готовишься сам сделать что-нибудь из одной даже только благодарности за лучинку, за спички, за красный глаз горячего камня в темноте курной избушки.

Было в конце великой войны, в последней перед суземом деревне одна старушка помолилась богу, зажгла четверговую свечу и, прикрывая старой рукой огонек, обошла кругом всю деревню.

Возле старенького последнего домика начиналась общая тропа в сузем, и тут на тропе поджидал бабушку с огоньком неизвестный прохожий человек. Собираясь в сузем, этот пожилой человек с голубыми глазами и с большой бородой остановился, подивился на старушку и спросил ее, что случилось, почему она вздумала обойти кругом с огоньком всю деревню.

— Скажи мне,— ответила старушка,— как твое имечко-то святое?

— Имя мое, бабушка,— ответил прохожий,— Онисим.

— Так вот, добрый человек, Онисим,— сказала старушка, вместе и строго и ласково,— слух пришел к нам верный. Сними свою шапку и выслушай.

До того строго сказала старушка и до того ласково, что прохожий человек сразу послушался и снял свою шапку.

— Не то ли,— спросил он,— ты хочешь сказать, что и я слышал и теперь спешу вернуться с этим в сузем: я слышал, что война кончилась.

Старушка, ничего не сказав, медленно поклонилась прохожему, и он тоже по-старинному склонился до пояса и, надев шапку, пошел по тропе в сторону сузема.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Чуткий, вот какой же он чуткий, этот сузем!

Такой он чуткий, как и степь, великая степь-пустыня, где новость летит от одного каравана к другому, от всадника к всаднику.

Такой же чуткий сузем, как и море, и только в море одна волна, перекатываясь, говорит что-то другой, а в суземе одна веточка что-то перешептывает другой, и все дальше и дальше.

Как ветер по елочкам, так и весть о конце войны понеслась скоро по таежным местам, от Пинеги к Мезени, от Мезени к Печоре и дальше — по Тобольской неисходимой тайге.

Такой чуткий сузем, что один раз только олень копытом нажал на мох — и на бровке копытной ямки на другую весну вырастает другая какая-то сладкая травка, и другой олень, завидев ее, по-своему понимает: тут прошлой весной был тоже олень.

Много убыло белых пятен в лесу, и хрусткий лед на общей тропе, *черепок*, почти совершенно исчез. Теперь только где-нибудь под множеством грудами наваленных, наломанных деревьев, в этих непроходимых *ламах* лежит по-настоящему снег и все-таки, подтаивая даже в ламах, питает весенние сбежистые реки.

Так бывает весенняя перемена в суземе, как и в наших обыкновенных лесах, но все же и так и не так.

У нас идешь по лесу, и тут же на ходу на глазах лесные породы меняются, кажется даже иногда, сам ты стоишь, а мимо тебя проходят елки, березки, сосны, осинки, дуб, липа, бузина, можжевельники.

А в суземе, как заладит елка, так и будешь елкой идти недели две: ты будешь тонуть ногой в долгомошнике, а в голове будет спеть мечта о сухой сосновой гриве, где нога больше не вязнет в долгих мхах, а идет по белому оленьему сухому мху, как по ковру. И там деревья не впиваются, как в ельнике, друг в друга сухими суками, а чистые, большие стоят тесно и не мешают друг другу. Там деревья вовсе даже и не падают, и если случится, какое-то дерево кончит свой жизненный путь, оно не падает: покачнется и, прислонясь к другому, стоит как живое.

Так идешь по долгомошнику неделю, другую и все думаешь об этой какой-то чудесной Корабельной чаще, где сам не тонешь, как в долгомошнике, а напротив, прямые высокие дружные деревья и тебя поднимают наверх...

И что всего удивительней: знаешь верно, что такая своя чудесная сказочная Корабельная чаща существует в суземе и когда-нибудь ты к ней непременно придешь.

У нас в обжитых лесах прилетит по весне кукушка, и девушка будет считать, сколько лет ей еще остается жить до замужества.

Бедная девушка! Она думает только о себе и понимает весеннее время так, что кукушка только затем прилетает, чтобы поведать о девичьем счастье.

В суземных местах, в этой великой пустыне, голос кукушки гремит без помех с утра до ночи. И сколько ни иди в суземе, весной все будешь слышать кукушку.

Это оттого, что на ходу одна кукушка другой передает голос и уводит все дальше, все глубже в сузем.

Шагом идешь трудным, размеренным и все время прислушиваешься к голосу кукушки: и кажется, не шаг это свой, а счет времени.

Какие тут соловьи, какие тут песни и девушки! Тут идет счет срока жизни самой земли, самой нашей планеты. Кукушка считает не для девушки, а для всей нашей земли: сколько лет остается еще жить всей нашей земле.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Река Пинега начинается в суземе двумя речками: одна речка Белая, другая — Черная.

Белая речка рождается в глухом болоте, где растет мелкая хилая сосна. Такая местность с мелкой сосной по болоту называется *светлой радой.*

Белая речка вытекает из светлой рады.

Черная речка берется в *темной раде,* где по болоту растет корявая елка, похожая на какую-то злющую чертову тещу на метле, хотя и бывает — на добрую бабушку с подарками. Идешь по такой темной раде к той доброй бабушке, а земля под ногой ходуном ходит, и сам начинаешь понимать — не добрая бабушка впереди ожидает тебя с по-

дарком, а все та же чертова теща притворяется доброй бабушкой.

Вот из такой-то темной рады и вытекает Черная речка.

Светлая рада скорей всего названа по растущей на ней светолюбивой сосне, темная рада — по теневыносливой елке.

Вытекает ли речка своим первым ручьем из рады светлой или темной, все равно смешно смотреть, как этот бойкий ручей бросается к деревьям, подрывает их и тут же прямо и валит их на себя.

Смешно на это смотреть из-за того, что вспоминаешь себя самого в ранней молодости: тоже в свое время как бушевал и все думал, для хороших людей добро делаю, на самом же деле все валил на себя.

Чем дальше от матери-рады удаляется ручей, тем деревья и коренастей, и толще, и выше, тем кажется ближе гибель ручья от навала на него вдоль и поперек крупных деревьев.

Но как бывает в горах, целая огромная скала, подточенная ручейком, валится на него. Кажется, ничего от ручья не останется, а вскоре глядишь, он снова мчится из-под скалы, и ты понимаешь, что и самая тяжелая гора не может задавить самого маленького живого ручья. Так и в суземе бывает с деревьями. И в лесах деревья заваливают речку, но она бежит и бежит себе под ними и все больше и больше валит их на себя.

Мало-помалу эта *лама* из поваленных деревьев как-то выравнивается, покрывается мохом, обрастает кустарником черной ольхи, а под ней глубоко невидимая речка журчит и ворчит.

Кто это знает, сколько лет прошло, нужных для зарастания ламы, чтобы какой-то умный прохожий нашелся и решился сойти с общей тропы и, сокращая себе путь, перебраться на ту сторону речки по ламе?

Сокращая себе далекий обход, этот неспокойный человек очень недавно свернул с общей тропы и топором просек себе через густые кустарники путь на ту сторону и перешел ламу.

После того неизвестного этот путь проходил тот знакомый нам человек с большой бородой и голубыми глазами, по имени Онисим. Он заметил новый просеченный путь через ламу, свернул на него и подумал:

«Вот неглупый человек — и сам себе сократил путь, и сколько людям сделал добра: теперь общая тропа

непременно завернет по его следу и пойдет по-над речкой через ламу».

Так Онисим перешел через ламу и вдруг заметил на мху чьи-то следы.

Тем-то вот и еще сузем не такой, как наши обжитые леса. Разве у нас кто станет обращать внимание свое и тратить его на чьи-то человеческие следы: мало ли ходит у нас по лесным дорожкам разных людей!

Какое дело самому себе до чужого следа. У нас идет человек по лесной дорожке, и насвистывает, и глядит на что-нибудь по сторонам. Зачем ему наклоняться и глядеть на чей-то след себе под ноги?

В суземе, если глядеть по сторонам, то разве только на просветлинки в пологе леса: не расступается ли это лес перед концом пути, не обещает ли просветлинка полянки с березами и скамьей для отдыха на общей тропе.

Человек больше всего по человеку скучает в суземе, он и боится недоброго, но жить так хочется, что часто забывает плохое...

Вот почему в суземе один человек не жалеет внимания на то, чтобы увидеть чей-то след на своем пути и, увидев, подумать, кто бы это мог идти перед ним и куда...

Так и Онисим стал с интересом разглядывать следы: на мху остались чьи-то следы, но разобрать, кто именно шел — один или двое, мужчина или женщина,— было невозможно.

Когда же прохожий перешел ламу, то у берега скрытой под ламой реки сказался хорошо намытый песочек и подальше кустик черной смородины, только что распускающей зеленые почки.

Вот как раз тут-то на песке возле ламы были две пары человеческих ног, одна побольше — догадывался Онисим — от мальчика и другая поменьше — от девочки.

Еще заметил Онисим, что если маленькая пара ног отвечала девочке, то это, конечно, она завернула по песчаной намоине к кусту смородины, сорвала с него веточку и, восхищенная ароматом почек, догнала своего спутника и передала ему веточку смородины. Тот же под влиянием девочки, может быть, на минуту отдался прелести аромата смородины, но вдруг увидел нечто более интересное для мальчика, прямой, как свеча, посошок из черемухи. Бросив на свой след ветку смородины, он вырубил себе топором посошок и некоторое время очищал его ножиком.

Онисим подумал — это скорей всего дети какого-нибудь

охотника: что-нибудь случилось с матерью, и они отправились искать отца. В суземе так бывает, и эти маленькие охотники иногда даже вырубают на деревьях свои особые заметки пониже других.

Обход через ламу сократил путь версты на три и вывел к обратному переходу через речку, через другую ламу к общей тропе. Тут опять на береговом песочке были отпечатки маленьких ног, и на дереве в четыре рубыша было вырублено знамя путика Воронья пята. Тут Онисим остановился и над этим известным знаменем задумался.

# ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

## СВОЙ ПУТИК

### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ



Некоторые говорят, будто счастья нет и быть не может на свете.

— Какое же счастье,— говорят они,— может быть в жизни человеку, если каждому даже и с жизнью своей расстаться приходится.

Вот и поговори с такими людьми!

Мы говорим:

— Хорошо яблочко!

Они отвечают:

— Чем же оно хорошо, если неделю полежит и сопреет.

Мы возражаем:

— А ты не давай ему преть, возьми с окошка и съешь.

— Да как же,— говорит,— я его возьму, если оно лежит на чужом окошке.

Так вот и поговори с такими, посмекай, что, может быть, к этому чужому окошку и вся беда сводится.

Мы же на вопрос: «Кому на свете жить хорошо?» — в простоте своей отвечаем:

— Тому хорошо, кто занят своим делом, и оно себе дело любимое, а другим людям полезное.

Но даже и на такое простое и ясное решение те люди с яблочком на чужом окошке скажут:

— Любимое дело! поди-ка, поделай, что самому хочется. Полезное дело! поди-ка, добейся признания в людях.

После того опять начинается сказка про белого бычка или про яблочко на чужом окошке.

И все это оттого, что сделать шаг по направлению к своему счастью не хочется, и это *усилие* взять жизнь в свои руки кажется трудным.

Зачем же об этом мы все-таки теперь говорим?

А затем говорим, что под руками добрый пример: наш Мануйло сделал именно вот такое усилие, шагнул прямо к своему счастью и был действительно счастлив: после всего он попал на свой путик.

Мы затем говорим об этом, что редко бывает так у людей, что любимое дело свое собственное получало общее признание.

Вот почему мы сейчас и вспомним все шаги Мануйлы к своему счастью.

Мы оставили его в то время, когда прорвало запонь и бурлаки, им организованные, бросились кто в карбас, кто в ялик, кто прямо стал на струю и с багром в руке на одном бревне понесся в пучину.

В то время как бурлаки окружали шкуреный лес на Двине против Верхней Тоймы, часть этого леса подплывала уже по Двине к Нижней Тойме и встретилась с идущим вверх пароходом «Быстровым». Капитан «Быстрова», сам бурлак из пинжаков, сразу понял, что повыше бурлаки окружают лес, а этот у них вырвался из-под рук, и, значит, надо немедленно его самим окружить. Весь экипаж бросился в шлюпки, и тут, окружая лес, матросы заметили на бревнах детей со всеми своими дорожными вещами. Их немедленно доставили в Нижнюю Тойму.

Мануйло же в своей Верхней Тойме ничего не знал о детях, он и не думал о них, он был уверен, что они давно уже вернулись обратно в Вологду.

Собрав лес в эту ночь, он еще дня три занимался его сортировкой и, закончив бурлацкие дела, с чистым сердцем направился на лошадке, казенной «ледяночке», за сто верст, в свою родную деревню Журавли.

Тут-то вот, в Журавлях, и вспыхнуло ярким огнем его заслуженное счастье.

Нечего и говорить, как приняли Мануйлу односельчане колхоза «Бедняк». Верные слова Мануйлы о том, что назва-

ние «Бедняк» устарелое и ни к чему теперь не ведет, вскоре после его ухода оправдались: стали отовсюду приходить вести о зажиточной жизни, и в газетах, даже самых маленьких, стали на все лады повторять новый идеал экономики: зажиточную жизнь. И вот когда все колхозы кругом и все единоличники даже стали смеяться над колхозом «Бедняк», прибыл Мануйло с указаниями от Калинина и о названии, и о том, чтобы охотникам дали возможность работать для колхоза на своих путиках.

— А что вы скажете,— спросил Мануйло на собрании,— если мы колхоз назовем...

И замялся.

— Ну, ну! — подстегнул его председатель,— время меняется, и мы сами меняемся со временем. Теперь мы уже не такие глупые, как были прежде. Говори смело: ты был у Калинина.

— Смело? — спросил Мануйло.— Хотите смело, назовем колхоз «Богачом». Ничего в этом нет плохого, если бедняк станет у нас богачом.

Кто-то возразил:

— Как же так, только что богачей выгоняли, а теперь сами на себя берем это имя.

Председатель на это ответил:

— Так мы не на себя лично берем это имя, а на колхоз: мы хотим прежде всего не лично быть богатыми, а дать пользу колхозу, чтобы колхоз был богат.

— А почему же и не лично? — спросил Мануйло.— Если колхоз будет богат, то мы и лично будем богаты, и чем это плохо, если я сделаю колхозу добро и колхоз в ответ меня наградит?

Вот тут-то, наверное, кому-то и мелькнуло в уме, что Мануйлу следует не только принять в колхоз со своим путиком, но чем-нибудь и наградить.

Раскинув думы во все стороны, пинжаки пришли все до одного к ясному сознанию, что от богатого колхоза всем будет лучше и название «Богач» — очень хорошее и умное.

— «Богач» так «Богач»! — весело решил председатель,— сознательность ничему не мешает!

На этом собрании Мануйло был единогласно принят в колхоз со своим путиком, но мало того! был поднят вопрос о награждении Мануйлы двумя мешками ржаной муки для возможности на первых порах устроиться на своем путике.

Так Мануйло добился своего счастья: работать для своего колхоза на своем любимом путике.

И он был счастлив.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

В поисках счастья на своем путике Мануйло чуть не погиб там под деревом, а когда признали и даже наградили мукой — изволь-ка эту муку на своих плечах доставить на свой путик!

Хорошо было везти на стружке муку по чистой реке Пинеге, неплохо по реке Коде, впадающей в Пинегу, подниматься вверх, тоже пока река чистая. Но вверху, когда начинаются завалы, становится все трудней и трудней. Там, наверху, деревья тесно стоят, воде нет простору, и, как будто в сердцах, сильная весенняя вода валит деревья, и они ложатся одно за другим с берега на берег, как мосты. Тут уже сила нужна не чтобы двигать стружок веслом против воды, а чтобы еще, кроме того, прорубать топором путь стружку — тут мука́ становится му́кой.

Так, может быть, и всегда бывает, что трудно свое счастье найти, но нелегко тоже его и нести, до того нелегко, что настоящего счастливого человека между нами и незаметно.

Нелегко давалось счастье Мануйле, но в том-то и было оно, что Мануйло не вел счета силам, истраченным на достижение своего счастья. И это досталось ему от своих отцов, и деда, и прадеда — сил своих на добро не жалеть и не считать.

— Где наша не пропадай!

Когда же стало так на реке, что выходило больше только рубить деревья, чем двигаться вперед, Мануйло насмотрел тропку в суземе и стал таскать частями муку и другие припасы на своих плечах к становой избе на своем путике под знаменем Волчий зуб.

Таскал и таскал в становую избу на своем путике и расход своих сил не считал и не вел.

Нам бы и смотреть не на что на эту становую избу: такую избу делает в короткое время один человек. Он выбирает место в лесу, где почаще, чтобы, срубив деревья, ему не трудно было собирать хлысты в одно место. Сделав себе эту становую избу, он делает особую маленькую избушку для продовольствия и для хранения пушнины. Эта избушка

ставится на особые ножки, такие, чтобы мышь обмануть. По этим ножкам мышь поднимается сначала просто вверх, как по стене, но вдруг на пути ее в клеть с продовольствием является выступ, вроде как бы для нас этот выступ был потолок. Вниз головой мышь не может и возвращается вниз или падает.

Таким грибком делаются все ножки и для стульев, и для столов, и скорей всего, глядя на такую придумку, древний сказочник создал для нас свою «избушку на курьих ножках».

Так прямо в двух мешках, забравшись по лестнице, Мануйло и уложил свою драгоценную муку в эту клеть на высоких ногах. Сверху же он поставил крышу с дощатым устилом, с накатом и скатом для дождя в обе стороны.

Устроив все это с хозяйственной и охотничьей радостью, Мануйло приступил к своему любимому делу: с ружьем, топором, ножом и пучком конских волос для петелек на лесную дичь он вышел на путик. Расчет его был такой, чтобы к ночи дойти до другой избушки, называемой *едомной;* в конце путика переночевать в ней и на другой день вернуться в свою становую избу.

Ему хотелось поправить всякого рода огрехи на путике за пропущенное время, чтобы потом, осенью, по-новому начать свой любимый промысел.

Ну вот и началась желанная жизнь: охотник выходит на свой путик, и как в селениях хочется каждому прежде всего рассказать о своих соседях, так из сузема — о своих ближайших деревьях. Нет человека, и вот дерево соседнее становится тебе, как родной человек. И тут впервые понимаешь, что деревья ведь то же самое живут, и только они вверх живут, на прямой путь к солнцу, а ты между ними можешь и в стороны: они стоят, а ты между ними идешь, и с тобой рядом ежик проходит, и мышка шуршит в старой листве, и где-нибудь олень, и где-нибудь медведь, и еще мало ли кто, и все так...

Вот они, две знакомые с детства елки, стоят рядом по ту и по другую сторону на путике: только-только между ними человеку пройти.

Протянув большую ветку с прямым указом на путик, одно дерево хочет уступить дорогу другому, остановилось и пропускает его, приглашая веткой:

— Прошу!

Другое дерево точно такой же веткой, как рукой, любезно хочет само уступить и тоже:

— Прошу!

Так они давно на месте стоят и не сдвигаются, а пока они церемонятся, между ними и человек, и медведь, и олень пройдут, и заяц проковыляет, и лисица прошмыгнет.

Вот как раз возле одного дерева, если идти от становой избы путиком, с правой стороны стоит молодая елка, дочка его. Ростом эта дочка не больше, как в два человека с надбавкой на верхнюю мутовку. Как раз вот на этой елочке оказался свежий загрыз медведя.

Тут, заметив сразу новый загрыз, Мануйло остановился и крепко задумался...

Да и задумаешься!

И по виду, и по всему, что было известно о медвежьих загрызах у охотников, медведь сделал такую заметку осенью, когда ложился в берлогу.

Мануйло так понимает, что медведь загрыз делает на ближайшей елке, чтобы весной померяться и узнать, насколько он подрос за зиму. Но весна ему бывает поначалу трудна: не всегда ему удается выбросить пробку. Вот за этим-то неприятным делом он и забывает, что весной ему надо померяться.

Когда же наконец он сбросит пробку, тут весна для всех в такую приходит радость, что и медведю делается не до того, чтобы поминать прошлое и загадывать о том, насколько он подрастет, лежа в берлоге.

Так медведь весной забывает печаль и заботу, так и все и все по-новому!

Но Мануйло, увидев на молодой елке осенний загрыз медведя, смутился...

Да и как не смутиться, если медведь на путике самый опасный сосед. Ворон, конечно, опасен, если примется клевать пойманную дичь, но ворона нетрудно убить, а медведь повадится собирать дичь на путике, тут уж самому ничего не достанется.

Как же теперь отделаться от опасного соседа?

Вот так с первых шагов на своем путике Мануйле пришлось задуматься.

Конечно, можно убить медведя. Но это, наверно, по крови передалось Мануйле от предков, чтобы, по возможности, на путике не очень-то спорить с медведем и останавливать его не пулей, а вещим словом.

— Живые помочи! — прошептал Мануйло.

И, все раздумывая о недобром соседе и участвуя во всей

лесной жизни живым глазом, охотник пошел дальше по древней тропе, выбитой его предками.

При переходе по своему путику через общую тропу охотник заметил на мху неясный след величиною в теплый сапог.

— Не он ли? — подумал Мануйло.

И, чтобы понять, чей это был след, завернул с общей тропы на какой-то новый обход через ламу. Тут на ламе он увидел, что большой след идет за двумя маленькими.

И понял так, что большой в теплый сапог след вроде как бы гонится за двумя маленькими.

— Не он ли? — подумал охотник и бездумно опять ответил сам себе:

— Живые помочи!

За ламой на песке возле куста черной смородины Мануйло ясно увидел, что не медведь шел, а человек, а маленькие следы были тоже человеческие, только маленькие, детские.

Пройдя немного дальше, он увидел на дереве детскую зарубку топором в четыре рубыша: было выбито знамя путика Воронья пята.

— Что такое?

Подумав об этом всем, Мануйло тряхнул головой и веселым глазом оглянулся кругом. Так он делал всегда, когда в голове что-то начнет путаться.

И, отбросив мысль о недобром соседе и об этих каких-то детских следах, вернулся через ламу обратно к общей тропе и с тропы повернул на свой путик.

Сколько раз вот мы тоже замечали, добираясь до своего счастья, каким чудесным оно кажется издали и как оно прячется в труде и всяких заботах, когда его достигаешь. До того глубоко прячется, что и со стороны люди его не замечают, и сам живешь и о счастье не думаешь. Скорей всего это у всех, и оттого, когда хочешь указать на счастливого, то кажется, будто счастья и вовсе нет на земле.

Но это мы знаем: Мануйло на своем путике пока еще был счастлив.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Самое главное на путике для охотника — это высмотреть птичье *пуржало*. Тут надо себя самого птицей представить, будто летишь в лесу среди мелькающих пятен и выбираешь себе самое заметное. Для того птица себе такое пятно

выбирает, чтобы сесть на него и под солнечным лучом *пуржиться*, или купаться на солнце в песке.

В темном лесу солнечное пятно на песке, как фонарь, привлекает к себе птицу. А еще в этой солнечной купальне на песке много мелких камушков, и вся боровая дичь — тетерева, глухари, моховые куропатки, рябчики нуждаются в этих камушках для растирания пищи в зобах: камушки у них в зобах, как жернова у нас на мельницах. И еще на песке птицы вроде как бы чистятся, освобождаются от своих постоянных прихвостней и подхалимов, разных блошек и вошек.

Мануйле об этом выборе места для пуржала думать нечего: за него это сделали отцы, деды и прадеды. Испокон веков на одних и тех же местах они ставили свои силышки. Но случается, конечно, там дерево упадет, там новое вместится в общий полог леса, и от этого на пуржале распределение света и тени, конечно, изменится. Тогда нужно к родительскому путику прибавить свое внимание и, может быть, даже найти другое место для пуржала. Так вот лес подрос, и человек тоже изменился, в лесу свет и тень стали по-иному, и человек по-иному, по-своему становится к делу отцов.

И, наверное, оттого, что к прежнему прибавил сам что-то свое, каждый раз делается на душе весело, и кажется тогда, что и все так в лесу живут, и на всем свете так: каждое существо на свете к делу отцов прибавляет что-то свое, и от этого ему делается весело. Что бы тогда ни попалось на глаза, все как будто складывается в свою кладовую и лежит до встречи с кем-нибудь, кому можно об этом рассказать. Тут вот и получается почему-то так, что сам рассказываешь только потому, что сам видел и хочешь о виденном самую правду сказать, пусть даже люди это и принимают за сказку.

И еще тоже бывает, когда сходится в себе дело отцов с тобой самим на чем-то хорошем, вдруг почему-то кажется, что на всякий вопрос, какой бы ни задал тебе самый мудрый, даже самый ученый человек, ты можешь ответить.

Кажется, даже и всю самую великую тайну жизни ты мог бы открыть, если бы нашелся такой человек, кто мог тебя об этом тут же спросить.

Душа такого человека похожа на тысячелетние залежи торфа, ожидающего огня, чтобы вернуться к большому огню, от которого начался и все складывался и складывался в торфе тысячи лет.

Вот как этот торф ждет огня, так и душа простого человека на своем путике ждет вопроса большого, окончательного...

Так и наш Мануйло в иные минуты радостно чувствовал в себе какие-то огромные силы, и только бы, только бы кто-нибудь спросил его о чем-нибудь таком нужном, таком великом для всех.

Вопроса-то вот такого все и не было.

Но нельзя сказать, чтобы Мануйло томился,— нет! он радостно чувствовал в себе эту слежалость древних пластов, и раз его об этом не спрашивают, то зачем ему томиться: он на все вокруг тогда глядит, будто все они, от большого и до самой ничтожной безделицы, все свои, и всех он их, как своих, понимает.

Затем, может быть, потом при встречах с людьми и поднимается из души сказка, чтобы вызвать у человека тот желанный вопрос к себе и ответить ему на него словом правды.

Они же не понимают и слово его принимают просто за сказку.

Но Мануйло не томится этим и просто ожидает такого вопроса, как торф ожидает огня.

И теперь он на своем путике идет, как среди своих: там подсыпает песочку на пуржале, там оправляет и переменяет затянутые и разорванные петельки, и всякие силышки настораживает на высоте самой птицы: на рябца кулак от земли, на глухаря кулак с большим пальцем.

Раз было, в одно старое силышко белка попалась, и по сосне было видно, как долго она билась, пока не порвала сило: цепляясь за сосну, белка так ее исцарапала, что кора на дереве зарумянилась.

Видеть такое дело на своем путике Мануйле еще не приходилось, и оттого, разобрав все, прочитав и поняв всю историю борьбы белки за жизнь, он опустил и эту историю в незабываемость своей кладовой сказок, чтобы при случае потом людям о правде сказать, о том, как бывает, когда белка попадется в силышко.

Мануйло, разобрав все, даже и улыбнулся и сказал вслух отсутствующей белке:

— Теперь будешь знать, тебе это наука!

А то вот ястреб-тетеревятник попался с прилету в старое сило и сидит, красивый, глаза желтые горят, сам пощелкивает.

Видел ли кто-нибудь ястреба в петле? Может быть, кто-

нибудь и видел, но сам-то я вижу теперь его таким в первый раз и отчего-то об этом, как я увидел сам в первый раз своими глазами, ужасно хочется кому-то другому сказать.

Может быть, при встрече и не дойдет разговор до ястреба, а может быть, когда-нибудь кто-нибудь спросит, и от вопроса опять непременно покажется перед глазами красивая птица с желтыми глазами.

Попадись в петлю ворон, Мануйло бы его так не отпустил: ворон-злодей повадится собирать дичь на путике, так и будет грабить, пока его не убьешь, но ястреб — случайный гость.

Мануйло сломил веточку и начал дразнить ястреба, а тот, обозленный, стал щелкать, шипеть. До того было занятно подразнить ястреба, что Мануйло даже оглянулся кругом, нет ли кого, показать бы...

Внизу кругом никого не было, но наверху сидела и глядела на все куница какая-то, рассиделась, хвост убрала, голову подобрала на короткую шею и на себя не похожа, толстоушечкой сидит и глядит.

Мех у куницы сейчас невыходной, трогать ее охотнику незачем.

— Вон он какой! — показал Мануйло на ястреба,— погляди, погляди на него.

Куница от слова человеческого подвинулась на елке назад и закрылась сучком.

— Ну, будет тебе щелкать,— сказал Мануйло ястребу.

И отпустил его.

Пустых минут, как для многих из нас в лесу, у Мануйлы никогда не бывает: непременно во всякую минуту совершается хоть что-нибудь, да все-таки новое, и это небывалое прибавляется постоянно к бывалому, и этим, наверно, весь мир растет.

Сейчас он вспомнил, как два года тому назад на вязком месте был глубокий след: это олень прижал долгий мох своим копытцем. Вода от нажима копыта понизилась, и бровка на ямке после осохла.

Мануйло узнал ямку от копыта оленя по необычайному для болота злачному стебельку с пустым колоском: на осушенной бровке на ямке копыта вырос этот высокий стебелек и, осыпав осенью семена, сохранил колосок до весны.

Не удивительно ли, что только ступил олень, только раз прижал мох, и вот через два года сохраняется в суземе память о том, как олень тут прошел.

Какой же он чуткий, сузем!

А теперь легонький *торочок*, ветерок, как внутреннее дыхание леса, такой нежный, что, пожалуй, не почуял бы даже охотник своей обветренной, огрубелой щекой, а колосок чуть-чуть качнулся...

Какой же он весь чуткий, сузем, и какой тоже чуткий в нем идет человек, что ничего не пропускает и вовсе не знает пустых минут.

В этом и было все счастье Мануйлы, что на своем путике у него в суземе пустых минут не бывало, и он все время узнавал что-нибудь новое и в небывалом понимал жизненный рост.

Только к самому вечеру Мануйло пришел к своей *едомной* избушке в конце своего путика.

Истопив печку, наполнив избушку черным дымом, усталому охотнику только бы забыться под черным одеялом дыма, как вдруг за стеной тихонько кашлянул *полщок*.

Это в суземе охотники приметой считают, что если полщок, полосатый зверек, вроде белки, кашляет, то это бывает перед погодой, значит, перед бурей, снегом или дождем.

Плохая погода сейчас не страшила Мануйлу, но это неприятное, связанное с кашлем зверька, вдруг пробудило в голове неприятное воспоминание о том, что, выходя на путик от становой избы, он забыл убрать лестницу от клети на ножках.

Для чего же ведь и ставится клеть на особые высокие ножки с «грибком» посередине, как не затем, чтобы росомаха не могла добраться до продовольствия, а он, как нарочно, для нее теперь поставил лестницу.

Успокоил себя Мануйло тем, что росомаха человеческих рук побоится и, учуяв человека, не полезет по лестнице.

Только бы теперь с этим уснуть, вдруг полщок опять кашлянул, и Мануйле вспомнился медвежий загрыз: если медведю доведется подобраться к лестнице, тот не побоится человеческих рук, и тогда колхозной муке несдобровать: медведь любит муку.

«Побоится!» — подумал Мануйло.

И только бы успокоиться, полщок опять кашлянул.

И тогда вспомнились детские ножки возле ламы на песочке у самого куста черной смородины. Вспомнилось тоже детской рукой выбитое на дереве в четыре рубыша

знамя Воронья пята. Оставалось бы только вспомнить, как он сам рассказывал детям о старинном путике Воронья пята в самой близости Корабельной Чащи.

Вспомнилось бы, и все бы стало ясно, но как раз в это время полщок опять кашлянул, и верная примета о кашле перед непогодой перешла в душе Мануйлы в суеверное предчувствие того, что полщок кашляет перед бедой.

С этим он и уснул.

А погода наутро пришла лучше всякой: лужицы весенние были окружены все кружевом утреннего мороза, и на этот мороз вставало солнце, и не какое-нибудь мягкое, темно-красное, а веселое, светло-золотистое; вставало солнце, как встает человек деловой в твердом уме и памяти.

Казалось бы, и человеку теперь тоже бодрым вставать, но только встал было Мануйло, только плеснул себе на лицо холодной воды, проклятый полщок опять кашлянул.

— Живые помочи! — прошептал Мануйло.

И в недобром духе пошел своим путиком в свою становую избу.

Так мы думаем, что скорей всего тесно стало Мануйле на своем путике, и вот отчего душа его отозвалась на суеверие.

Прямо сказать, что Мануйло отдался суеверию, как старая баба, конечно, нельзя, но и не такой он шел, как прежде во всю жизнь хаживал на своем путике: ему стало теперь, как будто этот старый путик отцовский у него теперь был не свой, как будто он ошибся и попал не туда, куда так хотелось.

И оттого стало ему как-то тесно на своем путике и неприятно, что все на месте как-то стоит и не изменяется.

Вот они опять те самые два постоянные дерева стоят на своем месте, уступая друг другу дорогу, делают вид, а сами все стоят и стоят.

Но что это такое?

Мануйло замер в тревожном изумлении.

Между деревьями было два белых пятна, как будто человек шел с мешком муки на спине и зацепил.

Помочив палец слюной, Мануйло собрал с одного дерева того чего-то белого, попробовал, и оказалась мука.

Между деревьями был брусничник, примятый немного следами большими в теплый сапог, и по листикам темнозеленым, перележавшим зиму под снегом, с листика на листик вилась белая змейка.

Мануйло тоже и тут собрал немного белого, попробовал.

— Живые помочи!

На брусничнике была тоже мука.

Теперь все открылось: медведь шел, как человек, на двух задних ногах, нес в обнимку мешок с мукой, а из дырочки, наверно, пробитой когтем того же медведя, тонкой струйкой по брусничнику бежала мука, на встрясках побольше, на ровном ходу поменьше.

Бежала мука и бежала, мука колхозная, мука заслуженная!

Мануйло хотел было броситься туда вслед за мукой и уже опустил на дробовой заряд пулю и пристукнул ее шомполом, но вдруг весь быстрый план его переменился и он даже отпрыгнул в сторону от своего путика.

Нельзя затирать след своим следом.

Только пришлось, обойдя стороной, приглядеться к следу: один ли раз недобрый сосед прошел или, утащив один мешок, вернулся за другим и еще раз прошел.

След показал — медведь один раз прошел и унес только один мешок, сразу два захватить он не мог.

Теперь все стало ясно: медведь куда-нибудь недалеко отнес мешок, поел, сколько хочется, и закопал во мху про запас. А ночью вернется своим следом за вторым мешком, и тут надо встретить его на лабазе, а между деревьями, где остались белые мучные пометки, нужно сделать на случай петлю из мягкой проволоки.

Так Мануйло, обходя след соседа, вернулся в свою становую избу.

Может быть, не у себя самого, а в суземе, всем великом суземе, все бывало и, как по ветру, от человека к человеку переходило на память с самых далеких времен, от прадедов и прапрадедов.

Чего, чего не было!

Даже такое бывало, что недобрый человек забирался в клеть с пушниной и уносил с собой все. Но чуткий сузем выдал беззаконника, и тут же на следу он был казнен. В чутком суземе и это страшное дело стало известно, и когда люди проходили по общей тропе, то показывали, озираясь, на великую кокору, опрокинутую, как страшный памятник, над телом казненного.

Эта кокора от ветродуйного дерева когда-то стояла ребром, замшела от времени и была похожа на огромного медведя, стоящего с поднятыми лапами на задних ногах.

Таких опрокинутых деревьев с корнями и огромной землей между ними было много на пути общей тропы, но такого медведя огромного не было, и все его знали. Как вдруг кокора эта заметная опрокинулась, а засохшее дерево, перерезанное, осталось лежать на земле.

Каждый прохожий, конечно, спрашивал, кто это дерево перепилил, кто опрокинул кокору и зачем он ее опрокинул.

Чуткий сузем каждому отвечал, что это закон сузема: под кокорой лежит человек, захвативший труд другого человека. И каждому, кто поступит против такого закона сузема, будет неизменная судьба тоже так лежать под кокорою.

Чего, чего на веках не бывало в суземе, но чтобы медведь по человеческой лестнице забрался в клеть и, обняв мешок с мукой, пронес в свое логово, этого как будто в суземе совсем не бывало!

Недаром же полщок прокашлял всю ночь: вся скатная крыша была разобрана по бревнышку, накат был выброшен тоже. Но что всего больше задело Мануйлу, это что сам-то он забыл убрать лестницу, но медведь не забыл. Сосед оказался умней человека и лестницу не только повалил, но еще и оттащил ее в сторону и разломал.

Больше она была ему не нужна: второй мешок лежал под неодетым кустом: тут-то недобрый сосед чуть-чуть и промахнулся, он думал, что раз он вышел из берлоги, так уже и деревья должны одеваться. Было же так, что мешок белый далеко был виден в неодетом кусту.

Простительно было медведю поглупеть от богатой находки, но человеку, охотнику забыть убрать за собой лестницу и самому понять себя глупее зверя было непереносимо.

Счастье Мануйлы как будто убежало с его путика, и он рассердился пуще всякого зверя.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Даже и в наших домашних лесах, составленных больше из поросли, всегда радует чем-то при встрече рябина. Весною она встречается, как невеста, в белых цветах, осенью, с красными ягодами, как добрая мать в ладном доме.

А что ягоды у рябины горькие, так ведь и вся-то наша жизнь, когда долго поживешь, по правде говоря, не очень-то сладкая.

Вот отчего скорей всего нас так и радует в лесах при встрече рябина, что мы в ней себя самих узнаем.

Первые морозы ударят, налетят со всех сторон на рябину птицы, дрозды всякие, московочки, синички, клесты.

И люди тоже, спугнув птиц, подходят, берут ягоду и говорят между собой одно и то же и всегда с удовольствием:

— Какой славный морозик! вот и рябина стала — какая сладкая!

А уж какая там сладкая рябина! Но люди не унимаются и делают из горькой рябины по-своему сладкую.

Скорей всего этому так и радуешься при встрече с рябиной в лесу: что уж очень-то что-то сходится, как подумаешь, почему-то и цвет и ягода у рябины с цветом и ягодой нашей человеческой жизни.

Но еще куда сильней, чем рябина, говорит нашему человеческому сердцу в северном диком суземе, в тяжелом еловом долгомошнике неожиданная встреча с березкой.

Мы не о той березе сейчас говорим, что вырастает самосевом корявая и даже не белая где-нибудь в болотах на кислой земле.

Мы о той березе белой говорим, прекрасной нашей березе, вырастающей непременно там, где был и над чем-нибудь потрудился человек.

Вот эта-то самая береза всегда нам кажется при встрече каким-то по-человечески живым существом, кажется, будто какой-то человек в горе своем, что нельзя свою тайну никому сказать, шепнул ее земле, и оттого выросла березка и, белая, ждет кого-то, чтобы перешепнуть ему свою тайну.

Был человек очень хороший, проходил он когда-то берегом реки Лоды в немеряные леса на Мезени, и очень он тогда уморился и захотел отдохнуть.

Сел прохожий человек и задумался. Вдруг из дупла высокого дерева вылетает пестрая, белая с черным утка и выносит на воду из дупляного гнезда одного маленького утеночка.

Эта утка гоголь так перетаскала всех своих двенадцать утят на воду, собрала всех тесно возле себя и вдруг — про-

щайте! — исчезла под водой. Тогда все ее мальчишки и девочки тоже вниз, под воду искать мать, и что было так удивительно сидящему на берегу человеку: довольно долго никого из-под воды не показывалось. Конечно, долго показалось человеку: он судил по себе и свою добрую человеческую душу по-своему как-то переселял в бедных утят в поисках под водой родной матери. У них же у самих все выходило бодро и весело: в свое утиное время мать показалась и утята все по одному в разных местах. Все увидели, узнали друг друга, мать подала сигнал по-утиному, ребятишки засвистели, все сплылись. А потом, окунув всех еще раз, мать всех перетаскала обратно в дупло.

— Хорошо тут! — вслух сказал человек.

И начал работать.

Срубив несколько деревьев, он сделал длинную скамейку со спинкой. Хороший человек не поленился устроить славный отдых для всех на том месте, где ему так понравилось.

Такие скамейки для отдыха прохожих на общей тропе называются на севере всюду *беседками.*

Нелегко бывает идти в суземе по долгомошнику, но это уже известно вперед, где можно будет отдохнуть. Не один по общей тропе идет человек: впереди, назади, конечно, тоже кто-то идет. Один сядет отдохнуть, и пока разберется, пока соберется кипятку согреть, другой подходит, может быть, и не один, а там еще...

Вот почему и называются на севере эти длинные, во все дерево скамейки в суземе *беседками,* что люди, отдыхая на них, начинают между собою беседовать.

Так вот когда-то давно срубил эту беседку на Лоде человек из немеряных лесов с голубыми глазами и светлой бородой.

После многих лет с седеющей бородой пришел на это место, узнал его, порадовался, и что особенно удивило его — это что на месте срубленных им елок теперь выросли хорошие белые березки.

Так бывает всегда, и все на севере это знают хорошо: в еловых лесах после человека вырастает на смену березка. Но одно дело это знать, а другое — после трудного пути в долгомошнике встретиться с родною березкой.

И вот эта древняя сказка о том, что у царя были ослиные уши и никто никому не смел это сказать, но один слуга не утерпел, наклонился к земле и шепнул ей тайну великую:

«У нашего царя ослиные уши». Вот на этом-то месте и выросло дерево, оно наклонилось к царю и шепнуло ему: «У нашего царя ослиные уши».

Много странствовала от человека к человеку, от народа к народу эта сказка, известная еще в Древней Греции, и когда пришла к нам, то в нашей сказке дерево, выросшее от человеческого шепота, обернулось в березку.

Да и как ему не обернуться, если у всех на глазах это бывает, что срубишь в хвойном лесу сосну или елку, а вместо них потом вырастает березка.

Как не сделаться дереву березкой, если она и вправду в суземе вырастает всегда возле человека и во всем шепоте чуткого сузема, у всех беседок на общей тропе принимает участие.

Какой-то человек не утерпел и шепнул земле тайну, и вот она стоит, березка, склонившись к беседке, и шепчет что-то своим.

Чуткий сузем, какой чуткий! Когда еще было дело с уткой, а теперь каждый прохожий знает о ней и, сидя в беседке, всегда поглядывает на то же дупло в надежде, что вылетит гоголь и будет купать своих маленьких.

Дивно было прохожему встретиться в жизни своей со своей беседкой, и, поглядев с удивлением на березки, он подумал о том, сколько за тридцать-то лет эти березки переслушали всяких тайн человеческих.

И только подумал об этом, вдруг с той стороны, где Коми, с тропы слышится голос:

— Онисим!

Оглянулся — и тоже с радостью ответил:

— Здравствуй, Сидор! Ты куда?

И люди стали шептаться.

Нам не надо узнавать, кто был этот Сидор: был он один из старых охотников на Мезени, и, когда ветер какой-нибудь проходил сквозь сузем, он тоже, как веточка на ветру, качался в разные стороны, чтобы перешепнуться с другой веточкой...

Так бывает, когда сам смотришь через стеклянное окошко избы, и тебе ветра не слышно, и кажется, эти ветви живые и качаются, наклоняются, поднимаются высоко и падают все *сами* в какой-то оживленной беседе.

А когда люди так простые передают друг другу вести, нам и вовсе кажется, будто они все сами.

Нет! в чутком суземе насквозь из конца в конец есть дыхание человеческое, и люди-пешеходы участвуют в нем, как на ветру деревья качают свои веточки.

Было в свое время, порубил человек елки на лавочку, и из-под топора человека выросли березки.

Стоят теперь березки позади лавочки и слушают. Не все ли им равно, кто говорит?

Слышали березки разговор, будто в суземе появились какие-то маленькие люди.

— Ты помнишь, Сидор, незакрытый колодец возле беседки с часовенкой?

— Скворешник поставлен, и скворец за дьякона служит.

— Вот та самая беседка.

— Как же не помнить, а что, уже скворец сейчас туда прилетел?

— Скворец поет, но дело не в этом, а что кто-то прикрыл колодец: кто-то сшил из коры крышку. Кто-то колодец прикрыл, а внизу маленькие ножки.

— Я тоже видел на ламе обход общей тропы, двое перешли речку, и на той стороне на песке отпечаталось: мальчик и девочка.

— Да, да, ходят какие-то маленькие люди.

— Ну,— сказал Сидор,— это что!

И наклонился к Онисиму и, оглядываясь во все стороны, стал шептаться с ним о какой-то тайне.

Не о том ли опять шептались полесники, что у царя выросли ослиные уши?

Березки все слышали.

Еще по весне, еще по снегу пришел военный человек с подвязанной правой рукой.

Он показал свои бумаги и утвердился на месте, как человек партийный и с правами.

Был великий спор с ним о Чаще, он требовал Чащу срубить на фанеру для авиации.

— Тут,— мы говорим,— наши деды богу молились, и мы, дети, обещались перед богом Чащу не рубить.

Он же отвечает нам:

— Не в дедах сила, а в правде.

Мы ему:

— А что есть правда?

Он отвечает:

— Правда не в словах, а в делах, наше дело сейчас врага победить, и дело это требует от вас жертвы.

И отпустил свою руку, и она качнулась.

— Я не один,— говорит,— такой, а нас многие тысячи: кто руку, кто ногу, кому посчастливилось и всю жизнь отдать. А вы оберегаете завет ваших дедов. Мы руки, ноги жертвуем и всю жизнь, а вы оберегаете дерево.

Еще он говорил:

— Наши страны все большие и маленькие соединятся крепко и скажут на весь свет слово правды, то будет настоящее слово, а не наши пустые слова.

Его спросили:

— А что это слово?

И он ответил:

— Мы еще не дожили, но мы доживем. Какое это будет слово, мы еще не можем сказать: мы только должны помогать правдой жизни нашей выйти на свет слову правды.

Против таких слов наши не могли устоять и, скрепя сердце, хочешь не хочешь, подписали бумагу. Люди всякие были, но бумага одна, и ее подписали.

— И ты подписал?

— Милый мой! Вон вьется тропа человеческая, скажи, кто ее вытропил?

— Тысячи!

— И среди тысяч мы с тобой тоже делали!

— Видно, делали.

— Вот то-то не видно нас, где шел ты, где шел я: человек шел и все наши отдельные следы выправлял. Так и в этом деле: не ты, не я, а человек шел, и, конечно, я подписал.

— Ты подписал!

— Это не закрывало мне путь к спасению Чащи.

Мне шепнули, что охотник Мануйло ходил к Калинину, искал заступиться за свой путик. И Калинин ему разрешил оставаться на своем путике. Я подумал: у меня тоже свой путик, я вроде сторожа в нашей Чаще. Мне Калинин позволит тоже остаться на своем путике. И пошел к Калинину.

— И что ж, чем кончилось?

— Только вышел из сузема, только добрался до Пинеги и сказал о своем деле, все стали смеяться надо мной: живые люди на свете миллионами гибнут, а он за мертвых дедов идет просить в Москву.

И один мудрый человек сказал мне такую притчу:

— Вы,— говорит,— там, в Коми, оленеводы и мою

притчу поймете. Когда стадо домашних оленей проходит и на пути им встречается дикий... Ты знаешь, что тогда бывает?

— Знаю,— говорю,— домашние олени приводят хозяину дикого, и он делается своим.

— А знаешь ли ты, что бывает, когда стадо диких оленей встречает одного домашнего?

— Знаю,— говорю,— домашнего оленя дикие уводят к себе, и он с ними вместе дичает.

— Вот,— говорит мудрец,— ты сам дикий олень, одинокий, и ты хочешь, чтобы целое стадо, и еще больше — великие стада оленей на свете бросили свою службу человеку и за тобой бы пошли в сузем служить дереву.

Вот как они стали понимать веру наших дедов и прадедов: как службу и поклонение дереву. Так и сказали: «Это у вас остатки язычества».

После этого разговора мне стало вдруг понятно все, и я даже о Калинине так подумал: «Раз все кругом память о заветах наших дедов потеряли, то, может быть, и Калинин меня поймет как дикого шального оленя». Я сам над собой посмеялся и пошел прежней дорогой обратно в Коми.

Струсил я и повернул назад, печальный, и мнится мне: чем же мы победим, если забудем правду наших отцов: не в дереве же дело наше, а в правде. Так иду в большом смущении, прохожу последнюю деревню.

Прохожу я последнюю деревню и вот вижу: старуха с огоньком обходит деревню. Я подождал, когда она со мной поравнялась, и спрашиваю:

— Бабушка, что это?

— Сынок,— отвечает,— радуйся: война кончилась. Мы победили.

Тут сердце мое забилось. Не знаю, конечно, правда ли, верить или не верить, но все равно мне стало все ясно.

— А ты знаешь, за что мы воюем? — спросил Сидор.

— Знаю,— ответил Онисим,— мы — олени, служим хозяину, и дикие олени хотят увести нас в дикое стадо. И еще больше, много больше знаю, всю даже правду знаю, но сказать не могу: слов таких у меня нет, я немой.

— А кто знает слово такое?

— Погоди! — шепнул Онисим и обернулся назад к березкам: за березками там слышались шаги человека.

Этот новый человек полесник, и его сразу узнали: это

был Тимофей из села Мати-гора; отдыхая, рассказал новость в суземе: медведь вышел на путик Волчий зуб и выкрал из клети у Мануйлы целый мешок муки. Мануйло же повесил петлю между деревьями из мягкого металла, и медведь попался.

— Сам видел? — спросили Тимофея.

— А как же,— ответил полесник,— медведь висит мертвый между деревьями, и у медведя нос в муке. И Мануйло, весь зеленый от злости и неспокойный, читает ему:

— Ты медведь, и у тебя есть дом: твоя теплая шкура.

Я тебя не трогал и не хотел трогать.

Шкура твоя дешевая.

И ты опасен.

Зачем же ты хотел взять у меня муку?

Ты недобрый сосед!

И говорит мне:

— Возьми его себе, Тимофей, дарю тебе. Мне он не нужен.

— А куда,— говорю,— мне с медведем в суземе?

И не взял.

Сидор спросил:

— А не слышал ли ты о том, что война кончилась?

— Нет,— ответил полесник,— чего не слышал, о том говорить и не буду: не слыхал о войне, а медведя видел своими глазами — висит между деревьями в петле, сам неживой, а нос в муке весь белый.

Посидев немного еще, все гости расстались: Сидор пошел в Коми, Тимофей, сам пинжак, пошел на Пинегу, неизвестный полесник, сказав Сидору: «Догоню на Вороньей пяте»,— принялся варить себе чай.

А неоконченный разговор о правде остался березкам, они будут ждать: может быть, придут люди новые и скажут новое слово о правде истинной.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Не первого на своем веку довелось Мануйле взять медведя петлей на своем путике. Но никогда не было такого медведя, чтобы весь его нос и до самых глаз был в муке.

В этот раз Мануйло был очень зол на медведя, но когда увидал белый нос, то сразу чем-то смутился. И сразу же начал читать медведю свои слова, как видно, ему в наставление, а себе в оправдание. Он говорил ему, что ни один полесник слова не скажет, если голодный медведь возьмет себе на еду сколько-нибудь дичи на путике. Говорил, что добрый сосед все равно добрый гость — будь он человек или медведь, но как можно простить медведю дерзкое похищение дареной колхозом муки?

Мануйло не забыл напомнить медведю, что никак не хотел он его трогать, да и какой расчет затевать ему спор с медведем: шкура его дешевая, и, добывая дешевую шкуру, можно лишиться своей собственной.

— Так зачем же ты,— спросил Мануйло,— взял и разломал мою клеть?

Медведь мертвый в петле ничего не мог ответить Мануйле. Полесник внимательно и в глубоком раздумье поглядел на него и опять это заметил, что нос у мертвого мед едя был белый, в муке до самых глаз.

Так бывает у иного охотника: ползет он к зверю против ветра, защищенный от глазу частым кустарником. Зверь сидит на полянке и до того ничего не слышит и не видит, что скучно ему станет: ноготок жизни остается, а он, как человек, возьмет и от скуки зевнет.

Скорей всего жалость к зверю рождается, когда человек поймет его по себе.

Это самое, наверно, чуть-чуть и смутило Мануйлу, что зверь в гости к нему зашел, не застал хозяина, вздумал полакомиться мукой человеческой: какое же в том преступление!

И почему он называется зверем, когда вид его такой добродушный, и так он погиб ни за что, и как будто белый нос его улыбается?

Доходил ли Мануйло в своем раздумье до жалости и слабости или его смутило что-то другое?

Мы так понимаем, что жалость немного была, но слабости в полеснике никакой не было, и когда пришел гость, Тимофей, и отказался взять себе медведя, Мануйло хорошо выточил нож, привычной рукой снял шкуру, распялил ее на просушку, перетопил жир весь, сколько осталось после зимней спячки, закоптил окорока.

После работы пришло время уснуть в своей избушке на своем путике, но как ни вертелся полесник с боку на бок,

как ни устраивался на узкой лавочке, сна никакого не было, и даже совсем напротив: казалось ему, будто он до сих пор всю жизнь проспал, а сейчас проснулся и вспоминает сон. И так ему казалось, будто во сне он шел по своему путику, и все, что было с ним во сне на своем путике, умно и правильно расстанавливается на большом, настоящем пути человеческом.

А может быть, это что-то совсем новое пришло Мануйле не от слабости, а, напротив, от силы, как бывает с младенцем, когда мать, охраняя себя на каждом шагу, носит его в своей темной утробе? Конечно, младенцу неплохо у матери, но дитя растет, тесно становится, и оно рождается.

Так и Мануйло жил, и ему всегда казалось, будто нет счастья больше, как ловить птиц на своем путике и рассказывать людям всем удивительную правду о том, что жить — это радость.

И вот вдруг почему-то не спится, и все, что было во сне на своем путике, переходит в новом значении на какой-то большой путь, и сам Мануйло, как младенец, выходит из темной материнской утробы на свет...

Прежде всего ему вспомнились те детские следы на ламе и потом на речном песке: один след пошел прямо, а другой завернул к смородине с набухшими почками. Понятно было и тогда, что девочка сломила ветку смородины, отдала ее идущему впереди мальчику, а тот ветку бросил. Теперь же вдруг стало понятно, какие были эти мальчик и девочка. Это были те самые Митраша и Настя, которых он оставил в разлив рек на Красной гриве: они не вернулись, а разошлись с ним и теперь шли. А куда они шли, тоже стало понятно: это были дети его друга Веселкина, и они шли к отцу в Корабельную чащу.

Словно какой-то черный туман, застилавший глаза, вдруг разошелся, и стало все понятно на пройденном пути и даже видно, как те же самые дети, всякие зверушки, затесы на своем путике переходят на большой путь и там обращают на себя по-новому внимание в новом значении, в новых догадках и понимании.

То же было с «государственной тайной», тем самым, о чем он раньше запретил себе думать; вдруг только теперь стало ясно, что запрещать себе думать о чем-нибудь никак нельзя и дума об этом никому не мешает.

Взялась же эта самая тайна в нем в то время, когда

перед ним открылась необыкновенная дверь в кабинете Михаила Ивановича Калинина. Мало ли было чего в Кремле, чтобы заметить простому человеку, и Мануйло, конечно, тоже все такое заметил, но самое главное и больше всего он обратил свое внимание на эту дверь.

Толщиной эта дверь была раз в десять, а то даже и в двадцать толще какой-нибудь самой толстой амбарной двери; но открывалась и ходила на петлях легко и без всякого скрипа. Первая глупая мысль у полесника при виде такой двери была о себе самом, что тебя теперь запрут навсегда. Вторая же мысль была о государственной тайне: дверь для того, чтобы ничего из-за нее никому не было слышно. Вот эта мысль о государственной тайне и ушибла Мануйлу. А это с ним и случалось: если нужно бывало запретить себе что-нибудь, то Мануйло мог сказать себе твердо свое *нельзя,* и голова об этом сама переставала думать. Мануйло не один у нас такой человек, умеющий беречь грозный запрет, и это так удивительно! Поди запрети текущей воде размывать каменный берег, а человек сам себе запретит что-нибудь и больше об этом и не думает, и не думает...

Конечно, кто знает? может быть, своим особенным способом и он тоже думает, но что об этом можно сказать, если сам ничего он не знает?

Так она и легла, эта дверь, в душе Мануйлы, как предупреждение о государственной тайне, и так оно действительно было, что потом все мысли, все сказки Мануйлы летели, как поземок в лесу, обходя встречное дерево. Так во всей своей болтовне он чуял государственную тайну вперед и все свои слова обносил.

Теперь же, когда он вышел со своего путика на какой-то великий путь, запрет думать о встрече с Калининым в Кремле вдруг слетел. Почему, правда, здесь, в суземной глуши, про себя и по-своему не подумать особенно о всем, что говорилось в кабинете Калинина, с тех пор как закрылась за ним тяжелая дверь на легком ходу?

Было все с виду так просто в этом кабинете и Мануйле не удивительно: с малолетства никаких знатных людей, никакой роскоши на севере Мануйло не знал. И что просто у Калинина, то это так и везде, и так это и надо. Вдали большой комнаты, у той задней стены, стоял на ступеньках высокий стол, и за ним сидел маленький Михаил Иванович, и точно такой, каким его постоянно печатают в газетах. При

виде входящего Мануйлы он поднялся, но не сделался от этого много выше. Сразу поняв, кто пришел, Калинин стоя кончал какие-то свои бумажные дела, что-то подвернул, что-то завернул, сунул в портфель, завязал накрест веревочкой и стал спускаться с лесенки. У старого человека, наверно, в этот день было запрещено работать, и для еды на весь день внизу, на другом столе, стояла ваза с яблоками. Этим яблочным днем скорей всего и объяснялось, что президент имел возможность тратить время свое на беседу с полесником.

Когда Калинин навстречу гостю начал спускаться по лесенке, Мануйло остановился на середине пути, и Калинин, поманив его рукою к столу, где стояли яблоки, сказал просто, как будто дело было где-то на гумне:

— Иди, Мануйло, не робей!

И, подав ему руку, усадил против яблок, сам же сел напротив, за яблоками.

— Удивляюсь, Мануйло,— сказал Михаил Иванович,— везде у нас в государстве стала знаменем зажиточная жизнь, а ваш колхоз называется «Бедняком». Нашли пинжаки, чем гордиться, своей бедностью. Что ты скажешь на это?

— Я же все говорил Егору Ивановичу,— ответил Мануйло,— и он все записывал. «Бедность,— говорил я,— приходит сама собой: от сумы и тюрьмы не отказывайся. Но хвалиться бедностью, выставлять как знамя,— это, говорю, никуда не годится».— «А у тебя,— говорят,— свой путик, тебе хорошо, отдай в колхоз свой путик и будешь понимать бедняков».— «Все отдам,— говорю,— в колхоз, что получаю с путика, но путика отдать не могу, с путиком моим никто обращаться не может, этому меня деды, прадеды учили, путик — это мое нутро».

— Молодец! — ответил Михаил Иванович.— Я сам тоже такой и тоже в наш колхоз вошел со своим путиком.

Тут Мануйло, наторевший в своих сказках, сразу понял, что Михаил Иванович о себе эту притчу сказал: что и он, как и всякий человек, с чем-нибудь, а не с пустыми руками на службу пришел.

Еще заметил Мануйло и тоже не придал этому никакого значения, что Михаил Иванович незаметно вынул из кармана своего серого простого пиджака горсточку семечек и раздумчиво начал их шелушить.

Свой человек, а не какой-нибудь царь. Но свой не

свой, царь не царь, а ни семечками, ни яблоками угощать не стал. Правда, Мануйло этого никак не ждал и думать не хотел: свой-то свой, но с какой-то стороны тоже все-таки раз есть государство, то есть и государь.

«Как же так? — подумал Мануйло.— К чему же выводит эта притча о своем путике?»

И только хотел попросту об этом спросить, вдруг Михаил Иванович сам его спрашивает:

— Расскажи мне, Мануйло, как вы там, на севере живете, какие леса, много ли в лесах птицы и зверя?

— Зверя,— ответил Мануйло,— ходит в лесах довольно, и птица гремит, только лесам и людям от войны плохо: лес захламлен, а жизнь заела пила.

Такое счастье выпало Мануйле, что Михаил Иванович вздумал в беседе с ним отдохнуть. Мануйло завел длинную историю о том, каким мастером на севере был прежний лесоруб. Великий мастер, истративший всю жизнь на мастерство топора, может в день свалить и отработать сто кубометров. Но вот явилась на Пинегу пила, и две неученые женщины, без всякого особенного даже виду, могут в день отмахнуть семьдесят пять. А мало ли теперь из-за войны явилось свободных женщин. А еще и то надо в расчет взять, что принялись хороших работников из мужчин и женщин награждать: наградят мужика — он портится, наградят бабу — она еще лучше работает. Так вот пила и заела все мастерство топора.

— Ну, а чем лесу из-за пилы плохо? — спросил Михаил Иванович.

— Тем плохо, что все одинаково, мужики и бабы, топор и пила, спешат, выбирают только хлысты, а верхушки бросают. Хлам этот гниет, закорыши поедают здоровые деревья.

— Что же делать? — спросил Михаил Иванович.

— Вам лучше знать, Михаил Иванович,— ответил Мануйло,— если можно, скажите мне, вы знаете.

— Да, я знаю,— сказал Калинин,— нужно войну кончать!

Услыхав эти слова, Мануйло, дрогнув, оглянулся на дверь.

И Михаил Иванович, поняв простого человека со всей его «государственной тайной», тем самым голосом, каким с простыми людьми говорят о тайнах этих, тихонько сказал:

— Ты пока немного подержи язык за зубами...

И сказал тихим голосом «тайну».

Вот из-за этого-то Мануйло и запретил себе думать о своей встрече в Кремле. Он знал хорошо: если дать мысли свободу, она неминуемо обратится в сказку, а там непременно явится друг, кому одному только на свете все можно сказать, и тогда сказку в себе не удержишь.

Сказал же Михаил Иванович только одно, что через какой-нибудь месяц война кончится и немца мы победим окончательно, что тогда об охране лесов заговорят совсем другим голосом.

— Ты вот, Мануйло,— спросил Михаил Иванович,— скажи мне, есть ли еще там в ваших местах такие леса, чтобы вовсе еще не видали топора. Я сам вырос в лесах, но какие наши тверские леса! А теперь я: полжизни в тюрьме, полжизни в делах правлю, и другой раз тянет куда-то в невиданный лес. Сам не знаю, чего это тянет, кажется, будто далеко ушел, а что-то самое дорогое, самое нужное человеку там оставил. Вот и тянет и тянет в такой лес, чтобы зверь непуганый ходил и птица на свободе гремела.

— У нас на Пинеге,— ответил Мануйло,— леса все обобраны и захламлены. Но подальше в немеряных лесах есть Корабельная чаща.

— Погоди! — остановил Михаил Иванович.

И, взяв трубку, распорядился, чтобы чай был и еда.

Опять Мануйло покосился на дверь, как она открылась и как она закрылась,— такая дверища!

— Ну хорошо, ты сказал Корабельная чаща, а скажи, как же в нее попадать и какая она? Кушай, друг мой, рассказывай, сколько ты хочешь.

И Мануйло, забыв совсем про государственную дверь, начал рассказывать, как всегда, чтобы выходило правдивее, по-своему, мерно раскачиваясь.

Издалека начал Мануйло:

Речка Черная и речка Белая — две сестры,
Черная речка скорее сбегает в Пинегу,
И оттого Белая сестра сильно спешит.
Есть маленькая птичка на севере, и у птички маленькие лапки.
По берегу Черной речки бегает птичка,
Речка сбегает, и на песке остается от лапок строчка,
За целый день на берегу Черной речки целая страница.
А на Белой речке вода прибывает, и тоже бегает птичка.
Но каждая строчка на Белой уходит под воду.
И все оттого, что Черная сестра спешит.
И Белая еще больше спешит и хочет нагнать сестру свою.

— Можно дальше, Михаил Иванович? — спросил Мануйло,— вы слушаете?

— Очень хорошо,— ответил Калинин,— очень люблю. Ты, Мануйло, поэт! Только скажи, куда ты ведешь?

— Веду я,— ответил Мануйло,— сначала на Пинегу.

Там на слуде стоит монастырь.
Пятнадцать верст не доедешь —
И видко!
И пятнадцать верст переедешь —
Все видко!
Под высокий берег уходит вода,
И под землей идут карбасы,
А наверху зеленые пожни,
На пожнях люди косят,—
До чего высокий берег!
Обрывы и скалы!
Красные и белые гривы:
Из белого жгут известь,
Из красного детям свистульки.
А в воде много рыбы,
И есть рыба лох, икра у лоха крупная.

— Вы слушаете, Михайло Иванович?

— Милый мой,— ответил Михаил Иванович,— ты настоящий сказочник, и мне после нашей правды так хорошо отдохнуть.

Мануйло от этой похвалы чуть-чуть смутился и сказал:

— Нет, Михаил Иванович,— ошибаетесь, это у меня так выходит, а я сам всей душой хочу сказать правду истинную, для того и говорю, чтобы слушали и верили.

— Правду истинную! — повторил Михаил Иванович,— а ты знаешь, что это есть правда истинная?

— Знаю,— ответил Мануйло,— это есть слово такое.

И, увидав, как изумился Михаил Иванович, стал подробно рассказывать, как лежал он в лазарете с Веселкиным и как Веселкин в отрывном календаре прочитал, что сказано там о будущем: Россия всему миру скажет новое слово, и слово это будет правдой.

— Вон оно что! — обрадовался чему-то Михаил Иванович и, вернув семечки себе в карман, взялся за яблоко.— Ты-то сам,— спросил он,— знаешь это слово?

— Нет,— ответил Мануйло,— знать — где мне? А попытка не пытка: вдруг как-нибудь придется — и скажу. А вы как, знаете?

— Сам,— ответил Михаил Иванович,— не знаю, а слышу со всех сторон: к этому все идет, все говорят о мире во всем мире.

— Это и есть слово правды?

— Какая же это правда — о мире во всем мире говорят всюду, а во всем мире война. Наше слово придет, когда настоящая жизнь сложится.

— А что есть настоящая?

— Коммунизм! — ответил Михаил Иванович.— Но мы еще к этому вернемся. А сейчас расскажи мне о той Корабельной чаще, где зверь ходит и птица гремит.

— Кто знает! — смутился Мануйло.— Чащи теперь, может быть, и нет, и я тому сам виной.

— Как же это?

— А так было, что Веселкин этот, человек без правой руки, и душа его горит огнем, хочет нашему делу и без руки послужить, и я ему про эту рощу в немеряных лесах и сказал, что люди там ее почитают как святыню. Он же ответил, что кому богу молиться надо, тот может везде молиться, а дерево все равно пропадет от червя или от пожара. Вот он это и взял себе в ум: такое дерево, говорит, нам до зарезу нужно на фанеру для авиации.

— Эх, ты! промахнулся, Мануйло! В наше время такие заповедные чащи надо охранять и, где нет лесов,— насаждать, а мало ли чего можно у нас найти на фанеру! Скажи, чем же уж так особенно хороша эта Корабельная чаща?

— Чем хороша? — сказал Мануйло.— А вот чем. В народе говорят, что в еловом лесу надо трудиться, в березовом лесу — веселиться, а в сосновом бору — богу молиться.

— Ну, и что же?

— А вот это и есть в Корабельной чаще, что дерева стоят там часто, даже и стяга не вырубишь. Одно дерево к одному, и все как в золоте: до самого верху ни одного сучка не увидишь, все вверх, вверх, и тебя тоже тянет отчего-то вверх, только бы дали собраться — и улетел бы. А внизу белый-белый олений мох и так чисто-чисто. Руки вверх на полет поднимаются, а ноги подкашиваются. И как станешь на белый ковер на коленки — сухо-сухо! И мох даже хрустнет. Стоишь на коленках, а земля тебя сама вверх поднимает, как на ладони.

— Эх, Мануйло,— покачал головой Михаил Иванович,— зачем же ты говорил об этом Веселкину?

— Я же сказал сейчас: лететь хочется, а приходится стать на коленки. Посмотрели бы вы сами на Веселкина, и вы бы не устояли, до того он дышит правдой. Мне же самому больше всех туда хочется, в эту Чащу. А как я услыхал Веселкина, так и Чаща стала мне вроде сказки.

И я Чащу свою за правду отдал, и вы бы, Михаил Иванович, тоже отдали.

— О мне-то и говорить нечего,— сказал Михаил Иванович,— я с жизнью своей повел себя, как ты с Чащей: половину в тюрьме отсидел, половину — в делах. Только все-таки, если не поздно, найди ты Веселкина и шепни ему от меня...

— Слово? — спросил Мануйло.

— Не то самое, о чем ты думаешь, а близко. Мы говорим: «мир во всем мире». Вот война кончится, и начнет это слово «мир» воевать. Ты еще не совсем верно понимаешь меня, но сейчас поймешь. У вас на путиках вырубает каждый полесник свое знамя. Какое знамя оставил тебе отец на своем путике?

— Наше знамя — Волчий зуб.

— Так вот поставь знамя на всем человеческом пути не Волчий зуб, а слово «Мир во всем мире», и это будет знамя всего нашего Союза.

На этом разговор бы и кончился, Мануйло заметил: Михаил Иванович стал думать о чем-то другом. Но как уйти, раз уж зарубил себе это, чтобы спросить на расставанье. И Мануйло спросил:

— О нашем разговоре, Михаил Иванович, мне на всю жизнь хватит думать. А только осмелюсь спросить вас, как вы тогда сказали о своем путике: притча это, или же и у вас в старое время полесники тоже промышляли на путиках?

— Притча,— ответил Михаил Иванович, вставая.— Я был деревенский мальчишка, ну, и подружился с господскими ребятами: хорошие были ребята, народники, и тоже все о правде говорили, искали путей, как жить по правде, а сами жили в усадьбе и спорили тоже о том, что есть правда. Очень они мне полюбились, но их правда с моей как-то не сходилась. Мне просто хотелось, чтобы все наши деревенские мужики могли бы так хорошо, как они сами, книги читать, о правде спорить на досуге. Вот я на этот самый простой путь для человека и стал и всю жизнь этого путика своего держался: полжизни в тюрьме провел, полжизни — в делах. А когда мне доложили, что ты в Москву прибыл на защиту своего путика, я вспомнил этот свой путик.

Так и было с Мануйлой, что пришел его час в становой избушке на лавке под густым пологом черного дыма. Все вспомнилось и сразу же перешло в дело: надо немедленно идти спасать Корабельную чащу, по пути найти маленьких людей и доставить их к отцу.

# ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

## КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА

### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ



Бывают ли еще где-нибудь в мире такие разливы весной, как у нас? И что главное в таких огромных переменах — это что каждое живое существо, даже крот какой-нибудь, даже мышь, вдруг становится вплотную перед своей судьбой. Казалось каждому раньше, что шел по жизни с песенкой, и вдруг все кончено, песенка спета. Теперь хватайся за ум и спасай свою жизнь!

Так было в ту ночь, когда вдруг из лесов бросились реки и вся присухонская низина сделалась морем. Тогда из Сокола в Котлас на всех парах мчался буксирный пароходик с начальниками, хорошо знавшими Мануйлу по прежним сплавам.

Какой тут мог быть разговор о каких-то своих маленьких частных делах, когда реки поднимают и выпирают лес в глубинных заломах, когда даже все служащие в той же Верхней Тойме, бывало, и сам прокурор, с баграми в руках спешат на помощь бурлакам.

Поняв общее положение, Мануйло быстро стащил ялики товарищей-охотников в свой незатопляемый шалаш, и начальники без всяких разговоров увезли Мануйлу на Верхнюю Тойму спасать запонь от нажима глубинного залома.

А дети остались на широком разливе, как сироты, на милость народа. Когда же они на своем плоту с потоком круглого леса попали в прорыв запони на Двине, ночью их подобрал пароход «Быстров» и передал в контору лесной биржи на Тойме Нижней, а не на Верхней, где был Мануйло. Тут-то и раскрылось, что месяц тому назад их отец, Василий Веселкин, сержант с подвязанной рукой, с особыми полномочиями по части выбора леса для авиационной

фанеры, направился в немеряные леса вблизи Мезени, в заповедную Корабельную чащу.

И сошлось дальше, что в то самое время, когда Мануйло шагал по сузему к своему путику за Пинегой, Митраша и Настя ехали туда же, на Пинегу, на одной лошадке-«ледяночке». Их хорошо снабдили продовольствием, дали указания с точными приметами, как им найти заповедный лес. В верховьях Пинеги они сдали куда следует свою «ледяночку» и пошли вперед, в Коми, где по общей тропе, где охотничьими путиками, оставляя в чутком суземе загадки своими следами.

Поначалу казалось им просто идти по общей тропе: лес и лес: в лесу же они выросли. Но вдруг оказалось, сузем совсем не то, что у нас называется лесом.

Взять каждое дерево, каждую птицу — и оказывается: в суземе все живет по-своему, все растет и поет не как где-то еще в детстве мы слышали и по-детски как бы раз навсегда поняли.

Кукушка в нашей природе печальная птица, и особенно это чувствуют люди, когда прилетает кукушка на неодетый лес.

Кажется, ей у нас не хватает чего-то самого дорогого, из-за чего, может быть, и существуют на свете кукушки.

У нас «ку-ку!» звучит безответно, и оттого сам вникаешь в эту птичью печаль и, когда песня кукушки кончается, думаешь: «Улетела кукушка туда, где все кукушки живут».

А теперь тут вот она и есть, та самая страна, где все кукушки живут.

Каждая кукушка заманивает куда-то и тут же обманывает: идешь, идешь, а там нет ничего — все те же елки страшные, колючие, и нога утопает в долгом мху.

Идешь, идешь, и вот засветилось окошечко, подумаешь: сейчас отдохну на поляне. А это, оказывается, с бугорка показался на небе просвет. Не удается даже и поглядеть с бугорка на море лесов, темными лесами, ничего не видя, так и спустишься в низину, и там опять другая кукушка заманивает, обещает и все обманывает и обманывает.

Вот отчего скорей всего и дивились прохожие загадочным детским следам в долгомошнике: каждого, наверно, хватала за сердце мысль о том, что вот бы так свой собственный ребенок да попал бы тоже в сузем и ходил бы в нем в поисках выхода.

Может быть, и так повертывалась мысль человека военного времени, что иным детям и выйти-то некуда, если отец был убит, а мать умерла с горя.

Но уж, конечно, никому в голову не могло прийти, разглядывая следы, где на песочке у ручья, а где в моховых примятинах, что это следы детей, идущих действительно в суземе к своему родному отцу.

Было раз, кто-то из пешеходов захотел напиться в стороне от общей тропы в «Незакрытом колодце» и крикнул оттуда:

— Погодите, подите сюда!

Прохожие завернули к колодцу и сами тоже удивились: «Незакрытый колодец» теперь был закрыт.

А внизу, на размытой водою земле, были отпечатки маленьких ног.

— Хорошие дети! — согласились между собой все прохожие.

И еще было раз тоже, тропа шла тропой вперед, а ножки детей свертывали. Этому никто не подивился: мало ли зачем по нужде надо бывает свернуть человеку с общей тропы. Но когда потом те же следы опять вместе вышли на тропу, кому-то захотелось понять, зачем это нужно было свернуть детям с общей тропы.

И вот что, разобрав жизнь в лесу, понял следопыт.

У каждой тропы общей в суземе есть своя особенная жизнь. Конечно, если густо кругом и видишь тропу только у себя под ногами, то ничего не заметишь. Но бывает, давно на веках сбежала вода, лес как бы разорвался, заболоченная низина осохла и так осталась, и на ней осталась открытая на далекое видимое пространство тропа человеческая.

Какая же это красивая, сухая, белая тропа, сколько на ней чудесных изгибов. И вот что всего удивительнее: тысячи людей, может быть, в тысячах лет шли среди них, может быть, не раз проходили и я, и ты, мой друг дорогой, но не я и не ты один являемся творцами этой тропы. Один шел, другой обсекал этот след с носка или с пятки. То удивительно, что весь прошедший человек не вывел общую свою тропу, как рельсу, прямо. Но у общей тропы, извилисто красивой и гибкой, сохранился особый характер, и это не мой характер и не твой, мой друг дорогой, а нового какого-то, созданного нами всеми человека.

Мы все, кто ходил по еловому лесу, знают — корни у елки в землю не погружаются, а прямо плоско, как бы на

блюде, лежат. От ветровала обороняются рогатые елки только тем, что одна оберегает другую. Но как ни оберегай, ветер свой путь знает и валит деревья без счету. Часто падают деревья и на тропу. Перелезать дерево трудно, мешают сучья, обходить не хочется: дерево долгое. Чаще всего прохожие вырубают то самое в дереве, что мешает прямо идти всем по тропе. Но был случай, дерево легло слишком большое, и возиться с ним никому не захотелось. Тропа завернула и обошла кругом дерево. Так это и осталось на сто лет: люди привыкли делать необходимый крюк.

Теперь скорей всего вышло так: кто-нибудь из детей шел впереди и сделал этот крюк, а другой увидел его прямо перед собой на другой стороне и спросил себя: «Зачем же люди делают крюк?» Поглядев вперед, он увидел: след на земле пересекает тропу, как тень огромного дерева, хотя вокруг нигде не было таких великанов. Когда же он подошел к этой тени, то увидел, что это не тень, а труха от сгнившего дерева. А люди ходят по привычке: сто лет ходили по тени и труху принимали за преграду. Ребята теперь перешли через труху и своими следами вернули всех на прямой путь.

— Ребята не простые,— сказали прохожие,— это умственные ребята идут.

Загадка о детях, идущих куда-то далеко в суземе, росла еще и потому, что все, кто шел и вперед и назад, следы детские видели, но никто из идущих ни с той стороны, из Коми, ни отсюда, с Пинеги, самих детей не видал, не встречал.

А все было оттого, что Митраша и Настя внимали совету добрых людей: всяких встреч избегали, и, чуть заслышат шаги или голоса, пусть уходят с тропы, и, невидимые, затихают.

Так они все и шли и шли потихоньку, ночуя, когда доведется, в лесной избушке, а то и у нудьи, как здесь говорят: «на сендухе».

Раз было пришли они к речке какой-то, и очень ей обрадовались, и решили тут ночевать, у нудьи.

По эту сторону реки на берегу высоко был какой-то старый огромный лес, переспелый, там с табачными суками, там полугрудник, и в трещинах. Небольшое строение, почти разваленное и с большими нездешними окнами, показывало, что тут начиналась лесорубка когда-то и даже устроена была эта контора. Но лес оказался порочным,

и рубка была брошена. Так он и остался цел, этот девственный лес, из-за того, что был испорчен трещинами мороза и расклеван птицами в поисках червей.

На той же стороне реки была бесконечно светлая рада с мелкой сосной по болоту, и оттуда доносились первые чуфыканья и бормотанья вечереющих тетеревов.

Митраша сказал Насте:

— Давай, Настя, не будем заводить нудью: мы сегодня очень устали, не хочется что-то возиться. Погляди, везде тут перья: утром сюда прилетят тетерева, тут скорей всего ток. Давай нарубим лапнику и сделаем себе шалаш. Может быть, утром я убью черныша, и мы себе сварим обед.

— Только лапнику нарубим,— ответила Настя,— на подстилку, и не нужно нам шалаша: переночуем в домишке.

Так и решили. К тому же в домике оказалось много прошлогоднего сена, а в сене можно спать и в мороз.

Как раз против окошка пришелся закат, и красное солнце садилось в сурадья, а внизу все перенимала по-своему река, и отвечала на все перемены цветущего неба вода.

Как и думал Митраша, перед закатом прилетел с той стороны токовик, сел на ветку против самой избушки и, сделав свое обычное приветствие природе по-тетеревиному, пригнул голову в красном платочке к самой ветке и надолго забормотал.

Можно было понять, что токовик звал с той стороны сюда весь тетеревиный народ, но, вероятно, они чуяли возможность мороза, не хотели тревожить самок, сидящих на яйцах.

Весь тетеревиный народ вразброд по великому сурадью оставался на местах. Но каждый косач с места ответил токовику, и от этого началась в суземе своя особенная для всех прекрасная колыбельная песнь.

Тысячи людей в тысячах лет слушали эту колыбельную песнь природы, и все понимали, к чему эта песнь, но никто о ней не сказал твердого слова.

Но вот пришла война такая ужасная, каких не бывало от начала века, и теперь, на войне, умирая или радуясь тому, что жив остался на свете, многие поняли колыбельную природы и в ней ее вечный и главный закон.

Мы все знаем этот великий закон всей жизни: жить всем хочется, и жизнь хороша, и надо, непременно надо жить

хорошо, жизнь стоит того, чтобы жить и даже страдать за нее.

Песня эта не новая, но чтобы по-новому принять ее в себя и об этом подумать, нужно послушать, как в северных лесах на заре красивые птицы, увенчанные красным огоньком на голове, на утренней заре встречаются с солнцем.

В этой колыбельной песне суземных сурадий есть для человека намек на то время, когда в молчании растительной жизни шумел только ветер, но еще не было никаких живых голосов.

Время проходило в молчании живых существ. Стихая, ветер иногда передавал свой безóбразный шум задумчивому журчанию бесчисленных родников и ручьев. И совсем незаметно когда-то и мало-помалу родники и ручьи передали свои звуки живым существам, и они сотворили из этого звука колыбельную песнь.

Кто хоть раз в своей жизни слышал, ночуя на воздухе, эту колыбельную песнь, тот и спать будет так, будто и спит, и все слышит, и сам тоже поет.

Так было и с Митрашей. Устроив Насте из сена и елового лапника хороший ночлег, он сел на что-то у окна. Когда прилетел токовик, он, конечно, не стал его стрелять: если не сегодня, то завтра непременно этот токовик созовет сюда множество птиц из сурадий.

Солнце, небо, заря, река, синее, красное, зеленое — все по-своему принимали участие в колыбельной песне всего горизонта бесконечных сурадий. А кукушка вела свой счет времени, но не мешала и оставалась неслышной, как маятник в комнате.

Это была светлая северная ночь, когда солнце не садится, а только на время затаивается, чтобы только переодеться в утренний наряд.

Солнце долго щурилось, как бы не решаясь оставить даже на короткое время этот мир без себя. Даже когда оно и совсем скрылось само, на небе от него остался свидетель жизни: большое малиновое пятно. Река небу ответила таким же малиновым пятном.

Небольшая заревая птичка на самом верху высокого дерева пересвистнула нам о том, что солнце там, где она видит, переодевается и просит всех помолчать.

— Прощайте!

И все кукушки, и все сурадья замолчали, и от всех

звуков на воде осталось только малиновое пятно, соединяющее вечер и утро.

Сколько времени так прошло в молчании, с одним только малиновым пятном на реке, никто бы не мог сказать: все, наверно, немного вздремнули.

И вдруг Митраша услышал с той стороны, со всех сурадий, великий, торжествующий крик журавлей:

— Победа!

Сорвался с оживающего солнца первый золотой луч.

— Здравствуйте! — чуфыкнул токовик.

Со всех сурадий в ответ токовику чуфыкнули черныши, захлопали крылья, и, появляясь каждую минуту, все новые и новые птицы представлялись токовику и всем: подпрыгивали и выговаривали по-своему одно и то же свое:

— Здравствуйте!

Холодней всего во всей ночи и дне бывает, когда солнце восходит, и, наверно, это бывает просто от холода; но нам кажется, будто тетерева из особого трепета птичьего перед царем природы склоняют свои головы, украшенные красным цветком, до самой земли. Они не прыгают, не чуфыкают, а ту же самую вечером баюкающую песнь теперь повторяют, как почтительное приветствие солнцу.

Встреча солнца кончается сигналом токовика, призывающего к бою:

— Крэкс!

Тогда сотни красных огней на головах, белых хвостовых и черных, лирами перьев, радужно отливающих в свете восходящего солнца, соединились в живом и радостном трепете.

«Разбудить бы Настю,— подумал Митраша,— у нас таких токов не бывает».

И, прошептав ей что-то на ухо, приподнял и показал.

Настя никогда не видала токов и тихонько спросила:

— Что они делают?

Митраша, усмехнувшись девочке, ответил:

— Кашу варят.

И, как мы, бывает, чуть подумав, сказал про себя: «Ничего особенного».

Тетерева мало испугались выстрела и принялись опять не то солнцу, как богу, молиться, не то кашу варить.

Трудно было оторваться от зрелища боя, но время пришло, и в солнечном тепле у своего костра брат и сестра начали хозяйствовать: щипали птиц, потрошили, жарили и кашу варили из своего пшена.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Когда долго в суземе идешь, о чем-то своем думаешь, и вдруг захочется выйти из себя и поглядеть, что же делается на свете без меня. Тогда первое, чему подивишься, это что не ты, а деревья идут мимо тебя. Да и как идут-то бойко!

— Настя! — сказал Митраша, когда завечерело,— тебе не кажется так, будто не мы идем, а деревья сами идут мимо нас?

— А как же,— ответила Настя,— это всегда кажется.

— Да и как еще кажется,— сказал Митраша,— эти деревья, что к нам поближе, скоро идут, а подальше от нас — потише, и чем дальше от нас, все тише и тише.

— А вон звезда, и я смотрю на нее, она все на месте, и, сколько мы ни пройдем, она все останется на своем месте.

— Кажется, она впереди нас идет и путь нам показывает.

Подумав немного, Митраша еще сказал:

— Как это может быть, чтобы сейчас показалась звезда: здесь, на севере, небо всю ночь остается светлое. Это скорей всего не звезда. Где она, покажи!

Насте показывать было нечего: звезды больше не было, звезда потерялась.

— Это ты выдумала,— сказал Митраша.

И в то же самое время вдруг сильный порыв ветра зашумел по деревьям, и в лесу стало темно.

Тогда все стало понятным: тучи кругом закрыли небо, стало настолько темно, что в какое-то окошечко на небе показалась звезда. А пока о ней разговаривали, окошечко закрылось и зашумел ветер.

И как еще зашумел!

Никто не знает в наших обыкновенных лесах, как шумит ветер в суземе.

Но почему же так вышло, что наши маленькие странники вздумали выйти на ночь глядя куда-то еще дальше в дремучем суземе?

Это несчастье случилось оттого, что по плану, начертанному еще в Нижней Тойме, последняя россошина реки Коды должна была уйти *под лето* [1].

Так оно и было. Пришла последняя россошина, ее проводили под лето, через это странники уверились в близком достижении цели и поспешили идти на северо-восток.

В пятистах шагах по общей тропе стоит белый столб, и черным по белому на нем начертан крест. Это означает, что с этого места начинается область Коми,— область немеряных лесов, и все реки отсюда текут не в Двину, а в Мезень.

Так оно и пришлось: был белый столб, и родники струились из-под ног в ту сторону. Общая тропа отсюда уходила влево, и надо было дойти до зарубки на дереве, изображающей знамя старинного путика — Воронья пята.

Пришли и к Вороньей пяте в пять рубышей и свернули на путик.

Теперь по плану надо было идти по путику до тех пор, как не послышится голос речки, текущей в Мезень, речки Порбыш.

Вот тогда-то завечерело, и начался спор о звезде: была она или это так показалось.

Сказано еще было в плане, что как послышится говор речки, то не надо больше держаться тропы — зачем она? Надо бросить путик, идти прямо на говор к реке и берегом до кладочек, перейти их, и тут близко от берега будет тот самый прудик, где живут народные любимцы — вьюн и карась. У прудика этого чистого лежит даже плицу, чтобы зачерпнуть воды напиться или сварить себе что-нибудь. В десяти же шагах от прудика на горе стоит избушка, и в ней всегда прохожий оставляет сухие дрова, лучинку и спички. И эта избушка — последняя на пути в Корабельную чащу. С этого места надо подняться на три горы (три речные террасы), и наверху будет заповедная Корабельная чаща.

Когда стало вечереть, Митраша и Настя шли и силились слушать тишину: не услышат ли они звуки речки.

Правда, не ночевать же на сендухе, когда остается только чуть-чуть пройти. Вот отчего в напряженном ожидании говора речки и стало показываться, будто

[1] На юг.

деревья навстречу идут и звезда где-то вдали указывает путь.

Еще бы совсем немного, только бы услыхать говор реки, направленный к нашей душе, но ветер перехватил голос воды и разбросал мирные звуки в шуме лесном.

Тогда-то вот в лесу наступила тьма кромешная, из-под ног исчезла тропа и хлынул дождь.

А что это северный лес, если нет у тебя под ногой тропы человеческой? Эти огромные выворотни, замшелые от времени, обращаются в медведей, и каждый ревет.

Попробуй крикнуть, друга позвать чудесным нашим родным словечком: «Ау!» И словечко сейчас же вернется к тебе, бессильное, ничтожное и смешное.

Мало того, что вернется, оно раскроет тебе, что в ту сторону, куда ты позвал, на двести верст тундра, и на ней разберешь только какие-то кустики, самородные грядочки, и на грядочках этих морошка, и больше нет ничего. А в другую сторону будет еще глуше.

Только, только упусти из-под ног тропу человеческую, и ты пропал.

И дети ее упустили.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Высокий берег реки был везде высокий и поднимался над водой и лесами тремя речными террасами. Но там, где заканчивался путик Воронья пята, над охотничьей избушкой берег выделялся особенной высотой перед всеми горами реки, и вся эта местность вокруг называлась всегда у полесников *Три горы.*

Первая ступень террасы, или первая гора, называется Теплой. Можно подумать, она из-за того называлась Теплой, что росли по ней больше все березы и отсюда полесники брали себе дрова и обогревались. Но скорей всего не за это гора была названа Теплой, а что самой роще на этой горе было тепло: тут ветер северный, ударяясь в стену, останавливался, деревья росли в теплом угреве.

Вторая гора речной террасы называлась Глухой — все из-за того же самого, что ветер у той стены замирал. Неплохая тут, в заветрии, поднималась роща, но несравнима она была с дивной Корабельной чащей на широком открытом плоскогорье Третьей горы. Тут-то вот старики полесники наставляли сыновей и внуков примером из жизни природы:

в теплом заветрии вырастали деревья кое-какие, а на Третьей горе, на свободных ветрах, выросла неслыханной мощи Корабельная чаща.

— Так вот, детки,— говорили старики,— не гонитесь поодиночке за теплым счастьем: эта погоня за теплой жизнью не всегда приводит к добру.

Ребята из-за резвости своих лет плохо слушали стариков, делали, однако, вид — соглашаются. И только чтобы голос подать, от себя говорили:

— А ежели не гоняться за теплой жизнью, то чего же нам еще достигать?

Старики и этому вниманию радовались, им бы только за что-нибудь ухватиться и выложить перед молодыми правила их жизненного опыта.

И показывали опять на Три горы, где в теплом заветрии выросли хилые рощи, а на большой горе, на свободных ветрах, поднялась первая в мире Корабельная чаща.

— Глядите,— говорили старые люди,— такая тесная Чаща стоит, в ней стяга не вырубишь, и дереву тут даже и упасть нельзя: прислонится и стоит. Такая Чаща выстоит против всякого ветра и сама себя обороняет.

— Дерево нам не пример,— защищались молодые,— дерево стоит, а мы достигаем.

— Ну да,— отвечали старшие,— достигаете! дерево тоже достигает: растет. И мы, люди, не только гоняемся, а тоже за что-то стоим.

И, подумав немного, так еще говорили:

— Мы тоже не против хорошей жизни, только мы стоим за то, чтобы жить хорошо и трудиться, а не гоняться в одиночку за счастьем: вон глядите, одинокое дерево продувает и в заветрии за Теплой горой, а в Корабельной чаще каждое дерево стоит за всех, и все деревья стоят за каждое. Поняли?

— Поняли,— отвечали молодые, скрывая улыбку.

Конечно, молодые люди тоже понемногу старели, и многие вспоминали потом слова отцов и дедов своих, но вспоминали все реже и реже.

И так мало-помалу все задремало в суземе. Вот отчего, может быть, и чудится в каждом великом суземе при первом взгляде на море лесов: кажется, будто когда-то сам тоже вышел отсюда и здесь где-то свое самое дорогое и задушевное забыл.

И тянет туда снова пойти, поискать забытое.

Приходит новый человек в Корабельную чащу — и все ему дивно кругом и кажется: вот он когда-то давно тут был и что-то забыл, а теперь все нашел и будет жить по-новому. Даже и слова вспомнит старинные:

«Не гонитесь поодиночке за счастьем, а стойте дружно за правду».

Вспомнит, обрадуется и тут же, в тепле своего огонька, забывается и дремлет.

А Корабельная чаща стоит и стоит.

И каждый новый, кто приходит сюда, непременно, взглянув на нее, что-то вспомнит свое прекрасное и через короткое время тут же все забывает.

Об этом поет тетерев на заре, ручьи — все об этом: чудесно в природе!

У Мануйлы были в памяти такие тропочки, пробитые оленями, и такие особенные свои затесы на деревьях, что он мог ходить по сузему много скорей, чем все ходят в суземе по общей тропе. Ему бы только хлеб за спиной в мешке, а ветер, и холод, и зверь ему были не страшны.

Теперь ему казалось, будто идет он совсем каким-то новым путем и к чему-то еще небывалому, а когда встречал свои же собственные затесы и замеченные оленьи тропочки, то сам себя спрашивал:

— Как же это я тогда, еще глупый, не видя ничего впереди, мог верно замечать свой будущий путь?

И, очнувшись, сам себе улыбался, как маленькому, и повторял сам себе, как ребенку:

— Вот оно что!

В том смысле скорей всего он повторял эти слова, что, как бывало на своем путике, дедовские приметы складывались с чем-нибудь своим, замеченным только сейчас и небывалым. Так радостно было себя самого новым человеком находить в заветах отцов, что он всегда дивился и говорил сам себе, как ребенку:

— Вот оно что!

Теперь было тоже так: шел он к чему-то совсем новому и небывалому, а свои же заметки были все старые, о чем-то очень далеком, и как будто тогда он был совсем другим человеком.

Как бы там ни было, но этими своими заметками, затесами и оленьими тропками под сильным дождем и в буре он пришел к реке в то самое время, когда дети потеряли

свою звезду и с ней выпустили из-под ног тропу человеческую.

По знакомым кладочкам он перешел речку, поднялся к прудику, где жили вьюн и карась, поднялся еще повыше, к избушке, окруженной березками.

В темноте, даже не высекая огня, он нашел в печном челе лучинки и спички, оставленные, как полагается на севере, последним, кто здесь ночевал, для того неизвестного, кто придет после него.

Тут были и сухие дрова заготовлены все для неизвестного, и теперь он, сам неизвестный, пришел и зажигает дрова, и добро того человека обращается в огонь для другого, и он, голый, развесив мокрую одежду, обогревается.

Хорошо на душе! И кажется, откуда-то слышится голос другого хорошего человека:

— Это я оставил тебе после себя пучок сухих лучинок и спички. Я же там, возле прудика, срубил тебе беседку. Теперь возле лавочки выросли березки.

Черный дым валит из чела, поднимается вверх и там останавливается, и мало-помалу избушка наполняется плотным дымом сверху все ниже и ниже.

Когда дым спускается так низко, что черное небо его висит над самой головой голого человека и еще бы немного, и он в нем задохнется, голый человек с распаренным телом снимает одежду и, укрываясь ею, ложится на лавку против печного чела.

Черное небо теперь больше не низится, нет больше и пламени, но раскаленный камень глядит на человека большим красным глазом, и от него дышит тепло, и человек тепло этого камня принимает себе, как добро.

Тогда кажется на земле все так просто.

Никакого другого и нет добра на земле, как что один человек сделал для неизвестного друга, и этот, благодарный, принимает и завтра тем же самым отблагодарит какого-то другого, ему не известного.

Человеку пожилому трудно сразу заснуть, да и не хочется. Черным теплым одеялом висит дым над собой, а глазам никак не хочется сомкнуться,— до того привлекает темно-красное пятно в темноте и великое дыхание добра.

Может быть, и покажется иному человеку из большого города, что он там где-то, в большом городе, блуждал и тут, спасенный рукою другого, у этого огня нашел свой дом,

и ему бы захотелось вернуть человека к этому добру первоначальному...

Мануйло не закидывался такими мыслями, он глядел на огонь, и жизнь в большом городе глядела на него тем же огнем добра человеческого: этот огонь ему представлялся огромным костром, и на нем, как в большой кузнице, железо от руки человека переходило в добро...

И если бы ему показать то, от чего мы страдаем в большом городе и от чего нас иногда тянет к огню первобытному, он бы очень удивился, но, скоро вспомнив, как он радовался сухим лучинкам и спичкам в курной избе, сказал бы:

«Вон оно еще когда началось!»

Спать в охотничьей избушке — это почти что спать на воздухе: все слышно, и сон, конечно, сном идет, а что слышится — рядом идет, и понятно: то сон, а то жизнь.

Были крики, были стоны в лесу, и одно время было совершенно так, будто ребеночек звал маму, а в ответ ревели медведи. И до того было явственно, что, ночуй человек впервые в суземе, он бы неминуемо подумал — ему скорей надо вставать, искать младенца в лесу и биться с медведями.

Но все это, как привычное для Мануйлы, проходило рядом с чем-то другим. Когда же буря начала стихать, Мануйло и этого не упускал в своем сне. После полуночи и ближе к рассвету лес передал свой голос реке.

Этот переход от голоса леса к голосу реки для спящего человека был все равно, как спал бы он на колючих и подвижных вершинах темного леса и вдруг улегся на светлое, покойно-ленивое летнее облако. И слышно оттуда, как в тихом лесу люди перекликаются своими голосами и как река внизу с кем-то переговаривается на стороне человека.

До того явственно отделялись слова человека, что Мануйло вскочил, оделся, взял ружье, вышел.

Заря занималась, река отвечала заре, а по черным кладочкам реку переходили знакомые Мануйле мальчик с длинным ружьем и за ним девочка со складной палаткой.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Земля под Корабельной чащей не стояла плоским полом, а катилась зеленовато-белыми, похожими на лунный свет увалами. На ходу эти увалы оленьего моха для ног были почти незаметны, но глазам казалось, будто перед тобой одна в одну переходят волны лунного света. Смотришь на эти увалы, и тебя тоже тянет идти, куда они сами катятся. Оттого каждый незнакомый с местностью приходит этими увалами непременно к Звонкой сече по открытой на всю даль Третьей горе.

Тут кто-то жил в незапамятные времена, и, наверно, это он для своей избушки срубил какой-нибудь десяток деревьев.

Как это постоянно бывает в суземе, на месте срубленных деревьев-пионеров выросли березы и своим березовым шепотом о делах человеческих стали привлекать сюда новых гостей, вольных сторожей Корабельной чащи.

Так повелось в области Коми, что кто-нибудь очень пожилой, потерявший силу работать в семье, уходил на Звонкую сечу и там жил. Та первоначальная избушка на Звонкой сече, конечно, с тех далеких времен истлела, но каждый новый сторож подновлял ее для себя, и она оставалась и дожила до нашего времени, сохраняя свою обычную форму курной охотничьей избы.

Ни одного прежнего дерева, наверно, не оставалось в этой избе, но после нового сторожа прибывало на смену истлевшим несколько новых деревьев, а на поляне вырастало несколько новых берез.

Лавочка была возле избушки, и если сесть на нее, то как раз перед глазами то окошко с Третьей горы, откуда синими грядами, голубея, переходит лесная даль в голубой туман.

Вся поляна между огромными соснами была похожа на донышко лесного ведра, открытого к небу.

Свет великий, могучий, огромный, непереносимый для растений, выросших в тени, охватывал всю Сечу и вызывал к жизни светолюбивые травы.

Только одна-единственная из теневыносливых растений елка стояла на середине поляны.

Сколько же вынесла борьбы сама с собой эта елка, чтобы все свои клеточки, приготовленные для борьбы с тенью,

перестроить на клеточки, способные принять новый великий свет.

Помогал ли этой елочке сколько-нибудь человек в борьбе ее за правильную форму или она-то как раз и пробудила в древнем человеке создать свое стремление к нравственной форме, называемое у нас правдой?

Кто знает?

Теми ли словами, как мы, но каждый простой человек, сидевший на лавочке у избушки, против елки необычайно правильной формы, как-нибудь доходил же до таких слов: «Не гонитесь, деточки, за счастьем в одиночку, а гонитесь дружно за правдой».

Сеча, наверно, и названа Звонкой за то, что весной на заре все песни болотных птиц врываются через окошко сюда и в неопределенном урчании разносятся колыбельной песнью по всем лунным увалам. Ты идешь по сухому, хрусткому белому мху, и с тобой идет эта песнь самая древняя и забытая.

А уж если сесть на лавочку и слушать, то тут-то вот и случается одно и то же со всеми. Сначала каждый бывает уверен в том, что в этих не тронутых рукой человека лесах сохраняется какое-то наше великое добро, великое счастье, забытое нами, манящее.

Силу в себе чувствует каждый, будто только вот взяться, и все вокруг поднимется к новой, чудесной, небывалой жизни. Но проходит малое время, и каждый свое первое чувство при встрече с лесами забывает и сам остается со всеми, как все: замирает, не вспомнив чего-то, и так оно остается до прихода кого-нибудь нового: вспыхнет при встрече с «природой» в новом, как что-то прекрасное, забытое, и опять замирает.

Последним сторожем Корабельной чащи пришел в эту Звонкую сечу Онисим, тот самый, кому досталось стеречь Чащу в наше новое время.

Сюда же, к Онисиму, по самой ранней весне пришел солдат с перевязанной рукой и назвался Василием Веселкиным из города Переславля-Залесского.

Он не скрывал, зачем он пришел: для того, чтобы Корабельную чащу сделать полезной для человека.

И подробно рассказал, какая нужда сейчас в авиационной фанере.

Выходило из рассказа: Чащу непременно надо срубить.

Была у Онисима любимая не одна только лесная Чаща,

он проводил на своем веку и всех своих любимых людей: все ушли.

Но мысль у него своя оставалась, спокойная и сердечная. Скорей всего Веселкин ему даже чем-то понравился.

— Сделать Чащу полезной для человека,— сказал он спокойно,— из каждого дерева сделать дубинку и хлестать ею по головам?

— Затем и хотим срубить Чащу,— ответил Веселкин,— чтобы взять самим в свои руки дубинку и не допустить нашего врага.

— Хорошее дело,— ответил Онисим,— только неужели же негде фанеры достать, как только из нашего леса? Так, пожалуй, и нас с тобой на дубинки возьмут.

— Лес этот,— ответил Веселкин,— перестоялся, он должен без пользы для человека пропасть от червя или пожара.

— От пожара мы стережем,— сказал Онисим,— а червя в этом лесу нет.

— Все равно, какое же добро в том, что такой лес готовый и стоит без пользы?

— А он не так стоит,— ответил Онисим,— он у нас вроде школы для молодых людей. Нынче так повелось между молодыми, чтобы в одиночку дерзкими путями достигать своего счастья. Вот мы им указываем: одинокое дерево валится даже и от легкого ветра, а в Чаще даже какому дереву упасть надо, и то падать некуда. И на веках уже так у нас было, что показываем на Корабельную чащу и учим: «Одинокое дерево продувает и в заветрии за Теплой горой, а в Корабельной чаще дерево стоит за всех и все деревья стоят за каждое. Не гонитесь в одиночку за счастьем, а стойте дружно за правду».

На эти слова Веселкин ничего не ответил.

Утром, на заре, он услыхал пение птиц и, вспомнив свое детство в лесах, вышел.

Он хорошо знал, как чудесно поют тетерева на заре, но того, что было на Звонкой сече, он не знал никогда. Каждая голова красивой птицы, похожая на красный цветок, склоняется перед восходящим солнцем к земле.

Так и Веселкин, слушая колыбельную песню лесной пустыни, начал склоняться, и еще бы немного, может быть,

и он бы стал и замер, как все. Но взгляд его упал на одну елку среди березовой сечи, всю покрытую красными маленькими шишками, и на них летела уже золотая пыльца.

Тут ему вспомнилась своя далекая елочка, когда свет великий, могучий упал на нее и по-своему она зацвела.

Веселкин вдруг вскочил со своей лавочки и увидел, что Онисим с порога, с палкой в руке и сумкой с продовольствием за спиной, смотрит на него и, будто насквозь понимая, улыбается.

— Ты думаешь, дедушка,— сказал он,— мне легче твоего расставаться с лесом?

Старик еще больше улыбнулся, как будто слова Веселкина подтвердили его догадку.

Онисим подошел к Веселкину, поласкал его плечо и ответил:

— Тебе, дружок, много легче: ты еще молод. Но кто знает, может быть, мы с Корабельной чащей еще и не расстанемся.

Так они и разошлись своими путями: Веселкин — в село набирать рабочих, а Онисим надумал себе в эту ночь, как многие в таких трудных случаях, пойти к Калинину и просить его постоять за Корабельную чащу.

## ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Перед тем как рубить и пилить спелый сосновый бор, лесорубы на высоте своего собственного роста вырубают на каждом дереве канавки, как они называют, *усы*. По этим усам из дерева течет ароматный сок и с усов попадает в особый, подвязанный к дереву стаканчик.

Вскоре после вырубки усов для стока густой ароматной смолы порезанные на дереве участки коры начинают краснеть, и кажется, будто из дерева не смола вытекает, а кровь.

Такая подготовка леса, перед тем как его рубить, называется *подсочкой на смерть*.

Так было и в Корабельной чаще, когда Веселкин добился своего и привел на Звонкую сечу десятки мальчиков для подготовки Корабельной чащи на сруб.

Под наблюдением Веселкина мальчики устроили себе тут же, на Звонкой сече, в соседстве с избою сторожа, легкие бараки, а потом приступили по молодости без всякого колебания к подсочке на смерть.

Не сразу из-под ножа вытекает смола у сосны. Ничего бы Мануйло снизу и не заметил, не попадись ему на глаза один мальчишка на дереве. Было это рано поутру, когда, уложив детей, Мануйло вышел к прудику захватить воды, одуматься после бури, в чем согласиться с природой, на что попенять, увериться тоже, все ли еще по-прежнему живут в прудике дружные рыбы — вьюн и карась.

Хорошо после бурь и дождей согреться под черным пологом курной избушки, но хорошо тоже, выспавшись, выйти из-под черного тепла на белый свет.

Утро после весенней бури задалось самое мирное, и только-только бы человеку порадоваться! как вдруг, потянувшись кругом, Мануйло что-то необычное заметил, встревожился и пригляделся к деревьям Корабельной чащи на Третьей горе.

Тут-то вот и оказалось, что на Третьей горе возились какие-то мальчишки с блестящими на солнце ножами в руках.

Приглядевшись получше, пораздумав, Мануйло весь потемнел в лице и сказал сам себе вслух:

— Это подсочка на смерть.

Оставалось только надеяться, что подсочка только что началась и ее еще можно остановить.

Откуда ни возьмись, к этому времени подоспел и Онисим со своей запоздалой вестью о конце войны. Упираясь в кладочки на реке россошинкой своего твердого посоха, старик перешел мостик, пригляделся к Мануйле...

Сколько лет прошло! и вдруг все-таки почему-то вспомнилось что-то.

— Ушкало помнишь? — спросил Онисим.

— Онисим! — узнал тоже Мануйло и тоже вспомнил разговор о палочке, найденной когда-то возле прудика, где исстари жили вьюн и карась.

И вот какой был Мануйло, что шестьдесят лет человеку минуло, все на свете видел, даже Москву и Калинина, а как вспомнил ушкало и о том, как он в простоте своей указал товарищу в лазарете Корабельную чащу, и теперь встретился с ясными глазами старого Ониси-

ма, то не мог глядеть, как на солнце, потупился, смешался.

— Видишь ли ты? — спросил он, указывая на мальчиков со сверкающими ножами в руках.

— Я это знаю,— ответил Онисим,— они только начали подсочку, я спешу: война кончилась, и это дело надо бросать.

— Нет,— ответил Мануйло,— ты не понимаешь всей беды с вашей Корабельной чащей...

— Не знаю? — повторил Онисим.— Как же так не знаю, что ты говоришь?

И сел на ту самую лавочку-беседку, где и сто и больше лет присаживались люди и сами собой, не спрашиваясь, выросли четыре березки.

Мануйло, конечно, тут же подсел к старику.

Все рассказал Онисим о том, как пришел к ним солдат с подвязанной рукой и уговорил пожертвовать на войну с врагами Корабельную чащу. И что он собрался было идти к Калинину, но на дороге, в первой же от сузема деревне, узнал большую радость для всех и тут же вернулся: если кончилась война, то зачем же рубить Корабельную чащу?

Выслушав Онисима, Мануйло сказал ему только одно:

— Не понимаешь ты, дед, в чем тут наша сказка.

Онисим улыбнулся и поглядел прямо в глаза Мануйлы и ласково сказал ему:

— Могу, конечно, и не понять, друг мой, а ты не гордись и сказку свою обрати в правду.

— Правда,— ответил Мануйло,— дедушка, как была правдой, так и теперь она остается.

— А я про что же сам говорю постоянно молодым? Правда! Да и не я один, а и все деды и прадеды наши учили: «Не гонитесь, деточки, за счастьем в одиночку, гонитесь дружно за правдой».

— Вот так точно мне и Калинин сказал: мало ли найдется у нас лесов для войны, чтобы сделать дубинку из дерева и хлестать ею врага. А есть такие леса, откуда вытекает великая река. Начало такой реки вот и надо хранить. Во всем мире так ведется, что сначала все леса изведут, а потом хватятся, да уж поздно: леса извели, а без лесов на солнце вся правда наша и высохла.

— Тебе это Калинин сказал? — спросил Онисим.

И сразу весь помолодел.

— Калинин это сказал,— ответил Мануйло,— и велел мне скорее идти сюда и спасти Корабельную чащу: есть и бумага от него. Он сказал еще, что по таким заповедным лесам мы будем учиться выращивать новые небывалые леса на защиту мира во всем мире.

— И как же ты понимаешь,— спросил Онисим,— войн теперь на земле вовсе не будет?

— Вот и я тоже так спросил Калинина, и он мне ответил: войн будет еще довольно, да мысль наша будет не туда устремляться: пусть война, если нужно, да люди будут сближаться между собой не для войны, а для мира.

— Это правда истинная,— ответил Онисим.— Пойдем теперь на гору.

И, оставив детей в избушке досыпать свое время, Онисим с Мануйлой поднялись на Третью гору. Лунными увалами оленьего моха они прошли на Звонкую сечу.

Сказать, чтобы так уж очень-то обрадовался Веселкин своему другу, нельзя: он был весь чем-то занят, и видно было: эту подсочку на смерть делать было ему нелегко.

Слушая Мануйлу и все, что сказал Калинин, Веселкин долго молчал и, выслушав, крепко задумался.

А тут-то прибежали сюда Митраша с Настей и остановились, как дикие зверьки, на поляне под елочкой необыкновенно правильной формы.

Они узнали отца, и он догадался, спросил:

— А мать?

Ему ничего не сказали.

И он вдруг все понял и весь изменился.

Не сразу, конечно, люди приходят в себя. Нам после большого потрясения нужно некоторое время, чтобы связать порванные концы жизни и опять вернуться к усилию жить по-человечески и вести ее за собой по большому пути.

Еще пели тетерева утреннюю свою колыбельную песнь. Едва ли сейчас слышал песню Веселкин. Он сел на лавочку и крепко задумался. Несколько коротких мгновений прошло, а как показалось долго!

Вдруг он вздрогнул, очнулся, оглянулся вокруг на поляне, встретился глазами с елкой необычайно правильной формы, в красных шишках, осыпаемых золотой пыль-

цой. Увидев елочку, Веселкин видимо сделал над собою усилие.

В эту минуту солнце вышло из облаков, и свет великий, могучий, огромный бросился на поляну.

— Ну, герои, здравствуйте! — сказал отец, и дети бросились к нему.

За это время все мальчики, работавшие на опушке Корабельной чащи, собрались на Звонкой сече.

Увидав их, Веселкин приказал им закончить подсочку на смерть и положить пластыри на все раны.

Так и была спасена Корабельная чаща, хорошими простыми людьми она была спасена.

# КОММЕНТАРИИ



## СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

*Собр. соч. 1956—1957* — М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М., Гослитиздат, 1956—1957.

*ЦГАЛИ* — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.

## ОСУДАРЕВА ДОРОГА

В «Осударевой дороге» отражены основные идеи, волновавшие Пришвина на протяжении пятидесятилетней литературной его работы. Больше того, в дневнике 1949 года писатель утверждает, что все его лучшие произведения являются материалами к «Осударевой дороге».

Вначале Пришвин ставил себе, казалось бы, довольно ограниченную задачу. «Я двадцать пять лет вынашиваю книгу для юношества, пробую и не могу до сих пор ее написать», — пишет он в 1931 году, сейчас же после окончания своего романа «Кащеева цепь». «Все мои лучшие произведения являются этюдами к этой книге, которая должна в наше время заменить Робинзона. Язык этот, стиль, простейшая звериная и охотничья тематика явились у меня исключительно под воздействием этого задания. «Кащеева цепь» явилась, несомненно, под воздействием той же идеи. Происхождение этой идеи мне стало ясно после написания «Кащеевой цепи».

В течение девятнадцати лет, то есть с 1933 по 1952 год, писатель с некоторыми перерывами, а иногда параллельно с работой над другими своими произведениями, создает задуманную книгу, о чем постоянно упоминает в дневнике.

И все-таки «Осударева дорога» осталась, по мнению писателя, незаконченной. Причина этого заключается в том, что задуманный роман для Пришвина был зеркалом текучей современности, то есть развитие романа могло остановиться только с остановкой жизни самого писателя.

В этом смысле интересна запись 1947 года: «Работа над «Царем» (то есть «Осударевой дорогой». — *В. П.*) движется, когда внешние обстоятельства поддерживают мою веру, что я могу служить обществу нашему всей своей личностью, без расщепления своего внутреннего ядра».

«Настолько все идет «не от себя», что успех или неуспех вещи моей приходят в полное равновесие. Тревожит меня только таящаяся в недрах души оценка, от которой никуда не уйдешь, если в чем-нибудь сфальшивил».

В своих дневниках автор неоднократно пишет о том, как родилась у него впервые мысль об «Осударевой дороге». Пришвин рассказывает, как в 1905 году он пришел в редакцию журнала «Родник» с предложением написать книгу о мальчике, убежавшем и заблудившемся в северных лесах. Редактор посоветовал ему писать не повесть, а очерки севера. Так появилась книга очерков «В краю непуганых птиц», открывшая автору двери в большую литературу. «А мальчика своего не забывал,— пишет Пришвин в дневнике 1949 года,— и написал теперь отчасти и по тем же очеркам севера.

По-видимому, этот мальчик живет у меня в уме, и скорее всего это я сам и ношу его в себе, как беременная женщина. В этом вынашивании мальчика и есть все, чем я богат».

Нельзя пройти мимо этой большой привязанности автора к образу и теме, секрет которой таится, несомненно, в особенностях творческой личности Пришвина, в неразрывности личного жизненного опыта писателя с его творческим воплощением, во всепоглощающей потребности осмыслить этот свой опыт средствами искусства и сделать его достоянием «неведомых друзей», как называет часто Пришвин своих читателей. Действительно, можно сказать, что все его книги — это одна большая творческая автобиография.

В этом свете понятна дневниковая запись 1948 года: «Я писатель, который пишет свои книги как завещание о душе своей грядущим поколениям, чтобы ему самому непонятное они бы поняли и усвоили себе на пользу».

Внешняя канва романа проста: еще при царе Петре Великом был задуман водный путь, соединяющий два моря — Белое и Балтийское. Происходит это на севере, среди дремучих лесов Карелии. Как осколки разбитого зеркала, блестят в этих лесах бесчисленные озера и вьются большие и малые реки. Царь приказал прорубить просеку, и потащили волоком посуху за царем его суда. В народе так и осталось с тех пор название — Осударева дорога. Пришвин видел ее незарастающий след и услышал это название во время своего первого путешествия по северу в начале века.

Но вот наступило новое время. Пришли сюда новые люди и стали рыть по старому следу великий водный путь. Новые люди встречаются со старожилами края, почти нетронутого ни крепостным правом, ни революцией. Происходит борьба старого с новым. У новых людей также идет борьба между собой. Новое, как всегда, рождается не просто и не сразу.

Во время первых своих путешествий на север Пришвин был поражен

и навсегда пленен новым для него суровым величием природы, сохраняющей следы своей «бесчеловечной» жизни: застывшие потоки магмы, каменные нагромождения, цепи озер, как след «божьей колеи», немеряные и нехоженые леса, «нестращеные» звери и птицы. Он был поражен и новым для него миром северных людей, староверов. Суровые, как и эта природа, они тоже как бы застыли в традициях древнего благочестия и в то же время были пламенно непреклонны в борьбе со слабостью «новолюбцев» в быту. Их идеалом была жизнь по уставу, по правилу, а не по слабому человеческому желанию: суровость пустынножителей и странников, подчинение старшему в семье и «большаку» — в общежитии. Здесь Пришвин впервые услышал о фантастической, но тем не менее подлинной истории «Выгореции» — маленького вольного государства в Петровской империи.

Сопоставление борьбы суровых северных людей против слабости «никониан» с идеей личного аскетизма современной Пришвину революционной молодежи углубляет в сознании писателя антитезу долга и желания. Это его вечная спутница — мысль «надо» и «хочется», которая с этих пор и до конца жизни определяет точку зрения Пришвина на все явления в личной и общественной жизни.

Тема эта с течением времени усложняется. У писателя возникает потребность примирить личное «хочется» человека, незаменимого и единственного, с необходимостью его общественного «надо».

Только с новой высоты обогащенного сознания возможно будет найти примирение неразрешимых противоречий.

В дневниковых записях появляется образ Евгения из «Медного всадника», который будет сопровождать писателя на этом пути.

Образ Медного всадника — есть образ необходимости общественного «надо», через который должен пройти каждый человек и сама стихия. Медный всадник — образ надличный; он прав в своем движении, и он не будет мириться, а с ним будет мириться «стихия» путем рождения Личности. Примирение состоит в том, что Личность приносит с собой новое измерение всех ценностей, создаваемых Медным всадником.

Пришвин настойчиво разграничивает понятие личности как творческой силы в обществе и индивидуальности как рядовой составной его единицы.

Пришвин вводит новое понятие — Начальника как синонима Личности. Если человек обретет в себе такую силу своего внутреннего «начальника», ничто не может отнять у него достоинства и свободы — ни люди, ни обстоятельства. Свобода — это результат внутреннего усилия.

Все эти размышления Пришвин пытается вложить в свой роман, в его центральный образ наивного чистого мальчика, в историю его внутренней борьбы с самоволием за истинную свободу — за поиски своего внутреннего «начальника» и подчинения ему. Жизнь в ее начале и есть чистое желание каждой твари, ее «хочу». Жизнь права в своем желании, но

правота ее, не окрашенная подвигом, прекрасна только в ее простоте, в самом начале всех начал — в «без-мысленном» младенце. Задача человека и состоит в том, чтобы в результате своего жизненного подвига родился внутренний «ребенок» — жизнь личности в высшем ее качестве.

Характерны два эпиграфа, намеченные автором к «Осударевой дороге»: первый — «Ужо тебе, Строитель!» и сменивший его второй — «Да умирится же с тобой и побежденная стихия» («Медный всадник»). Вся дальнейшая история создания романа есть, по существу, борьба этих сменявших друг друга эпиграфов. «Эта работа моя,— писал Пришвин в дневнике 14 мая 1948 года,— является и проверкой мне самому, и покажет она, кто я такой, дерзнувший без Вергилия странствовать по аду.

Если только выйдет из этой работы книга, остающаяся надолго, как остался мой «Колобок» или «Жень-шень», то я завещаю в посмертное издание к «Осударевой дороге»: «Аще сниду во ад — и Ты тамо еси».

Пусть эти слова и будут вести меня вместо Вергилия, вести и охранять. Я буду повторять их, пока не кончу работу».

Было бы ошибкой предполагать, что Пришвину свойственна отвлеченная морализация, упрощение всей сложности общественного исторического процесса. И в начале своего литературного пути он понимал и предчувствовал неминуемость таких столкновений в поисках общественной правды, которые потребуют самоотвержения со стороны человеческого «хочется».

Поединок Робинзона с «бесчеловечной» природой интересен писателю главным образом в свете той цели, во имя которой он ведется — во имя возвращения в человеческое общество: «борьба с природой как дорога к другу».

В поисках новых материалов для воплощения своей идеи Пришвин едет в 1933 году снова на север, на места своих первых путешествий, в край непуганых птиц. Это возвращение писателя на свою духовную родину можно считать вторым крупным рубежом в его писательской жизни. И если первая поездка на север в 1906 году была источником творчества Пришвина до 30-х годов, то поездка 1933 года имела не меньшее значение для всего его последующего творчества.

В эту поездку на север Пришвин уже не нашел прежнего «края непуганых птиц». Край этот остался только в его книгах. Все здесь сместилось и пришло в движение — и люди и природа. На месте прежней петровской Осударевой дороги, следы которой еще застал Пришвин в 1906 году, идет строительство канала. Старый мир сталкивается с миром людей-преобразователей, и понять большой смысл этого столкновения — становится задачей Пришвина.

В 1934 году Пришвин публикует две книги очерков о севере под

прежними названиями: «В краю непуганых птиц» и «Колобок». По существу, это новые книги, в которых рядом с очерками о поездке на Беломорский канал, названными автором «Отцы и дети», вмонтированы для противопоставления старого с новым некоторые главы из его книг о севере 1906—1908 годов.

В очерках уже намечаются образы главных героев и других действующих лиц, существенные детали будущего романа «Осударева дорога».

Отсюда начинается наметка романа. Не хватает еще лесных материалов, и Пришвин в 1935 году едет по реке Пинеге в «немеряные леса». Очерки «Берендеева чаща» — это лишь попутная работа при собирании материалов для будущего романа, писать который автор начинает в 1937 году.

Первые главы с четкой экспозицией лиц, местом действия, со сформированным сюжетным началом Пришвин публикует под названием «Падун» в 1939 году в первой книге журнала «Молодая гвардия». Однако после этого работа приостанавливается. По словам автора, ему не хватало в то время материала для изображения положительного героя (Сутулова) и центрального женского образа — Марии Улановой, живые прототипы которых были в последующие годы встречены, о чем имеются подробные записи в дневниках.

Писателю не хватало также материалов для изображения картины разлива, затопления — центральной картины всего романа. Поэтому в 1938 году ранней весной Пришвин уезжает под Кострому в «край дедушки Мазая» на весеннее половодье и после этой поездки пишет «Неодетую весну». В ней, как и в опубликованной в 1943 году «Лесной капели», мы находим варианты фрагментов к тексту «Осударевой дороги»: в «Неодетой весне» — главы «Землеройка» и «Крот», в «Лесной капели» — новеллы «Строительство канала» и «Сказка».

В 1941 году Пришвин вновь приступает к работе над романом. Но начавшаяся война прерывает работу. В эвакуации Пришвин пишет «Рассказы о ленинградских детях» и «Повесть нашего времени», казалось бы, далекие по своим сюжетам от «Осударевой дороги». Но и в них, независимо от замысла автора, раскрывается ряд тем, поставленных в романе; например, в «Повести нашего времени» — тема правдотворчества, в «Рассказах о ленинградских детях» — тема ребенка, несущего в себе силы возрождения и для взрослых людей.

В 1945 году Пришвин пишет «Кладовую солнца», утверждающую, что «правда есть суровая вековечная борьба людей за любовь».

«Но самая главная радость от «Кладовой солнца» мне была в том, что этой сказкой наконец-то мне открылся выход от маленьких вещей к большому сказочному роману»,— отмечает Пришвин 4 октября 1947 года. И действительно, «Кладовая солнца» была закончена, и этим же летом начинаются новые записи к «Осударевой дороге». Эта работа

вызывала так много размышлений, образов, что они не вмещались в ткань романа и требовали постоянных дополнительных записей в дневниках:

«Мой роман потому так убийственно медленно движется, что требует для постройки своей колоссальное количество лесов. Я думаю, что если вдруг явился бы охотник собрать в единство все эти леса, то ценность их намного превысила бы ценность романа. Леса эти образовались из-за того, что я не могу мыслить без записи при помощи пера. А через некоторое время во мне самом появляется фильтр для отбора правильных мыслей и их изменений» (1948).

«Итак, «выхожу один я на дорогу». И какой это кремнистый путь, и как больно ступать босой ногой. Но я слышу, как говорят звезды, и иду.

В новой вещи своей я хочу дать путь к коммунизму, не тот, каким дают его доктринеры, а каким я иду к нему: моя работа «коммунистическая по содержанию и моя собственная по форме» (1948).

Пришвин ищет названия своей работе: «Царь природы» или «Глазами человека»? Пытается определить литературную форму: былина, педагогическая поэма, историческая повесть, историческая сказка и, наконец, роман-сказка.

Пришвин сознавал, как трудно разрешить *логически* поставленную им задачу — дать образ внутренней свободы человека, отвечающий нашему чувству современности. Поэтому он ищет возможности «утопить», по выражению автора, свою идею в художественном образе.

Идея сохранения ребенка в душе всякого творца — это излюбленная, много раз повторявшаяся в разных произведениях, тема Пришвина. «Осударева дорога» потому и сказка, что автор делает попытку посмотреть на строительство и его участников глазами ребенка — Зуйка, посмотреть не столько в исто́рической, сколько в сказочной перспективе. В поисках названия своему роману Пришвин одно время останавливался на таком: «Сказка о том, что было, и о том, чего не было».

«Осударева дорога» была закончена летом 1948 года. По предложению редакции журнала «Октябрь» Пришвин перерабатывает зимой 1949 года роман, перенеся действие на гражданское строительство «Новый свет». Так и был назван роман во второй его редакции.

Летом 1949 года Михаил Михайлович начинает еще один вариант. К. А. Федин, с которым у М. М. Пришвина в послевоенные годы были довольно близкие отношения и который читал все более или менее значительные произведения Пришвина этих лет, прочитал роман, о котором отзывался высоко в письме к автору: «...прочитал Ваш роман-сказку с великим удовольствием читателя, наслаждающегося искусством, с каким житейская правда превращается у него на глазах в легенду, а природа — в философию, и с восторгом писателя, любующегося мастерством другого писателя-виртуоза. Редко в жизни встретишь рукопись,

в которой ни за что не захотелось бы поменять местами хоть каких-нибудь два словечка! А я у Вас ни одного не подвинул бы ни на линеечку... Спасибо за наслаждение, доставленное Вашим словом».

Однако Пришвин вынужден снова браться за переделку романа в связи с новыми указаниями рецензентов. Роман получил третью редакцию с новыми действующими лицами и главами. Но Пришвин не был удовлетворен двумя последними вариантами и потому решил отложить опубликование романа.

«Переживал тяжелое крушение моих многолетних трудов»,— пишет он весною 1949 года, а несколько раньше указывает: «Свидетельством моего художества останется непереработанный экземпляр».

Закончив первую редакцию «Осударевой дороги», Пришвин в том же 1948 году перешел к новой работе над лесной повестью «Корабельная чаща» с центральным героем Веселкиным, в котором как бы продолжал свое дальнейшее развитие не раскрытый до конца и не удовлетворявший самого автора образ Сутулова.

«Ущемленность от «Нового света» проходит, ее смывает радость нового замысла Лесной повести. Сколько лет я был в плену «Осударевой дороги»!» — записывает Пришвин в мае 1949 года.

Начатая работа не погасила, однако, тревоги о незаконченной и не доведенной до читателя «Осударевой дороге». В 1951 году Пришвин возвращается к ней, пишет новое введение и набрасывает план новой, коренной переработки, беря за основу текст первой редакции. История этого последнего периода работы над «Осударевой дорогой» раскрывается в дневниковых записях 1951—1952 годов.

В августе 1952 года Пришвин делает последнюю запись об «Осударевой дороге» и откладывает работу, чтобы целиком сосредоточиться на «Корабельной чаще» и ее закончить. Вернуться к «Осударевой дороге» Пришвину больше не пришлось.

В посмертном Собрании сочинений (М., 1957) «Осударева дорога» была напечатана, согласно воле автора, в первой ее редакции, но с новым введением.

Текст печатается по *Собр. соч. 1956—1957*, сверенному с машинописным автографом *(ЦГАЛИ)*.

*В. Пришвина*

Стр. 8. *...создавали свое «государство» — известную Выгорецию.*— Речь идет о старообрядческой (поморского толка) общине Выгорецкой, или Выговской, пустыни, основанной в 1694 г. на реке Выг, близ озера Выг, в Олонецкой губернии, дьячком Шунгского погоста Данилой Викуловым. Первыми членами общины были беглые помещичьи крестьяне и монахи Соловецкого монастыря. Поморы не признавали «мир антихриста», отказывались молиться за «антихристову» (Петра I) цар-

скую власть и не имели священников. Петр I, заинтересованный в экономическом развитии северных областей своей империи, отнесся терпимо к вере поморов, но обязал их платить двойной подушный оклад и поставлять рабочих для Повенецкого железного завода. В 1732 г. на поморов была распространена и рекрутская повинность с правом откупа за деньги. Поморы занимались охотой и торговлей пушниной, рыбным промыслом и хлебопашеством на арендованных землях. Постепенно «Выгореция» стала крупным торгово-промышленным предприятием на артельных началах. Зажиточная верхушка «Выгореции» примирилась с «миром» и «царем», а поморщина превратилась в умеренное направление в «беспоповстве», выражающее интересы промышленников и купцов Севера. Просуществовав около ста пятидесяти лет, «Выгореция» «в целях ослабления раскола и установления порядка крестьян Повенецкого уезда» была окончательно ликвидирована в середине 1850-х годов. Поморские монастыри на реках Выгу и Лексе были закрыты.

Стр. 9. *...девяти лет я бежал в какую-то чудесную страну, а ровно через двадцать лет открыл ее на Карельском острове озера Выг...*— О бегстве Пришвина-гимназиста в «Азию» см. в автобиографическом романе «Кащеева цепь» (наст. изд., т. 2); впервые Выговский край Пришвин посетил в 1906 г. Об этом путешествии рассказано в его книге «В краю непуганых птиц» (см. наст. изд., т. 1).

*...беседы у «бегунов» или «скрытников».*— «Бегуны» — одна из разновидностей старообрядчества, возникшая во второй половине XVIII в. Ожидая близкого конца света, «бегуны» порывали все связи с обществом, уклонялись от воинской повинности, стремились укрыться в пустынных местах или тайниках.

Стр. 11. *...как последнего «большака» Выгореции.*— У старообрядцев «большаком» назывался настоятель общины.

Стр. 12. *...знаменитая Осударева дорога...*— Такое название получил проложенный по приказанию Петра I путь от Белого моря к Онежскому озеру. Проложенная крестьянами Архангельской, Олонецкой и Новгородской губерний «Осударева дорога», протяженностью около двухсот пятидесяти километров, начиналась от деревни Нюхача на берегу Онежской губы и заканчивалась у Повенца на берегу Онежского озера. В связи с планом Петра I в Северной войне овладеть шведской крепостью Нотебург у истоков Невы с 16 по 29 августа 1702 г. петровская гвардия и крестьяне волоком перетащили всю русскую флотилию, включая два фрегата — «Святой дух» и «Курьер», в Онежское озеро. В октябре 1702 г. Нотебург (бывшая русская крепость «Орешек») был взят штурмом и переименован Петром I в Шлиссельбург. Во время Северной войны по «Осударевой дороге» пересылались отряды войск, перевозились военные припасы и пушки из Олонецкого края в Архангельск, но позже дорога запустела и поросла лесом.

*...я опять приехал в край своего второго детства.*— Вновь Выговский

край Пришвин посетил в 1933 г. О разительных переменах, которые произошли за двадцать семь лет, он рассказал в очерке «Отцы и дети», впервые опубликованном в журнале «Красная новь» (1934, кн. 1) и включенном в дополненное издание его книги «В краю непуганых птиц. Онего-Беломорский край» (М.—Л., Гослитиздат, 1934).

Стр. 13. *...калишки и рыбники...*— Калишка — лепешка с кашей и сметаной или творогом; рыбник — пирог с рыбой.

Стр. 17. *...былины о Владимире Красном Солнышке...*— Имеются в виду былины о Владимире I (ум. в 1015 г.), с 980 г. киевском князе.

Стр. 21. *...братья Денисовы сочиняли свои знаменитые «Поморские ответы»...*— Речь идет об Андрее (1674—1730) и Семене (1682—1741) Денисовых — руководителях старообрядческой поморской Выговской общины.

*...Иван Филиппов писал... свою известную историю Выгореции.*— Имеется в виду Иван Филиппович Филиппов (1655—1774), по происхождению государственный крестьянин, с 1740 г. настоятель Выговской пустыни. Написанная им «История Выговской пустыни» (СПб., 1862) содержит большой фактический материал о распространении старообрядчества на севере России.

Стр. 23. *...до Никона.*— Никон (в миру Никита Минов; 1605—1681) — в 1652—1658 гг. патриарх. Проведенные им церковные реформы вызвали раскол среди духовенства. Собравшийся в 1654 г. церковный собор поддержал реформы и отлучил противников их от церкви.

Стр. 24. *...в праздник Николы Вешнего...*— Православная церковь отмечает его память 9 (22) мая.

*...убитых на токах мошников.*— Здесь: моховой тетерев, глухарь.

Стр. 26. *...замученного фанатика Аввакума...*— Речь идет о главе и идеологе русского раскола писателе протопопе Аввакуме (1620 или 1621—1682). За выступление против патриарха Никона был в 1653 г. сослан в Тобольск. В 1666—1667 гг. после осуждения на церковном соборе был доставлен в Пустозерск и заточен в земляную тюрьму. За «велия на царский дом хулы» сожжен в срубе.

Стр. 28. *Падун* — водопад.

*Молоток-кротилка* — молоток для глушения пойманной рыбы.

Стр. 29. *...с князьком на крыше...*— Князек — гребень двухскатной крыши.

Стр. 30. *...какая это книга нам с неба упала...*— Речь идет об одном из самых распространенных произведений духовной апокрифической литературы «Духовный стих о книге Голубиной», упавшей, согласно легенде, с небес (см. коммент. к с. 429, наст. изд., т. 1).

Стр. 31. *...в зюйдвестке...*— Зюйдвестка — круглая мягкая шляпа из непромокаемой материи.

Стр. 35. *...«Живые помощи»...*— См. коммент. к с. 673, наст. изд., т. 5 и коммент. к с. 257 наст. тома.

Стр. 38. *...мудрая царица пришла к царю Соломону...* — По библейскому преданию, царица Савская, прослышав о мудрости царя Израильско-Иудейского царства Соломона, после беседы с ним в Иерусалиме признала его мудрость и щедро одарила.

Стр. 50. *Остужаться.* — Здесь в значении: ссориться, находиться в размолвке.

Стр. 60. *Когда в Смутное время какие-то паны, разбегаясь по русской земле, попали тоже и на Выгозеро...* — Речь идет о польско-шведской интервенции 1604—1618 гг.

Стр. 64. *Волков.* — Под своей фамилией в «Осударевой дороге» выведен талдомский купец. Его автобиографические записки сохранились в архиве Пришвина. См.: В. Пришвина. Круг жизни. М., «Художественная литература», 1981, с. 162.

Стр. 66. *Починок* — расчищенное место в лесу.

Стр. 83. *...слушал дуэт «Не искушай».* — Имеется в виду романс М. И. Глинки «Разуверение» на слова Е. А. Баратынского (1858).

Стр. 91. *...услыхал Херувимскую...* — Херувимская — песнопение основного богослужебного цикла.

*На земле весь род людской...* — Имеются в виду куплеты Мефистофеля из оперы французского композитора Шарля Гуно «Фауст» (1859).

Стр. 107. *Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!* — См. коммент. к с. 670, наст. изд., т. 2.

Стр. 110. *...вспомнилась большая древняя сеча...* — Речь идет о Куликовской битве в верховьях Дона на Куликовом поле 8 сентября 1380 г.

Стр. 111. *...чудовищные деррики... опускали свои клювы...* — Деррик — здесь — буровая вышка.

*Грабари* — землекопы.

Стр. 117. *...над кавальерами.* — Кавальер — земляной вал, образовавшийся при рытье канала.

Стр. 138. *Копорюга* (местн., арханг.) — род кирки, мотыги.

Стр. 161. *Пестун* — годовалый или двухгодовалый медвежонок, остающийся при матери для ухода (пестования) младшего братишки.

Стр. 194. *...под пеплом в Помпее...* — Имеется в виду античный город Помпея, находившийся у подножья вулкана Везувий и засыпанный в 79 г. н. э. при извержении вулкана.

Стр. 197. *...читая древнюю книгу о приказе Иисуса Навина: «Солнцѐ, остановись!»* — Библейское предание повествует, что преемник Моисея по управлению народом израильским Иисус Навин, которому помогал бог, во время сражения израильтян с племенем аморрея остановил солнце.

*В. Чуваков*

## КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА

Работу над повестью-сказкой «Корабельная чаща» Пришвин начал 29 марта 1952 года и завершил в декабре 1953 года, за месяц до смерти. По замечанию К. А. Федина, «Корабельная чаща» «вобрала в себя все качества, какими обладал Пришвин издавна, все искусство, которое выработал, приобрел он на своем пути, и повесть стала в своем роде кристаллизованной пришвинской прозой еще небывалой насыщенности» (Конст. Федин. Писатель, искусство, время. М., «Советский писатель», 1957, с. 189). Проблематика «Корабельной чащи» тесно связана как с замыслами Пришвина, в полной мере им не осуществленными, в романе «Осударева дорога», так и с теми «наметками» для себя, которые сделал Пришвин на полях рукописи автобиографического романа «Кащеева цепь», готовя его для собрания своих сочинений.

Мудрое, одно из самых поэтичных произведений Пришвина, его «лебединая песня» — «Корабельная чаща» была задумана как продолжение сказки-были «Кладовая солнца». 3 марта 1952 года Пришвин записал в дневнике: «Просачивается охота взяться и сразу единым духом написать вторую книгу «Кладовой солнца» (лесная повесть) с целью собрать в единство все насмотренное и записанное в лесу». И действительно, фабула «Корабельной чащи», в ее зародыше, была заложена уже в «Кладовой солнца»: рассказ о судьбе осиротевших во время войны детях Насте и ее брате Митраше Веселкиных, которые отправились в весенний лес по клюкву и после ссоры выбрали себе разные лесные *тропинки*. Упоминаемый в «Кладовой солнца» охотник-лесничий Антипыч с его «словом правды» станет одним из главных персонажей «Корабельной чащи». Найдут впоследствии свое место в «Корабельной чаще» и некоторые реалии «сказки-были» (например, убитый Митрашей матерый волк по прозвищу «Серый помещик»). Однако, родившись из «Кладовой солнца», повесть-сказка «Корабельная чаща» стала самостоятельным произведением Пришвина. Сначала, решив написать вторую часть «Кладовой солнца», автор намеревался сочетать найденный им для первой части увлекательный сюжет (дети в лесу) с познавательным материалом — рассказом о русском северном лесе. Иначе, пользуясь интересом читателей к маленьким героям «Кладовой солнца» Насте и Митраше, «открыть в поэзии дверь для знания и соединить одно с другим в понимании» (дневниковая запись Пришвина от 28 марта 1952 г. — *ЦГАЛИ*). Несколько позже, перечитав черновые наброски продолжения «Кладовой солнца», Пришвин так уточняет свою новую творческую задачу: «В повести я вижу следующие планы: 1. План географический: изображение сев⟨ерного⟩ леса. 2. План человеч⟨еский⟩: изображение русского человека в его сиротстве с выходом в поиски правды» *(ЦГАЛИ)*. Познавательный материал (Пришвину, в частности, захотелось показать со всеми техническими подробностями сплав леса по

реке) для писателя должен быть согласован с «движением души» современного человека. В «Корабельной чаще», выделившейся из «Кладовой солнца», много глубоких, философских размышлений Пришвина о человеческой жизни со всеми ее противоречиями, об органической связи человека с окружающим его миром природы, о соотношении прошлого и настоящего. Далекий и трудный путь маленьких героев «Корабельной чащи» по «весеннему лесу» — это поиски и обретение Настей и Митрашей Веселкиными счастья, правды об отце. Они находят отца, считавшегося погибшим на фронте, и перестают быть сиротами. Таким образом, и «план географический», и «план человеческий» в повести Пришвина, реализованные в ее сюжете, предстают в неразрывном единстве, объединяются сквозной для произведения Пришвина темой поисков «правды истинной» как о природе, так и о человеке.

В 1935 году Пришвин вместе с младшим сыном Петром совершили поездку в Архангельскую область к границам Коми АССР. Пришвин был привлечен рассказами и легендами о «немеряных» лесах, расположенных в бассейне реки Пинеги. Прибыв поездом 10 мая 1935 года в Вологду, Пришвин на пароходе 18 мая приплывает в Великий Устюг, на следующий день — в Котлас, а далее продолжает плавание по Северной Двине и Вычегде до Верхней Тоймы, где наблюдает сплав бревен. Переправившись на правый берег реки Тоймы, Пришвин с проводниками-охотниками верхом и на лодке достигает границы Коми АССР, а затем по Пинеге, на пароходе, поднимается до Архангельска, где и заканчивает свое путешествие, продолжавшееся сорок один день. Впечатления об этой поездке на север, закрепленные на страницах путевого дневника Пришвина, дали писателю обширный «познавательный» материал, использованный в «Корабельной чаще». Работая над «Корабельной чащей», Пришвин обращался и к своим путевым очеркам «Берендеева чаща» (1935), опубликованным им после возвращения с севера. Настя и Митраша в «Корабельной чаще» повторят часть пути Пришвина. Надо отметить, что и эти персонажи «Кладовой солнца», а затем «Корабельной чащи» не выдуманы Пришвиным. В 1946 году писатель приобрел дом в деревне Дунино под Звенигородом. Здесь Пришвин собирает материалы для романа о новых отношениях в крестьянской семье, о победе в этих отношениях нового над старым. В августе 1950 года им были написаны три первые главы «Лесной повести» («Лесной колхоз, или Справедливая жизнь») о семье лесника Василия Кузнецова (Василия Веселкина), женатого по-старому, «по сговору», без любви на крестьянке. Во время Великой Отечественной войны Кузнецов (Веселкин) служил кладовщиком на военном заводе (из-за больной ноги его не призвали в армию). На заводе Кузнецов (Веселкин) сошелся с «красивой вдовой с тремя детьми», утаив о своих детях-близнецах Зине и Васе. Лесник тоскует по оставленным им родным детям, хочет взять их в новую семью, но этому противится

его теща, олицетворяющая собой старые крестьянские понятия о семье. Тогда Кузнецов (Веселкин), вспомнив рассказ лесника Антипыча об удивительной корабельной чаще, уходит на лесоразработки на север. Зина и Вася находят отца, и он возвращается домой. Таким представлялся Пришвину сюжет его семейно-бытового романа из современной крестьянской жизни. Однако, написав по собранным для романа материалам рассказ «Молодой колхозник» (первоначальное заглавие — «Арина, мать солдатская»; 1950), автор дальнейшую работу над романом прекратил. Для своей новой повести Пришвин, вернувшись к сюжету и персонажам романа, переносит теперь акцент с бытовой драмы в крестьянской семье на изображение природы. Начало второй главы «Лесной повести» («Солнце всем одинаково светит...») станет началом и «Корабельной чащи».

Сочетание в «Корабельной чаще» плана «географического» и плана «человеческого» и определило жанр произведения как *повести-сказки*. Для Пришвина *сказка* — это не противопоставление вымысла действительности, а такая поэтизация реальной действительности, которая прокладывает путь в «небывалое», где мечта сливается с реальностью. В начале апреля 1952 года Пришвин отмечает в дневнике: «Вспомнить ошибки свои, как художника, из-за верности правде (натуре).— Вы думаете это путь — глядеть в натуру? Нет, это не путь: надо глядеть и туда, и в себя. В путешествии, благодаря трудностям, возбуждается в себе борьба с ними, и когда, двигаясь вперед, видишь лучшее, то это потому видишь, что сам к нему подготовился. На месте сидишь и ничего не видишь, но можно и на месте жить в тревоге, и тогда будешь, сидя на месте, открывать новые страны (это можно просто рассказать в Лесной повести)» *(ЦГАЛИ)*.

Поэтизация действительности в повести-сказке «Корабельная чаща» выражается в том, что, верный «правде (натуре)», Пришвин устраняет из своего произведения все случайное, «будничное». Создавая индивидуальные характеры, Пришвин подчиняет второстепенное главному. Герои его произведения обращены к читателю прежде всего своей «сущностной», духовной стороной; их личная жизнь, биография каждого, подобно большим и малым ручьям, сливаются в единую и широкую реку жизни всего народа.

22 марта 1952 года Пришвин делает (еще в дневнике) первый набросок начала «Корабельной чащи» (в окончательном тексте начало шестой главы второй части), в котором зачином для всего произведения становится народное представление о войне (тема «детского сиротства»). 19 апреля 1952 года Пришвин пишет новое начало для своей повести, в котором углубляет психологическую характеристику героев, Насти и Митраши, связывая тему «детского сиротства» с темой «материнства». После смерти матери, получившей известие о гибели на фронте мужа, Настя заменяет брату мать. «Вот этого о сиротах никто не знал, что живые

маленькие существа не могут жить без отца и матери. И что если их нет, то кто-нибудь заменит их детям, как взрослым заменяют часто детей их милые домашние животные. Так и Митраша с виду был такой самостоятельный мужичок, и Настя в хозяйстве у него под рукой. Если же подглядеть потихоньку их домашнюю жизнь, то часто Настя ему была, как мама. Если же люди видели, как она в хозяйстве ему подчинялась, то на самом деле Настя подчинялась не ему, а отцу. Так у многих сирот бывает, что родители как бы невидимо с ними живут и управляют» *(ЦГАЛИ)*. Рассказу о детях Веселкина и о полученном ими письме от отца Пришвин теперь предпосылает рассказ о самом Василии (пока еще названным Герасимом) Веселкине и его «елочке», выросшей в тени великой сосны. *Последняя* реликтовая сосна, срубленная лесником Антипычем на фанеру для самолетов в лесу под Переславлем-Залесским, предвосхищает возможную, но не неизбежную участь реликтовой Корабельной чащи, а красавица ель, в которую превратилась хилая «елочка» Веселкина, открывшаяся после падения срубленной сосны «на весь великий солнечный свет», является символическим образом судьбы самого Веселкина, решающего, как и автор, тревожащую обоих проблему «хочется» и «надо».

Символический смысл открывающей «Корабельную чащу» главы «Васина елочка» сам автор определяет в дневнике (запись от 23 мая 1952 г.) следующим образом: «...Вася еще мальчиком освободил деревцо от тени соседа, срубил его, и елочка ожила, и с ней в душе он пошел на войну. Вместе с тем освободить северный лес от сентиментальных привкусов: тайга, так и тайга. И через это ярко дать чувство радости человека, когда он вырубается из леса на поляну» *(ЦГАЛИ)*. 31 мая 1952 года Пришвин, продолжая работу над главой «Васина елочка» (в дальнейшем она станет первой частью «Корабельной чащи», разделенной на четыре главы), пишет завершающий главу черновой вариант поэтического отступления на тему «лес и человек» («От Москвы и до северных морей, если сверху посмотреть, то все будет лес и лес...»; *(ЦГАЛИ)*. В окончательной редакции «Корабельной чащи» это отступление найдет свое место в четвертой главе первой части повести.

Еще на первом этапе работы над «Корабельной чащей» Пришвин сознавал необходимость дополнить образ Веселкина-отца (правдолюбца) образом «жизнелюбца», идущего к общему делу своим «путиком». В повести-сказке это охотник-полесник Мануйло. Его образ настолько занимал писателя, что на какое-то время даже оттеснил в сторону другие персонажи. Так, 20 апреля 1952 года, намечая план повествования о детях-сиротах, Пришвин пишет: «Как люди отправляют детей к отцу, я бросаю рассказ о них — и к Мануйле». И дальше: «Василий Веселкин и Мануйло» *(ЦГАЛИ)*. В архиве Пришвина сохранилась заметка «Герой нашего времени», важная для уяснения того, как в сознании автора оформлялся творческий замысел его произведения. Как видно из этой

записи, Мануйло сначала мыслился Пришвиным как отец Веселкина: «Конфликт отцов и детей в отношении сказки у Мануйлы и у сына Васи, равно как у бабушки — тещи и ее внуков. Сказка (искусство), как атмосферная тень против солнца. Показать на росте тенелюбивой елки и человека роль ОТЦА. Образ Митраши из «Клад⟨овой⟩ солнца» как прообраз Веселкина. Отец-сказочник, сын без воображения, но что-то вместо сказки, подобное «правде», и эта правда за счет сказки. Итак, смена двух поколений, как смена сказки на правду и в свете правды сказка как ложь («эстетизм»)... Сказка все-таки личное дело и как личное она вытесняется правдой... Отец и сын — творчество бесчеловечное и правда, как творчество человеческое. Мануйло погиб на первой войне. Сын его сказку превращает в правду. Найти выражение начала человека в природе... Правда единичная и правда единая, правда — частное дело, как личное поведение в правде, и правда как общее дело (философия общего дела)» *(ЦГАЛИ)*. Образ полесника Мануйлы в «Корабельной чаще» — собирательный. Со «сказочником» Мануйлой мы встречаемся еще в первой книге Пришвина «В краю непуганых птиц» (1907), чем-то напоминали его Пришвину охотники Осип Романов и Александр Губин, бывшие его проводниками во время путешествия по Пинеге в 1935 году (см. «Берендееву чащу»; наст. изд., т. 4). В 1952 году, перечитывая Н. Лескова, Пришвин узнает своего Мануйлу в «Очарованном страннике». По свидетельству В. Д. Пришвиной, в образе Мануйлы из «Корабельной чащи» Пришвиным переданы и некоторые черты встреченного писателем во время эвакуации крестьянина Ивана Кузьмича, колхозного счетовода. Был он соседом Пришвина по деревне Усолье (см.: В. Пришвина. Круг жизни, с. 32). В июне 1952 года вчерне были написаны третья («Друзья») и четвертая («Мануйло из Журавлей») части «Корабельной чащи» (знакомство Веселкина в госпитале с пинжаком Мануйлой и «хождение» Мануйлы в Москву к М. И. Калинину с жалобой на колхоз «Бедняк»: «Они не хотят меня принять со своим путиком, а я не хочу быть единоличником». 30 июня 1952 года Пришвин набрасывает краткий план пятой («Утиная вечерка») и шестой («Красные Гривы») частей повести.

Как же соотнесены в «Корабельной чаще» образы Василия Веселкина и Мануйлы? Раненный на фронте сержант Веселкин долг свой видит в том, чтобы найти заповедную Корабельную чащу, превратить срубленные могучие сосны в фанеру для самолетов и этим приблизить победу над врагом, освободить народ от тех лишений и страданий, которые принесла ему война. Правда Василия Веселкина — это «правда необходимости». Но существует еще правда-сказка полесника Мануйлы о Корабельной чаще в «немеряных лесах». Образ ее сказочный. Надо отметить, что образ заповедного леса родился в сознании Пришвина-художника очень давно. Так, побывав в новгородской земле, Пришвин в 1912 году записал в дневнике: «Роща на Шелони. На высоком берегу Шелони, где были некогда новгородские битвы, есть маленькая деревушка Песочки, возле

нее сохранилась старая заповедная роща и в ней древняя часовенка замшелая... На крыше ее зеленой стоит небольшой темный крест, а сосны вокруг прямые и чистые стоят, словно свечи. Так и кажется, что с незапамятных времен собрались они (1 сл. нрзб.) сюда помолиться, привыкли и стали свечами стоять. Но это только кажется: заповедная роща старше человека... Странник пришел умирать... и сказал: «А роща ваша заповедная, не рубите рощу...» *(ЦГАЛИ)*. Описание трехсотлетнего мачтового бора-зеленомошника в «Берендеевой чаще» близко поэтическому образу заповедного леса в «Корабельной чаще», хотя не приобретает еще у Пришвина символического смысла. Описание удивительного чуда природы в повести-сказке («дерево стоит к дереву часто — стяга не вырубишь, и если срубишь одно дерево, оно не упадет, прислонится к другому и будет стоять») — это существующий в народном сознании образ *силы* и *единства* — поэтическое олицетворение Родины. Народ хранит свою святыню, но готов пожертвовать Корабельной чащей ради победы над лютым врагом и установления на земле мира.

Что же, по Пришвину, должно объединить «правду необходимости» Василия Веселкина с «правдой-сказкой» Мануйлы и дать синтез — «правду истинную»?

В 1935 году, совершив дальнее путешествие к границе Архангельской области и Коми АССР, Пришвин был огорчен и разочарован тем, что реликтовый сосновый бор оказался вырубленным для нужд авиации. И примечательно, что в «Корабельной чаще» местонахождение заповедного леса перенесено на территорию Коми АССР, где писатель в 1935 году не был. Не потому ли Настя и Митраша, дойдя до территории Коми, вдруг «теряют ориентировку» и продолжают путь к Корабельной чаще в разладе с географией? 15 августа 1952 года Пришвин заносит в дневник: «Сюжет должен расти по мере написания, но не быть готовым. *Сейчас, приближаясь к финалу, вдруг пришло в голову пророчество Белинского о новом слове для всего мира в России, что это слово будет о мире всего мира» (ЦГАЛИ)*. 16 августа: «В Лесной повести приближаюсь к финалу, который заостряется то ли в чувстве правды русского человека, то ли на мире» *(ЦГАЛИ)*. И, наконец, запись 18 октября 1952 года: «Мелькнула мысль, что конец Лесной повести должен быть облечен в идею мира (понимания), но Корабельная чаща должна погибнуть за дело мира» *(ЦГАЛИ)*. Старое и еще условное название произведения «Лесная сказка» Пришвиным отвергается потому, что больше не отвечает конкретизировавшемуся в процессе творческой работы замыслу. Теперь автор называет свою повесть-сказку «Слово правды». Новое заглавие он так поясняет в дневнике (запись от 10 сентября 1952 г.): «Слово и дело. Слово вырастает из дела — и это есть слово правды». Очень интересна развернутая дневниковая запись, сделанная Пришвиным 15 ноября 1952 года: «Мною был поставлен вопрос: для раскрытия желанного ныне понятия «мир» нужно срубить Корабельную

чащу на самолеты... или же, напротив, рощу оберечь... В былые времена, когда открывалась Америка, и на людей смотрели как на деревья: рубить и рубить. Но люди в сознании своем росли и росли, их рубили, а они ждали, и наконец догадались и сказали свое слово: мир, и это есть теперь слово правды. Так, может быть, и Корабельная чаща откроет нам какой-нибудь свой закон жизни...» *(ЦГАЛИ).*

В феврале 1953 года, отвечая на вопрос корреспондента о своей работе, Пришвин сказал: «Я работаю над одной темой, которая родилась от всех прежних моих работ. Это наша русская тема о правде, и книга моя будет называться «Слово правды». В восьмой части своей повести («Глубинный залом»), размышляя о судьбе Корабельной чащи, Пришвин противопоставляет народное представление о лесе — бездуховному, рационалистическому, западному отношению к лесу как одному из видов топлива «инструктора канадского лесопиления». Инструктор в повести только повторяет слова профессора лесопиления («А чего лес жалеть?»), с которым вел спор Пришвин в 1935 году в Архангельске.

В «Корабельной чаще» синтез «правдолюбия» Василия Веселкина и «правда-сказка» охотника-пинжака Мануйлы слились в единственную «правду истинную» в образе мудрого всероссийского старосты М. И. Калинина. Обдумывая этот образ, Пришвин отмечает в черновике: «В Калинине дать: образ простейшего в правде, чего-то таящегося в простом человеке 〈...〉. И пусть это все будет «правдой», и отношение человека к человеку, любовь и, конечно, самый, самый «мир» *(ЦГАЛИ).* Это к Калинину приходит Мануйло за правдой о Корабельной чаще. И «тайна», которую он открывает Мануйле,— это *мир.* В этом эпизоде полностью раскрывается символический образ Корабельной чащи, которая, по словам К. А. Федина, в произведении Пришвина «есть не что иное, как человеческая мечта, без которой нельзя построить новой жизни... Разговор его (Мануйлы.— *В. Ч.*) с М. И. Калининым, к которому он явился ходоком с защитой «своего путика», в этом смысле верен, как верно и то, что Калинин решительно восстал против вырубки «корабельной рощи», за ее сохранение, за сохранение мечты» (Конст. Федин. Писатель, искусство. время, с. 190 и 191). *Мир* — это и определение «правды истинной» для Василия Веселкина, который уясняет суть пророчества В. Г. Белинского об исторической миссии русского народа. Заключается она в том, что русский народ *несет мир* народам всей земли.

«Корабельная чаща» была впервые опубликована в № 5 и 6 журнала «Новый мир» в 1954 году. С согласия автора, в журнальный вариант повести редакцией были внесены некоторые изменения. В редакционном предисловии к «Корабельной чаще», в частности, говорилось: «Корабельная чаща» — последнее произведение недавно скончавшегося замечательного мастера русской прозы Михаила Михайловича Пришвина. Творчество М. М. Пришвина навсегда вошло в сокровищницу советской литературы. Изумительное богатство русской речи, глубокое знание

и тонкое поэтическое чувство родной природы, освященное любовью к человеку-труженику, неустанное стремление к большой человеческой правде — все эти черты долголетнего творчества художника-патриота всегда были и будут дороги нашему читателю ⟨...⟩. «Корабельная чаща» пронизана тем же светлым, поэтическим мироощущением, которым пленяют нас все его творения».

Повесть-сказка «Корабельная чаща» печатается по изданию: М. М. Пришвин. Избранные произведения в двух томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1972.

В настоящем издании текст повести вновь сверен с авторской машинописью *(ЦГАЛИ)*.

Стр. 222. *...и один король Франции назывался даже «Король Солнце»...* — Речь идет о Людовике XIV (1638—1715), французском короле с 1643 г., которому приписывается изречение: «Государство — это я».

Стр. 224. *...учителя Ивана Ивановича Фокина...* — В «Корабельной чаще» под собственным именем выведен строитель и директор школы в деревне Новоселки (Ярославская область) И. И. Фокин (ум. в 1948 г.). Его памяти посвящен рассказ Пришвина «Хороший человек» (см. наст. изд., т. 5, с. 319—323).

Стр. 231. *Передавали рассказ Чехова...* — Имеется в виду рассказ А. П. Чехова «Хирургия» (1884).

Стр. 241. *...убил... волка, прозванного Серым помещиком.* — См. наст. изд., т. 5, с. 251.

Стр. 252. *...прочитал... знаменитые слова о том, что мы — русские — призваны сказать всему миру новое слово, подать новую мысль.* — Из статьи В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года». У Белинского: «Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль — об этом пока еще рано нам хлопотать» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 21).

Стр. 257. *...едут карбасы.* — Карбас — большая лодка с высокими бортами.

*Живые помочи!* — См. коммент. к с. 673, наст. изд., т. 4. 8 августа 1942 г. Пришвин записал в дневнике: «Вера Павл⟨овна⟩ списала «Живые помощи» как средство от какой-то болезни. «И когда курам мор — от мора спасает». А когда она ушла, я сказал: «Ну вот, видите, великий поэт царь Давид когда-то это пел, играя на гуслях, а теперь люди используют против куриного мора. Разве это не доказательство разложения. Разве и весь этот мир тоже не остался нам в таком же бессмыслии, как «Живые помощи» остались от царского псалма?» *(ЦГАЛИ)*.

Стр. 260. *Они называют свой колхоз «Бедняком», а кругом везде знамя «Зажиточная жизнь».* — См. наст. изд., т. 4, с. 648—649.

Стр. 266. *Полесовать* (м е с т н., с е в е р н.) — заниматься охотой; полесник — охотник.

Стр. 269. *Вьюн и карась?..* — См. наст. изд., т. 4, с. 627.

Стр. 278. *Порато* (м е с т н., п е р м с к.) — много, очень.

Стр. 280. *...на россошине.* — Россошина — развилка древесного ствола.

Стр. 319. *...реки, в глубоких лесных радах и сурадьях...* — Рада (м е с т н., а р х а н г.) — заболоченный хвойный лес; сурадье — открытое место в лесу, поросшее мохом.

Стр. 344. *...тогда вспоминается одно страшное кладбище на Днепре у Гоголя...* — Имеется в виду повесть Н. В. Гоголя «Страшная месть» (1832).

Стр. 380. *...сказка, известная еще в Древней Греции...* — Речь идет о древнегреческом мифе о Мидасе, в 738—696 гг. до н. э. царе Фригии, который игре Аполлона на кифаре предпочел игру Пана на свирели и за это разгневанным Аполлоном был наделен ослиными ушами.

Стр. 385. *Ты, медведь, и у тебя есть дом...* — См. наст. изд., т. 4, с. 672.

Стр. 407. *Чело.* — Здесь: наружное отверстие печи.

*Л. Рязанова, В. Чуваков*

## СОДЕРЖАНИЕ

ОСУДАРЕВА ДОРОГА

От автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Часть I

Лес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Часть II

Скалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Часть III

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА

Часть первая

Васина елочка . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Часть вторая

Круглые сироты . . . . . . . . . . . . . . . 240

Часть третья

Друзья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Часть четвертая

Мануйло из Журавлей . . . . . . . . . . . . 273

Часть пятая

Утиная вечерка . . . . . . . . . . . . . . . 286

Часть шестая

Красные гривы . . . . . . . . . . . . . . . 308

Часть седьмая

Половодье . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Часть восьмая
Глубинный залом . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Часть девятая
Сузем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Часть десятая
Свой путик . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Часть одиннадцатая
Корабельная чаща . . . . . . . . . . . . . . . 395
Комментарии . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

**Пришвин М. М.**

П77 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 6. Осударева дорога; Корабельная чаща/Подгот. текста В. Чувакова; Коммент. В. Пришвиной, Л. Рязановой и В. Чувакова; Худож. Ф. Домогацкий.— М.: Худож. лит., 1984.— 439 с., ил.

В шестой том Собрания сочинений М. М. Пришвина входят произведения, созданные писателем в последние годы жизни: роман-сказка «Осударева дорога» и повесть-сказка «Корабельная чаща».

**П $\frac{4702010200\text{-}203}{028(01)\text{-}84}$ подписное** **ББК 84Р7 Р2**

**Михаил Михайлович**

**Пришвин**

Собрание сочинений

Том 6

Редактор Т. Беднякова

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор О. Ярославцева

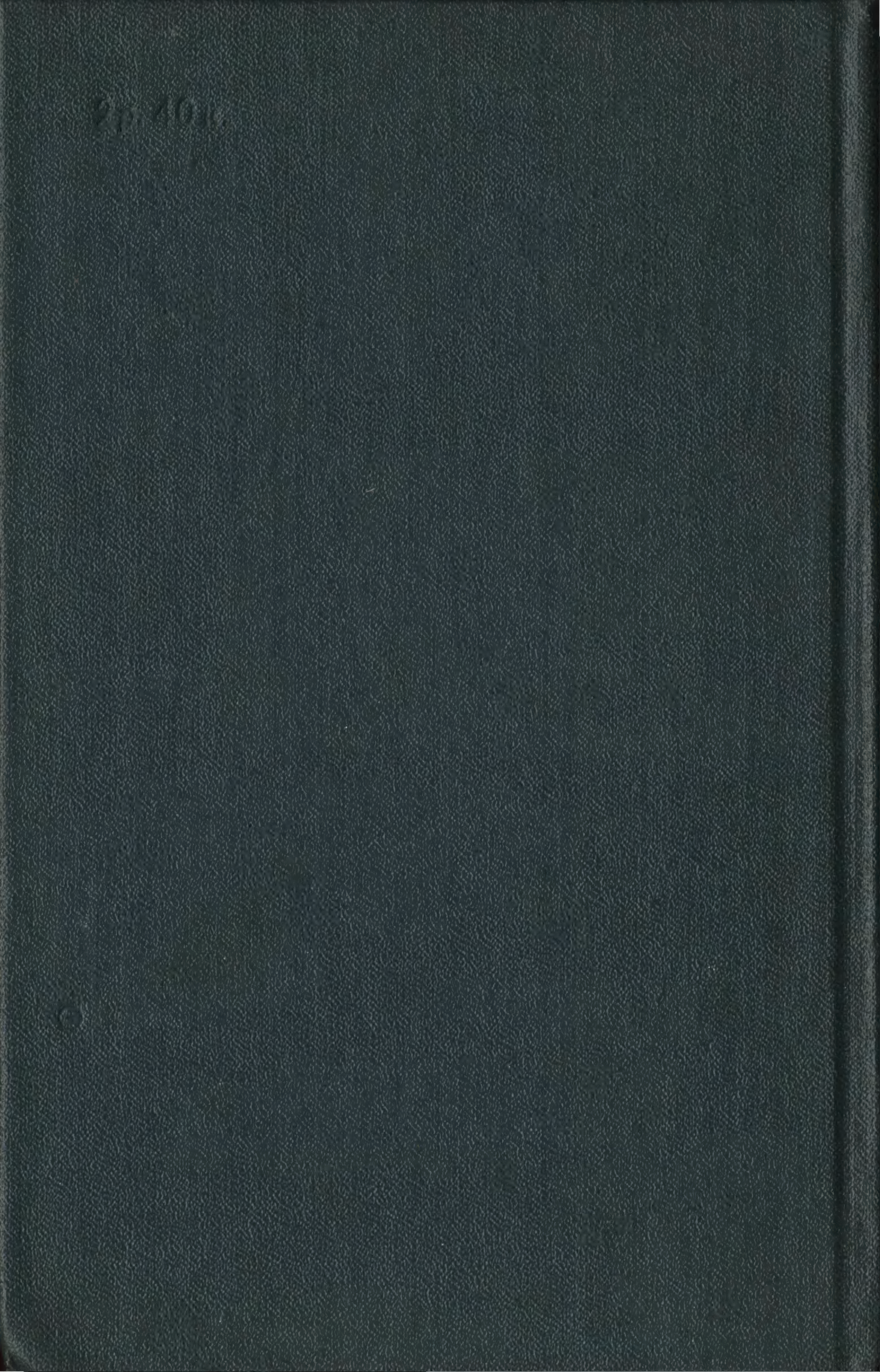
Корректор Д. Эткина

ИБ № 3351

Сдано в набор 01.08.83. Подписано к печати 05.04.84. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага для глубокой печати. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,1. Усл кр.-отт. 23,1. Уч.-изд. л. 24,53. Тираж 150 000 экз. Изд № 2341. Заказ № 1035. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15


2 р. 40 к.